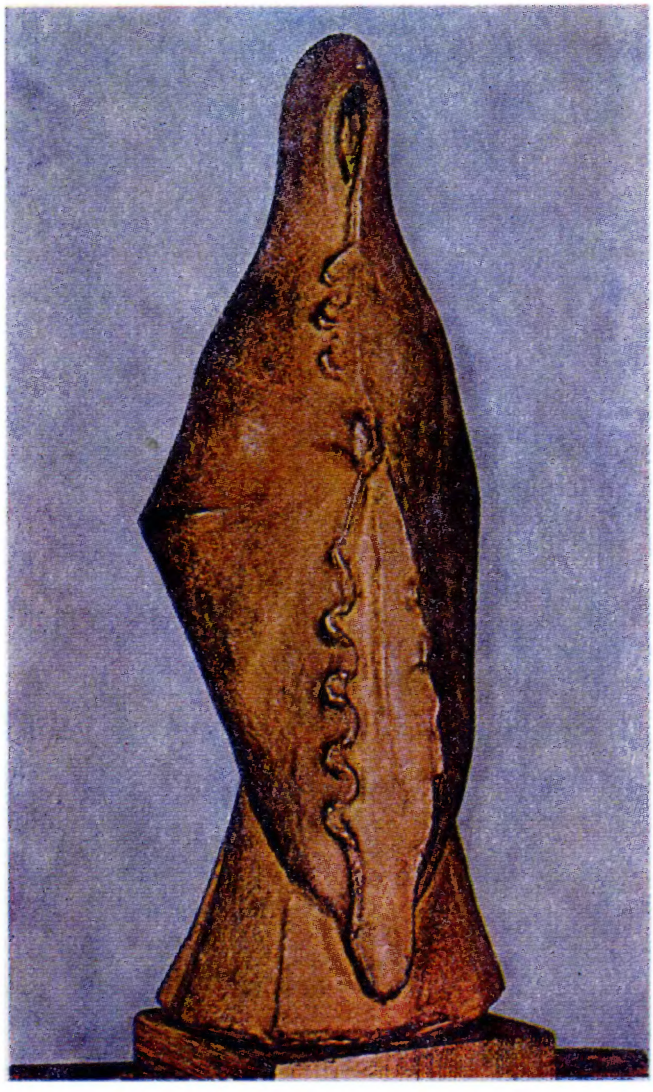
ISSN 0130 – 6545

3. 1988

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Эскиз к фильму «Дон Кихот»

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Кастильская женщина
Занавес к спектаклю «Кровавая свадьба» Ф. Гарсиа Лорки

Цветные иллюстрации номера —
работы испанского художника
Альберто Санчеса Переса

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 март 1988

Содержание

БЕДРОС ХОРАСАНДЖАН — Рассказы (*Перевод с румынского Анастасии Старостиной*) 3

АНТЕ ПОПОВСКИЙ — Стихи *(Перевод с македонского Давида Самойлова. Вступление Владимира Огнева)* 22

КАРЛОС ФУЭНТЕС — Старый гринго *(Роман. Перевод с испанского Маргариты Былинкиной. Послесловие Юрия Дашкевича)* 28

Литературное наследие

ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ — Стихи *(К 100-летию со дня рождения. Перевод с итальянского Евгения Солоновича)* 128

ФРАНЦ КАФКА — Замок *(Роман. Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой. Окончание)* 131

Отклики, встречи, впечатления

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — Гундула и ее братья 186

Публицистика

АРМАНД ХАММЕР при участии Нейла Линдона — Хаммер *(Главы из книги. Авторизованный перевод с английского Галины Салливан. Окончание)* 194

Критика

В. ЗЕМСКОВ — Искусство века великой метаморфозы *(Актуальные заметки о Габриэле Гарсиа Маркесе и о нас самих)* 210

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС рассказывает о себе *(Перевод с испанского Н. Богомоловой)* 214

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА — В призрачном мире бюрократии *(Франц Кафка и его роман «Замок»)* 217

Наша почта 224

Наши гости

Пепетела, Жозе Луис Мендонса *(Ангола)* — Е. Ряузова 229

Ева Харшани *(Венгрия)* — Запись беседы Л. Васильевой 231

Среди книг

Издано в СССР

Е. Кутявина — «...Самые обыкновенные плоды воображения...» *(Ана Бландиана. Стихотворения. Рассказы. Эссе)* ✦ И. Кивель — Превратности равноправия *(Неожиданный визит. Рассказы и повести писательниц ГДР)* 233

Издано за рубежом

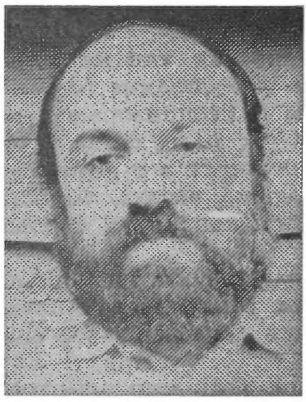
В. Скороденко — «Нам не дано предугадать...», или Необходимость новой жизни *(Айрис Мердок. Книга и братство)* ✦ М. Тер-Маркарян — «...О красоте исчезнувшей рассказ» *(Кристиан Барош. Зима красоты)* ✦ И. Прохорова — Откровения зимы *(Энн Битти. Где ты найдешь меня и другие рассказы)* ✦ Н. Груздева, Е. Злобина — Феномен Гарсиа Маркеса: парадоксы прочтения 236

Зарубежная литература в СССР 216

Из месяца в месяц 243

Коротко об авторах 254

© «Иностранная литература», 1988



БЕДРОС ХОРАСАНДЖАН

Рассказы

Перевод с румынского АНАСТАСИИ СТАРОСТИНОЙ

Ломтик слоеного утра в Макондо

Не знаю, что произошло на планете, но, судя по моему городу, весь мир поголовно читает Борхеса и Маркеса.

Латиноамериканцы вторглись после войны на наш старенький континент, выгрузив со своих кораблей виртуозной техники футбол, танец-самбу, кофе в зернах, огонь в крови и под конец — пышную сдобу романа, от которой все поторопились вкусить.

Испания со своим языком и со всем прочим послужила только мостом. Переводы разошлись, как теплый хлеб среди одиноких женщин и бравых студентов. В Европе и в моем городе. Воротишь нос от «Осени патриарха» или от «Вавилонской библиотеки»? Стендаль и Флобер, говоришь? Значит, ты отстал от века и зря получаешь жалованье.

Так многие мои соседи, не очень твердо представляющие, где это Латинская Америка, приобрели там добрых друзей. Стариков, юношей, офицеров, сто лет одиночества и даже красивых женщин. Знак того, что сближение между людьми — вопрос не географии и календаря («В этом году весна у нас ранняя, подснежники зацвели к тридцатому февраля»), а душевной расположенности, культуры. И усилия, в духовном плане. Все-таки.

Я никогда не бывал в Макондо. А кто побывал, говорят, что ничего особенного. Имя Эрендира звучит, на мой слух, довольно дико. В моем городе его не носит никто, потому что в фильмах, которые у нас крутили, персонажей с таким именем не попадалось. Борхеса я видел только на фотографии. Он был в очках и произвел на меня впечатление человека очень душевного. Жаль, что ему отказали в Нобелевской премии. Так же, как Благе[1].

При всем том — больше всего летом, ближе к его концу,— что может быть лучше, чем ломоть спелого красного арбуза! Погрузившись в него по уши, капая на рубашку, я утоляю свою жажду путешествий. Я смакую Гарсиа Маркеса, не пошевелив для этого и пальцем, ни на миллиметр не стронувшись с места. Похоже, что Латинская Америка гораздо ближе, чем мы себе представляем.

Потом приходит осень, дожди нависают над низиной за Брештенами, журавли бесконечно тянутся через границу, и мое сердце становится все меньше, все меньше. Теперь Макондо — не более

[1] Лучиан Блага (1895 — 1961) — румынский поэт, драматург и философ. *(Здесь и далее прим. перев.)*

чем химера. Сидя у печки, мы перебираем все, что ушло за год. За годы...

У меня была собака по имени Улис. Именно так. как вы видите, с одним «с». Пес ничего не знал о Гомере и господине Блуме[1]. Он был дворнягой чистой воды, бесприютным и беспризорным, но стал моим. Он нашел покровителя. Это не так уж мало, когда у тебя нет ни родных, ни друзей. Он был один как перст и с дефектом зрения — в память о бурной молодости. Он любил читать, то есть читал я, а он слушал. Его это устраивало. Он щадил свои слабые глаза. Так же, как Борхес.

Ел он мало, а по вечерам мы вместе гуляли. Особенно хорошо у нас гуляется после дождя. Как и в Макондо. Мы отдавали предпочтение улицам слабо освещенным, где больше деревьев и меньше шума. Мы уважали молчание друг друга.

Во время наших промакондовских прогулок весь мир смотрел телевизор или читал Маркеса и Борхеса. И мой город не отставал от мира. Улицы были счастливы, что могут отдохнуть.

Улис умел лаять, но никогда этого не делал. У него был врожденный такт. Он все понимал, и ему можно было открыть душу с уверенностью, что он тебя не предаст.

Он ложился спать рано, чтобы не нарываться на замечания. Он был сыт добрыми советами насчет того, как надо жить. Я думаю, что его постоянная оглядка на меня и на латиноамериканскую литературу давала ему ощущение опоры. Он смотрел в будущее с оптимизмом.

Может быть, я тут что-то напутал, не знаю.

Наступил день, когда моего Улиса отравили соседи. Люди — мое, не его племя. У них была породистая собака, утомленная триумфами и международными наградами, и они ревностно блюли благородство ее кровей. Кажется, завязывалась скромная история любви, о которой Улис не хотел болтать. А ведь, может быть, мне удалось бы как-то помочь ему и его подруге. Но соседская семья, будучи во власти не то чтобы католических догм о браке и разводе, а скорее пережитков буржуазной морали, отравила дерзкого влюбленного. Как и в трагедиях Шекспира, смерть не разрешила ничего.

Началась, разумеется, столетодиночественная война, продлившаяся до зимы. «Надо уметь и забыть, и простить». Не знаю, ушла в монастырь или нет добродетельная собака, сохранившая в чистоте свою родословную, но в Макондо, далеко от моего дома, впервые пошел снег — снег по Улису. Дальнее небо приняло часть моей боли, лишний раз подтвердив, что человеческие переживания в общем-то одни и те же на всей земле.

Теперь по утрам меня некому будить. Внутри живой материи существует такая осечка — смерть. Поэтому я солидарен даже с акулами Карибского моря. Без малейшей неприязни к их дурной славе.

У меня тоже есть свои недостатки.

Я живу с ощущением, что земной шар слишком кругл, чтобы его можно было раскатать, как дорожку. С ощущением — иногда,— что я держу его на ладони. Конечно, любому школьнику ничего не стоит уличить меня в невежестве: «Такой большой и такой глупый». А кто-то скажет, что это все риторика и что сила слов сейчас под большим сомнением. «Нам нужны дела, мы объелись благими намерениями».

Когда я смотрю в зеркало, я вижу лицо человека, который меньше всего похож на меня. Кто бы это мог быть? Тогда я сажусь за Борхеса и Маркеса, пытаюсь найти у них ответ.

Напрасно.

---

[1] Блум — герой романа Джойса «Улисс» (1922).

Все запутывается еще сильнее, вопросы повисают в воздухе. Ломтик слоеного утра в Макондо говорит мне гораздо больше о дожде и обо мне самом. Не там ли ответ? Не знаю.

Исход каникул

Понедельник

Вечером, попив чаю, он стал прибираться перед сном. Телевизор кончился. Он открыл окно проветрить на ночь, постелил постель и понес на кухню поднос с сахарницей и чашкой. Включив свет, вскрикнул «а!» и выронил поднос из рук. Чашка со звоном разбилась.

С плиты метнулся прочь мышонок.

Он нагнулся за сахарницей, подносом. С чего начать? Оглянулся с опаской, не за спиной ли мышонок, не кинется ли на него?

У мышонка, наверное, были такие же мысли.

Он поискал глазами какой-нибудь предмет для защиты. «Ишь, затаился...» Взял веник и подмел с полу осколки. «Этого мне только не хватало. Надо его поймать, стыд какой. Мыши в доме. Откуда он взялся?..»

Он походил по кухне, пиная ногой шкафчик, плиту, помойное ведро, холодильник, чтобы спугнуть зверька и заставить его показаться.

Потом махнул рукой. Погасил свет и вернулся в комнату. Что прикажете делать? Он пришел к выводу, что мышонок забрался с улицы по виноградным плетям. Больше неоткуда.

«Ясное дело. Не спорами же они размножаются. Вот я завтра спрошу на работе, откуда могла взяться на четвертом этаже мышь». Он лег, закрыв дверь в комнату, из страха, как бы непрошеный гость не пожаловал ночью к нему.

Вторник

Отсидев на службе положенные часы, выслушав чужие рассказы про покупки и детей и рассказав о вчерашнем происшествии, он получил консультацию, что можно предпринять против незаконного мышиного вторжения, и пошел по магазинам искать ловушку или отраву. Он потратил чуть ли не весь вечер, прежде чем нашел подходящую мышеловку. На самой Пьяца Матаке. Съел пирожное со взбитыми сливками и выпил лимонаду. На радостях.

Вернулся домой, окрыленный, и установил мышеловку на кухне, не сомневаясь, что его новый знакомец обнаружит себя именно там. На ночь прочел несколько страниц и, довольный, уснул. «Попался, голубчик...»

Ночь он спал очень хорошо.

Среда

Утром, едва проснувшись, бросился на кухню к мышеловке. Мышеловка была пуста. Он выругался: «Хитер, проныра. Сало стащил и смылся»,— но не без тайной радости, что пронесло. Порассматривал стальную штуку, которая должна была убить зверька. Представил себе такую же, но большую, на человека. «Да... Так нечестно...» Взял мышеловку и выбросил в помойное ведро.

На службе он снова кое с кем проконсультировался. Все записал, чтобы ничего не упустить. По новой методе следовало действовать не силой, а хитростью. Понадобится палка, орех, глубокая тарелка и кусок свежего сыра.

«Они выходят на запах...»

Он еле высидел день, так ему не терпелось добраться до дому и поставить хитрую ловушку. На этот раз в чулане за кухней. «Может, он здесь шастает?» Раскрыл еще и пакет с манкой, чтобы искушать неприятеля.

Вечером он ждал звонка: встретил на улице бывшую сослуживицу, она сказала, что очень рада его видеть. Но никто ему не позвонил. Телефон молчал. По инерции. Он мог бы и сам, конечно, набрать номер приятельницы. «Нет, какая там приятельница, просто работали вместе, подумаешь!»

Он не стал звонить.

Вымыл голову и отметил, что уже поздно, а так ничего и не произошло. А что должно было произойти? Чему вообще происходить?

Время шло кое-как. Он все время думал, как там мышонок, почему его не видно. «Неужели удрал? Значит, я зря старался?.. Нет, он должен быть где-то в доме...» Потом он отвлекся.

Включил радио и прочел под музыку несколько страниц из книги. По телевизору нечего было смотреть. Даже он, не очень-то привередливый, глотающий все без разбору, не вынес мексиканского мюзикла. Выключил радио, закрыл книгу. Лег спать после того, как убедился, что волосы высохли.

Ночью сквозь сон он услышал слабые подозрительные шорохи. Приподнялся на локтях. Действительно что-то есть.

«Мышонок!»

Он зажег настольную лампу. Тишина. Никого. Он один. Посмотрел на будильник. Третий час. «Разгуливает, как у себя дома... Ну, я до тебя доберусь... Отравы-то моей еще не отведал?»

Хотя ему было лень, он вылез из постели. Нащупал ногами тапочки и пошел проверить. Таблетки, которые он достал в одном институте через посредничество своего знакомого, лежали целехонькие. Никто их не тронул. «Смотрите, осторожней, яд, доза смертельна даже для человека...» — предупредили его. Он почесал в затылке и усмехнулся.

«Умеет спасать свою шкуру этот мыш... Честное слово, он начинает мне нравиться. Смышленый черт... Пожалуй, есть чему у него поучиться...»

Он забрался в постель и тут же крепко уснул, как спят уставшие мужчины. Мыш задал ему хлопот. Но зато он чувствовал себя нужным, при деле. Разве допустимо, чтобы в его доме завелись мыши? Его уважают на службе, он отличный хозяин, эталон аккуратности. Каждая вещь у него знает свое место. От бутылок с вишневой наливкой до последней тряпки. Беспорядка он не потерпит.

Четверг

Ничего нового. Мыш не сдался. Больше того, верх нахальства, сгрыз сыр из своей новой ловушки. Он посмеялся успехам мыша. «Вот черт, мыш-то каков! Просто становится его жаль... А прикончить все равно придется... Никуда не денешься...»

Он был в таком замечательном настроении, что на работе что-то заподозрили. Сослуживцы привыкли видеть его сдержанным, знали, что жизнь у него нелегкая: больная мать и прочее, словом радости мало.

«Что случилось? Отчего вы такой веселый?»

Он ответил уклончиво, решив на будущее держать себя под контролем. «А то все на физиономии написано». Любопытствующие поскучнели, отвязались.

Он купил бутылку сухого и кусок тыквы. «Проявлю широту, раз у меня хорошее настроение, хотя бы на вечерок оставлю мыша в покое...» Отрезал для него кусок сыра, а ядовитые таблетки сложил в жестяную коробочку и припрятал.

«Пусть будет борьба на равных. Мы оба дадим себе на сегодня роздых...»

И занялся готовкой. На ужин, смакуя, поел печеной тыквы, запивая ее сухим вином. Расслабился. Сварил кофе и позвонил своей бывшей сослуживице. Не застал дома, но ее мать сказала, что она скоро придет. «Ага...» Однако во второй раз не позвонил.

Выпил кофе на балконе с видом на тяжелые тучи, наползавшие на город. Потом пошел взглянуть, как там мышиный сыр. К его изумлению, мыш все съел. «Потрясающе! Какой умный парень! Вот тебе и мыш, прямо зависть берет...» И он лег спать. «Похоже, что мы подружимся...»

В порядке гипотезы, конечно.

Пятница

Постный день и зарплата. «Две сотни — долг, это — на жизнь, это — за телефон... Да-а...»

Служба. Однообразные часы. «Алина на той неделе родит...» «А если еще подлить ананасного соку...» «Я тебе говорю, Тэнэсеску без мыла всюду пролезет...»

Он вернулся домой поздно. Был в кино. Раз в неделю он ходит в «Патрию» по абонементу, все равно на какой фильм. Поел в экспресс-кафе, так что дома осталось только выпить чаю. Травяного: он и вкусный, и полезен для желудка.

«Все, каникулы кончились, сегодня я ему снова подложу отравы, посмотрим, что он будет делать. Как выкрутится...»

Кусок сыра на тарелочке оказался нетронутым. «Сбежал, бросил меня, а я-то, дурачок, так легко привязываюсь... Ну, конечно, оставил балконную дверь открытой, он и сбежал, проныра. Плюнул в душу...»

От расстройства он уронил банку с черешневым компотом. У него был талант зацепляться за гвозди, разбивать, проливать, вымарываться. Пустяки, конечно, но при такой любви к порядку и аккуратности эти происшествия выбивали его из колеи, съедали драгоценные минуты жизни.

«Ну, попадись ты мне только...»

В ярости он разложил отраву по всему дому. Даже в своей комнате. Даже в ванной. Он больше не боялся мышонка. Он его уничтожит. Избавится от этой постоянной угрозы.

«Думаешь, меня можно морочить до бесконечности?»

Позвонил знакомый, предложил пойти завтра на экскурсию. Он отрезал, что ему не до экскурсий, есть дела поважнее. «Спасибо в любом случае, что ты обо мне вспомнил...» Он пожалел, что пришлось отказаться. Такие предложения он получал не часто.

«Пакостный какой день, слава богу, что кончился...»

На ночь он не развернул даже газету.

Суббота

Он встал несколько позже обычного. Был выходной день. Умылся, легко позавтракал, выкурил сигарету, прослушал последние известия и занялся кардинальными поисками мышонка, решив выгрести все углы.

«Все равно надо было навести порядок... Если он и сегодня не появится, значит, его в доме нет и вопрос исчерпан. Можно спать спокойно...»

Хороший предлог для генеральной уборки. Он выбил ковер. «Какой денек прекрасный... Настраивает на работу...» Вымыл линолеум на кухне.

К вечеру он падал с ног от усталости, но дом сиял чистотой. Вся мышиная отрава, все ловушки полетели в мусорное ведро. Мыш

его оставил. Наверное, сбежал накануне, когда он забыл открытой балконную дверь.

«Я не способен удержать даже мышонка. Вот так-то. Признаю свой крах... Жизнь продолжается... Надо жить...»

Он хотел было снова позвонить той знакомой. Но передумал. В досаде долго курил.

Он заснул скорее, чем ожидал.

На рассвете зазвонил телефон. «Это еще кто в такой час? Вроде некому. Неужели она? Нет, быть не может...»

В самом деле, кто-то ошибся номером. Заплетающимся языком просил прощения: «Прости, друг...» «Ничего, ничего, бывает...» — процедил он, злой спросонья.

Поплелся в ванную, зажег свет, взглянул в зеркало, решил выпить глоток воды. Странный шум привлек его внимание. Он обернулся.

По ванне прыгал мышонок. Он в панике отпрянул к двери. Кровь ударила в голову. «Вот ты где был, проныра... Вернулся... Шастаешь по трубам? Окопался? Приходишь когда вздумается? Нравится меня морочить, да?..»

Как быть? Он растерялся. Как всегда, его застали врасплох. Он вообще не отличался быстротой реакции. Это было не раз проверено.

Снял гибкий душ и пустил теплую воду.

«Главное — соблюдать дистанцию. Посмотрим, как это ему...»

Он колебался: нападать или защищаться?

Мышонок заметался по ванне из конца в конец.

Силился подпрыгнуть, но борт был для него слишком высок. Осажденная крепость. Шансов на спасение нет. Он знал это, предчувствовал неизбежный конец. Поэтому и пробовал перемахнуть через край ванны. Из последних сил.

Напрасно.

Струя воды, все горячее, неотступно преследовала его, затрудняя движения. Шерстка намокла, вода действовала быстро.

Мышонок уже еле передвигался. Что-то похожее он видел по телевизору. Пожарники, сильная струя воды. Люди, разбегающиеся в разные стороны. Травля.

Он дрожал всем телом не хуже мышонка, не зная, что же дальше.

«Зачем ты явился, а? Что тебе от меня надо?..»

Он мог просто выгнать мышонка, выбросить с балкона, но тогда пришлось бы взять его в руки — а вдруг тот зашевелится, брр! Он схватил пластмассовый тапок и ударил мышонка с яростью, рассчитанной на медведя.

«На, на... Вот тебе... Ты нашел что искал! Сладкой жизни захотел? Покуражиться надо мной захотел? Получай...»

Не стоило смотреть на результат. Он отвернулся.

Ужас. Он пошел на кухню, взял тряпку и вынул мышонка из ванны, но несколько капель крови осталось на дне.

«Кошмар... Какое варварство...»

Он сунул убитого мышонка в помойное ведро.

Вернулся в ванную, открыл окно. Зеркало запотело от пара. Он задыхался. Все пахло кровью и смертью. В висках гудело, во рту было горько и солоно. Он стал мыть ванну. Но пятна как будто не отмывались. Он тер с ожесточением, сыпал порошок. «Отойдут, должны отойти... Я не смогу больше залезать в ванну... В эту ванну...»

Он выскочил на балкон. Прохладный воздух ударил в лицо. Он чуть отдышался. Лег досыпать взвинченный, в ознобе. «Дурацкий случай!..»

Воскресенье

Проснулся поздно. Часть выходного уже прошла. «Какое начало...»

Он представил себе расправу с мышонком. На рассвете совершено преступление, а миру хоть бы что.

Он выпил кофе. Сбегал в магазин, перед самым закрытием. Ему повезло. Обслужили. Персонал магазина его знал. Он вышел в числе последних.

Вернулся домой. Вынес мусор.

На душе скребло, он не мог есть. Надо выпить. Все равно что. Его мутило, он был мерзок сам себе.

Как он мог убить мышонка? Так привязаться в кои-то веки и... «Нет... Да... В общем... Надо жить...»

Посмотрел в зеркало. Какое страшное, злое лицо стало у него. На нем как будто написано: «Одиночество — не очень-то хороший щит. Ты жалок... Может быть, поэтому тебя никто не ищет...» Он метался по дому, не находя себе места.

Другие подробности неизвестны. Вполне возможно, он выпил немного водки, накурился.

Вечером открыл окно, взглянул на небо и шагнул в пустоту, стиснув зубы.

«Не закричу... Хоть раз в жизни не буду мразью...»

Исход каникул

Соседи засвидетельствовали, что он упал с подоконника. Следствие предположило несчастный случай. Человек хотел поправить занавеску и упал. Умысел? А кто подтвердит? Разве что зеркало.

Квартиру получил очередник.

Должна же быть хоть какая-то логика

Когда она встала в очередь, впереди было человек десять — пятнадцать, не больше. Она поколебалась, прежде чем решиться. «Постою раз в жизни. Праздник все-таки».

Она встала со своей скромных размеров кошелкой. Было еще темно и довольно холодно, весна запаздывала. Весну ждали все. На работе только об этом и разговоров. Зима затянулась и до сих пор так или иначе еще давала о себе знать.

Снег стаял совсем, но на улицах упорно держалась слякоть, и ветры, налетавшие с равнины, поднимали в воздух серые, грязные брызги, усугублявшие холод.

Она чувствовала себя усталой. Недосыпает в последнее время. И спит плохо. Принимает пилюли, но что-то мало помогает. И ребенок перестал слушаться. «Это нервы, надо поберечься...» — сказал врач. Сказать-то легко. У кого сейчас есть время слушать врачей? Нервы. Тоже еще нашли болезнь, сейчас у всех нервы. Блажь.

Выходя из дому, она взглянула в зеркало. «Господи, на кого я похожа... Надо бы в парикмахерскую хотя бы... Совсем опустилась».

За ней встал высокий гражданин с усами. Он не находил себе места, вертелся во все стороны. Поняв, что у нее нет охоты вступать в контакт, он завязал разговор через ее голову, с передними, и на том успокоился.

Обсуждали снос домов. В их квартале начинают затемно. Бульдозеры и экскаваторы ожили снова, после вынужденного зимнего перерыва.

— Вглубь они не пойдут. Так, передние ряды сломают... Хотя кто их знает, могут и передумать прямо на ходу...

Она, усталая, не могла следить за разговором, да и предмет ее не интересовал.

Проезжали машины, с силой гудя. На перекрестке то и дело собирались пробки. Автобусы, троллейбусы, пешеходы, самосвалы, строительные рабочие, крестьяне с товаром для рынка, трамваи по двум встречным линиям, настоящий ад. Бедные светофоры, сумеют они все распутать?

«Хоть бы мы двигались поживее...»

Она мерзла. Попыталась разглядывать очередь. Люди как люди. Такие же, как она. Не на что смотреть.

Озябшие, кто больше, кто меньше. Большинство беседуют. «Сколько можно говорить, о чем?»

Она думает о своем бывшем муже. Она не видела его два года. Алименты он присылает регулярно. Два его письма остались без ответа. Ребенок спрашивает о нем все реже. Не сегодня-завтра забудет. Неужели так ничего и не осталось от их истории? По праздникам, если не заставить себя суетиться, приходят не очень веселые мысли. Столько жизни вокруг, все чего-то хотят, добиваются.

И?

Хуже всего, что ребенок перестал слушаться. А мама без авторитета — как полковник без солдат: все вхолостую. «Мыть посуду? Еще чего!» Дерзкая девчонка.

Был бы отец, может она бы так не отвечала.

А она сама не в состоянии, не способна не то что ее отшлепать, даже просто одернуть.

Хотя следовало бы.

Но может быть, все еще уладится? Просто так, само собой? «Перемелется — мука будет». Как же. Сколько ее, такой мудрости, она слышала за свою жизнь.

А толку?

Просто так ничего ей не далось. За все пришлось платить. Иногда слишком дорого.

Очередь продвигалась вяло.

— Чего они там ковыряются? Деньги, чек — и пошел.

— Настоимся еще, пока до нас дойдет...

— Похоже на то... Хоть бы досталось...

— Вчера и после обеда подвозили...

Конечно, если вот так, ощетинившись, стоять, собеседниками не обзаведешься.

Что поделать?

Она старéет. Ей тревожно. Несколько месяцев назад перенесла операцию. Боялась, что умрет, но не умéрла.

Все время думала о ребенке. Что станет с девочкой без нее? И вот поправилась, ребенок здоров, только не слушается. Надо радоваться, что осталась жива и что все более или менее.

Но нет сил. Даже для радости нужны силы. Где их взять? Она и улыбается-то редко — когда скажут доброе слово или подарят цветы.

Цветы она очень любит. Девочка знает эту ее слабость и на ней играет, когда хочет чего-то от матери.

«Хитрунья какая выросла». Как не улыбнуться, как не поцеловать ее. Совсем большая, разбирается, что к чему.

Уж совсем светло, час как она стоит в очереди.

Ничего особенного.

Все нормально.

— Вы говядину тоже берете?

Она вздрагивает, оторванная от своих мыслей.

— Н-нет, я только свинину...

— Тогда можно вас попросить?.. Возьмите для меня два кило

говядины. Больше двух не дают в одни руки. Раз вы все равно не берете. Очень вас попрошу...

— Хорошо, пожалуйста...

Почему бы не взять? Она перекладывает кошелку из одной руки в другую и сует в карман сотенную, которую ей дает гражданка сзади.

Все мы люди, надо помогать друг другу.

Она возьмет два кило свинины для себя и два кило говядины для этой женщины с хитрыми глазами. Она бы ее не заметила, если бы та к ней не обратилась. Но просьба кажется ей естественной.

Снова молчание. Ее молчание. Другие разговаривают.

Холод пробирает до костей.

Сыро.

Чем ближе они к кассе, тем больше волнения. Все время вспыхивают скандалы. Под разными предлогами некоторые пытаются пролезть вперед. Очередь протестует. Еще бы.

Вообще-то мясные страсти ее никогда не задевали. Ребенок рос при ней, без претензий, интересы желудка — всегда на заднем плане. Она старалась привить девочке другие интересы. И сама непривередлива. В этом они похожи, мама и дочка.

Черт ее дернул встать в эту очередь!

Голубцов захотелось! Будут тебе голубцы!

Она в ярости, она окоченела. Знала бы, что придется столько стоять, хотя бы оделась потеплее.

Она молчит.

Холодно. Здорово холодно. Солнце и не думает появляться. И уже восемь. «Все утро псу под хвост... Пока выберешься отсюда... А еще белье с вечера замочено...»

Она стоит, съежившись, подле высокого гражданина с усами. Он что-то примолк. «Видно, тоже замерз».

— Совсем замерз,— говорит он ей, как будто прочтя ее мысли.

— Да, холодно,— отвечает она, удивляясь совпадению.

Она больше не может. Надо уходить. Ничего ей не нужно, никакого мяса. Кому сказать, кому поплакаться?

Ей ответят: «Ты что, милая, разве можно, стояла-стояла, так уж потерпи еще, обидно же!..»

И будут правы. Но эта логика сейчас не для нее. Она продрогла, измучилась. Она хочет домой.

Как хорошо в детстве, когда о тебе думают другие. Теперь она взрослая женщина. Детство вспоминать не приходится. У самой дочка.

Ком в горле, невыносимо холодно, ноги как деревяшки. А главное — эта промозглая сырость.

— Вы очень любезны. Я вас заранее благодарю,— говорит ей гражданка, для которой она возьмет два килограмма говядины.

— Не за что,— роняет она чуть слышно.

И дает подтолкнуть себя вперед. До кассы осталось несколько человек. Тут настоящая давка. Как всегда у кассы.

Она могла бы уйти. Но она этого не сделает. Это абсурд. А она должна быть логичной. Она купит мясо. У нее на глазах слезы. Но тут этого никто не заметит. Не до того.

Малина[1]

— А теперь помянем умерших. Упокой, господи, наших отцов.

Он отлил каплю вина в полную окурков пепельницу и залпом выпил стакан.

[1] Женское имя и название болгарского ликера, продававшегося в Румынии.

Пил он много, но не пьянел. По крайней мере, не признавался. У него скребло на душе. Черный бес скребся. Невыносимо. Раздирал до крови. Так он говорил.

«Я потому и пью только черное вино — утопить беса».

Он проучился четыре года в духовной семинарии, но его исключили за связь с одной бухгалтершей из соседнего банка. Друзья советовали ему все отрицать. Или хотя бы уходить от прямых ответов. Он твердил, что не может солгать, не приучен и против совести не пойдет. Он оступился; что говорить, сделанного не воротишь.

Цельная натура.

Заплатить пришлось дорого. Подобные признания участь не облегчали. Он не унижался, не просил ни прощения, ни даже снисхождения. Сказал, что любит эту женщину. Ему напомнили, кто он такой и что такое любовь к Господу: женщина была замужем.

Он пошел на стройку. Проработал там год, потом приятель устроил его к себе на фабрику. Кладовщиком. Он писал красивым почерком, не пил, разговору был вежливого, никогда никого не подводил. На фабрике не знали, что он из духовной семинарии. Он работал и жил как все, ничем не выделяясь. Женился, завел ребенка. Один пожилой техник из снабжения советовал ему выучиться на инженера. «При такой голове, как у тебя, не дело просто так небо коптить». Как будто непременно надо быть инженером, чтобы не коптить небо.

Когда у него умер отец, он с горя запил. Не каждый запьет, потеряв отца.

«Это не причина, товарищ...»

Тем не менее к выпивке он пристрастился, начались неприятности на работе. Обнаружилась недостача в несколько тысяч лей. Кому-то он выдал лишний шланг, кому-то неположенный набор инструментов. На него наложили штраф и перевели в цех. На «грязную» работу. Он стал работать в бригаде. Товарищи прозвали его батюшкой. Напившись, он заводил псалмы или «Господи, помилуй».

Начальник цеха хотел даже уволить его за пьянство. Он каялся, обещал исправиться, заверял, что больше в рот не возьмет, но его твердости хватало на неделю — на две. Почему? Зачем? Все пытали его, зачем он пьет. Откуда он знал зачем. «Пьянство до добра не доводит. Смотри, угробишь себя». Все давали ему советы, все его учили. Как мальчишку. И все смеялись над ним. Над пьяным человеком легко потешаться, он беззащитен. Потому-то собаки никогда не кусают пьяных и детей. Он и сам знал все истины, которые в него вбивали. Одно дело — знать, другое... Кто это сказал, что человек знает добро, но следует злу?

Его положили в больницу. С печенью. Пролежал два месяца. Анализы, лечение, все как полагается. Выйдя из больницы, к спиртному больше не прикасался. На работе говорили, что это врачи постарались, припугнули его хорошенько. «Эге, чего только не сделаешь, чтобы еще пожить... И я, помнится, курил, покамест...»

А он помалкивал. Думайте что хотите, дело ваше. Когда речь шла о нем, все знали, что хорошо и что плохо, встревать со своим мнением не имело смысла. Действительно, врачи грозили, что, если он будет пить и дальше, заработает цирроз. Плевать ему было на цирроз и на врачей.

Только одна медсестра была с ним ласкова, она попросила его не пить. Первый человек, который его попросил. Без крика, не поминая кару небесную, развод, коллектив и прочее. И он ей пообещал. Усовестившись. Было нелегко, но он сдержал обещание. Стоило ли об этом болтать? Пришлось бы выдерживать всякие вопросики: «Ты с ней..?» А он бы не выдержал.

«Вот что значит коллектив, взаимопомощь. Послушал, что тебе говорят старшие, опытные — и все с тобой в порядке, ты опять среди нас, хоть и батюшка. И семье радость».

Жена поблагодарила профсоюз, а дети стали получать в школе хорошие отметки.

Он не пьет, разве что стаканчик по праздникам и по торжественным случаям. И то через силу, без всякой охоты.

Ту медсестру он больше никогда не встречал. И даже не знает, как ее зовут.

Утро Миорицы

Из цикла «Жизнь больших городов»

1. Утро. Двоякая функция слова

Солнце подает робкие признаки жизни. Утро. Из жэковской квартиры («с положениями закона № 4/1973 ознакомилась и обязуюсь их соблюдать») выходит Миорица Белшуг. Она идет на работу. Как обычно по утрам, с тех пор как стала человеком труда. На остановке (А. Т. Т. Бухупртранс), предусматривающей островок безопасности, она встречает соседку с первого этажа, у которой ужасный муж: держит ее в черном теле, иногда бьет. Это ни для кого не секрет, хотя, может быть, таким образом он просто по-своему выражает супружеские чувства. Он у нее военный, ротный старшина. Любит выпить и, пьяный, впадает в буйство. Горланит песни, бранится и куражится на весь дом. К нему не подступиться. «Мне никто не указ, я у себя дома, пью на свои деньги...» Трезвый, он при встрече с соседями отводит глаза и бурчит что-то вроде «Здрасс...». Он довольно тучный и выглядит старше своих сорока пяти лет. Вечно копается в мотоцикле с коляской, который никак не дочинит до конца.

Соседка начинает привычно плакаться на жизнь. Конечно, ей тоже нужна разрядка. Все знают, сколько ей приходится терпеть. Слушают с должным сочувствием, но до какого-то предела, потом вакхические выходки старшины начинают обрастать смягчающими вину обстоятельствами.

Миорица худа, субтильна, не коротышка и не дылда, у нее голубые глаза, нос больше, чем нужно, и нет привычки носить лифчик. «Из-за этого я и не вышла замуж...» «Как же,— возражает ее мать,— просто ты у меня дурная и безмозглая...» Старуха вздыхает: иметь бы нормальную дочь, чтоб все, как у людей. «У людей в твои-то годы семья, дети, а у тебя все дурь в голове, гулянки да кино». Мать Миорицы зла на все кинематографы мира и на прочие развлечения, потому что они только морочат Миорицу, а ничего путного взамен не дают. Как всякая мать, она пытается найти объяснение дочкиным неудачам.

«Да, я люблю кино, что тут такого? Нужно же и мне какое-то удовольствие». Это правда, она часто ходит в кино. И выписывает специальный журнал, даже после подорожания. «Господи, столько денег на ветер...» Она в курсе всех новостей кинематографического мира.

«Мне сегодня будет удача, Миорица, такую светлую душу встретить с утра — это к добру... А мой-то что опять выкинул. Он с еще одним, с капитаном...»

Автобус не идет, и соседка талдычит свое. Жалуется, душу, видите ли, изливает. Не может без этого. А Миорица может? Она себе такого давным-давно не позволяет. Со школьных времен, когда была несмышленая и не умела держать язык за зубами.

«Я слышала, ты замуж выходишь. Мама говорит, помолвка уже была! Умница. Как я за тебя рада, самое время, ничего не скажешь...»

Мать Миорицы каждый год выдает желаемое за действительное. Ее не устраивает истинное положение вещей. Она одержима одним: увидеть дочь хозяйкой в собственном доме.

«Еще не пришел ее час,— пытается увещевать сестру тетя Ралука,— ну, не попался хороший парень, чем она виновата? Не выходить же за первого встречного. Охотников-то много в столице прописаться. Сама подумай, сестра... В мое время девушки так рано замуж не выскакивали... Нет, вру... Некоторые очень даже выскакивали... Даже очень молоденькие... Да... Всякое бывало... И чего ты так переживаешь, не пойму. Оставь девчонку в покое, найдет она себе пару, никуда не денется...»

2. Автобусная остановка. Решающий фактор

Женщины расстаются. Соседка садится в суставчатый троллейбус. Миорица остается ждать автобуса, который отвезет ее на завод, где она работает лаборанткой. Ей двадцать девять лет. Автобус не идет. У нее болит голова, накануне коллектив отпраздновал нескольких Константинов и двух Елен. Она тоже выпила что-то вроде ликера. Сухо в горле, познабливает. И еще этот автобус, который не торопится!

Идея: а что, если не пойти на работу? Что будет? Не рухнет же мир без нее. И так она первая во всех списках: на демонстрацию, потому что не замужем; встречать делегации, потому что молодая и симпатичная; на картошку, потому что у нее нет детей и надо сочувствовать тем, у кого они есть; на субботник, даже по воскресеньям («Чем сидеть дома одной, поезжай, пивка попьешь с ребятами. Там рядом отличная забегаловка. К обеду как раз управитесь»). Без нее не обходится ни одно мероприятие, будь то спортивная ходьба или конкурс типа «Кто ответит, тот получит». Даже в агитбригаду артистов ее записали, потому что больше никого не нашлось, а надо было отрапортовать на бюро, что такой почин есть. Если бы она училась на заочном, с ней бы больше считались. Как с товарищ Боздогиной. Потому что на предприятии, где женщины в меньшинстве, их нужно беречь, как выразился один товарищ на собрании. Вот именно, а она не женщина?

3. Миорица. Утро продолжается

Позавчера случился конфуз. Сама виновата: вызвалась на пари пройти по перилам балкона, а балкон на пятом этаже. Все смеялись и говорили, что ей слабо, а она зачем-то спорила. «Давайте на пари?» Они думают, что она ни на что такое не способна. Только посмеиваются. Она им покажет! Она раскраснелась и настояла на своем. «Пари, на два отгула!» Шеф лаборатории кивнул. И она выиграла: прошлась из конца в конец по перилам балкона пятого этажа шириной сантиметров тридцать.

Потом потеряла сознание.

Одна из женщин бросилась к ней. «Сумасшедшая! Ты о нас-то подумала? А если бы случилось несчастье?.. И вы хороши, тоже, что ли, не в своем уме? Стоят и смотрят...»

Какое там еще несчастье может случиться с Миорицей? Ну, пошутила. Созорничала... А вдруг бы оступилась? «Боже упаси, даже думать не хочу...»

Однако все дошло до начальства. Завотделом, мрачный доктор наук, прочел ей мораль строго, но без крика. Зато кадровик не стал церемониться. «Совсем спятила? Цирк, понимаешь, здесь устраивает... Да за такое дело я с тобой в два счета могу договор расторгнуть! Ты что, считаешь, что у нас неприятностей давно не было, а? Не дорожишь добрым именем предприятия? Хочешь, чтоб нас на весь город ославили? Скажи «спасибо», что я тебя не первый год знаю. И работала ведь всегда на совесть, и вела себя смирно...»

Миорица ничего не сказала. Какой смысл возражать? Объясняться, оправдываться? К чему? Она выдавила из себя лишь: «Этого больше не повторится», эквивалентное простодушному детскому: «Я больше не буду». Стараясь не думать, что два года назад этот самый товарищ, которого все боятся, закидывал удочку: «Может, что перепадет...» — и с тех пор имеет на нее зуб.

Все проходит, все забывается. Миорице скоро исполнится тридцать. «Желаем здоровья, счастья, успехов в труде...»

И вот в это летнее утро она решает не идти на работу. «Потеряю один отгул из тех, что за пари...» Скажу, что неважно себя чувствовала. И не совру: правда, неважно. Пусть шеф думает что хочет... Вот только дома что я скажу? Как маме объяснить? Она закудахчет, почему да как. Да как можно, вычтут же из зарплаты... Представляю».

Нет, домой возвращаться нельзя. Куда же пойти? Некуда. В кино? Рискованно, можно нарваться на дисциплинарный патруль. В парк — подозрительно, почему такая приличная девушка гуляет по парку спозаранку, когда все люди едут на работу?

И нет ни одной приятельницы, у которой можно было бы отсидеться. Все работают с утра. Если бы не соседка с первого этажа, она дождалась бы спокойно автобуса и избавилась бы от всех этих мыслей.

А теперь вот слоняется по улицам. Что-то надо решить. Прогулять? Немотивированное отсутствие? Пусть. Поговорить с кем-нибудь час-другой. Чтобы тебя выслушали, только не на бегу, не дергаясь. Вдруг тупая боль возникает в желудке. Еще не хватало! Это все соседка, сейчас она уже могла бы быть на работе, на своем рабочем месте, среди знакомых лиц, под их защитой. Вскипятить чайку, попросить таблетку. У одной сотрудницы всегда с собой целая куча пилюль. На все случаи жизни. Несчастная, у нее даже матери нет, приходится самой о себе думать. Ужасно хворая. И бессловесная. Сколько ни навалят работы — слова не скажет. И не жалуется направо-налево, как эта соседка, а ее жизнь не слаще. Может, дело в темпераменте?

«Я уже опоздала... Через пять минут соберут журналы...»

Миорица вздыхает и направляется к автобусной остановке. Она решилась. Она возвращается. Она все-таки пойдет на работу. Так лучше. Выбирать не приходится. Там по крайней мере есть с кем перемолвиться словом. А на случай, если боль не отпустит, имеется медицинский кабинет. Доктора, правда, никогда не застать, но ей поможет сестра. Такая рыжая, все пальцы в перстнях. Она со всеми запросто. Умеет себя поставить. Только вот питает слабость к молодым ребятам. Да, на работе как-то надежнее, чем сидеть дома и угрызаться, что прогуливаешь. Да еще мать пилит. Все. Она идет на работу. Решено.

4. Финал. Возможны варианты

Она села в пустой автобус. Добралась до места. На проходной у нее отобрали пропуск. Она отдала его не без гордости: новое ощущение, она никогда не опаздывала. Да, как ни странно, никогда, она любит точность и аккуратность. Но сейчас она рада, ей хочется смеяться. Она на работе. «Хорошо-то как!»

Она уверенно направляется к главному корпусу, к своей лаборатории. Боль почти прошла. Все становится на свои места. Она знает, что будет сейчас, что будет потом. И что ей надо делать.

«Привет, куколка. Веселая, видно, была ночка, никак до работы не дойдешь»,— поддразнивает ее коллега из соседней лаборатории.

Двое рабочих молча смотрят. Вначале она ежилась от этих долгих нахальных взглядов. Как будто какая-то гадость бегает по телу. Потом привыкла.

«Иди знаешь куда...» — мысленно посылает она коллегу, гордо шагая мимо.

Заботы остались за проходной. Она свободна! Все ей знакомо. Место. Люди. Все привычно. Умывальник в уборной, где она ополаскивает лицо холодной водой. Коридор. Шкафы с лабораторной посудой. Электропечь. Белая занавеска. Стол с кафельным покрытием, стеллажи, горшки с цветами на подоконнике. Без нее никто не польет цветы.

И она хотела все это бросить, со всем порвать! Что это на нее нашло с утра? Вернуться домой с автобусной остановки? Не пойти на работу? Взбредет же такое в голову! Рассказать товарищам — посмешить их?

«Ай да Миорица... Надо же...»

Они относятся к ней со всем пониманием.

Даже симпатизируют.

Мы заплатим

Я очнулся, и когда взглянул на витрину, она была другой, чем во сне.

Тудор Цопа. Испытание для писателя

Сначала он не понял, что там за шум. Женщина кричит, что ли? Потом подумал, что это пьяная компания. По субботам, если не спится, он позволяет себе читать допоздна. Бессонница — зато можно насладиться тишиной, городской, блочной. В деревне тишина не та, она тяжелее и давит.

Он не оторвался от книги, не встал с кресла. Опять раздались крики. Любопытство толкнуло его к окну. Он погасил свет и распахнул створки. На Александрийском шоссе было пусто и почти темно: то тут, то там анемичный фонарь, как старик на казенных харчах.

Кто-то кричал: «Человек умирает! Стойте! Умирает человек!»

«Это еще что такое?..» Толком разглядеть ничего не удавалось. Какие-то тени метались на обочине, у купы деревьев. Женщина в белом платье пыталась остановить машину. Отвезти кого-то в больницу, предположил он. Ночью звуки становятся неузнаваемыми. «Мы заплатим!»

Машины замедляли ход, некоторые даже притормаживали, шоферы высовывались из окон, но, поняв, чего от них хотят, проезжали мимо.

Желающих не находилось, хотя это «мы заплатим!» раздирало пелену покоя и ночи.

Белое длинное платье, свитер наброшен на плечи, каблуки, женщина была молодая. «Что делать, Мирча, если он умрет?» Дальше расслышать было трудно.

На мгновение он задумался, не спуститься ли к ним. «Подать руку помощи». Но тут же осадил себя.

К чему?

Он был сыт по горло красивыми жестами, благими намерениями, которые плохо кончались. Его редко понимали правильно. Когда и понимать-то было нечего, когда он просто, по-человечески протягивал руку, то натыкался на «Твое какое дело!», «Что ты-то лезешь?» или «Шел бы своей дорогой».

Он курил в оконной пустоте, не приходя ни к какому решению. «Всякая ночь — путешествие,— говорил он себе. И сам себе отвечал: — Все из книжек».

Было трудно оставаться спокойным при самой твердой установке на спокойствие. «Стойте! Остановитесь... Пожалуйста! Человек умирает! Надо в больницу! Мы заплатим!»

Все ехали мимо. Женщина в белом перебегала с одного края шоссе на другой. Он — курил.

«Каждый любит кого не следует, каждый счастлив когда не следует, никто никого не понимает, все связаны друг с другом насмерть... И всегда эта надежда, крохотная, слабая, где-нибудь в закоулке души, что, может быть, в другой раз, может быть, еще будет случай. И вот тогда-то... Тогда попытаемся... Еще и Чехов на нашу голову. Бросить к чертям книги... хоть на недельку!»

Со скрежетом остановилась «Дачия-1300». Женщина в белом бросилась к ней, пока шофер вылезал из машины. «Простите... там человек... лежит под деревом... он умрет... Его надо в больницу... Он вдруг весь задрожал и упал, как будто спит... Надо что-то делать». Шофер нарочито спокойно сказал: «Похоже на эпилептический припадок. Ничего страшного. От этого не умирают. Не волнуйтесь. У них это нормально...»

Сел за руль и тронул с места, а женщина, все еще пытаясь вникнуть в его слова, кинула вслед ошалелое «спасибо» и отошла в тень.

Он стоял у окна. Сигарета докурена, продолжение следует. Продолжение чего?

Из-за деревьев показался высокий человек в темном костюме. Он обнял женщину за плечи, и они пошли по шоссе, прижавшись друг к другу, гуляющим шагом, как будто ничего не случилось.

А что случилось?

И случилось ли?

Откуда ему знать, есть там кто-нибудь под деревьями на самом деле или нет?

Он затворил окно и взялся за книгу. Через полчаса опять разразились крики. «Наверное, тот все-таки умер и на него кто-то наткнулся...»

Он снова погасил свет и снова открыл окно. Другая женщина кричала другому мужчине:

— Заткнись! Заткнись! — Ее голос звенел от негодования.— Так не говорят с женщиной, когда от нее чего-то хотят...

Они шли, то и дело останавливаясь. Мужчина бранился. Спокойно. Уверенно. Беззлобно.

— А этот что тут разлегся?

— Тебе-то что, рожа бесстыжая? Такая же пьянь отпетая вроде тебя...

Она бросилась на него с кулаками:

— Ну? Ударь меня тоже, ударь!

Мужчина пошел вперед, не оглядываясь. Она — за ним. Больше ничего слышно не было, шума драки тоже.

«А этот якобы пьяный — что, так и лежит? На земле? Спуститься, посмотреть на него? А вдруг дождь? Что будет, если дождь?»

Человек, человек на земле. «Что делать? Позвонить? Кому? В этот час все спят. В «скорую»? В милицию? Там спросят фамилию, что да как, если тот умер, считай, что я попал в историю, показания, подозрения, почему не заявил немедленно, почему то, почему се... Еще и дело пришьют... А чем я виноват? Если тот умер, считай, что я влип... Следствие... Прокуратура. Этого мне только недоставало... И кто я такой, чтобы вмешиваться? В каком качестве? Нет, решено раз и навсегда, ни к чему такому близко не подходить. Гуманность всегда подозревают в эгоизме. Хватит с меня косых взглядов. «Вам-то что за дело? Больше всех надо?» Попробуй ответь на такое. Нет, я не выйду!»

То, что он оказался поблизости, это еще не причина... Угораздило же его не спать! Это все Чехов.

«Когда станет светло, тогда и выйду, взгляну, что и как... Подожду, пока подойдет народ, зачем мне лишние проблемы?.. Зачем Соне было влюбляться в доктора?.. Зачем? Абсурд, и все так перепутано... Как в жизни... Жизнь пройдет, а ты так и не... Никакого просвета...»

Из них двоих томик пьес уснул первым.

Утром он проснулся в кресле. Подобрал Чехова с пола, положил на стол, подошел к окну. «Воскресенье... Я проспал... Может, все-таки успею?»

Он наскоро оделся и вышел из дому. Город уже жил в привычном ритме: дорожное движение, спешащие люди, играющие дети.

Он увидел толпу на обочине. «Нашли того, наверное!»

Милиционер пытался навести порядок. «Проходите! Чего вы тут не видели? Недозволено собираться! Ну-ка, двигай отсюда, ты! Куда лезешь?.. Расходитесь, граждане, не мешайте работать. Ох, смотрите не нарывайтесь, меня если рассердить...»

Он подошел ближе и полюбопытствовал у мужчины средних лет:

— Что случилось?

— Столкновение. Грузовик виноват, смял «Москвича» в лепешку...

Он опешил. Бросился под деревья. Никого. Он смотрел во все глаза — может быть, какой-нибудь знак, какой-нибудь след вчерашнего. Женский крик: «Человек умирает! Мы заплатим!» — стоял в ушах.

Кто умирает? Кто заплатит? Ни знака, ни следа на траве.

— А вон там,— он махнул рукой в сторону деревьев,— никого не нашли?

Он ничего не понимал. Как никого? Вон там.

— Нет, гражданин, шофера выкинуло вон туда, на трамвайные пути. Увезли на «скорой». Насмерть разбился. А виноват не он.

Никого, никого под деревьями. Он стоял и смотрел, забыв про толпу. «Как же так, я же ясно слышал, я не мог ошибиться... «Мы заплатим! Человек умирает!»

— А машина только-только в обкатку пошла. Новехонькая. Надо же, жалость какая!

Согласно договору, ул. Эдгара Кине, № 8

— Обратите внимание, братья: вот и весна, вот и солнышко. Благодать-то какая! Погреем наши старые косточки... Кончено! Выходите из домов! Примерим все новое, с иголочки: дружество... любовь... Без оглядки, без ложного стыда! Все так прекрасно, чего еще желать? Обнимемся. Братья, братья мои, я люблю вас, всем сердцем, возьмите, возьмите мою любовь... Будем один за всех, все за одного... Меня все любили, как я был помоложе. Вот и жена мне говаривала: «Хороший ты парень, Ион, страсть какой хороший. Только люди этого не понимают. Достался мне подарок, деваться некуда. Я тебя люблю, какой ты есть». Слышите, братья: «Люблю, какой есть». Это жена, упокой, господи, ее душу, так мне говаривала: «Люблю, какой есть». Правда и то, что я был помоложе, не без этого... Смотрите, матушка-природа как оживает... Хоть и скверик, далеко до гор и до синего моря. Почки, бутончики и трава зазеленела. Снова зеленая трава, братья! Ну, не радость ли? Так давайте же радоваться, давайте кричать во весь голос, оповестим землю, оповестим небо, оповестим космос! Пусть и в космосе знают: трава зеленеет, братья! Трава наша, насущная, как хлеб. Когда весна, разве хочется есть? Ты воздухом сыт, такой он свежий и вкусный, на что тебе брюхо, когда солнышко светит? Не прячьтесь от солнца, не сторонитесь травы! Как хорошо! Душа в душу со всем светом. С круглой землей. Господи, сколько счастья! Я недостоин, недостоин. Я ничто, я всего лишь человек, ей-богу, я не стою такого счастья. Моя бедная слабая душа не выдержит... А дети, посмотрите на детей! Они бегают, они играют, они смеются. Пусть их бегают, пусть рвут цветы. Позволим им рвать

цветы, почему мы им никогда не позволяем? Поставим таблички во всех парках: «Ходите по траве! На здоровье!» Хотя бы на недельку. Братья, братья, я люблю вас!

Как говаривала моя бедная жена...

Он сел на скамейку, расстегнул пиджак, вынул сверток с краюхой хлеба и куском брынзы и тихонько принялся за еду, улыбаясь каждому прохожему:

— Весна, брат, здравствуй!

Люди проходили мимо, прибавляя шаг, глядя с неприязнью, брезгливо. «Тунеядец. С утра уже готов. Позор какой. Почему не примут меры?»

— Весна, братья и сестры. Здравствуйте! — отвечал он с улыбкой, как будто его осыпали не бранью, но дарами.

Солнце стояло сзади, облокотясь на его плечи.

Но раны затянулись...

— Кореей у нас вообще-то занимался такой Дину. Он все провернул от начала до конца. Проекты — его. Переговоры с заказчиком — на нем. Партнеров уламывать — тоже он. «Электроника» только все визировала как поставщик... И вот, является он ко мне со своими бумажками, тут-то я его за грудки: дескать, а обо мне, дорогой товарищ, ты не подумал? Я, правда, до этого Кореей не интересовался. Да и дела с ней были запущены. Так что Корею я ему предоставил — и вдруг получилось. Врать не стану, уладил он все отлично... Я возился с бельгийцами. Пришлось поездить. Строительство было в самом начале... То в Антверпен, то в Стрежа-Кырцишоару, мы там предполагали разместить объект, чтобы поближе к Дунаю... Когда Дину явился ко мне на подпись, я уже вполне созрел для Кореи... Что ему оставалось, Дину-то? Мы слишком давно были знакомы, чтобы он мог мне отказать. Так если подумать, я лет десять у него заведую КБ... Деваться ему было некуда, он меня включил в список на Корею... Поехал в «Электронику», завизировал... Хороший парень... Мог бы и я сам, конечно, но эти из «Электроники», знаете, привыкли работать непосредственно с ним. Он все хлопоты на себя взял, я вам уже говорил. Ну, до этих пор все шло ничего... А дальше — нужна виза завотделом, и тут — гром среди ясного неба, он меня вызывает на ковер. «Молодцы, ребятишки, выбили себе Пхеньян, а я тут сиди и отвечай за то, что мы напортачили в Кымпулунге и в Ораде?..» Что ж, его тоже можно понять. До пенсии всего ничего, а ни разу не был в Азии... Не скажешь же: выходите спокойно на пенсию, без Азии перебьетесь. Это было бы жестоко. Я отвел Дину в сторонку и объяснил ему ситуацию... Просто, по-человечески... Ему пришлось проглотить пилюлю. Куда нам тягаться с начальством? У начальства нюх, оно своего не упустит... Вместо того чтобы посылать тех, кто действительно занимается проблемой... Тут ведь вопрос компетенции... Дину сначала кривился: и так нас, дескать, уже шестеро, потому что эти из «Электроники» тоже кого-то вставили. И без представителя главка тоже не обойтись, плюс один из министерства для координации, плюс две переводчицы, одна немецкая, другая французская, поскольку мы летим через Москву с пересадкой... Все-то он, этот Дину, знал, просто чудо... Но по моему настоянию все-таки пошел в «Электронику», попросил, чтобы включили в список шефа. Они — тыр-пыр, но деваться некуда, включили. Я было успокоился. Больше вроде никаких загвоздок быть не могло. Все вроде по форме. Бумаги пошли в министерство. Ну, список составляется, естественно, в порядке должностной иерархии, так что Дину поставили в хвост. Хотя, конечно, он, это я и сейчас скажу, один провел всю предвари-

тельную подготовку и, разумеется, досконально знал дело. Это несомненно. Никто из нас, я вам честно признаюсь, ничего не смыслил, все ключи были у Дину. И вот — ждем мы решения, а тем временем по своим каналам узнаем, что возникли трудности — слишком большое число специалистов на одну командировку. В конце концов решили сократить двоих товарищей. Одного от «Электроники», одного — от нас. Ну, и чтобы не было ненужных разговоров... обид... Да-а, знаете, как бывает, все мы люди... Надо было спасать коллектив от разброда... Так что пришлось отказаться от Дину... Тем более он стоял последним в списке... Мне было его искренне жаль... И эти из «Электроники» тоже урезали одного инженера, напарника Дину... С ним и так не знали, что делать: разведен, платит алименты, куда его такого? Ну, а мы, каково нам было ехать без Дину? И шеф и я понимали, что без него нам не обойтись. Попробовали даже возражать, но нас поставили перед выбором: либо Дину, либо один из нас... Пришлось, по справедливости, заткнуться... Принялись мы тогда за Дину... Встретились с ним несколько раз, то у меня дома, то у шефа, а то, знаете, если на работе, пойдут толки... Любопытных-то у нас хватает... Я зубрил, как в школе, записывал, чтобы ничего не забыть. Если они скажут то-то и то-то, мы им — то-то и то-то. Если они так-то и так-то, мы их вот так и вот эдак. Целый воз вариантов, Дину все продумал. Отличный был инженер этот Дину, дело свое знал. И с характером: твердый характер, волевой, трансильванский, что называется. Ну, кто другой проявил бы такую выдержку в сложившейся ситуации?.. Я себе пообещал, что привезу ему оттуда что-нибудь симпатичное... Правда, ничего как-то не попалось... Мне действительно было его очень жаль. Хотя Дину держался прекрасно, а я как будто перед ним заискивал, не знаю почему. Это перед подчиненным-то! Когда мы вернулись через шесть месяцев, Дину от нас перевели. Мне объяснили, что была реорганизация и нескольких специалистов главк перераспределил по горячим точкам индустрии. Так что Дину направили в Балш, я его с тех пор и не видел. То есть он к нам заходил раз под Новый год, но я как раз уезжал с делегацией. В Копенгаген... Это вы сказали «Корея», я и вспомнил... Если бы вы знали, как там красиво по утрам. Солнце мягкое. Ласковое до невозможности. Американцы их бомбили, изранили город, но раны затянулись. Ничего не заметно. И всюду цветы!

Рихард Вагнер в одном отеле, далеко

Когда меня впервые укусила собака, у меня были билеты на «Тристана и Изольду». Пришлось отказаться от театра и выслушать заверения одного доброхота, что ничего худого не случится, если я пройду курс известных инъекций в живот. Я отправился в соответствующий Центр, талончик был выдан, карточка заведена, консультация с дежурным врачом пройдена, и таким образом я поступил в распоряжение медицинского персонала. Целую неделю у меня маковой росинки во рту не было.

Пришлось круто, но я выжил. Великий ученый Пастер и моя ярко выраженная воля к жизни позволили человечеству вздохнуть с облегчением — уф! — еще один индивид спасен и возвращен обществу.

Во имя гуманизма и всеобщего блага.

Я исходил благодарностью к человечеству.

Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Человечество смотрело на меня снисходительно и пожимало плечами. Только один раз меня спросили: «Что это с вами, гражда-

нин?» Я попытался объяснить интересующемуся суть моей радости и моей признательности, но он не стал слушать. Произошло недоразумение.

Потом я узнал, что маркиз де Сад вовсе не был садистом. Напротив, он был мученик идеи. Некоторое время провел в изоляции. В полной. В его время еще не придумали отелей и блочных многоэтажек. Поэтому он жил больше по тюрьмам.

Когда я был в Сиднее, в краю кенгуру, меня поселили в одном отеле неподалеку от оперного театра. На берегу океана. Как это все называлось, не помню. Так или иначе, но в тот сезон не играли «Тристана и Изольду».

С утра я ходил по делам, а вечером гулял по набережной, слушая шум волн в темноте и тумане. «Ночь ступала на ножах». Мне было страшно возвращаться в отель. Я остался при убеждении, что Вагнер родился в Австралии,— ложное убеждение, как оказалось после.

Номер мне отвели большой и светлый, хотя и без телевизора. Мелочь, но меня она обескуражила. «Как можно жить в гостинице одному, и без телевизора?»

Я задал этот вопрос в бюро обслуживания, мне ответили, что по заказу было без телевизора — без телевизора, надо ли объяснять, дешевле, — но если я желаю, никаких проблем, мне немедленно его доставят. «Да нет, спасибо, это я так...» — ответил я, нащупывая в кармане командировочные в свободно конвертируемой валюте.

В Австралии меня не укусила ни одна собака и все прошло нормально, хотя у ночей были голые и холодные стены.

Мне недоставало друзей, и я во множестве отправлял домой открытки с дикой собакой динго. Даже тем, кто чинил мне препятствия при выезде. Слава богу, мне было ради кого жить.

Я вернулся на родину счастливый, что наконец-то соединюсь с семьей и друзьями. Я привез для каждого по милому пустячку, и жизнь больше не казалась мне такой, как в отеле.

«Тристана и Изольду» мне удалось послушать только в следующем сезоне, вместе с женой. Она была бесконечно довольна, что может по этому случаю справить себе новое платье.

Разъезжая по командировкам, я понял, что надо избегать жить в отелях и ходить на оперы Вагнера.

У меня нет призвания к одиночеству и героизму. Меня страшат голые стены и певцы со слишком зычными голосами.

Теперь из поездок я каждый вечер звоню жене, сколько бы это ни стоило, просто поболтать. Ее потрясает такое внимание, и она платит мне заверениями в своей совершенной преданности. Как тут не растрогаться, как не смотреть в будущее с надеждой!

■

АНТЕ ПОПОВСКИЙ

Перевод с македонского ДАВИДА САМОЙЛОВА

Магия символа

Македонский поэт Анте Поповский принадлежит к так называемой «второй генерации» поэтов послевоенной литературы Югославии, для которых свойственны обращение к сложным образным структурам и бóльшая, чем это было у предыдущего поколения, открытость — попытка преодоления региональной замкнутости. Последовательное использование символа, имеющего, как и у многих других македонских поэтов наших дней, глубокие фольклорные корни, едва ли не самая характерная его черта. Если бытование стержневого символа свойственно и другим македонским художникам («Молитва о теле» Ацо Шопова, «Письма к Децению» Петре Андреевского, «Зерна» Радована Павловского, например), то для Анте Поповского символика является способом познания глубинных основ бытия, а его поэтика непредставима вне речевых принципов старославянских источников. В книге «Тайнопись» (1975) Анте Поповский обращается к символу Феникса, варьируя мифологический смысл вполне современными историческими аллюзиями,— огонь, вырывающийся из пепла, то грозит уничтожить все живое, превращая день в ночь, когда «небо волочится по земле», то светит в «неумелых буквах» отцовского письма, что хранится в семейном ларце, «как остывшее солнце». В сборниках «Вардар» (1958), «Непокорность» (1964), «Камни» (1972) поэт трепетно припадает к родникам отечественного сознания, где «младенцы, едва научившись ходить, отыскивают черепа по садам», «где свобода мудро пишет мужицкие лики вместо образов в храмах и где лето стоит, как судьба, до последнего повстанца».

В публикуемых ниже стихотворениях «Грядущи посуху и по морю», «Небольшой урок математики сыну» Анте Поповский с горечью и печалью свидетельствует об эфемерности жизни, повисшей на тонкой ниточке надежды избежать смерти человеческого рода.

Мне труднее всего тебе объяснить,
что в единице — счетчик Гейгера,

который когда-нибудь обнаружит следы моего голоса,
мои исчезнувшие останки,
торжественность моего молчания.

Поэзия героической Югославии все больше становится антивоенной поэзией. Это прямо относится и к стихам македонца Анте Поповского. В стихотворении «Когда-нибудь, бродя вдоль высохшего русла» есть такие строки:

Когда-нибудь, составляя из лоскутков истлевшее знамя,
скажут: Кто знает, до каких пределов досягнуло войско...

А в стихотворении «Грядущи посуху и по морю» почти с библейской интонацией пророчества, сказано:

Грядущи посуху и по морю,
Воистину узрел я:
— Войско само себя побивает.

Остается вечным: Родина, Материнство, Человечность. И ощущение безграничных пределов человеческого рода.

Когда-нибудь бродящий по земле наш потомок, быть может, скажет слова общие хотя и верные но холодные они покоятся в этой земле, мои предки; но «когда-нибудь ах когда-нибудь разглядят ли внуки ту засохшую ветку, на которой висит вышитая рубашка моей матушки...». «Вышитая рубашка» — признак народности, теплой

принадлежности к национальным истокам, а сам образ — удивительно волнующее утверждение ценности мига, конкретной бесценности одного мига вечности...

Чувство патриотизма у Анте Поповского обогащено предвосхищением космического бытия человека. «Небесная пыль»— символ будущего существования — «словно дождь золотой» прольется на «земной прах». Подобно мифической Данае ждет мысль человеческая «дождя золотого» — прозрения иных просторов и судеб...

Глубокая философская поэзия Анте Поповского полна тайны существования. Но в ней живет и вера в необозримую жизнь живого — вера, созвучная надежде русского философа А. Федорова. Не так ли надежды людские «потревоженные, постучат, чтобы им открыли окно, чтоб покинули они свое отдаленное время, чтобы дали им уплыть в бесконечность, где когда-то никто и не ведал, что есть прах».

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

Небольшой урок математики сыну

Бешеный пес непременно лает на икс,
игрек — белая лошадь, на которой цыган, распевая в ночи,
мчится вскачь по чистому полю.

Ноль явился, чтобы поглядеть
на прекрасную жатву в пустыне,
на дожди, на жнецов.

Корень из минус единицы есть голос минувшего,
череп, найденный на поле сражения,
день, когда небо волочится по земле.

Минус — знак отрицания,
который не ставится перед:
Я люблю тебя,
Я защищаю отчизну,
Я жду тебя...
Мне труднее всего тебе объяснить,
что в единице — счетчик Гейгера,

который когда-нибудь обнаружит следы моего голоса,
мои исчезнувшие останки,
торжественность моего молчания.

В старом отчем доме под воскресенье

С той поры, как упомню себя, дома, под лампадою,
стоит деревянный ларец
с резьбою на крышке — корень с лозою.

Пыль насела и виноградные листья покрыла
темной сеточкой,
как на лице моей матушки.

Хранится еще в том ларце,
как остывшее солнце,
письмо, что когда-то прислал мой отец,

и сто́ит когда-нибудь вечером под воскресенье
мне оказаться в своем отчем доме
и ощутить неумелые буквы письма,

как они, потревоженные, постучат, чтобы им отворили окно,
чтоб покинули они свое отдаленное время,
чтоб дали им уплыть в бесконечность,

где когда-то никто и не ведал,
что есть прах.

Когда-нибудь, бродя вдоль высохшего русла

Когда-нибудь, бродя вдоль высохшего русла,
скажут: Как знать, отчего обезводел ручей...

Когда-нибудь, глядя на застывшие стрелки часов,
скажут: Как знает, чье время они указуют...

Когда-нибудь, изучая древний скелет,
скажут: Кто знает, в каких мерзлотах он окаменел...

Когда-нибудь, составляя из лоскутков истлевшее знамя,
скажут: Кто знает, до каких пределов досягнуло войско...

Когда-нибудь, проходя мимо могил, заросших травою,
скажут: Пребывают в покое, нас ожидая...

Когда-нибудь, ах, когда-нибудь разглядят ли внуки
ту засохшую ветку,

на которой висит
вышитая рубашка моей матушки...

Незнаемое

Как подумаю о тебе,
загорятся полночные золотые огни,—
может, кто-то навеки

заснул в долинах голоса твоего,
все слышнее звучащего?

Как подумаю о тебе,
заплещется беспокойное море —
может быть, для кого-то,
кто задумал письмо написать,
а ты — его тайная азбука?

Как подумаю о тебе,
польет допотопный ливень,—
может быть, в одиночестве кто-то
вновь рисует
силуэт своей родины?

Откуда же нам возвратиться

Откуда же нам возвратиться,
если скованы вечною стужей, опустошающей душу,
даже из самих себя мы не вышли?

Небесная пыль заметает следы наших долгих скитаний,
и нам остается
лишь тосковать по себе самим!

Нынче вновь воскресенье, я лежу в пустоте,
словно в темной ночлежке,
и молчу.

О Господи,
откуда-то в мысли мои нисходит она,
словно рукопись лета,
словно дождь золотой
на земной прах.

Алтарь

Вместо того чтоб в себе поселить, превратить в свою кровь,
Ты из меня сотворила алтарь,
Чтобы всякий к нему припадал.
— Так ты меня раздала. Так меня истребила.

Вместо того чтобы позабыть мое имя,
Ты на каждом камне его изваяла, на каждой ветке его начертала,
И теперь любой ветерок времен колеблет меня.
— Так ты меня раздала. Так меня истребила.

Вместо того чтоб меня погрести под девятью земными покровами
за девять времен до себя,
Ты пустила меня бродить по дорогам,
Повсюду со всеми искать тебя и не находить.
— Так ты меня раздала. Так меня истребила.

Ты где-то — но где?
Иже еси — или нет тебя?

Македония

1

Выжмите травы,
ее вы нацедите.

Прильните к каменьям,
имя ее вы услышите.

Погрузитесь в реки,
дно вас ею пожалует.

Прилягте соснуть,
и ночь вас ею укроет.

2

На этом дубе имя твое начертано,
чтоб его смыли дожди
и ты напоила бы
жаждущих в недрах земли.

На этом поле полоску тобою засею,
чтоб поднялись колосья
и ты бы насытила ими внуков.

На этом холме оставлю тебя,
чтобы, когда отойду,
вновь увидеть тебя

просторной.

3

Вот она — простая земля из двуликого камня и солнца,
где младенцы, едва научившись ходить, отыскивают
черепа по садам.

Вот она — простая земля из паутины и влаги,
где свобода мудро пишет мужицкие лики
вместо образов в храмах
и где лето стоит, как судьба,
до последнего повстанца.

Вот она — простая земля из утомленного дыханья и молчанья,
по которой время уходит и возвращается вспять,
чтоб разделить с ней кажущееся молчание.

Вот она — простая земля из ожиданья и мук,
которая даже звезды научила перешептываться по-македонски.

А ее никто и не знает.

4

Вверх по хóлмам поднялись туманы
И луну похитят.

Вниз по теченью,
вверх по дубраве,
кто ведает, который век гремят деревяшки,
обутые в солдатские башмаки.

5

Для волчьего рыка и страха небесного сотворена страна моя
без кипарисов и радуги.

За три дня до приплытия óблака в небо страны моей
его досуха выпивают могилы.

И черная тень кинжала вместо креста осеняет твои могильные
камни
во веки веков.

Ибо что остается этим диким растениям и чернолесью,
кроме как ждать непришедшего.

6

Я нагляделся на месяц. Моя опаленная душа,
как каплю, всосала тебя на три жизни вперед, и опять я горю...

Я истек всеми реками и принес морям пересохшие русла.
И меня жжет боль: не прячется ли соглядатай в самой твоей плоти.
Ибо сызмала ты научила нас
так просто и ясно понимать друг друга.
У кого нет ножа — у того нет и счастья.

7

Этим утром несколько новых шагов до тебя
остались недосягаемы.

Мне кажется, мы расстаемся:

твой путь — вверх,
мой путь — к тебе.

Растопчи меня, упрячь в свои корни,
чтоб никогда нам не разлучаться.

Грядущи посуху и по морю

Грядущи посуху и по морю,
Воистину узрел я:
— Войско само себя побивает.

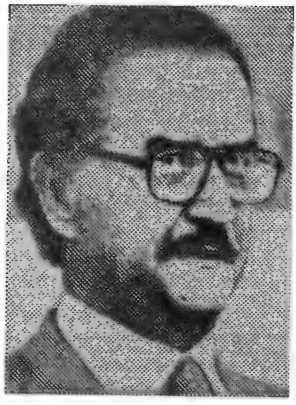
Я узрел: меч рассек камень сердца,
И кость раскалывает кость.
И явилось великое знаменье:

В солнце одетая женщина
В поле печальном
Кличет по имени сына.

А сын в земле слышит, но не отзывается,
Злосчастный, заколотый.

Грядущи посуху и по морю,
Воистину узрел я:
— Войско само себя побивает.

■



КАРЛОС ФУЭНТЕС

Старый гринго

РОМАН

Перевод с испанского МАРГАРИТЫ БЫЛИНКИНОЙ

Уильяму Стайрону,
чей отец увидел меня в своем сне
о Гражданской войне в Северной
Америке.

Кто знает, что станется с твоими костями и сколько раз тебя похоронят?

Томас Браун

То, что вы называете смертью, это всего лишь последняя боль.

Амброз Бирс

I

Она чувствует себя очень одинокой и предается воспоминаниям.

За окном ей порою виделись мелькающие силуэты Арройо, луноликой женщины и старого гринго. Это не были призраки. Они просто оживляли свое прошлое, надеясь, что она сделает то же самое и присоединится к ним.

Но она это сделала лишь долгое время спустя.

Прежде всего надо было перестать ненавидеть Томаса Арройо, который сначала показал ей, какой она могла бы быть, а потом воспретил и думать, что она может когда-нибудь такою стать.

Он всегда знал, что она возвратится домой.

Но он позволил ей увидеть себя такой, какой она была бы, если бы осталась там, а именно этого никогда не могло случиться.

Ей надо было погасить свою ненависть к нему, и на это ушли многие годы. Рядом уже не было старого гринго, чтобы ей помочь. Исчез и сам Томас Арройо. Том Брук[1]. Он мог бы дать ей сына с таким именем. Нет, теперь незачем думать об этом. Луноликая женщина вела его за собой к безымянной могиле. На Томасе Арройо поставлен крест.

С ней навечно остались только те мгновения, когда она, пересекая границу, оглянулась и увидела две фигуры: солдата Иносенсио и мальчика Педрито, а за ними, в завесе пыли,— как ей теперь казалось — молчаливо рисовались дни и часы, просившие ничего не забывать: она была в Мексике и возвращалась на свою родину, не умеющую помнить, а Мексика уже не с нею. Мексика исчезла навсегда, но памятливая пыль, упорно окутывая ее былыми часами и днями, неслась вместе с ней по мосту через пограничную реку[2], по зарослям мескита[3] и

© Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V., México, D. F., 1985.

[1] Arroyo — ручей, поток *(исп.)*. По-английски — brook. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Имеется в виду река Рио-Браво-дель-Норте (в США ее называют Рио-Гранде), по которой в значительной части пролегает граница между Мексикой и США.

[3] Низкорослый кустарник из семейства мимозовых.

полям пшеницы, к равнинам и дымящимся горам, к большим глубоким и зеленым рекам, которые так любил старый гринго,— неслась с ней, пока она не оказалась в своей квартире в Вашингтоне, на берегу Потомака, на берегах Атлантики, в центре Вселенной.

Тут пыль рассеялась и сказала ей, что теперь она совсем одна.

И она стала вспоминать.

Одна.

II

— Старый гринго приехал в Мексику за своей смертью.

Полковник Фрутос Гарсиа приказал поставить вокруг холмика фонари и быстро копать. Солдаты, истекающие потом, голые по пояс, вонзили лопаты в жесткие корни мескита.

Старый гринго. Так называли здесь человека, о котором сейчас упомянул полковник, а малыш Педро напряженно смотрел, как работают люди в ночной глуши. Ему снова привиделся пистолет, скрестивший свою пулю с серебряным песо, подброшенным в воздух.

— По чистой случайности встретились мы с ним в Чиуауа в то утро, и хотя он ничего не сказал, мы все поняли, что пришел он сюда, чтобы мы его тут убили — мы, мексиканцы. За тем он и явился. Потому и пересек границу как раз в ту пору, когда еще мало кто из нас уходил из родных мест.

Обрывками красных облаков летела над фонарями во тьму сухая земля с лопат.

— А вот им, гринго, на месте не сидится,— говорил полковник Фрутос Гарсиа,— они всю жизнь переходят границы — и свои и чужие. Вот и старик перебрался к нам, на юг, потому что перешел уже все границы в своей стране.

— Эй, поосторожней!

(«И эту границу, здесь, внутри?» — говорила американка, касаясь своей головы. «И эту границу, там, внутри?» — говорил генерал Арройо, кладя руку себе на сердце. «Есть граница, которую мы отваживаемся переходить только ночью,— говорил старый гринго.— Это граница, созданная различиями людей, нашими сражениями с самими собой».)

— Старый гринго нашел свою смерть в Мексике. И все потому, что перешел границу. Разве это не ясней ясного? — говорил полковник Фрутос Гарсиа.

— А помните, как он пугался, когда ему случалось поранить бритвой себе лицо? — сказал Иносенсио Мансальво, солдат с узкими зелеными глазами.

— А как боялся злых собак,— добавил полковник.

— Нет, неправда, он был смелый,— сказал малыш Педро.

— А по мне, он был святой,— захохотала Куница.

— Нет, ему всегда хотелось, чтобы его просто помнили таким, каким он был.

— Осторожней, осторожней!

— Потом-то мы мало-помалу узнали его жизнь и поняли, зачем явился в Мексику старый гринго. Думаю, он правильно сделал. С первого дня не скрывал от нас, что очень устал, жизнь пошла вкривь и вкось, а мы его тут уважали, и он никогда не выглядел уставшим, и отваги у него было хоть отбавляй. Ты прав, парень. Он был даже слишком храбрый, себе во вред.

— Эй, осторожней!

Лопаты ударились в доски, и солдаты на минуту приостановились, отирая пот со лба.

Старый гринго любил пошутить: «Мне хочется поглядеть, метко ли стреляют эти мексиканцы. Моя работа кончилась, и я тоже. Мне нравится игра, мне нравится драка, я хочу посмотреть на нее».

— Да, смотрел он на все вокруг, как прощался.

— И семьи у него не было.

— Вот и бросил он все на свете и поехал к местам своей молодости: в Калифорнию, где раньше работал журналистом, потом на Юг Соединенных Штатов, где сражался в Гражданскую войну; потом в Новый Орлеан, где когда-то пил и гулял напропалую.

— Ох, мой полковник, все-то вы про него знаете.

— Не трожь полковника. Видишь, ему охота порассказать.

— А потом он приехал в Мексику. Семейная тяга. К местам, куда приходил и его отец — тоже солдатом,— когда они к нам вторглись, более полувека тому назад.

«Он был солдат, сражался против голых дикарей и донес флаг своей родины до столицы одной цивилизованной расы далеко на юг».

Старый гринго любил пошутить: «Хочется поглядеть, метко ли стреляют эти мексиканцы. Моя работа кончилась, и я тоже».

— Этому мы не верили, потому как старик он был бодрый, молодцеватый, и руки у него не дрожали. А в войско моего генерала Арройо он попал из-за тебя, Педрито, ты дал ему зацепку, а он ее использовал с помощью кольта-44.

Люди опустились на колени вокруг разрытой могилы и руками соскребали землю с углов соснового ящика-гроба.

— Говорил он еще, что умереть у стенки, стать решетом от мексиканских пуль— не такой уж плохой способ покончить с жизнью. Посмеивался: «Куда лучше, чем умереть от дряхлости, от болезней или сломать себе шею, свалившись с лестницы».

Полковник на мгновение умолк; ему явственно послышался стук дождевых капель. Взглянул на сухое небо. Шум моря затих.

— Мы так и не узнали его настоящего имени,— прибавил он, глядя на полуголого и потного Иносенсио Мансальво возле тяжелого, упорно цепляющегося за дикую пустыню гроба, который словно бы успел врасти в эту землю.

— Их не разберешь, имена этих гринго, да и на лицо они все как один, и говорят по-китайски, эти гринго,— захихикала Куница, которая ни за что на свете не пропустила бы ни одних похорон, а тем более могильных раскопок,— они как китайцы, все на одно лицо, линялые, все-все как есть белесые.

Иносенсио Мансальво оторвал полусгнившую доску от гроба, и показалось лицо старого гринго, больше тронутое ночью, чем смертью, тронутое природой, подумал полковник Фрутос Гарсиа.

На дубленом, землистом лице с губами, растянутыми ухмылкой смерти, обнажившей десны и длинные зубы — лошадиные и его, гринго,— застыла вечная насмешка.

Все с минуту глядели на то, что позволяли видеть ночные огни, отраженно мерцавшие в запавших, но открытых глазах трупа. Мальчика больше всего удивило то, что гринго и после смерти выглядел аккуратно причесанным, будто его белые волосы пригладил какой-то чертенок-брадобрей, который там, внизу, прихорашивает мертвецов, чтобы они понравились старухе-смертухе.

— Старухе-смертухе! — хохотнула Куница.

— Живей, живей,— поторапливал Фрутос Гарсиа.— Быстрее вытаскивайте его, завтра же утром старикан должен быть в Камарго,— и добавил раздумчиво:— Живей, дорога-то уже пылит, а если задует ветер, старый гринго может совсем от нас уйти...

Действительно, так едва не случилось: подул ветер над пустынными землями — глиняными карьерами и соляными копями, над землями непокорных индейцев и испанцев — отступников и авантюристов; над заброшенными рудниками, отданными подкрадывающейся мгле преисподней... Действительно, труп старого гринго едва не унесся с ветром пустыни, словно бы граница, которую он однажды пересек, проходила по воздуху, а не по земле и охватывала все времена, кото-

рые помнились им, опустившим на землю покойника. Куница, охая, торопливо смахивала песок с тела старого гринго, мальчик не отваживался дотронуться до мертвого, а все остальные думали о разных былых временах[1], глядя на бескрайние земли, разделенные длинной раной — рекой посреди глубоких ущелий, отрогов, уходящих в пустыню на север, в древние земли индейских народов — апачей и навахо, охотников и земледельцев, некогда превращенных неистовством завоевателей в испольщиков Испании в Америке: будто все земли Чиуауа и Рио-Гранде каким-то чудесным образом сходились здесь, чтобы умереть на этой равнине, где они, несколько мексиканских повстанцев, застыли на минуту в скорби, сами же смущенные своим поступком, своим человеческим состраданием, пока полковник не сказал: «Быстрей! — Сломал молчание.— Быстрей, ребята, надо вернуть гринго на его землю, таков приказ моего генерала».

Потом полковник посмотрел в запавшие голубые глаза мертвеца и вздрогнул, потому что на мгновение не увидел в них той бесконечной дали, где, по-нашему, должна обитать смерть. И сказал этим глазам, ибо они казались еще живыми:

— А вы никогда не думали, что вся эта земля была нашей? Да, наша память и наша ненависть слиты воедино.

Иносенсио Мансальво в упор взглянул на своего полковника Фрутоса Гарсию и надел на голову запорошенное пылью сомбреро. Круто повернулся к лошади, пыль облачком слетела с полей шляпы. Сразу все пришло в движение, послышались приказы, люди тронулись в путь.

Еще долго виделась все та же картина, постепенно удалявшаяся, терявшая очертания, пока не пропали из виду полковник Фрутос Гарсиа и мальчик Педро, хихикающая Куница и понурый Иносенсио Мансальво, солдаты и сухое тело старого гринго, завернутое в одеяло и привязанное к носилкам из сосновых ветвей, переплетенных ремнями, к этой мексиканской волокуше, которую тащили две слепые лошади.

— Эх,— улыбнулся полковник,— вот что значит быть гринго в Мексике. Но это все-таки лучше, чем покончить с собой. Так говаривал старый гринго.

III

Едва он переправился на лошади через Рио-Гранде, как сзади послышался грохот взрыва. Обернувшись, он увидел мост, охваченный пламенем.

Ранее он приехал поездом в Эль-Пасо с одним лишь черным складным саквояжем, который тогда назывался «гладстон». Одежда его тоже была скромной и черной, за исключением белых манжет и манишки. Он сказал себе, что для такого рода путешествия не требуется много багажа. Прогулялся немного по этому пограничному городку, который представлялся ему более унылым, печальным и старым, чем оказался в действительности: здесь чувствовалось соседство революции, веяние ярости с той стороны. Городок был полон новехоньких автомобилей, магазинов дешевых распродаж, молодых людей, таких молодых, что они, казалось, уже забыли о XIX веке. Пришлось и ему отказаться от своего былого представления об американских границах. Купить лошадь, не отвечая на докучливые расспросы о том, куда он едет, было почти невозможно.

Правда, он мог пересечь границу и купить лошадь в Мексике. Однако старик сам желал создавать себе трудности. Кроме того, он вбил себе в голову, что ему нужна непременно американская лошадь. А если на таможне откроют его саквояж, там найдут лишь несколько сандвичей с ветчиной, опасную бритву, зубную щетку, пару его собствен-

[1] Имеется в виду развязанная США против Мексики так называемая Американо-мексиканская война (1846—1848), в результате которой США аннексировали половину территории Мексики, в том числе часть земли штата Чиуауа.

ных книжек и томик «Дон Кихота», чистую рубашку да пистолет кольт, запрятанный на самое дно. Ему не хотелось объяснять, почему он путешествует налегке, хотя и с тщательно отобранными вещами.

— Я хочу хорошо выглядеть после смерти.

— А зачем вам книги, сеньор?

— Это мои книги.

— Никто не говорит, что вы их украли.

Старик согласно кивнул, не вдаваясь в подробности.

— За все эти годы я так и не смог прочитать «Дон Кихота». Хотелось бы успеть до смерти. Со своим писанием покончено навсегда.

Он представил себе эту сцену, а тому, кто продал ему лошадь, сказал, что намерен купить землю севернее городка; лошадь же при бездорожье куда полезнее, чем эти адские моторы. Торговец сказал: что верно, то верно, и хорошо бы все так думали, как он, ведь теперь никто не покупает лошадей, кроме агентов этих бунтарей-мексиканцев. А потому — если учесть, что по ту сторону границы — революция, цена будет немного повыше: революции — дело прибыльное для торговли.

— Значит, есть еще прок в хорошем коне,— сказал старик и выехал верхом на белой кобыле, которая прекрасно видна ночью и может серьезно осложнить жизнь своему хозяину, когда хозяин захочет создать себе в жизни новые осложнения.

Теперь ему приходилось доверяться только своему чувству ориентации, ибо если граница широко и четко обозначалась рекой, разделявшей городки Эль-Пасо и Сьюдад-Хуарес, то за мексиканской городской чертой не было больше никаких рубежей, кроме горизонта, где смыкались небо и серая, сухая равнина.

Линия раздела городков стиралась расстоянием по мере того, как старик продвигался вперед; его ноги свисали ниже лошадиного брюха, а черный саквояж подрагивал на седельной луке. Километрах в двадцати к востоку от Эль-Пасо он перешел вброд пограничную реку в самом ее узком месте; внимание людей отвлек последовавший взрыв моста. Перед взором старика предстала в эти минуты ясная картина «золотых городов», погибшие экспедиции, пропавшие без вести монахи, вымиравшие от европейских эпидемий племена кочевников-индейцев тобосо и лагунеро, которые бежали из испанских поселений, чтобы сесть на коня и взять в руки лук, а потом и винтовку, но вечно зависели от строительства или закрытия, процветания или краха рудников, где геноцид вселенских масштабов сопровождался ненавистью к людям, прямо пропорциональной ярости, в них вскипавшей.

Мятеж и гнет, болезнь и голод. Старик знал, что вступает на беспокойные земли Чиуауа и Рио-Гранде, оставляя за собой город-прибежище Эль-Пасо, основанный ста тридцатью колонистами с семью тысячами голов скота. Он покидал священное убежище беглецов с севера и юга, ненадежное, утлое пристанище на суровых пустынных землях: одна главная улица, один отель и одна пианола, виски с содовой и чихающие «форды». Был тут и вызов севера-захватчика миражам пустыни: висячий металлический мост, железнодорожный вокзал, серые облачка дыма, импортированные из Чикаго и Филадельфии.

Сам он был теперь добровольный беглец, подобно тем, прежним беглецам, спасавшимся от нападения апачей и кончей и ставшим горемыками-переселенцами, которых гнали жестокая нужда, эпидемии, несправедливость и разочарование. Все это мысленно записал старый гринго, перейдя границу между Мексикой и Соединенными Штатами. Понятно, почему люди, уставшие от бесконечного бегства, вот уже более ста лет сидят в своих асьендах, окруженных колючей проволокой.

Но сам он испытывал, наверное, страх иного рода и сказал, переходя границу:

— Боюсь, что истинная граница — у каждого своя, внутри себя.

Далеко позади взорвался мост, и он повернул направо, к югу, убежденный, что с дороги не сбился (он уже ехал по Мексике, и это

было главное), когда к вечеру почуял запах свежих тортилий и жареной фасоли.

Он подъехал к дому, сложенному из серого кирпича-сырца, и на своем испанском с английским акцентом языке спросил, могут ли здесь его накормить и дать одеяло для ночевки. Толстые супруги, хозяева этого дымящего жилья, сказали: «Да, наш дом — ваш дом, сеньор».

Он знал это ритуальное выражение мексиканского гостеприимства и про себя подумал, что после вежливой встречи никто не запретит радушному хозяину вдоволь поглумиться и поиздеваться над гостем, досадить своими подозрениями. Но тут же подавил свое желание испытать судьбу, спровоцировать конфликт: пока не надо, говорил он себе, пока не надо. Этой ночью, когда он дремал на циновке в своей черной одежде, прислушиваясь к тяжелому дыханию хозяев, улавливая крепкий запах, исходивший от них и от их собак, для него такой непривычный, ибо и ели, и думали они по-другому, и любили, и боялись по-разному, ему было хорошо от услышанных слов «ваш дом». Свой-то дом он потерял, когда случились четыре непоправимые беды подряд, которые, впрочем, сам он накликал на свою голову, усмехнулся старик в полудремоте, накликал, чтобы теперь трусить рысцой к югу, перейдя последнюю оставшуюся границу, после того как за свои почти семьдесят два года жизни он не единожды перешагивал рубежи Северной Америки на западе, севере и востоке и даже перемахнул «черную границу», которую установили конфедераты в 1861 году. Теперь ему оставалось двинуть только на юг, распахнуть последнюю дверь навстречу пятому — слепому и смертельному — удару судьбы.

Над горами забрезжил рассвет.

— Там дорога на Чиуауа?— спросил он толстого хозяина.

Мексиканец кивнул и в свою очередь спросил, искоса бросив взгляд на запертую дверь в другую комнату

— А вам зачем в Чиуауа, мистер?

В его произношении слово «мистер» дополнялось конечной гласной «и», звучало как «мистери», и старику подумалось, что первый перевес в отношениях мексиканца и американца всегда получает гринго, потому что для мексиканца он — всегда «мистерия», загадка: не то друг, не то враг. Хотя практически от такого перевеса нет американцам никакой выгоды.

Хозяин продолжал:

— Там — тяжелые бои, ведь это территория Панчо Вильи[1].

Его глаза были выразительнее всяких слов. Старик поблагодарил и продолжал свой путь. Он услышал, как позади хозяин открыл дверь и стал бранить жену, которая теперь все-таки отважилась посмотреть вслед путнику. И старому гринго захотелось представить себе полные тревоги глаза женщины: отъезд всегда тяжел для той, которая остается, и радостен — хотя и не всегда сулит ему радость — для путешественника. Старому гринго захотелось отогнать бодрящую мысль о том, что он мог еще пробудить в ком-то ревность.

Горы поднимались вверх темными костлявыми кулаками, и старый гринго подумал, что тело Мексики — это огромный труп с серебряным скелетом, золотыми глазами, каменной плотью и парой медных мужских атрибутов.

Горы — это кулаки. Он их раскроет, один за другим, в надежде рано или поздно найти — как муравей, мятущийся по складкам ладони,— то, что ищет.

Ночью он привязал свою лошадь к огромному кактусу и, радуясь, что надел теплое шерстяное белье, забылся в чутком сне. Ему снилось то, что он видел наяву: голубые рождающиеся звезды и желтые, уми-

[1] Франсиско (уменьшительное — Панчо) Вилья (наст имя — Доротео Аранго, 1877—1923) — руководитель крестьянского движения в период Мексиканской революции 1910—1917 гг., национальный герой Мексики.

рающие; глядя на них, старался не вспоминать о своих умерших сыновьях, и спрашивал себя, какие из звезд уже погасли и чей свет лишь их пустой отблеск, наследие мертвых звезд, оставленное людям, которые еще столетия будут восторгаться ими, ставшими прахом и пламенем во времена древнейших катаклизмов.

Ему снилось, что он идет по охваченному огнем мосту. И проснулся. Это не было только сном. Он видел огонь, когда вступил в Мексику. Но раскрытые глаза старика смотрели на звезды, и он сказал себе: «Мои глаза блестят ярче, чем любая из звезд. Никто не увидит мою старость. Я всегда буду молодым, потому что сегодня отваживаюсь снова стать молодым. Я навсегда останусь в памяти людей таким, каким был».

Серо-голубые, голубовато-стальные глаза под клочковатыми рыжеватыми бровями. Брови были не слишком надежной защитой от яростного солнца и хлесткого ветра, встретивших его в глубине выжженной равнины, когда следующим утром он жевал сухие сандвичи, нахлобучив на голову помятый и широкополый черный «стетсон», прикрыв серебристые волосы. Он чувствовал себя каким-то громадным чудовищем-альбиносом на землях, которыми солнце наделило свой возлюбленный народ, опекаемый темными силами, живущий у теневой черты. Ветер утих, но солнце продолжало палить. К вечеру, пожалуй, начнет лупиться кожа. Он находился в мексиканской пустыне, сестре Сахары и Гоби, части Аризоны и Юты,— в одном из воплощений бесплодного великолепия, опоясывающего земной шар, словно чтобы напомнить людям, что холодные пески, раскаленные небеса и безлюдные красоты терпеливо и неусыпно ждут, когда снова смогут завладеть Землей, обратить ее в пустыню.

— Старый гринго приехал в Мексику за своей смертью.

И тем не менее, неторопливо продвигаясь вперед верхом на белой кобыле, он чувствовал, что его желание исчезнуть с лица земли — издевка над самим собой. Он смотрел на окружавший его мир. Маленькая агава-лечугилья устремляла ввысь свои вибрирующие, как проволока, и острые, как клинки, листья. На каждой ветке окотильо колючие шипы надежно стерегли чистую красу ослепительно красного цветка. Степной ирис дал своему единственному бледно-лиловому цветку тошнотворно-сладкий аромат. Причудливые заросли чойи надежно охраняли свои желтые цветочки. Если гринго ехал в поисках Панчо Вильи и революции, то пустынная равнина уже являла собою образ войны, ощетинившись остриями юкки, как испанскими штыками; потрясая метелочками ковыля, как плюмажем апачей, и выставив колючки больших кактусов, как тонкие ножи. Авангардом пустыни были стаи «перекати-поле», эти зеленые собратья быстрых свор ночных койотов.

В небе кружили стервятники-сопилоты. Старый гринго посмотрел вверх. Но тут же перевел взгляд вниз: змеи и скорпионы жалят только чужаков. Им все равно, кто и за чем едет. Он то поднимал, то опускал голову в немом удивлении. Мимо стрелой проносились печальные голуби со скорбными криками, куда-то неспешно летел скиталец-сокол. Шум крыльев в высоком воздухе походил на шелест сухих, ломких трав.

Он закрыл глаза, но ходу не прибавил.

И тогда пустыня ему сказала, что смерть — это всего лишь приостановка действия законов природы: жизнь — правило игры, а не исключение, и даже пустыня, казавшаяся безлюдной, таила в себе всякого рода жизнь, утверждавшую, порождавшую или воспроизводившую законы человеческого существования. Он не мог не подчиниться, даже против своей воли, жизненному императиву первозданной природы, к которой пришел сам, без чьей-либо указки: мол, отправляйся-ка, старый гринго, в пустыню.

Пески уже уступают место зарослям кустарника мескитe. Линия горизонта колеблется, поднимается почти до уровня глаз. Жесткие тени туч огромными пятнами ползут по земле. От земли поднимается терпкий запах. Широкая радуга раскалывается надвое, будто видит себя в зеркале. На корявых веточках бисторты зажигаются желтые соцветия. Дует жаркий ветер-суховей.

Старый гринго кашляет, прикрывает лицо черным шарфом. Кашель рвется из него, как те волны, что однажды схлынули с земли и сотворили пустыню. Тяжелое дыхание клокочет у него в груди, как сок в стеблях тарая, растущего возле скудных рек и жадно сосущего влагу.

Он останавливается, задыхаясь от астмы; с трудом сползает с седла, хватает ртом воздух и бессильно приникает лбом к крупу лошади. Но тем не менее говорит:

— Моя судьба — это моя судьба.

IV

Иносенсио Мансальво сказал, завидев всадника, въезжающего в лагерь:

— Этот человек приехал сюда помирать.

Мальчишке Педро было всего лишь одиннадцать лет, и не пристало ему лезть с расспросами к Иносенсио, знаменитому вояке из Торреона, что в штате Коауила, хотя он ничего не понял из сказанного. Правда, после этого стал еще больше восхищаться Мансальво. Если Иносенсио Мансальво мог в бою семерых уложить, то предсказывать чужую судьбу куда труднее. Хотя этот старый гринго ух как храбро дрался под Чиуауа — и ничего, жив. Наверное, Мансальво сразу разгадал в нем храбреца, который сам под пули лезет, и потому сказал то, что сказал.

— Этот гринго торчит на своей кобыле, как свеча в алтаре. Или нас дразнит? Хочет, чтоб его рубанули? Небось знает, что мы его мигом на куски искромсаем?

— Нет, просто человек гордый, в седле сидит прямо, не пригибается,— сказал совсем молоденький полковник Фрутос Гарсиа, испанец по отцу.— Сразу видно.

— Говорю вам, он едет сюда помирать,— стоял на своем Иносенсио.

— Но человек он гордый,— повторил молоденький полковник.

— Не знаю, гордый или нет, все равно — гринго, а что помирать — это точно,— опять сказал Мансальво.— Чего еще ждать от нас этим гринго, кроме смерти?

— А зачем его убивать?

У Иносенсио так сверкнули зубы, что, казалось, зеленые глаза на миг посветлели.

— А затем, что перешел границу. Или этого мало?

— По горло хватит! — хохотнула Куница, неистовая проститутка из Дуранго, единственная профессионалка в своем деле, сопровождавшая вместе с остальными женщинами, скромными солдатками, войско генерала Арройо.— Не иначе этот гринго всю дорогу молится. Небось совсем святым заделался!

Она хохотала, пока краска не потрескалась на щеках, как пересохшая штукатурка. Тогда она сунула нос в букетик искусственных розочек, приколотый на груди.

Позже, за те несколько дней, которые гринго провел в войске вильистов, Иносенсио и молоденький полковник заметили, что он заботится о своей внешности, как юная сеньорита. У него была своя бритва, и он тщательно затачивал лезвие; бродил по всему лагерю, пока не находил горячей воды, чтобы выбрить щеки до последнего волоска; даже такую роскошь, как припарки полотенцем, позволял себе старый

щеголь. Но, ох, что бывало, когда ему случайно приходилось порезаться, хотя он пользовался прекрасным зеркалом в вагоне генерала Арройо, а все остальные брились вообще не глядя в зеркало — на ощупь или увидев на миг свое отражение в какой-нибудь быстрой речке. Да, ох, что бывало, когда старик ранил себе бритвой лицо: он бледнел как полотно; зажимал царапину пальцем, словно боялся истечь кровью, бросался за белым пластырем и так аккуратно заклеивал ранку, будто бы его пугала не столько кровь или зараза, сколько перспектива плохо выглядеть.

— Видать, он за всю свою жизнь ни разу замертво не валялся,— хихикала та, которую звали Куница и которая, казалось, сбежала не из борделя в Дуранго, а с соседнего кладбища, где священники отказываются хоронить ей подобных.

— Вы говорите, что смерть его в бок толкнет,— и Куница чихнула, будто цветочки у нее на груди могли пахнуть.— А я говорю, что его толкает сам дьявол, потому как и дьявол от него отпихивается. Подумать только — сюда приперся! Или надо быть такими бедняками, как вы; или такой грязной тварью, как я; или чистым злодеем... как он.

— Не то молится гринго, не то бормочет, просит чего-то,— еще издали заметил Мансальво.

— А в глазах у него боль,— вдруг сказала Куница и с этого момента стала относиться к нему с уважением.

Все остальные — тоже. Все научились уважать его, хотя и по разным причинам.

Так или иначе, а он наконец сюда добрался, увидел равнину с людьми после того, как четверо суток пребывал в полнейшем одиночестве и единении с землей; он увидел равнину, курящуюся дымками костров, словно в больших пятнах дегтя вокруг длинного состава, застывшего на рельсах. Он смотрел на эту картину со своей лошади, которая трусила рысцой по шалфейному полю, а детали рисовались все четче: вагоны как дома на колесах, полные женщин и детей; на крышах вагонов — солдаты, дымящие сигаретами и самокрутками.

Итак, он у цели.

Он там, где хотел быть. Трясясь в седле, спрашивал себя, что известно ему об этой стране. Перед его голубыми глазами промелькнуло далекое видение: редакция «Сан-Франциско кроникл», где известия из Мексики медленно плыли по воздуху, а не разили как стрелы, заставляющие репортеров бросаться за такими сенсациями, как домашние скандалы, политические пертурбации. Журналисты из империи Уильяма Рэндолфа Херста [1]— энергичные парни, североамериканские Ахиллы, а не мексиканские черепахи,— они всегда в погоне за новостями, сочиняя, если требуется, эти самые новости, которые ястребами врываются в окна, разбивая стекла в редакции Херста: сенатор Лафоллетт выдвинул популистскую программу и добился избрания в кандидаты от Висконсина; Хирам Джонсон — снова губернатор Калифорнии, Эптон Синклер опубликовал роман «Джунгли», Тафт пришел к власти, обещав провести реформу тарифов, а престарелый фараон [2], увешанный орденами, продолжает устраивать приемы в замке Чапультепек, изо дня в день приговаривая: «Поддать им жару, пуль не жалеть»,— и не ложится в гроб хотя бы потому, что боится и ненавидит сопилотов, кружащих над всеми дворцами и церквами Мексики. Бдительный старец, сокровище для журналистов, дряхлый тиран, способный повторять расхожие фразы, например: «Бедная Мексика, так далеко она от бога и так близко от Соединенных Штатов». Бывали новости мелкие и раздражающие, новости, подобные крупным зеленым мухам, залетающим летними вечерами в зал редакции «Сан-Франциско кроникл»,

[1] Уильям Рэндолф Херст (1863—1951) — основатель (в 1895 г.) крупнейшего издательского концерна США, принадлежащего этому семейству миллиардеров.

[2] Имеется в виду Порфирио Диас (1830—1915) — президент Мексики (1877—1880 и 1884—1911), диктатор, свергнутый в 1911 г. Мексиканской революцией 1910—1917 гг.

где медлительные вентиляторы коричневого цвета не в силах размешивать тяжелый воздух. Затем Вильсон становится кандидатом при большой поддержке Принстонского университета, Тедди Рузвельт формирует свою партию из «мятежных» республиканцев, а в Мексике бандиты по имени Карранса, Обрегон, Вилья и Сапата [1] с оружием в руках намерены отомстить за смерть Мадеро [2] и свергнуть пьянчугу-тирана Уэрту, но — и это главное — отнять земли у господина Херста. Вильсон разглагольствовал о «новой свободе» и сказал, что обучит мексиканцев демократии. Херст требовал своего: интервенция, война, возмещение ущерба.

— Ты не должен был ехать в Мексику, чтобы тебя убили, сын мой,— говорила ему тень его отца.— Помнишь, когда ты взялся за перо? Кое-кто даже пари держал, что ты проживешь долго-предолго.

— Он все что-то бормочет, не иначе как молится. Святой человек,— говорила Куница.

— А вот тебя в святом месте не закопают,— смеялся Иносенсио.

— Как бы не так,— возражала Куница.— Я уже договорилась со своими родными в Дуранго. Когда я помру, они скажут, что отдала богу душу моя тетка Хосефа Арреола, которая была так невинна, что о ней теперь и вспомнить некому. Да и священники помнят только грешников.

— Мы еще посмотрим, кто он есть, этот гринго,— святой или грешник?

— И чего этот гринго у нас тут ищет?

Старый гринго знал, что в отрядах Панчо Вильи крутится множество таких, как он, журналистов, и потому его никто не остановил, когда он проезжал по лагерю. Только смотрели на него с удивлением. «На газетчика не похож, совсем не похож»,— говорил молоденький полковник Фрутос Гарсиа. Да и как им было не смотреть с удивлением на этого высокого тощего старика с белыми волосами и голубыми глазами; розоватые щеки изрыты морщинами, как маисовое поле — бороздами, а ноги болтаются ниже стремян. Отец Фрутоса Гарсиа был испанец, торговавший в Саламанке и в Гуанахуато, и потому полковник говорил, что вот так же, во все глаза глядели пастухи и деревенские девицы на Дон Кихота, когда тот совался незваным гостем в их деревни на своей кляче и грозил поразить копьем полчища волшебников.

— Доктор! Доктор! — кричали ему из битком набитых вагонов, завидев его черный саквояж.

— Нет, я не доктор. Где Вилья? Мне нужен Панчо Вилья! — кричал им в ответ старик.

— Вилья! Вилья! Вива Вилья! — орали все хором, пока какой-то солдат в буром — от пота и пороха — сомбреро не завопил, хохоча на крыше вагона: — Мы все тут — Вильи!

Старый гринго почувствовал, что кто-то дергает его за штаны, и посмотрел вниз. Мальчик лет одиннадцати с черными, как агат, глазами и с крест-накрест перехлестнувшими грудь патронными лентами, сказал ему:

— Вы ищете Панчо Вилью? Наш генерал поедет к нему сегодня вечером. Пойдемте к генералу, сеньор.

Мальчик взял лошадь старика под уздцы и повел к вагону, где какой-то человек с узкими желтыми глазами и обвислыми усами пе-

---

[1] Венустиано Карранса (1859—1920) — буржуазно-либеральный деятель, был президентом Мексики (1914—1920); Альваро Обрегон (1880—1928) — государственный и военный деятель, участник Мексиканской революции, президент республики (1920—1924), был избран на этот пост и в 1928 г., но убит до вступления на эту должность; Эмилиано Сапата (1879—1919) — один из руководителей Мексиканской революции, крестьянский вождь и национальный герой Мексики.

[2] Франсиско Мадеро (1873—1913) — один из лидеров Мексиканской революции, в 1911 г. президент республики, был убит по приказу реакционного генерала Викториано Уэрты, захватившего власть в стране и установившего диктатуру.

ремалывал крепкими челюстями горячие тако [1], поминутно выпячивая нижнюю губу, чтобы дунуть на непокорную рыжеватую прядь, падающую на глаза.

— Ты кто, гринго? Опять журналист? — сказал из открытых дверей вагона этот человек, еще больше сощурившись и покачивая ногами в кожаных крагах.— Или хочешь продать нам оружие?

— Он приехал сюда за своей смертью,— хотел сказать Иносенсио Мансальво своему начальнику, но Куница вовремя прикрыла ему рот: ей хотелось узнать, кто из них троих оказался прав в своих догадках насчет незнакомца.

Одиннадцатилетний мальчуган подвел его лошадь поближе.

Старик отрицательно мотнул головой и сказал, что приехал присоединиться к армии Вильи.

— Хочу воевать.

Прищуренные глаза чуть раскрылись, пыльная маска лица сломалась хохотом. Куница сейчас же весело захихикала, а за ней залились смехом и женщины в длинных рваных юбках с шалями на плечах, выскочившие из кухни с другого конца вагона поглядеть, что так развеселило генерала.

— Ну, старик! — смеялся молодой генерал.— А не слишком ли ты стар? Иди-ка лучше поливай свой садик, старый! Чего тебе тут делать? Нам не нужны ошметки. Мы и военнопленных-то в расход пускаем, чтобы за собой не таскать. Это — армия партизан. Понятно?

— Я пришел воевать,— сказал гринго.

— Он пришел помирать,— сказал Иносенсио.

— Мы передвигаемся быстро и неприметно, а твои волосы светятся ночью, как белый костер, старик. Иди-ка своей дорогой, тут —войско, а не богадельня.

— Не торопись, испытай меня,— сказал старик, и сказал это очень твердо, вспоминает молоденький полковник Фрутос Гарсиа.

Женщины было подняли шум, но тут же замолчали, когда генерал взглянул на старика с той же холодной твердостью, с какой тот произнес свои слова. Генерал вытащил из-за паяса длинноствольный кольт. Старик не шевельнулся в седле. Тогда генерал бросил ему пистолет, и старик поймал кольт на лету.

Все ждали. Генерал засунул руку в глубокий карман походных штанов и вытащил блестящее серебряное песо, большое, как яйцо, и плоское, как часы, и подбросил его вверх, высоко и прямо. Старик не шелохнулся, пока монета не оказалась в метре над головой генерала, и лишь тогда грянул выстрел; женщины вскрикнули, Куница оглянулась на женщин, полковник и Мансальво смотрели на своего начальника, и только мальчик смотрел на гринго.

Генерал лишь головой чуть дернул. Мальчик кинулся искать монету, поднял из пыли, слегка потер погнутый диск о патронную ленту и подал генералу. В самой середине орла зияло крохотное отверстие.

— Возьми монету, Педрито, это ты его к нам привел,— ухмыльнулся генерал, а кусочек серебра, казалось, жег ему пальцы.— Я думаю, для кольта-44 самое подходящее дело дырявить такие монеты, как эта, хотя она была моим первым богатством. Ты ее заработал, Педрито, говорю — возьми себе.

— Этот человек пришел сюда помирать,— сказал Мансальво.

— Теперь уж и не знаю, святой ли он,— сказала Куница, понюхивая свои цветочки на груди.

— Что может понадобиться гринго в Мексике? — спрашивал себя молоденький полковник.

«В глазах у него застыла мольба», но если старый гринго и не мог читать мысли тех, кто видел, как он спустился с островерхих гор на равнину, зато неустанно повторял свои собственные слова, написан-

[1] Маисовые лепешки-тортильи с начинкой из мяса или бобов.

ные, чтобы еще много раньше возвестить им о том, что «сей осколок человечества, сей лицетворный образ острых ощущений, сей сплав человека и животного, сей смиренный Прометей пришел, чтобы выпросить, да, чтобы вымолить для себя благо небытия».

«К земле и небесам, к растениям пустыни, к встречавшим его человеческим существам обращал этот страдающий путник свое молчаливое заклинание: — Я пришел, чтобы умереть. Не поскупитесь на выстрел милосердия».

V

Старый гринго усмехнулся, когда генерал Томас Арройо, выпятив нужнюю губу, сдунул прядь волос, падавшую на глаза, и, подбоченясь, встал перед иностранцем.

— Я — генерал Томас Арройо.

Имя прозвучало громко и хлестко, но роль разящей стрелы отводилась военному чину, и гринго тотчас же понял, что пресловутый мексиканский «мачизм» [1] — со всеми своими дурацкими штучками — неизбежно обрушится на его седую голову: здешним надо знать, на что он годится, испытать его, но и не раскрыться перед ним, не показать ему своего истинного лица.

Его превозносили до небес после героической выходки с кольтом и подарили широкополое сомбреро; его заставили съесть тако с начинкой из бычьих яичек и кровяной колбасы со жгучим зеленым перцем; ему принесли устрашающего вида бутыль с крепким мескалем [2], на дне которой замер червяк.

— Значит, генерал гринго идет с нами?

— Офицер-картограф,— ответил старик.— Девятый полк волонтеров из Индианы. В Гражданской войне в Северной Америке.

— В Гражданской войне! Да это лет пятьдесят назад, когда мы тут еще от французов отбивались.

— А что за начинка в этих тако?

— Бычьи яйца и кровь, индейский генерал [3]. Две вещи, которые тебе понадобятся, если хочешь идти с войском Панчо Вильи.

— А что это за спиртное?

— Не бойся, индейский генерал. Червячок уже сдох. Зато мескаль будет долго жить.

Когда солдатки поднесли ему тако, Арройо и парни бесстрастно переглянулись. Старый гринго молча жевал, целиком проглатывая маленькие стручки перца, чтобы не потекли слезы и не покраснело лицо.

— Гринго жалуются, что в Мексике болеют животом. Но еще ни один мексиканец не умер от поноса, когда ел и пил в своей стране. Вот как эта бутыль,— говорил Арройо.— Если в тебе, как в бутыли, всю жизнь сидит червячок, вы с ним вместе состаритесь в свое удовольствие. Червячок кушает одно, ты — другое. Но если ты начинаешь есть те штучки, какие я видел в Эль-Пасо, всякий харч, завернутый в бумажку, запечатанный, чтоб и муха не села, вот тогда червяк набрасывается на тебя самого, потому как ни ты его не знаешь, ни он тебя не знает, индейский генерал.

Но старый гринго решил запастись терпением своих предков-протестантов, невозмутимых и от всего оградившихся своей верой, и подождать, пока генерал Томас Арройо покажет ему лицо, незнакомое остальным.

Они были в личном вагоне генерала, своим убранством напоминавшем старому гринго один из тех публичных домов, куда он захаживал

---

[1] Мачизм (от исп. «мачо» — самец, мужчина) — мужская доблесть, сила.

[2] Мескаль *(мекс.)* — спиртной напиток из сока агавы.

[3] Прозвище, данное старому гринго, основано на том, что название североамериканского штата Индиана по-испански значит «индейская» (земля).

в Новом Орлеане. Опустившись в глубокое, обитое красным бархатом кресло, он с усмешкой потрогал кисточки на портьерах из золотистого шелка. Канделябры, которые висели у них как раз над головой, зазвякали, когда поезд дернулся и запыхтел, трогаясь с места, а молодой генерал Арройо налил себе стакан мескаля и старик без единого слова последовал его примеру. Но от Арройо не ускользнуло насмешливо-презрительное выражение глаз старика, когда тот обозревал внутренность вагона: полированные стенки, стеганую обивку потолка. Старый гринго все это время не давал себе воли, сдерживал обычное желание задеть за живое, съязвить, то и дело повторяя про себя: «Пока не надо».

Его удивляло, что тогда же, с самого начала, ему приходилось обуздывать и другое чувство — отеческую нежность к Арройо. Он приглушал оба эти чувства, но Арройо только замечал (или только хотел замечать) взгляд, полный затаенной насмешки. И его глаза стали двумя совсем узкими щелками, а поезд словно решил, что хватит стоять на месте. Паровоз набирал скорость, рассекая сумерки пустынной равнины, удаляясь от гор, которые еще напоминали о том титаническом действе, когда одни горы рождали другие, подставляли плечи одна другой и поддерживали друг друга — порой нехотя, до упора сталкивая свои огромные башни, венчаемые золотом и пурпуром на закате, пронизанные изумрудными и голубыми жилами в основании своих гигантских туловищ. Теперь молчаливое море зелени колыхалось у самых его ног, и старик, глядевший в окно, понял, что в движении зеленых волн повинно деревцо, по-английски называемое «дымным деревом».

Арройо сказал, что поезд некогда принадлежал одной очень богатой семье, владевшей половиной штата Чиуауа, да еще землями в штатах Дуранго и Коауила. А видел гринго людей, которые его тут приняли? Скажем, того парня с узкими зелеными глазами, ту грязную девку? Приметил, конечно, и мальчишку, который привел его сюда, а потом подобрал горячую монету с пробитым орлом? Так вот, теперь этот поезд принадлежит им. Арройо сказал, что такой поезд нужен сейчас до зарезу,— сказал и болезненно поморщился: за два дня и одну ночь надо пересечь владения семьи Миранда.

— Хозяев? — спросил старик с невозмутимым видом.

— Кто это сказал? — огрызнулся Арройо.

Старик пожал плечами:

— Вы сами, только что. Их владения.

— Да, но не собственность.

Одно дело — забрать чужое, как сделало семейство Миранда, заграбастав эти северные пастбища, окруженные дикой пустыней — этакой стеной из солнца и меските,— которую они не трогали, чтобы оградить присвоенное, сказал Арройо, и другое дело — быть настоящими хозяевами того, что честно заработано. Он отдернул руку от шелковой занавески и предложил старику сосчитать мозоли на ладони. Старик понимающе кивнул, мол, генерал когда-то работал пеоном в усадьбе господ Миранда, а теперь с ними поквитался, разъезжая в этом личном роскошном вагоне, ранее принадлежавшем хозяевам, или не так?

— Ты ничего не понял, гринго,— сказал Арройо, хрипло и недоверчиво.— Ей-бо, ничего не понял. Наши бумаги гораздо древнее ихних [1].

Он подошел к сейфу, скрытому грудой мягких атласных подушек, распахнул дверцу и достал длинную плоскую шкатулку из старого палисандрового дерева, обтянутую потертым бархатом. Раскрыл ее перед стариком.

---

[1] Речь идет о так называемых «титулос» — документах на индейских языках, записанных латиницей в XVI — XVII вв., об истории данного индейского племени и о занимаемых им землях. До Мексиканской революции 1910 — 1917 гг. для индейской общины «титулос» становились единственным документом, дающим право на владение землей.

Генерал и гринго взглянули на бумаги, хрупкие, как истлевший шелк.

Генерал и гринго смотрели друг на друга и молча разговаривали — в тишине вагона, на высоте, у кромки обрыва: глаза не нуждались в словах, а земля, за окном убегавшая назад, оставшаяся позади каждого из них, рассказывала и историю бумаг, бывшую историей Арройо, и историю книг, бывшую историей гринго (подумал старик с горькой усмешкой: и то и другое — бумаги, но как по-разному они оба их понимают, толкуют, хранят: этот архив летит по пустыне, и я не знаю, что с ним станется, не знаю — так слышалось старому гринго,— но зато знаю, чего хочу я). И ему виделось в глазах Арройо то, что Арройо говорил ему другими словами, виделось в бежавших мимо землях Чиуауа — и он ощутил трагизм ситуации,— виделось меньше того, что Арройо мог сказать ему, но больше того, что знал он сам: мол этот гринго не смеет сделать и шага по земле, не вникнув в ее историю; этот гринго должен знать всё до тонкости о земле, которую выбрал, чтобы она подарила семьдесят третий год его костям и шкуре,— словно бы история летела вместе с поездом, но также и вместе с воспоминаниями Арройо (гринго понимал, что Арройо вспоминает прошлое, а сам он всего лишь начитан об их прошлом; мексиканец нежно поглаживал бумаги, как поглаживают щеку матери или талию возлюбленной). Каждый видел в глазах другого движение, ход, бег. Бежать от испанцев, бежать от индейцев, бежать от энкомьенды [1] и батрачить в больших животноводческих хозяйствах, которые казались меньшим злом; охранять, как островки сокровищ, редкие общины, которым испанская корона дала во владение земли и воды в Новой Бискайе; всячески избегать подневольного труда и требовать соблюдения предоставленного королем права общинной собственности, стараться не быть рабами, пеонами, мятежниками, тобосо [2], но в конце концов оставаться ими — упорными, самолюбивыми, одновременно смиренными и гордыми, но прибитыми жестокой судьбой и ставшими рабами и головорезами, которые познают свободу только во время мятежей. Такова история этой земли, и старый американец, библиотечный червь, ее знал и смотрел Арройо в глаза, чтобы удостовериться, что генерал ее знает тоже: рабы или пеоны, не вкусившие свободы, и тем не менее обладатели единственного права, ее дарующего,— права на восстание.

— Видишь, генерал гринго? Видишь, что тут написано? Эти земли всегда были наши, земли немногих землепашцев, получивших охранную грамоту, которая защищает и от энкомьенды, и от индейцев-тобосо. Сам испанский король так сказал. Даже он это признал. Вот они, грамоты. Написаны им самим и подписаны. Вот его подпись. Я храню эти бумаги. Они доказывают, что никто другой не имеет права на эти земли.

— А вы умеете читать, мой дорогой генерал?

При этих словах гринго взглянул на него с усмешкой. Мескаль был изрядно крепок и подогревал желание съязвить. Но он подогревал также и отцовские чувства. Когда Арройо схватил гринго за руку — сильно, но без угрозы, почти ласково,— нахлынувшее чувство нежности сразу же отбило у старика всякую охоту балагурить и, стегнув по сердцу внезапной болью, вызвало в памяти лица обоих сыновей. Генерал попросил его посмотреть в окно, пока не зашло солнце, посмотреть на изменчивый лик земли, уходившей назад, на искривленные фигурки жаждущих влаги и борющихся за нее деревьев, которые словно говорили всей остальной полумертвой равнине, что еще есть надежда и что они еще отнюдь не мертвы.

— Думаешь, каждый пень умеет читать, а я не умею? Глуп ты,

[1] Форма эксплуатации (оброк, барщина) индейского населения в испанских колониях в Америке в XVI—XVIII вв.

[2] Воинственное индейское племя на севере Мексики, полностью истребленное завоевателями. Здесь — непокорные.

гринго. Да, я — неграмотный, но и памятливый тоже. Я не могу прочесть бумаги, которые храню для своего народа, за меня это неплохо делает мой полковник Фрутос Гарсиа. Но я знаю, что мои бумаги поважнее тех, кто может их прочитать. Дошло до тебя?

Старик ответил лишь, что собственность переходит из рук в руки, таково действие законов рынка, и не может принести богатства та собственность, которая не меняет хозяев. Он почувствовал жар на щеке, стоя возле окна, и вдруг подумал, что это ощущение — всего только наше внутреннее восприятие солнца, которое покидает нас каждый вечер, вселяя на мгновение страх. И в нас и в него. Он взглянул прямо в дикие желтые глаза Томаса Арройо. Генерал постукивал себя по виску указательным пальцем: мол, все истории здесь, в моей голове, целая библиотека слов; история моего народа, моей деревни, нашей беды, здесь, в моей голове, старик. Я знаю, кто я есть, старик. А ты знаешь?

Однако не солнце обжигало снаружи щеку старого гринго у окна. Огнем пылала равнина. Солнце уже село. Его сменил огонь.

— Ну и парни,— вздохнул не без гордости генерал Арройо.

И бросился в задний тамбур вагона, старик последовал за ним, стараясь сохранять спокойствие.

— Ну и парни. Опередили меня.

Он кивнул на пожар и сказал ему: гляди, старик, от славы господ Миранда остался один дымок. Он сказал ребятам, что прибудет к вечеру. Они и поспешили. Но не промахнулись, знали, что доставят ему удовольствие зрелищем огня, пожирающего усадьбу.

— Точно рассчитано, гринго.

— Нерасчетливо сделано, генерал.

Оркестр играл марш «Сакатекас» [1], когда поезд подходил к станции Асьенда Миранда. Гринго не мог отличить по запаху дым горевшей усадьбы от дыма подгоревших тортилий. Пепельный густой туман обволакивал мужчин и женщин, детей и походные жаровни, лошадей и скотину, вагоны и пустые повозки. Громкие приказы полковника Фрутоса Гарсии и Иносенсио Мансальво неслись над общим шумом, который ощущался, как голос самой природы:

— Конвой, ...товьсь!

— Маиса для коня генерала!

— Бригада, слушать команду!

— Прива-а-а-л! На отдых!

Собаки подняли лай, когда генерал Арройо вышел из вагона в своем расшитом серебряными листьями сомбреро, которое, как венец войны, красовалось над его мрачным лицом. Он поднял глаза и взглянул на гринго. В первый раз старик выглядел испуганным. Собаки злобно лаяли на чужестранца, который не отваживался шагнуть на ступеньку и опуститься на землю.

— Ну-ка,— приказал он Иносенсио Мансальво,— отгони собак от генерала гринго. И улыбнулся тому: — Ох ты, храбрый гринго. А федералы-то [2] позлее этих паршивых щенков.

Не было радости на лице Арройо, когда он шел впереди старого гринго — такого высокого и угловатого в сравнении с приземистой, мускулистой и театральной фигурой молодого генерала, шедшего по пыльной дороге от станции к огромному пылавшему дому. Теперь слышалось только металлическое звяканье шпор и пистолетов на поясах людей, гул далекой канонады да шелест ночного ветерка в единственной листве этих полей — в серебряных листьях на сомбреро генерала.

Вдруг с губ всех мексиканцев сорвался свист, и старый гринго с атавистическим страхом тоже стал смотреть на телеграфные столбы, где висели повешенные, разинув рты и вывалив языки. Этот свист,

---

[1] Военный марш, приобретший особую популярность со времен Мексиканской революции.

[2] Имеются в виду правительственные войска диктатора Уэрты.

сливавшийся с легким ветерком равнины, не прекращался, пока они шли по аллее к горевшей усадьбе.

VI

Там была она. В самой гуще толпы, работая локтями и расталкивая людей, чтобы лучше видеть; оглядывая окружавшие ее лица, чтобы стать свидетелем действа. Среди беззвучного колыхания сомбреро и ребосо [1] метались эти серые глаза, в которых читалось желание не потерять себя самое, сохранить мужество и чувство собственного достоинства в страшном и неожиданном вихре событий.

Старик, увидев ее, сказал себе: наверняка не знала, куда ехала. И тем не менее она была там, конечно, упрямая, как ослица, и фантазерка. Поглядев на нее, он вспомнил великое множество таких же девушек, виденных им в жизни, в том числе и свою жену в молодые годы, и свою красивую дочь. Потом он спросил себя, с кем ее можно сравнить, если бы она встретилась ему в другом месте, то есть на ее собственном месте, в обычных для нее условиях. Обычная мисс? Нет, не совсем, скорее этакая своенравная девица, внимающая наставлениям матери лишь для того, чтобы набраться женского опыта. Еще немного — и юная матрона. Но пока — нет, пока она еще зависит от родительских денег на булавки.

Что она может сказать? Чего от нее ждать? Какие банальные штучки — типа генеральской кровяной колбасы и червяка в мескале — она выкинет. Небось забубнит: «Я — американская гражданка. Требую доставить к нашему консулу. Меня охраняет закон. Не имеете права меня задерживать. Не знаете, кто я». Нет. Оказалось — ничего подобного. Ее силой вывели из господского дома, который уже горел, а люди, наверное по тому, как она упиралась и отбрыкивалась, почувствовали, что приехала она сюда работать и жить, и хочет остаться здесь, и никому не позволит вытравить ее, как блоху, из того места, где она служит и где ей уже заплатили за месяц вперед.

Именно так она ему в действительности и сказала — с акцентом, который старик сначала приписал жителям восточного, атлантического побережья, скорее всего Нью-Йорка, но тут же мысленно свернул немного в сторону, к югу: манхэттенское произношение окрашивалось легкой интонацией вирджинцев. Во всяком случае, казалось, только он один понимал ее, а может быть, еще и генерал немного, поскольку, по его словам, он бывал в Эль-Пасо — возможно, скрывался там или закупал контрабандное оружие, предположил старый гринго.

— Я получила жалованье и останусь тут, пока не вернется эта семья и пока я не смогу давать детям уроки английского и отработать деньги. So! [2]

Арройо насмешливо взглянул на нее, умышленно оскалив зубы, чтобы нагнать страху, но тут же расхохотался, разразился хохотом, глупым, но мощным, молодым и ясно дававшим понять: мол, видал я такую людскую дурость, а старик всегда вспоминал, что в эту минуту Арройо показался ему трагическим паяцем, клоуном, которого надо принимать всерьез. Когда генерал повторил слова женщины своим людям, мужчины громко рассмеялись, а женщины, укутанные в ребосо, тихо закудахтали. Она говорит, что будет учить английскому мальчишек Миранда, слыхали такое? Верит, что они вернутся, слыхали? Нука, Ченчо, растолкуй ей все как есть, никогда они не вернутся, сеньорита, они очень даже вовремя удрали в свой французский Париж, как только почуяли, что огонь им лижет пятки, продали усадьбу и купили себе там дом, и никогда больше их тут не будет, кричала Куница, потрясая грудью, украшенной букетиком искусственных цветов — пред-

[1] Шаль мексиканских женщин.
[2] Вот так! *(англ.)*

метом ее гордости. Они вас надули, сеньорита, заставили впустую прокатиться не иначе как для того, чтобы мы не думали, что они сбегут, сказал более спокойно полковник Фрутос Гарсиа, а Куница продолжала:

— Они всех нас облапошили, сень-о-ррита.

— Это значит — оставили в дураках,— сказал по-английски старик. Она посмотрела на него. Было трудно разглядеть кого-нибудь в круговерти дыма, огня и чужих лиц, но она смотрела на него.

— Помогите мне,— пробормотала она.

Старик понял, что ей нелегко было так сказать, просить у кого-то помощи — это выдавали ее глаза, подбородок, волнение груди. Старик тогда же подумал, что ему не раз придется разгадывать слова и дела этой девушки, одновременно принимая во внимание и то и другое, но она вовсе не старалась кого-нибудь обмануть, только пыталась обрести душевное равновесие, подавить душевное смятение, которое он разглядел в этом прозрачном существе. Он смотрел на нее, говоря себе, что она не отличается от тех женщин, каких ему часто приходилось встречать, «но она имеет право казаться иной, а я обязан уважать это право». Независимая девушка, но небогатая и неприспособленная, и не потому, что ей не дают денег «на булавки» — в Мексике говорят «на дармоедство» — или дали строго домашнее воспитание. «Ей здесь трудно, потому что она так же, как я, хочет остаться самой собою». Она была прозрачным существом, и гринго, глядя на нее, сказал себе, что, наверное, и он такой же, вопреки всему. «Есть люди, которые по природе своей великодушны, потому что они открыты, прозрачны: все в них можно прочитать, уловить, понять,— люди, несущие в себе собственное солнце, их озаряющее».

Арройо бросил взгляд из-под своих смыкавшихся до щелочки век— сначала на гринго, потом на американку. Арройо — непроглядный, смутный, но его смутность — его достоинство, подумал старик, наблюдая за ним. Его великодушие — его загадка, надо влезть ему в самое нутро, чтобы понять его и взять. Одна половина человечества — прозрачная, другая — смутная. Вот Арройо: есть что-то неуловимое и затаенное в его взгляде индейца-мапаче, что-то мятущееся в его мозгу.

— Верно. Позаботься о ней, индейский генерал. Сам видишь, ей ничто не угрожает.

Арройо исчез со своими людьми, как морской отлив, и они остались вдвоем, двое пристально глядящих друг на друга людей. Старик призывал себя к величайшей осторожности, чтобы не поддаться журналистской привычке создавать скороспелые стереотипы на потребу тупой массе, которая всегда довольна собой, если с ходу все понимает: один штамп на все случаи — такова была библия его шефа, мистера Херста. Он шел в нескольких метрах позади нее, чтобы она чувствовала себя под его защитой, а сам тем временем ее разглядывал: походку, манеру держать себя, чуть заметные проявления раненой гордости, сменявшиеся порывистыми, решительными жестами самоутверждения. Для газеты он так написал бы в одном из своих резюме, которые весьма забавляли Херста: «Дамочка в роли школьной учительницы», или: «Школьная учительница в поисках сильных ощущений». Можно было бы также на минуту представить себя джентльменом из южных штатов и попросту задать вопрос: понимает ли вообще эта девица с Севера толк в джентльменстве?

Она застыла в нерешительности перед запертой стеклянной дверью. Старик шагнул вперед в тот момент, когда она протянула руку, собираясь сама открыть дверь.

— Позвольте, мисс,— сказал он, и она повиновалась и была довольна; нет, ей не чужды условности. И к тому же она, как говорится, уже не первой молодости.

Они оказались в зале для танцев. Старик не смотрел на зал. Он

смотрел на нее и мысленно ругал себя за свое пристрастие к поспешности в оценках. Она, несколько успокоившись, огляделась, нашла место, где можно сесть, представиться и рассказать о себе — она, Гарриет Уинслоу, из Вашингтона, ОК [1]; он не назвал себя, сказав лишь: я — из Сан-Франциско, штат Калифорния; она повторила свою историю — приехала обучать английскому языку троих детей в семье Миранда.

Тут она впервые показалась ему другой: не прозрачной и ясной, а — в силу обстоятельств — туманной. Гарриет Уинслоу поправила галстучек и разгладила складки на плиссированной юбке, будто перестала быть самой собой и стала женщиной, одетой в форменный наряд деловых женщин в США: костюм от «Gibson Girl». Да она действительно не первой молодости, но еще молода, красива и, как он теперь знал, независима, не из тех, кто прыгает из материнской колыбели в мужнину постель. Она уже не видит жизнь в розовом цвете, не ведет беззаботную жизнь, сейчас уже нет. Но когда-то, наверное, знала, если эта гармония движений не благоприобретена, а впитана с молоком матери. Стремительная и уверенная элегантность прекрасной женщины тридцати лет.

О себе они не говорили. Она не сообщила ему об обстоятельствах, заставивших ее отправиться в Мексику. Он не сказал ей, что приехал сюда умирать, ибо все, что он любил, умерло раньше него. Они даже не сказали того, что у обоих вертелось на кончике языка. Не произнесли слова «бегство», поскольку не желали считать себя пленниками. Старик только сказал:

— Знаете ли, здесь ничто не может вас удерживать. Вы не отвечаете ни за революцию, ни за бегство ваших хозяев. Деньги принадлежат вам.

— Я их не заработала.

Эти слова были для обоих пустым звуком, хотя им никто и не говорил о том, что они — пленники, этой ночью они чувствовали себя узниками чужих мест, запахов, шумов, приближавшегося пьяного веселья: пустыня держала их в кулаке.

— Я уверен, что генерал поможет вам выехать отсюда, мисс.

— Какой генерал?

— Вы знаете какой. Тот, что просил меня заботиться о вас.

— Генерал?— раскрыла Гарриет свои огромные глаза.— Он не похож ни на одного из тех генералов, которых я знала.

— Вы хотите сказать, он не похож на джентльмена.

— Как вам угодно, только он не похож на генерала — джентльмена или нет. Кто его произвел в генералы? Я уверена, что он присвоил этот чин.

— Такое иногда бывает при чрезвычайных обстоятельствах. Однако в ваших словах звучит явная обида.

Она взглянула на него с полуулыбкой.

— Очень сожалею. Я не хочу быть неправильно понятой. Это всего лишь нервы. Дело в том, что армия для меня очень много значит.

— Я тоже не хочу быть навязчивым, но мне, судя по первому впечатлению, трудно представить вас...

— О нет, поймите, речь не обо мне, о моем отце. Он пропал без вести во время испано-американской войны [2]. Армии он обязан своим благополучием, и мы тоже. Не будь он в армии, ему пришлось бы просить милостыню на пропитание. И нам тоже. Я хочу сказать — моей матери и мне.

Но вдруг эта учительница, приглашенная в уже дотла сгорев-

---

[1] ОК — округ Колумбия.

[2] Имеется в виду испано-американская война 1898 г., в результате которой США оккупировали освобождавшуюся от испанского владычества Кубу, захватив Филиппины, Пуэрто-Рико, остров Гуам.

ший дом, эта воспитательница детей, которых никогда в глаза не видела и о которых знать ничего не знала, вдруг дернула головой, как раненая птица: в танцевальный зал, где укрылись американцы, ворвалось веселье гуляющего воинства. Люди завывали койотами и тихо смеялись, как индейцы, которые никогда не хохочут громко, подобно испанцам, и не хихикают жалостливо, подобно метисам.

Приглушенный смех и резкий рев трубы. Потом — внезапная тишина.

— Они нас увидели,— прошептала Гарриет, припав к плечу старика.

Нет, они увидели самих себя.

Танцевальный зал семейства Миранда был Версалем в миниатюре. Стены представляли собой два длинных ряда сплошных зеркал — сверху до полу, настоящая зеркальная галерея, предназначенная для воспроизведения — в непрестанном сладостном кружении — изысканных па и поворотов наезжавших сюда господ из Чиуауа, Эль-Пасо и других городков, чтобы станцевать кадриль и вальс на великолепном паркете, который сеньор Миранда выписал из Франции.

Мужчины и женщины из воинства Арройо смотрели на самих себя. Они застыли, парализованные собственным видом, отражением себя во весь рост, целостным изображением своих тел. Они медленно поворачивались, словно желая убедиться, что это не еще одна иллюзия. Они оказались в плену у массы зеркал. Старику пришло в голову, что ни мисс Гарриет, ни он сам не обратили никакого внимания на зеркала, когда входили сюда, ибо повидали на своем веку немало танцевальных залов: он — в огромных современных отелях, построенных в Сан-Франциско после землетрясения; она — где-нибудь на офицерском балу в Вашингтоне, на каком-нибудь вечере, устроенном ее галантным поклонником.

Старик тряхнул головой: нет, он не смотрел при входе на зеркала, потому что во все глаза глядел на мисс Гарриет.

Один из солдат Арройо протянул руку к зеркалу.

— Смотри-ка, это — ты.

А второй кивнул на изображение первого:

— Вот — я.

— Это — мы.

И слова закружили по залу: это мы, это мы, это мы, и послышалось бренчанье гитары, новые голоса влились в общий гомон; пришли кавалеристы, и возобновилось веселье с плясками и шутками в усадьбе Миранда, веселье, пренебрегавшее присутствием гринго, а тут появился и аккордеон, заиграл мексиканскую польку, и шпоры кавалеристов стали полосовать чудесный узорчатый пол, корежа его, раскалывая в щепы. Старик вовремя удержал Гарриет.

— Это их праздник,— сказал он ей.— Не вмешивайтесь.

Она в гневе резко от него отшатнулась.

— Они ломают паркет.

Он с раздражением взял ее под руку.

— Вы за него не платили. Говорю вам, не вмешивайтесь.

— Я за это отвечаю!— воскликнула Гарриет Уинслоу, вызывающе выпрямившись.— Сеньор Миранда мне уплатил за месяц вперед. Я беру на себя заботы о его собственности на время его отсутствия. Я за все это отвечаю, слышите?!

— Значит, вы не думаете вернуться домой, мисс?

Молодая женщина покраснела, как покраснел бы он сам, если бы заранее не сыскал для себя веских аргументов, чтобы уже никогда не возвращаться домой.

— Конечно нет! Особенно после того, что я увидела здесь сегодня вечером!

Она судорожно глотнула воздух, потом вздохнула глубже и медленнее. Сказала, что окончила колледж с отличием, но затем поняла, что ей вовсе не интересно учить детей, которые мыслят так же, как она сама. У нее не было стимула, интереса. Оставаться в Соединенных Штатах — означало погрязнуть в рутине. Она почувствовала, что ее долг — ехать в Мексику.

— И потому, если детей, которых я приехала обучать, тут не оказалось, я останусь, чтобы обучать этих детей,— сказала она тоном, который в равной степени выдавал и ее смущение, и довольство собой.

Мужчины и женщины — из войска и из деревни — плясали вперемешку, обмениваясь беглыми поцелуями, уже не обращая никакого внимания на стеснительное присутствие кого-то другого, самих же себя в зеркалах.

— Вы их не знаете. Вы их совсем не знаете,— сказал старик, не имея желания ответить ей так, как ответил бы до своего мексиканского путешествия: словами презрительного сострадания, колкой бандерильей[1] былых времен.

И уже намазывал, как масло на тост, вторую мысль на первую: а смотрела ли Гарриет Уинслоу в зеркало, когда входила сюда? когда она, обретя прежнюю самоуверенность, ответила на утверждение старика: «Но и они не знают меня».

— Посмотрите на них, этот народ прежде всего нуждается в образовании, а не в ружьях. Их бы хорошенько помыть да прочитать им несколько лекций о том, как мы управляемся со своими делами у нас, в Соединенных Штатах, и все эти беспорядки кончились бы...

— Вы хотите приобщить их к цивилизации? — сухо сказал старик.

— Совершенно верно. Начну завтра же утром.

— Не торопитесь,— сказал старик.— В любом случае до утра надо еще где-нибудь переночевать.

— Я вам уже сказала, что беру на себя все заботы об этом поместье, пока не вернутся законные хозяева. А вы хотите поступить иначе?

— Никакого поместья здесь нет. Оно сгорело. Никакие хозяева не вернутся. Оставаться вам тут нечего и учить некого. Как бы вас первую не научили уму-разуму, мисс Уинслоу, да еще не очень приятным образом.

Она с удивлением взглянула на него:

— Вы мне показались джентльменом.

— Я джентльмен, дорогая мисс, клянусь, я джентльмен, и потому-то и взялся вас опекать.

Он нагнулся, приподнял ее над исковерканным паркетом, взвалил, как куклу, на свое старое, но крепкое плечо и понес ее, онемевшую от изумления, многократно умноженную зеркалами, словно в каком-то серебряном сне; понес из этого стеклянного, звеневшего музыкой пузыря, который чудесным образом остался цел, спасся от пожара, устроенного генералом. Гринго шел к выходу под шутки, и завывание, и веселые переливы победного аккордеона. Она продолжала отбиваться ногами и кулачками на холодном ветру равнины, среди жаровен и дыма от тлеющего навоза и подгоревших тортилий.

— Ты позаботься о ней, индейский генерал.

Он понимал, что сам тоже мог рассчитывать только на гостеприимство мрачного и угрюмого генерала Арройо. Гринго угодил в сети молодого повстанца. И почти был готов отвести Гарриет Уинслоу в роскошный железнодорожный вагон, в личный бордель не-

[1] Маленькое копье, стрелы, которыми разъяряют быка на арене до выхода тореро.

грамотного воина, помнящего о вековых несправедливостях, но все-таки мужлана, не умеющего ни читать, ни писать. Старик взглянул на Гарриет Уинслоу, мысленно задавая ей тот же вопрос, который задавал себе самому: а может быть, она права?

Он осторожно опустил ее на землю, обнял за плечи и оглянулся на мужчин и женщин революционной армии Чиуауа, закутанных в свои сарапе, жмущихся к жаровням.

Гарриет и гринго тоскливо переглянулись, и каждый увидел свое отчаяние в глазах другого. Ночной простор — это огромный склеп под чистым небом, самое большое в мире открытое помещение. Прижавшись друг к другу, они чувствовали, будто погружаются на дно гигантского ложа, на дно океана, который, наверное, когда-то заполнял эту каменную чашу, а потом ушел, оставив на голой равнине водные миражи: моря, океаны, реки, которые здесь были или могли быть.

— Гарриет, вы смотрели на себя в зеркало, когда мы вечером входили в танцевальный зал?

— Не знаю. А что?

Ей хотелось спросить его: вы тоже здесь за что-то сражаетесь? На чьей вы тут стороне? До того как сожгли усадьбу, все говорили, что это очень быстрая война, что надо все делать скоро, без оглядки, иначе можно угробить революцию. Они повесили на столбах всех федералов, которых изловили. Они свистят, слышите? Это ужасно! Вы — с ними? Вы воюете вместе с ними? Вам грозит опасность умереть здесь?

Старик все повторял свой вопрос: вы смотрели на себя в зеркало?...

Она так и не ответила, потому что маленькая женщина, закутанная в синее ребосо, с лицом круглым, как лицо скрывшейся луны, с глазами как две грустные миндалины, вышла из вагона генерала и сказала, что сеньорита будет спать с ней. Генерал ожидает старика. Завтра — идти в бой.

VII

— Что она сейчас делает?

— Сейчас она сидит в одиночестве и предается воспоминаниям.

— Нет. Сейчас она спит.

— Она видит сны, и годы возвращаются.

— Она верит, что, когда приходят сны, эти сны и есть ее жизнь.

— Она видит, как один старый человек (ее отец?) целует ее во сне, а потом уходит воевать.

— Он не вернулся с Кубы.

— Могила в Арлингтоне[1] пуста.

— *Я хотела бы встретить смерть, не чувствуя себя униженной, ни о чем не сожалея, ни в чем себя не обвиняя, ни в чем не сомневаясь; сама себе госпожа, со своим собственным суждением, но не ханжа и не лицемерка, нет.*

— Твой отец уехал на Кубу, а теперь ты отправляешься в Мексику. Что за пристрастие у этих Уинслоу к нашим задворкам.

— А ты взгляни на карту этих самых задворок. Вот Куба. Вот Мексика. Вот Доминиканская Республика. Вот Гондурас. Вот Никарагуа.

— Что за странные у нас соседи. Мы их приглашаем к ужину, а они потом отказываются мыть грязную посуду.

— Смотрите на карту, дети. Учитесь.

— Одиночество — это жизнь вне времени.

— Проснись, Гарриет, проснись. Уже поздно.

Ее мать всегда ей говорила, что она упряма, как ослица, и к тому

[1] Военное кладбище в Арлингтоне (США).

же фантазерка, а это плохое сочетание для девушки без приданого, хотя бы и с прекрасными манерами и безупречным поведением.

Когда она прочитала объявление в «Вашингтон стар», сердце забилось быстрее. Почему бы не согласиться? Преподавать в начальной школе стало так же нудно, как ходить с мамой к воскресной мессе или вот уже восемь лет чинно гулять со своим женихом, которому недавно исполнилось сорок два года.

— Когда люди достигают определенного возраста, общество мирится с создавшимся положением, если, конечно, ничто не изменится и не будет никаких сюрпризов.

А *почему* бы нет?— говорила она себе, покусывая кончик галстука на своем костюме от «Gibson Girl»— этой почти форме одежды служащих девушек начала века: белая блуза с широкими рукавами и стоячим воротничком, галстук, длинная и свободная шерстяная юбка, высокие ботинки. А почему бы *нет*? Ведь она дала счастье и своей матери, которая не чувствовала себя брошенной на старости лет и была довольна тем, что единственная дочь спит под одной с ней крышей и каждое воскресенье сопровождает в методистскую церковь на улице М; она дала счастье и Дилейни, своему жениху, вовсе не жаждавшему распрощаться с удобными апартаментами своего клуба, с привычным комфортом и барскими замашками холостяка. Уже не говоря о независимости, которую в своих хитроумных комбинациях ему обязано предоставлять правительство США.

— В общем-то, теперь везде опасно,— говорил Дилейни, скользя взглядом по примелькавшимся газетным заголовкам, сообщавшим о тучах над Европой, об угрозе войны.

— Чего ты тут со мной прозябаешь?— говорила мать с ехидно-ласковой улыбкой.— Тебе уже тридцать первый год. Тебя не одолела скука?

И обнимала дочь, притягивая ее к себе, подставляя под поцелуй свои увядшие щеки. В цепких материнских объятиях ей приходилось выслушивать родительские сетования, да, конечно, легко себе представить все горе молодой девушки, которая могла бы родиться в Нью-Йорке богатой невестой, но, увы, должна все время чего-то ждать, подобно своей матери, всю жизнь ждать известий, которые никак не приходят, известий о каком-нибудь наследстве, хотя бы о смерти папы на Кубе, или приглашения от какого-нибудь молодого человека — да, да, все это не так просто, потому что нам не нужна милостыня, верно, дочка?— а молодые люди не хотят попусту навещать бесприданницу — дочь капитана армии США, вынужденную уехать из Нью-Йорка и преподавать в начальной школе в Вашингтоне, чтобы быть поближе — боже мой!— к армейскому пенсионному ведомству, к памятным местам отца, который служил здесь в последние годы, к Арлингтонскому кладбищу, где он должен был быть похоронен со всеми почестями, но никто так и не знает, где он, где погиб во время кубинской кампании.

Летом Вашингтон подвергал ее осаде: стоит флору предоставить самой себе, как буйная зелень захватывает все вокруг и готова удушить столицу под роскошным пологом тропических растений, лиан и тошнотворных магнолий.

— На наступление тропических джунглей вашингтонцы ответили строительством греко-романского пантеона.

Когда созрело решение уйти, она положила руку на руку матери, и мать пробормотала, что дочь — воспитанная девушка, но упрямая, как ослица, и фантазерка; ну, да ладно — вздохнула она,— желаю тебе найти счастье, несмотря ни на что, желаю — повторила она,— несмотря на то, что мыслим мы по-разному.

— Ты меня не выслушала, мама.

— Это ни к чему, дочка. Я все знаю. Вот, возьми. Тебе письмо.

На конверте была мексиканская марка. И четкий адрес:

Miss Harriet Winslow, 2400, Fourteenth Street, Washington, D. C., USA[1].

— Зачем ты его вскрыла, мама? Кто тебе..?

Она умолкла, спорить не хотелось. Она решила принять предложение семьи Миранда до того, как что-нибудь случится, до того, как умрет мать, или вдруг вернется отец, или предстанет перед судом за подлог,— так она поклялась, поклялась себе самой. Она была готова ехать в Мексику, ибо чувствовала, что научила маленьких американцев всему, чему могла. Прочитав объявление в «Стар», подумала, что в Мексике сможет научить маленьких мексиканцев всему, что знает. Вот тот самый стимул, который нужен, сказала она, надевая свою лакированную соломенную шляпку с черной шелковой лентой. Изучение испанского языка станет скромной данью школьной учительницы памяти отца, павшего на Кубе. Испанский пригодится ей для преподавания английского детям семейства Миранда в их усадьбе, в штате Чиуауа.

— Не уезжай, Гарриет. Не бросай меня именно сейчас.

— Я решила, еще ни о чем не зная,— ответила она своему жениху, мистеру Дилейни.

— Почему мы бросаем Нью-Йорк?— спросила она много лет назад свою мать, и та сказала, что корни их семьи там, у берегов Гудзона, а не здесь, у берегов Потомака.

Она засмеялась и сказала матери, что, значит, не они бросают Нью-Йорк, а Нью-Йорк бросает их. Произошло так много непонятного, когда отец был послан на Кубу, ей было тогда шестнадцать лет, а он так и не вернулся.

Каждое утро она садилась перед зеркалом в своем маленьком алькове на Четырнадцатой улице и однажды заметила, что ее лицо говорит ей нечто такое, что отнюдь не прибавляет хорошего настроения.

Всего тридцать первый год, а ее лицо в зеркале, когда она легко обвела его пальцем на стекле и коснулась холодного виска, выглядело — нет, не более старым,— но более блеклым, менее ясным, чем десять лет или даже два года тому назад: как книжная страница, на которой тускнеют буквы.

Она очень любила мечтать. Если в жизни она была другой, чем в мечтах, «обеим» были свойственны — и это приходилось признать — внезапные душевные порывы. Сердце вспыхивало вдруг как молния, как мечта. Нет, не так, спорила она с собой и отгоняла грезы, ибо заветы ее религии проникали в самую глубь ее мечтаний; нет, не так, злилась она на себя за то, что думала другое,— твоя душа не отдастся во власть порыва, она во власти бога и вечности.

Возвращаясь к действительности, она вспоминала о том, что могла сказать, но не сказала, о ей одной известных ошибках и нерешительности в словах и действиях, что мучили ее все ночи.

Таким было царство ночной тьмы, но свет оборачивался для нее еще большей мукой. Во мраке сна и видений она погружалась в знойное лето атлантических приливов так же, как погружалась в жар собственного дремлющего тела. Она ощущала себя влажными берегами Потомака и томной росистой зеленью, которая только с виду была обуздана городом Вашингтоном, а на самом деле заполняла все уголки гибнущих садов, все водоемы, тенистые задние дворики, затаившиеся под кровлями зеленой мглы, устланные коврами мертвых бутонов белого кизила, наполненные терпким запахом потных негров, чьи размякшие днем тела и припорошенные грустью лица покидала жизнь в пору летней душной жары.

На пути от Вашингтона к границе Мексики ей подумалось, что в Вашингтоне — лето, а солнечный свет — в Мексике. В ее мыслях, метавшихся между прошлым и будущим, тьма и свет обнажали суть

[1] Мисс Гарриет Уинслоу, 2400, Четырнадцатая улица, Вашингтон, округ Колумбия, США *(англ.)*.

природы того и другого. Мексиканское солнце раздевало пейзаж догола. Солнце Потомака превращалось в мерцающую дымку, способную поглотить даже очертания интерьера, залы, комнаты; сырые, пустые и зловонные погреба, куда сбегались крысы плодить потомство. В дымке растворялись старые ковры, мебель и парадные костюмы, которые никогда не выбирались из Вашингтона; люди приезжали и уезжали со своими баулами, а старые вещи все теснились здесь, словно замершие темные призраки, пропахшие тленом и нафталином.

Она спрашивала себя вслух: когда я была счастлива?

Ответ был один: когда ее обожаемый отец уехал и она почувствовала себя самостоятельной; отныне она стала самостоятельна. В детстве ее воображение захватывал яркий желтый свет, она наблюдала, как он медленно полз с одного этажа на другой в недавно построенном, но уже запущенном особняке на Шестнадцатой улице. Она пряталась летом за вечнозеленым кустарником у края заброшенного теннисного корта на холме, у подножия которого был газон с засохшими магнолиями, и пристально следила, как свет, то тихо удаляясь, то возвращаясь, словно плавил мягкую внутренность, масляное нутро здания, замысловато сложенного из шлифованного камня и похожего на роскошный сумрачный дом времен Второй империи.

Кто носил там лампу? Почему ей казалось, что свет ее звал? Кто там жил? Никогда она не видела людей.

Теперь она пристально смотрела на лампу посреди любимого стола своей матери, стола с мраморной доской, за которым ее отец по ночам шелестел счетами, а днем вся семья обедала, и который ее мать ныне употребляла только для трапезы. Она смотрела на домашний свет и ощущала, как при взгляде на эту простую вещь, этот предмет домашней утвари, эту газовую лампу с зеленым абажуром оживает в ней та трепетная мечта и то страстное желание, какие будил в ней свет в запущенном летнем особняке.

Она протянула руку и дотронулась до руки матери, давая понять, что уходит. Мать это уже знала. И даже вскрыла письмо от семейства Миранда — без разрешения вначале, без извинения потом.

Miss Harriet Winslow, 2400, Fourteenth Street...

— Девушка воспитанная, но фантазерка и упрямая, как...

Это уже не имело значения, да она и не прислушивалась к словам матери.

Удивительно, но лицо бедной матери зримо осветилось молодостью дочери и ее надеждой на счастье. Наверное, это чудо сотворил свет лампы, подарок дочери. Свет. Наверное, тот самый свет-призрак, что уходил от нее в мертвом особняке, тот самый свет пришел сюда, в их маленькую квартирку, чтобы выполнить желание мисс Уинслоу: пусть на мою мать прольется живой свет моего детства, пусть на дочь никогда больше не упадет грустная тень матери.

Ей виделось: вот свет остановился возле черного хода, возле лестницы, ведущей в подвал, в последний и самый мрачный лабиринт необитаемого особняка, жуткой и эфемерной дани вашингтонской кичливости и моде, здания пантеонной белизны с колодезным мраком внутри,— и оттуда вырвались запахи. Она сначала узнала только один запах — зловоние старых матрацев и отсыревших ковров. Но тут же узнала и второй — запах лежавшей там пары, терпкий дух любви и крови и влажных беспокойных тел. То были ее отец и одинокая негритянка — может быть, прислуга уехавших хозяев, а может быть, даже отверженная людьми хозяйка этого особняка.

— Капитан Уинслоу, я очень одинока, и вы можете пользоваться мной когда захотите.

Мистер Дилейни, ходивший в женихах восемь лет, издавал запах прачечной, когда украл у нее первый поцелуй во время одной из летних ночных прогулок, а позже, когда все свершилось, она увидела, какой он старый и потрепанный без своего накрахмаленного ворот-

ничка сорочки «Эрроу», а он сказал: да, кем еще быть женщинам, как не шлюхами и святыми.

— Ты разве не довольна, что я считаю тебя своим идеалом, Гарриет?

VIII

На рассвете генерал Арройо сказал старому гринго, что они выступают, потому как надо уничтожить последние очаги федералистского сопротивления в этой области. Разрозненные отряды бывшей армии хотят объединиться в горах Сьерра-Мадре и внезапно атаковать нас из засад, надолго сковать нас здесь, а мы должны идти вперед, вслед за основными силами дивизии, которая уже продвинулась далеко к югу, взяла города в Лагуне. Надо встретить Панчо Вилью, сказал хмуро и резко генерал, но сначала надо уничтожить федералов здесь...

— Значит, мы пока не идем на соединение с Вильей? — с тревогой сказал старик.

— Нет,— ответил Арройо,— все мы идем объединить свои силы, как приказал нам генерал Вилья, чтобы потом вместе взять Сакатекас и Мехико. Это основная цель нашего похода. Мы должны быть там раньше людей Обрегона и Каррансы. Панчо Вилья говорит, что это важно для революции. Мы — народ своей земли, а остальные — чистоплюи. Вилья спешит вперед, мы подчищаем недобитых, чтобы никто не ударил нам в... спину,— сказал, теперь уже весело улыбнувшись, Арройо.

— Мы что называется летучая бригада. Это, конечно, не самая завидная роль...

У старика не было повода для веселья. Время шло, а Панчо Вилья оставался недосягаем. Гринго сказал, что через пять минут будет в седле, и поднялся в железнодорожный вагон, где прямо на полу спала луноликая женщина. Она уступила свою постель сеньорите Уинслоу. При появлении старика мексиканка проснулась. Старик поднял руку с просьбой не двигаться. Женщина не шевельнулась и снова закрыла глаза. Старик с минуту не отрывал взора от прекрасного лица спящей девушки, слегка дотронулся до ее блестящих каштановых волос, натянул сарапе[1] на обнажившееся плечо, маленькое и округлое, и нежно скользнул губами по горячей щеке. Наверное, луноликая женщина поняла смысл этой ласки (так хотелось бы старому гринго).

Сновидение — это сказка только для себя, подумал старый гринго, когда поцеловал спящую Гарриет, и пожелал, чтобы ее грезы длились дольше войны, даже одолели бы войну, и когда он вернулся бы из сражения — живым или мертвым,— она встретила его в этом своем нескончаемом сне, который он, движимый желанием и силой этого желания обратившийся в ясновидца, сумел увидеть и понять в те считанные минуты, пока длился сон, который память или способность забывать сделают потом долгой историей, полной подробностей, разных декораций и происшествий. Он пригласил бы, наверное, и ее в свой будущий сон, но сон смерти ни с кем нельзя разделить. А пока они оба живы, хотя и столь далеки друг другу, им можно проникать в сны друг друга, делиться ими.

Огромным напряжением воли, словно это было последнее усилие его жизни, он в один миг — сжав губы, не смежив веки — смог увидеть весь сон бытия Гарриет, весь целиком: исчезнувшего отца, увядшую в тени мать, слияние неподвижного света на столе с бегущим светом в заброшенном доме.

— Я очень одинока.

— ...вы можете пользоваться мной, когда захотите.

— ...вы смотрели на себя в зеркало?

[1] Шерстяная накидка мексиканских сельских жителей.

— Ты видел, как они вчера гляделись в зеркала? — сказал Арройо, вскакивая на вороного коня рядом с гринго, сидевшим на своей белой кобыле. Старик посмотрел на него из-под седых бровей. Обвисшие поля старого стэтсона не смогли скрыть ледяного голубого взгляда. И утвердительно кивнул.

— Они никогда не видели себя в зеркале во весь рост. И не знали, что их тело — это не только видимые ими куски или осколки отражения в реке. Теперь-то они знают.

— Поэтому и не был сожжен танцевальный зал?

— Ты прав, гринго. Именно поэтому.

— А почему уничтожено все остальное? Что вы от этого выиграли?

— Взгляни на эти поля, индейский генерал,— сказал Арройо, быстрым и усталым движением руки сбросив с головы назад свое сомбреро, которое, повиснув на ремешке, прикрыло ему спину.— Здесь трудно чему-нибудь вырасти. Кроме воспоминаний и ненависти.

— Вы думаете, что обида может идти в ногу со справедливостью? — улыбнулся старик.

Арройо не ответил, бросив на ходу:

— Подъезжаем к отрогам сьерры.

Вот, значит, где все случится. Старик посмотрел на вершины гор, ощерившихся желто-базальтовыми клыками. Каменистые отроги сьерры походили на уснувших старых зверей, которые выползли из нутра горы, бесконечно равнодушной, сотворившей самое себя. Но старик тут же вернулся к мысли о том, что засевшие там, наверху, федералы отнюдь не спят. Надо быть начеку, как тогда, когда волонтеры из Индианы помогали Шерману ликвидировать остатки мятежного войска Джонстона после поражения при Файетвилле в войне между Севером и Югом. И до жути знакомое, но почти забытое чувство вдруг охватило старого гринго, чувство, пережитое в юности, когда он страстно желал воевать на стороне северян, голубых, вместе с юнионистами, против южан, серых, против мятежников, ибо ему представлялось, что его отец воюет на стороне Конфедерации против Линкольна. Ему так хотелось, потому что виделось: в драме революции сын идет против отца.

— Они нападут или сейчас, или никогда,— сказал старик, мгновенно упав с небес на землю, как ястреб на добычу.— Сейчас мы у них на виду.

— Если нас атакуют, мы будем знать, где они засели,— сказал Арройо.

Пули пробили корку земли метрах в двенадцати от них.

— Ишь не выдержали,— усмехнулся Арройо.— Оттуда нас не достать.

И велел отряду остановиться; все спешились. Все, кроме старика. Тот ехал трусцой как ни в чем не бывало.

— Эй, индейский генерал! Иль не можешь удержать свою кобылу? Я приказал спешиться! — кричал Арройо.

А старик, словно не слыша криков, пустил лошадь в галоп прямо к тем отрогам, где стрекотал пулемет.

— Эй, гринго, идиот, не слышишь приказа? Вернись, старый болван!

Но старик направлялся вскачь прямехонько к горе, а пулемет продолжал хлестать огнем над его головой, взяв на прицел отряд Арройо и не задевая этого призрачного белого всадника на белой лошади, такого зримого, что он казался незримым и скакал, словно не замечая огня, опустив поводья на луку и выпрямившись. Арройо и его люди прижались к земле, больше напуганные выходкой гринго, чем собственным положением или федералами в засаде. Лежа на брюхе, они понимали, что федералы просчитались, пулеметные

очереди их не достигают и в то же время бьют поверх старика. Но просчет вот-вот будет замечен врагом. И тогда прощай, старый гринго, пробормотал Арройо, припав грудью к камням.

Сверху видели приближавшегося всадника, но действительно в это не верили. Старик понял ситуацию, едва заметил изумленные лица солдат. Он казался потусторонним существом: словно белый демон-мститель, только с глазами как у господа бога в церквах; шляпа слетела с белых волос, и перед ними был сам бог-отец. Видение, но никак не явь. Этих минут оказалось достаточно, чтобы кучка остолбеневших федералов вконец растерялась, забыла бросить пулемет и схватиться за винтовки. Глупцы, они не знали, что за ними в горах верхом на коне, с обнаженной шпагой в руке зовет их к победе офицер армии Конфедерации и что именно к этому всаднику, вознося свою неистовую ярость к горным кручам, устремлялся гринго, а не к ним, вдруг потерявшим из виду пулемет, заслоненный тощим сморщенным призраком, который поочередно в них выстрелил. Четыре солдата свалились замертво под солнцем, распластавшись на горячей скале; их щеки и в смерти были горячими, их ноги уперлись в камни, будто хотели отпрянуть от смерти, опередить ее в беге. Победный крик повстанцев качнул жаркий воздух, но гринго ничего не слышал, гринго продолжал палить вверх, по скалам, туда, где сначала скакал, а потом сорвался в пропасть всадник в сером мундире, белый как лунь, сорвался, но был подхвачен ветром — всадник, унесенный ветром.

Все бросились к старому гринго утихомирить его, поздравить, бежали, отряхивая на ходу землю и колючки с груди, а он все стрелял и стрелял вверх и в воздух, не обращая внимания на радостные вопли своих товарищей, которые не ведали, что здесь снова была пережита фантастическая история, в которой он нес караул возле лагеря юнионистов, на какую-то минуту заснул и был разбужен хриплым, отчетливо слышным голосом своего отца-южанина, который — верхом на белом коне — окликнул его с вершины скалы:

— Выполняй свой долг, сын.

— Я убил своего отца.

— Ты храбрый человек, индейский генерал,— сказал Арройо.

Старик сурово и сосредоточенно смотрел в глаза генералу, думая, что мог бы многое рассказать ему. Да кому интересен его рассказ. Разве что Гарриет Уинслоу. Впрочем, и она, потерявшая отца на войне, слишком буквально воспримет такого рода историю. Для старого гринго, давно попавшего в почти неощутимый круговорот яви и вымысла, проблема состояла в другом: перед ним, писателем или журналистом, всегда маячила альтернатива; теперь же всякую мысль о прежнем возможном выборе — явь или вымысел — надо было выкинуть из головы. Он уже не мог верить в то, что, как прежде, будет жить, работать, сочетать свои писания для Херста и его читателей с фантастическими выдумками об отце и жене, последнее приносить в жертву первому. Отныне перед ним лежал только один путь, и поэтому он сказал Арройо то, что ему оставалось сказать:

— Быть храбрым не слишком трудно, если нет страха перед смертью.

Но Арройо знал, что горы уже кричат — от подножий и до вершин, от долин и до пещер, над обрывами и речными руслами, сухими, как коровьи кости: пришел смелый человек, идет дерзкий смельчак, отважный человек ступил в наши ущелья!

IX

А вот равнина забыла о нас, сказал себе этим же утром старый гринго. Арройо в это время поглядел на небо и подумал, что всяк имеет свой дом, а у него и у облаков крова нет. Гарриет Уин-

слоу, напротив, проснулась с тревожным ощущением несделанного дела, раздраженно повторяя слово «tomorrow» — «завтра», слово, обещавшее долгий сон и, казалось бы, тут же разбудившее ее. Вопрос старика (смотрела ли она на себя в зеркало танцевального зала) все еще звучал в ушах, и Гарриет сказала себе: а почему бы и не посмотреть? — хотя зеркало начинало говорить о том, что ей совсем не нравилось. Может быть, старик хотел спросить ее вчера вечером, не увидела ли она в этих зеркалах чего-нибудь нового, или все осталось по-старому?

— Ты и твои грезы — одно и то же. Вы — мгновенны.

— Ты — не мгновение, не сон, ты — вечна.

И потому в то утро, когда произошла стычка с врагом, о которой она ничего не знала, Гарриет твердым шагом шла в деревню, расположенную неподалеку от сгоревшей усадьбы, шла бодро и весело в своей блузе с галстуком, в своей широкой плиссированной юбке и высоких ботинках, закрутив свои каштановые волосы в тугой узел, приговаривая «начнем сначала», уже почти не думая о том, что, просыпаясь, была во власти сомнений,— может быть, следовало сказать генералу и старику о том, о чем она могла сказать?— и мысленно произнося то, что вчера не было облечено в слова, отгоняя мысли, мучившие ее всю ночь. Именно поэтому то, что она должна была сделать днем, приобретало особую важность: сначала надо кое-что осуществить, а это поможет выкинуть из головы импульсивные ночные колебания. Но она опять будет засыпать и снова будет грезить, ибо разрушение снов-озарений машиной дневного времени, которая ежедневно перемалывает подлинное внутреннее время жерновами реальных действий, лишь ярче обрисовывает, делает еще более отчетливым мир вечных мгновений, куда она возвратится ночью — во сне и одиночестве.

Отряд вернулся в сумерки. Арройо увидел мужчин, убиравших то, что осталось от сгоревшего дома; женщин, гревших в бадьях воду для мытья, и детей, сидевших вокруг мисс Уинслоу на веранде танцевального зала, уцелевшего от пожара. Дети старались не глядеть на себя в зеркала. Мисс горячо порицала тщеславие: этот зал являет собой искушение, подвергающее испытанию нашу христианскую смиренность, ввергает нас в грех гордыни.

— Вы смотрели на себя в зеркало, когда входили в танцевальный зал?

Она выучилась правильно говорить по-испански в своем вашингтонском колледже и могла изъясняться на языке свободно, даже безупречно, если не волновалась, как прошлой ночью. Да, Гордыня, Тщеславие, Дьявол, Грех, а дети слушали и думали, что урок этой училки-гринги не очень отличается от проповедей приходского священника, только в усадебной часовне было побольше всяких интересных и хороших вещей, на которые можно поглазеть, пока падре болтал. Мисс Гарриет Уинслоу расспросила детей и нашла, что они сообразительны и словоохотливы. Сеньорита, сеньорита, вы уже сходили в нашу красивенькую часовню?

— Увидели ли вы себя другой, чем в Вашингтоне, или ничто не изменилось?

Глаза Гарриет Уинслоу встретились с глазами Томаса Арройо, когда генерал быстро шел по залу с хлыстом в руке. Она заметила его еле сдерживаемую ярость и была довольна. Кто разрешил сеньорите восстанавливать усадьбу? Как она посмела отдать приказы людям?

— Да так, чтобы у людей была крыша над головой,— просто ответила мисс Уинслоу.— Не все могут спать в пульмане, обставленном как для самих Вандербилтов.

Генерал взглянул на нее, свирепо сощурившись.

— Я хочу, чтобы это место осталось пепелищем. Я хочу, чтобы дом Миранды исчез НАВЕКИ.

— Вы с ума сошли, сеньор,— сказала Гарриет со всей серьезностью, на какую была способна.

Громко отмеряя шаги каблуками, он подошел к ней вплотную, но остановился, ее не коснувшись.

— Арройо. Меня зовут ге-не-рал Арройо.

И замолк, но она не ответила; он закричал:

— Вам понятно или нет? Никто не изменит этого места! Как есть, так и будет!

— Вы с ума сошли, сеньор.

Теперь в голосе Гарриет звучала насмешка. Он грубо схватил ее за руку, она с трудом подавила стон.

— Почему вы не называете меня генералом, генералом Арройо?

— Отпустите меня!

— Ответьте, пожалуйста.

— Потому что вы не генерал. Никто вас в генералы не производил. Я уверена, что вы сами наградили себя этим чином.

— Тогда пошли со мной, ну!

Он силой потащил ее за собой тем вечером. Старик сидел с бокалом текили в генеральском вагоне, услышал громкие голоса и вышел в тамбур. Он отчетливо видел их фигуры, лица, освещенные закатными лучами. Она — изящная и высокая, он — низковат для мужчины, но мускулист, и его мужская сила восполняет то, в чем американка его превосходит: рост, манеры или — как точнее назвать то, чего мексиканец боится и хочет, чтобы она признала? — думал старик, глядя на них, слыша их голоса в конце своего героического дня, когда ему уже не захотелось сесть в кресло и взять перо в руки, чтобы ослабить физическое напряжение, а потянуло к жгучей текиле, страстно желалось только одного: скорее бы кончился этот день и пришел следующий, который наконец станет днем его смерти. Но он знал, что награда, как всегда, достается не храбрым, а молодым, идет ли речь о смерти или о писательстве, о любви или о смерти. Он в страхе прикрыл глаза: показалось, что видит сына и дочь; один — смутный, другая — прозрачная, но оба рожденные тем семенем воображения, которое называется поэзия и любовь. Ему стало страшно, потому что он больше не хотел любить.

— Смотри,— сказал Арройо мисс Уинслоу так же, как сказал старому гринго утром,— посмотри на эту землю,— и она увидела сухой, неприглядный, но поражающий своей трагичной силой край, лишенный природных щедрот, скупой на земные плоды; она видела землю, где чахлым росткам маиса надо пробиваться из мертвого лона, как ребенку, который живет и борется, чтобы родиться из мертвого чрева матери.

Гарриет и старик в этот миг подумали о других, тучных землях, о полноводных и бесконечно длинных реках, о солнечном трепете пшеничных полей на ровных, как скатерть, землях и о мягких изгибах долин у подножия голубых курящихся гор, покрытых лесами. Реки: перед глазами сразу возникали реки Севера, а с языка срывались названия, сливавшиеся в единый упоительный поток, растворявшийся в сухих и томящихся жаждой сумерках Мексики. Гудзон, говорил старик; Огайо, Миссисипи, отвечала она ему издали; Огайо, Миссисипи, Потомак и Делавэр, закончил старый гринго, представляя себе обильные зеленые воды.

Что сказал старый гринго вчера вечером мисс Гарриет? Она приехала учительницей в усадьбу — которой уже нет, которую она никогда не видела — обучать английскому господских детей, не зная, что это за дети и существуют ли на самом деле.

— Они тут подыхали от скуки,— сказал Арройо, и его тяжелые, терпкие слова падали на эту землю, лишенную рек.

Они тут подыхали от скуки, господские сынки, они иногда наезжали сюда на каникулы. Управляющий вел все дела. Прошли те времена, когда помещик всегда был здесь, считал коров и мешки с зерном. А эти, когда приезжали, подыхали от скуки и лакали коньяк. А еще устраивали «бои быков» с телками. А еще скакали по полям, по тяжко поднятым землям пугать крестьян, гнувших спину над хилыми всходами в Чиуауа, где росли агавы, тощая пшеница и фасоль; отпетые мерзавцы били их мачете плашмя по спине и охотились с лассо на женщин, а потом насиловали их в хлеву усадьбы, и матери молодых кабальеро делали вид, что не слышат криков наших матерей, а отцы молодых кабальеро пили коньяк в библиотеке и говорили: мол, сыновья вошли в силу, самое время для гульбы, лучше раньше, чем позже. Они знали, что делали. Мы теперь — тоже.

Арройо уже не смотрел на злосчастную землю. И повернул Гарриет за плечи к обугленным столбам усадьбы. Она не сопротивлялась внешне, ибо не противилась внутренне. Подчиняется этому Арройо, когда он не больше, чем Арройо, говорил себе старик, хмельной от своего ратного подвига, от ожившего творческого червячка, от желания рассчитаться с жизнью, от страха умереть обезображенным (собаками, ножами), от боязни снова воспринимать чью-то боль как свою собственную, от опасения быть задушенным астмой, от решения умереть не своей смертью. И все сводилось к одному: «Хочу, чтобы мой труп хорошо выглядел».

— Я — плод такой вот гульбы, сын беды и случая, сеньорита. Никто не защитил мою мать. Она была девочка. Незамужняя и совсем беззащитная. Я родился, чтобы ее защищать. Вот так, сеньорита. Здесь никто никого не защищал. Даже быков. Холостить быков даже было поинтересней, чем насиловать крестьянок. Я видел, как у них сверкали глаза, когда они орудовали ножом и орали: «Вол! Вол!»

Его рука лежала на плечах Гарриет, но она не сопротивлялась, ибо знала, что Арройо еще никому так об этом не говорил, и, вероятно, понимала, что слова Арройо заслуживают внимания хотя бы потому, что генерал не знает другой жизни.

— Кто сделал меня генералом? Я тебе скажу — несчастье меня сделало генералом. Бессловесное, беззвучное житье-бытье. Здесь тебя убили бы, если бы услыхали хоть один звук из твоей постели. Мужчины и женщины, спавшие вместе и не сумевшие вовремя прикусить губы, подвергались порке. Мол, неуважение к господам Миранда. Господа — люди приличные. Потому мы любили и рожали молча, сеньорита. Зато вместо голоса у меня есть бумаги. Можешь спросить у своего приятеля-старичка. Хорошо он о тебе заботится? — сказал Арройо, легко и непоследовательно переходя от драмы к фарсу.

— Месть,— сказала Гарриет, не обратив на это внимания,— месть всему причина. Вы поставили памятник мести, хотя, скорее, памятник презрения к собственному народу. Месть живуча, генерал.

— А вы их самих спросите,— сказал Арройо, кивнув на своих людей.

(Храбрец Иносенсио Мансальво сказал ей: «Не нравится мне долбить землю, сеньорита. Не хочу вам врать. Не по мне всю жизнь в пояс гнуться. Хочу, чтоб все усадьбы сгорели, а крестьяне получили свободу и могли бы работать где пожелают, хоть в городе, хоть на севере в вашей стране, сеньорита. А если по-моему не выйдет, век буду воевать. Хватит в землю глядеть, хочу, чтоб мне в лицо смотрели».)

(Куница сказала ей: «Упрямый человек был мой отец. Не хотел отдавать скудную землицу, бывшую у нас в пользовании. Тогда из усадьбы нагрянули охранники и убили папу и маму, которая ждала братишку моего или сестричку, кто теперь знает... Я была

совсем маленькой и спряталась в котле. Потом соседи отправили меня в Дуранго к моей бездетной тетке, донье Хосефе Арреола. И вот пришла революция, а мальчик будто кричал, прыгал, смеялся у меня на руках... Сейчас ни отца нет, ни мамы, ни бедного ребеночка...»)

(Полковник Фрутос Гарсиа сказал ей: «Мы задыхались в этих деревушках, сеньорита Уинслоу. Тут даже воздух тяжел, как камень. Вы встретите здесь деревенский люд — старых тружеников, крестьян, которые ничего другого и не знают, и от души веселятся на гулянках. А спросите у меня, у сына торговца, сколько таких, как я, взялись за оружие и пошли в революцию, и я назову вам уйму служащих, писателей, учителей. Мы сами можем управляться со своими делами, уверяю вас, сеньорита. Мы больше не хотим, чтобы нами вечно помыкали местные касики[1], церковники и выжившие из ума аристократы. Или вы не верите, что мы можем добиться своего? Или вас пугает только насилие, которое идет впереди свободы?»)

— А вы их самих спросите,— сказал Арройо, кивнув на своих людей, повернулся спиной к Гарриет и с достоинством зашагал прочь, нагнув голову.

Старик, стоя в тамбуре пульмана, смотрел, слушал, размышлял: «Все-таки что служит глубинным поводом для любви? Или все то же самое побуждение к действию?»

Во всяком случае, он понял, что Арройо сумел ей показать, чем, вместо грамоты, «забита его голова».

X

Будучи еще в состоянии легкого опьянения, он тем не менее встретил ее в тамбуре, предложил руку как истый кабальеро былых времен, и все его душевные недомогания рассеялись от такого простого факта, как присутствие молодой и красивой женщины здесь, рядом: радость приятного общения сама собой отодвигала все проблемы, включая саму жизнь...

Она взяла предложенную стопку текили.

— Well![2] — вздохнула Гарриет Уинслоу, как вздохнула бы любая американка в компании соотечественника перед заходом солнца и при виде живительной влаги.— Знаете, как нелегко покинуть Нью-Йорк; Вашингтон, по сути дела, не город, а место для зрелищ. И главные действующие лица меняются там так часто,— она тихо рассмеялась, а старик подумал, действительно ли этот разговор ведется темным вечером в каком-то диком уголке Мексики?

— Почему вы покинули Нью-Йорк? — спросил старик.

— Вернее, почему Нью-Йорк покинул нас? — Она еще раз чуть заметно дала знать о своем приподнятом настроении, и старик подумал, что, видимо, Гарриет гораздо раньше опьянела, чем он, и гораздо сильнее. И ему захотелось задать ей все тот же вопрос: «Ты смотрела на себя в зеркало, когда входила в танцевальный зал?»

Но он понял, бросив беглый взгляд на женщину, бывшую несколько минут назад фактически в объятиях молодого и экзотического мужчины, что ей не захочется говорить об этом, но не захочется показаться и бестактной, и расспрашивать его о нем самом, хотя тем же утром американка увидела в раскрытом саквояже старика пару английских книг — одного и того же автора — и экземпляр «Дон Кихота», а теперь видела рядом со стопкой текили листки бумаги и затупившийся карандаш. В эту минуту для обоих было легко говорить о ней, о ее прошлом. К тому же старик побывал в бою, он мог быть уже мертв. Она, едва касаясь губами напитка, молча говорила:

---

[1] Вождь; часто употребляется в значении «помещик», «правитель».

[2] Хорошо, ладно *(англ.)*.

да, я знаю, ты сегодня воевал, на твоем лице еще заметно волнение, краска чередуется с бледностью. Поэтому она предпочла заговорить о себе и таким образом ответить на настойчивый вопрос старика после ее слов:

— Произошло так много непонятного, когда отец уехал на Кубу. Мне было шестнадцать лет, а он так и не вернулся.

Она рассказала ему одну забавную семейную историю, почти неправдоподобную, особенно «когда это рассказываешь здесь». Ее двоюродный дедушка в сороковые годы прошлого столетия был одним из самых богатых людей Нью-Йорка. Он очень гордился своим сыном и послал его в Европу набираться уму-разуму. А в знак своего полного к нему родительского расположения поручил приобрести несколько «старых мастеров» живописи. Но «мой потрясающий дядюшка Льюис» купил вещи, на которые тогда никто и глядеть не хотел: Джотто и «примитивистов». «И знаете? Мой двоюродный дедушка Хелстон лишил его наследства, он подумал, что сын над ним насмеялся, купив такие аляповатые, страшенные картины, которые и показать-то стыдно дамам и джентльменам в салоне его дома на берегу Лонг-Айленд Саунд». Дед оставил все деньги своим двум дочерям, а Льюиса, тоже решив над ним поиздеваться, наградил злосчастными полотнами. Дядя Льюис так и умер в нищете с этими картинами. Незамужняя тетушка сунула их куда-то на чердак, «а моя родная бабушка, унаследовавшая картины, нимало не печалясь, кому-то их подарила. Когда же, наконец, лет двадцать тому назад они пошли с торгов, их оценили в пять миллионов долларов. Дяде Льюису они обошлись в пять тысяч. Ну, нам-то волноваться уже было поздно».

Поставила стопку и сказала старому гринго, что ей оставалось только витать в мечтах, а он сказал, да и не так трудно представить себе мечты молодой девушки: быть богачкой в Нью-Йорке начала века, когда жизнь там была весьма приятной, а действительность заставляла «ждать и надеяться, как надеялась и ждала ее мать, и было это нелегко, ясное дело — нелегко», потому что обе они не привыкли жить чьей-либо милостью, в какой бы форме эта милость ни проявлялась; женихи же отнюдь не толпились вокруг малоимущей невесты, дочери младшего офицера, пропавшего где-то на Кубе; дочери вдовы армейского капитана, учительствующей в Вашингтоне, чтобы быть ближе бог знает к чему и...

— Хватит. Я на этом кончаю. А вы?

— Попробуйте представить...

— Ну, что ж,— она сказала «ну, что ж» и снова взглянула на неровно исписанные листки бумаги и затупившийся карандаш.— Мы ведь изучали в школе литературу, знаете? Как хорошо, что вы захватили в Мексику бедного Сервантеса.

— Никогда его не читал,— сказал старый гринго.— Думал, что здесь...

— Никогда не поздно читать классиков,— на этот раз Гарриет сама протянула пустую стопку, и гринго наполнил ее, а потом налил себе четвертую, пятую...— или наших современников. Вижу, у вас с собой и две книги одного автора, ныне здравствующего американского автора...

— Не стоит их читать,— сказал старик, отирая усы от жгучего прикосновения текили.— Это очень горькие вещи, словеса дьявола...

— А вы? — настойчиво повторила она, как повторял он: смотрела ли она на себя в зеркало танцевального зала? Что ей рассказывают зеркала?

А он? Надо ли повторять все, что чувствуешь? Мол, приехал умирать, слыву писателем, хочу хорошо выглядеть после смерти, не выношу порезов, когда бреюсь; боюсь укусов бешеной собаки, чтобы не умереть обезображенным; не страшусь пуль, задумал прочитать

«Дон Кихота» на старости лет; быть гринго в Мексике — это мой способ найти смерть, я...

— Я старый брюзга. Не обращайте на меня внимания. Наша встреча здесь — простое совпадение. Если бы я не встретил вас, мисс Гарриет, я, безусловно, встретил бы какого-нибудь журналиста-гринго, из тех, что гоняются за Вильей, и мог бы ничего ему не рассказывать о себе. Он знал бы.

— А я не знаю,— сказала Гарриет Уинслоу.— И я была откровенна с вами. Старый брюзга, говорите?

— Old Bitters[1]. Презренный репортер-борзописец на службе у газетного магната, такого же продажного, как те, кого я вывожу на чистую воду от его имени. Но я всегда был честен, мисс Гарриет, верите ли мне? Честен, хотя и желчен. Я не щадил ни доблестей ничьих, ни подлостей, исключений не делал. В свое время меня и боялись и ненавидели. Налейте себе еще и не смотрите на меня так. Вы хотели от меня искренности. Вы ее получаете. В таком виде, в каком хочу я.

— По правде говоря, не знаю, нужно ли...

— Да, да, да,— решительно сказал старик.— И вы прекрасно понимаете, почему должны выслушать меня сегодня.

— А если завтра?.. Я знаю ваше имя.

Старик насмешливо скривился:

— Мое имя было синонимом цинизма и черствости. Я был учеником дьявола, хотя даже дьявола я не взял бы себе в учителя. А тем более бога, которому я нанес оскорбление, худшее, чем богохульство: я проклял все, что он сотворил.

Она вежливо хмыкнула, она была методистка, он, мол, забавляется, минуточку, она постарается понять шутку, но он отверг всякую игру, всякое увиливание.

— Я придумал новые заповеди,— сказал он резко. — Возлюби только тех, чей лик изображен на монетах твоей страны; не убий, ибо смерть освободит твоего врага от всяческих страданий; не укради — легче дать себя подкупить; чти мать и отца: глядишь, оставят тебе наследство. Я придумал и новую семью, плод моей фантазии, объект разрушения с помощью моего Клуба Отцеубийц. Господи боже, ведь уже в чреве своей матери я познал каннибализм, а приникая к ее груди, я уже звал любовников кусаться при поцелуях, давайте кусайтесь, зверята, ешьте друг друга, кусайте... ха-ха!

Он невольно встал, зацепив при этом бумаги и карандаш, слетевшие на сиденье свободного кресла в просторном тамбуре, а снаружи пустынная ночь утверждала свое родство с безбрежным морем. Горы, жесткие и голые, рисовались вдали серыми пирамидами. Птицы пролетали, шелестя крыльями, как шуршат травы под ветром.

— О, у меня была моя звездная минута,— саркастически усмехнулся старик, присев на корточки и собирая орудия своего труда.— Я, как истинная Немезида, так допек одного большого калифорнийского вымогателя и спекулянта, что он сам пригласил меня в свой офис и попытался задобрить. Нет, говорю ему, меня нельзя купить. Он так же вот засмеялся, как сейчас смеюсь я, мисс Уинслоу, и сказал: «Каждый человек имеет свою цену». А я ему ответил: «Вы правы, можете выписать мне чек на семьдесят пять миллионов». «На ваше имя или на предъявителя?» — сказал Лиланд Стэнфорд с открытой чековой книжкой и пером в руках, унижая меня, нет, не издевкой, хуже — убежденностью в нашем единомыслии, выраженном в его крысиных глазках. И я сказал: «Нет, пожалуйста, на казначейство Соединенных Штатов всю эту точную цену общественных земель, украденных вами». Мисс, вам никогда не видеть такой физиономии, какая была у Стенфорда, когда я ему это выложил. Ха-ха!

Старик от души хохотал над своей выходкой, потому что тогда

[1] Старый ворчун, остряк *(англ.)*.

ему пришлось сделать каменное лицо, а теперь нет, теперь можно было насладиться в полную меру, воспоминание доставило больше удовольствия, чем сам факт, да, теперь можно было и посмеяться, ведь того и гляди помрешь не сегодня-завтра.

— Правда,— сказал он, вытирая слезы смеха краем накидки с бордовыми застежками,— дотошному журналисту всегда нужен продажный делец, равно как Богу нужен Сатана, а цветам — навоз. Только в сравнении рождается добрая слава, не так ли?

Он немного помолчал, но она ничего не сказала. Ей вспомнился недавний переход через горы и до сих пор тревожило ощущение того, что Сьерра-Мадре еще содрогается от мощного дыхания сотворения мира.

— Если бы я принял предложение Стенфорда и наплевал на свое место у Херста, не пришлось бы размениваться по мелочам, зарабатывая на жизнь, и отказывать в необходимом своей жене и детям, а потом винить самого себя и в утешение просаживать последние деньги в проклятых барах Сан-Франциско, где мы, калифорнийцы, вместе собирались посмотреть на море и потолковать: мол, конец границам, ребята, умер континент, полетело ко всем чертям его ярко размалеванное будущее, которого теперь ждать не дождаться, мираж в пустыне. Еще стопочку.

— Кончился Запад, ребята, смылась его граница в стакане из-под виски.

Гарриет Уинслоу коснулась вздрагивающей руки старика и спросила, не хватит ли, не достаточно ли он уже рассказал о том, что можно назвать поражением, и тем самым снял с себя всякую вину за прошлое. Но он сказал, нет, все совсем не так, он отнюдь не оправдывается и вины за собой не признает.

— Видите ли, я был кем-то вроде ангела тьмы. Я был желчным и язвительным учеником дьявола, потому что старался быть таким же ханжой, как те, кого я презирал. Вы это должны понять, вы — методистка, а я — кальвинист; мы оба стараемся быть страшно добродетельными, слыть истыми пуританами, но мимоходом желаем досадить своим самым близким людям. Ибо знайте, мисс Гарриет, что в сущности я имел власть только над ними, над своей женой и своими детьми, а не над читателями, столь же довольными собой, сколь я своей персоной или сам Херст,— такими добропорядочными, справедливыми читателями, с возмущением клеймящими зло и говорящими: эти типы, которых чернят в газетах, не мы, а наши подлые собратья, то бишь другие читатели. Не властен я был выбирать и мишени своей журналистской ярости, и еще менее — влиять на тех, кто манипулировал моим остроумием и злостью в собственных целях. Да здравствует демократия.

Она не отпускала его руку. (Она сидит в одиночестве и вспоминает.) Она чувствовала, что незачем выбирать, кто лучше: те, кто считает смерть проклятием и тем не менее в свои последние минуты открывает другому душу; или те, кто вроде бы воспринимает смерть как подарок жизни, но замыкается в себе, не желая брать этот дар. Поглаживая морщинистую старческую руку с массивным обручальным кольцом, она смогла лишь произнести с рождающейся нежностью:

— Тогда откуда вы знаете, что такое поражение? — и сказала это по-английски, еле заметно понизив голос, соскользнув к той ласковой интонации, которая по-испански равна обращению на «ты». Старик был слишком погружен в себя, в свои воспоминания, чтобы это заметить, и рассказал, как однажды он — сей старый злосчастный циник — открыл для себя, что он так же сентиментален, как объекты его язвительности и презрения: обыкновенный старик, одолеваемый ностальгией, воспоминаниями о любви и смешных случаях.

— Я не мог выносить страданий тех, кого любил. И не мог выносить самого себя за слюнтяйство, когда на меня сваливались беды.

Он сжал обе руки Гарриет Уинслоу, а ночные тучи плыли по небу, ища свое отражение на равнине, и, не найдя его, продолжали свое тихое странствие. Он поклялся мисс Гарриет, что не ищет ее сочувствия своей беде, ведь завтра, наверное, все равно... Она понимала. Она была единственной, кто мог понять, и обоим стало чуть легче на душе.

— А у меня не было никаких бед,— сказала вдруг холодным тоном мисс Уинслоу.— Я только страдала от унижения и презираю злословие.

Он ее, в общем, уже не слушал и не пытался искать мотивы изменчивости настроения этой женщины, сочетающей в себе и капризность, и своеволие, и гордость, и слабохарактерность. Но не отпускал рук Гарриет Уинслоу.

— Я лишь хотел объяснить вам, в чем состоит поражение человека, который верил, будто он — хозяин своей судьбы и, более того, будто может изменить судьбу других с помощью газетной писанины, обличающей и ядовитой, во всеуслышание объявляя себя другом Истины, а не Платона, в то время как мой повелитель и хозяин прессы использовал мою злость в своих политических целях, для приумножения своей славы и своих капиталов на банковских счетах. Ох, каким же я был идиотом, мисс Гарриет. Но мне за это платили, за идиотство, за шутовство, платил он, мой Хозяин и Господин этой земли.

Он привлек к себе Гарриет, лишь утопив нос в пушистых волосах, которые были словно единственно живым откликом в пустыне; лишь говоря себе, что охоту еще жить на свете ему доставляет желание физической близости, прикосновение тела к телу, а не чувствительность или сострадание, будь они прокляты. Он заставлял себя верить, что она поймет или позволит ему подобную ласку,— но только во имя своего отца позволит ее этому гринго, которого она, слушая, хотела видеть не журналистом, а офицером, погибающим в сражении, погибающим в пустыне, ждущим помощи от нее одной, от его соотечественницы, верной законам воинской чести и долгу оказывать помощь землякам за границей,— и он сказал ей: мой старший сын умер дважды — сначала как алкоголик, а потом как самоубийца, после того как прочитал меня и сказал: «Старина, ты начертал прекрасный план моей смерти, ах ты, мой дорогой старик».

«Те, кто терзается мучительной или отвратительной болезнью, кто потерял всякое понятие о чести, кто не в силах оторваться от бутылки... Почему бы не почтить и их, если они с собой покончат, не почтить так же, как чтят героев-солдат или храбрецов-пожарных?»

— Видите ли, Гарриет,— сказал он, словно говорил мертвым звездам, а не в ее горячее влажное ухо у своих губ, хотя женские руки отнюдь не прижимали его рук к груди женщины,— на самом деле они восстали не против меня, а против моей жизни. Мужчина, мой старший сын, решил умереть в том страшном мире, который я сам нарисовал для него. Мужчина, мой младший сын, решил умереть, дабы показать мне, что у него хватило отваги отважно умереть.

Он громко рассмеялся:

— Я думаю, что мои сыновья убили себя, чтобы я их не высмеял в газетах своего патрона Уильяма Рэндолфа Херста.

— А ваша жена?

Старый гринго обвел взглядом равнину, остановившись на зарослях тамариска у едва приметной речушки. Эти роскошные и алчные кусты всасывают всю воду, оставляя скудный горько-соленый ручеек, ни для кого не пригодный.

— Она умерла в одиночестве и в печали, умерла от болезни, которая точила ее изнутри, от мыслей, что жизнь растрачена на не-

скончаемое нудное препирательство супругов, ежедневно сталкивающихся нос к носу совершенно молча, даже не глядя друг на друга. Невыносимое сосуществование двух слепых кротов в одной норе.

«Только смерть может перекрыть такую меру озлобленности, такое желание успокоения, такую увлеченность творчеством, а вообще где доказательства этого хваленого таланта?» — сказал старик, меняя тон, чувствуя, что побаливает голова, отступая от Гарриет Уинслоу, как отступает грешник от исповедальни и смотрит, где бы преклонить колена для покаяния. Старый гринго вперил взор в слепую темь пустыни, словно пытаясь разглядеть на почве ядовитые разливы креозота, убивающего ростки любого растения. И он отступил от Гарриет Уинслоу.

— А ваша дочь? — спросила Гарриет Уинслоу, впервые дрогнувшим голосом, тут же мысленно обругав себя за слабость.

— Моя дочь поклялась никогда не видеть меня,— спокойно ответил старик, нервно шаря руками по столу в поисках текили или клочка бумаги.— Она мне сказала: «Я лучше умру, чем когда-либо увижу тебя, ибо надеюсь, что ты умрешь до того, как почувствуешь, что я тебе нужна». Но я сомневаюсь, мисс Гарриет, я в этом сомневаюсь, потому что в ее глазах светилась надежда, что я не забуду тех детских игрушек, которые, кроме всего прочего, связывали нас столько лет. Так ведь было и в вашей семье, с вами, с вашим отцом, с вашей матерью, мисс Гарриет?

Она не ответила. Ей хотелось дослушать до конца. Ей не хотелось, чтобы старик снова погрузил взор во мрак пустыни, ища несообразные аналогии. (Теперь она сидит и вспоминает: ей хотелось, чтобы старик уже кончил говорить, а ей бы не надо было начинать вообще.) Она понимала, что трагикомической историей про двоюродного дедушку Хелстона и про итальянские полотна трудно расплатиться за подаренную ей историю жизни ее старого соотечественника, писателя.

— А ваша дочь?

— Разве вы не знали маленькие радости дружбы отца и дочери, а потом страшное горе, когда поймешь, что этого больше не будет?

— А дочь? — почти выкрикнула с каким-то холодным и неотступным упрямством Гарриет Уинслоу.

— Она сказала, что никогда не простит мне жуткую боль при виде тел своих братьев. Ты убил их обоих, сказала она, обоих.

— А страна? — теперь с раздражением встала с кресла Гарриет, скрывая свой страх платить исповедью за исповедь: «Я лучше отвечу старику: а страна?», и старик попал в сети,— ясное дело, он насмехался и над страной, не желает ли она знать, что он растоптал также и чувство национальной гордости, и патриотический долг, и верность флагу? Так вот, даже за это, именно за это его боялась его семья: он издевался над Богом, над Отечеством, над Деньгами — значит, когда-нибудь он начнет измываться и над ними самими? — наверное, они себя спрашивали, когда-нибудь набросится на нас наш проклятый папаша, будет судить нас, попрекать нас: мол, вы тоже не исключение, вы — общее правило, и ты, моя супруга, и ты, моя прекрасная дочь, и вы, мои сыновья, вы — часть этой смехотворной кучи дерьма, этого смрада божьего, который называют человечеством.

— Я вас всех прикончу издевкой, всех удушу ядовитым смехом. Я буду смеяться над всеми вами, как над Соединенными Штатами, над их армией и дурацким флагом,— сказал, уже сникая, старик, хватая ртом воздух в припадке астмы.

My country 'tis of thee
Sweet land of felony...[1]

[1] Моя страна, это она —
прекрасная преступная страна...

Гарриет Уинслоу не шевельнулась, не поспешила на помощь. Сидела и смотрела, как он кашляет, согнувшись пополам в плетеном креслице в тамбуре,— так складывается опасная бритва.

— Скажу вам, что армию я уважаю,— произнесла Гарриет очень ровным голосом, ни на чем не настаивая, хотя бы потому, что старик был предельно искренен.

— Из-за того, что армия избавляла вас от ночлежного дома? — хрипло спросил старик, блестя набухшими от слез глазами, исполненный решимости умереть на боевом посту, в петле собственного смеха.— А ночлежка-то всюду, куда ни глянь! Прошу прощения.

— Я не стыжусь своей нации и своих предков. Я вам уже сказала — мой отец погиб на Кубе, пропал без вести...

— Прошу прощения,—хрипел, задыхаясь, старик, всего лишь несколько минут назад нежно державший руки и вдыхавший аромат каштановых волос прелестной женщины.— Откройте-ка пошире глазки, мисс Гарриет, да вспомните, что мы резали наших краснокожих, но никогда не спали с индейскими женщинами, чтобы создать хотя бы наполовину смешанную нацию. Мы целиком отдались своей кровавой потехе: убивать людей с другим цветом кожи. Мексика показывает, чем бы мы могли быть, если глаза открыть пошире.

— Я и так вижу. Вы стыдитесь того, что говорите со мной искренне, по-человечески. Вам причиняют боль страдания тех, кого вы любили.

Когда-то давно старый гринго написал о своем отце: «Он был солдат, сражался против голых дикарей и донес флаг своей родины до столицы одной цивилизованной расы далеко на юг». Но сейчас он не мог ей это сказать, больше ничего не хотел он поверять ей этой ночью или соглашаться с ней в чем-нибудь. Он спрашивал себя: неужели то общее, что их связывает, это лишь братоубийственные войны, войны против «дикарей», войны против всего слабого и чуждого. Он ничего больше не сказал, ибо ему захотелось верить, что нечто иное, некто иной еще смог бы сроднить их души, но чтобы не от него она научилась понимать то, что здесь происходит. Он еще ощущал аромат ее волос, теплоту мягких рук. Наверное, это было не нужно. Она уже исчезла, и он остался наедине с пустынной ночью. Наверное, он сможет увидеть ее во сне. Наверное, женщина, вошедшая вчера вечером в танцевальный зал, видела не себя, а ту, что ей виделась в мечтах.

— Чужие жизни трудно понять,— сказал Иносенсио Мансальво. — Хотите получше узнать наши жизни? Тогда вам надо почуять их наперед, потому как мы еще никто!

XI

Генерал Арройо сказал, что офицеры федералов, обучавшиеся во французской военной академии, собираются громить повстанцев в сражениях, какие описаны в учебниках,— дескать, ученые вояки знают все правила ведения боя, а партизаны — нет.

— Они — как эта сеньорита,— сказал молодой мексиканец, жесткий, смуглый, словно покрытый глазурью.— Она хочет жить по правилам, а я хочу их создавать.

Слышал, старик, что сказала сеньорита Уинслоу вчера вечером? Слышал, что говорили люди из лагеря и из деревни? Почему людям не дозволено управляться самим здесь, на своей земле, или это — несбыточные мечты? Он сжал челюсти и сказал, что, возможно, сеньорита и он хотят одного и того же, но она понять не может, что насилие должно идти впереди. Напротив, он точно знает, говорил Арройо старому гринго, что новое насилие необходимо, чтобы покончить со старым насилием. Полковник Фрутос Гарсиа, человек ученый, тоже говорит, что не будь нового насилия, прежнее насилие

останется навсегда без изменения, верно? Верно, индейский генерал?

Старик долго глядел на змеившуюся перед ним тропинку, по которой они ехали верхом. Потом сказал, что понимает мысль, которую генерал хочет выразить, и благодарит, что тот сумел ее выразить. Это — слова настоящего мужчины, сказал он, и за них стоит поблагодарить, потому что они снова связывают его с людьми, поскольку он избрал своей профессией разрушение всяких людских связей и прочих ценностей, чего уж скрывать, сказал старый гринго, надеясь, что широкополая шляпа спрячет его усмешку.

Всадники молчали, лошади трусили вперед, к цели. Старику думалось, что он здесь, в Мексике, ищет свою смерть, но что ему известно о самой стране? Вчера вечером он бросил в воздух фразу о том, что его отец участвовал в интервенции 1847 года и в оккупации города Мехико [1]. Потом припомнил, что Херст послал одного радикального репортера писать репортажи о Мексике эпохи Порфирио Диаса, а репортер по возвращении сообщил, что Диас — тиран, не терпит никакой оппозиции и ввел в стране своего рода рабство: мексиканцы стали рабами помещиков, армии и иностранцев. Херст не позволил это опубликовать, могущественный король прессы имел собственного радикала и собственного тирана, ему нравились оба, но защищал он только тирана. Диас был тираном, но он был отцом своему народу, народу слабому, который нуждается в строгом отце, говорил Херст, разъезжая по Мексике среди своих сокровищ, заключенных в банках, лесопилках и рудниках.

— А кое-чего ты не знаешь,— сказал Арройо старику. — В молодости Порфирио Диас был храбрым воином, бесстрашным партизаном, сражавшимся против французской армии и Максимилиана [2]. В мои годы он был таким же бедняком генералом, как я революционером и патриотом, иль ты об этом не знал?

Нет, сказал гринго, не знал. Он только знал, что отцы, воюющие на стороне врага, являются по ночам своим сыновьям верхом на коне и с вершины скалы просят сыновей:

— Исполняйте свой долг. Стреляйте в своих отцов.

В этот предрассветный час горы, казалось, поджидали всадников за каждым ущельем, словно это действительно были летучие всадники; расстояния таяли в дымке, и за каждым поворотом хищник-отрог подстерегал человека на коне. В этом безлюдье, говорят, можно дважды или трижды за сутки увидеть образ царя небесного. Старый гринго боялся чего-то подобного, боялся увидеть лицо отца и ехал верхом рядом с сыном — с Арройо, сыном лихой судьбы.

Как зыбко, думал старый гринго этим утром, духовное наследие, которое отец получает от всех своих отцов и передает всем своим сыновьям; ему верилось, что он знает это лучше многих других, а потом заговорил вслух, не заботясь, поймет ли его Арройо, потому что должен был высказаться, ибо его можно обвинить в придуманном им отцеубийстве, но не он творил историю целого народа, похожую на историю преступлений старых отцов, свое уже отживших. Да, он действительно знал то, о чем говорил, даже тогда, когда с одного взгляда поставил моральный и социальный диагноз личности мисс Уинслоу, он, старик, вооруженный фигляр, уже почти порвавший всякую связь с человечеством; сын кальвиниста, устрашенного муками ада и в то же время любившего поэзию Байрона, и вдруг

[1] Речь идет об агрессивной войне США против Мексики 1846—1847 гг., в ходе которой американской армии после кровопролитных боев удалось захватить мексиканскую столицу (оккупация длилась с 14 сентября 1847-го по 12 июня 1848 г.).

[2] Имеется в виду англо-франко-испанская интервенция 1861—1867 гг. в Мексике, в период которой французским императором Наполеоном III при поддержке мексиканской реакции был провозглашен императором Мексики Максимилиан Габсбург (1832—1867), брат австрийского императора Франца Иосифа. В 1867 году интервенты были разгромлены и Максимилиан расстрелян патриотами.

помешавшегося от страха, что собственный сын убьет его как-нибудь ночью во сне, сын — сначала неуемный фантазер, а потом — страшный циник, презирающий все, что его семья унаследовала и естественным образом соблюдала: бережливость, экономность, веру, почитание предков, добропорядочность. Он взглянул на Арройо, который и не думал его слушать. Гринго сказал, что самое смешное в том, что сегодня сын шел тем же путем, какой проделал тут его отец в 1847-м.

— Смотри,— сказал Арройо,— скот подыхает.

Но старик не видел пастбищ семейства Миранда, его глаза ослепил луч внезапной мысли о мертвом отце, который шел в прошлом веке живым по Мексике, а теперь мог бы спросить сына, не приехал ли тот сюда, зная, как оскорблена Мексика и настроена против американцев, не приехал ли сын сюда именно по этой причине, и желая — вдобавок к обвинениям в адрес своей североамериканской родины — нанести ей еще одно оскорбление: спровоцировать Мексику сделать так, чтобы он, американец, не отважился сделать по-своему, забыл бы о долге, чести и самоуважении и умер не так, как задумал, а окочурился бы от страсти к какой-то девице.

— Вы бы в моем возрасте могли полюбить молодую девушку? — шутя спросил старый гринго.

— А ты бы получше охранял молодых девушек, чтобы с ними чего плохого не случилось,— улыбнулся ему в ответ Арройо. — Я уже сказал — стереги ее как следует, думай, что это твоя дочка.

— Я это и хотел сказать, генерал.

— И больше ничего ты не хотел сказать, индейский генерал?

Старик усмехнулся. Его иногда страшно подмывало дать себе волю, а момент сейчас был вполне подходящий, к тому же еще неизвестно кто — Арройо или он — будет убит в предстоящей схватке.

— Нет, я размышлял о вашей судьбе, генерал Арройо.

Арройо снова заулыбался:

— Моя судьба — это моя судьба.

— А позвольте мне ее представить такой же, как у Порфирио Диаса,— вызывающе сказал гринго. — Позвольте мне представить, что когда-нибудь в ваших руках будет вся власть, сила, орудия угнетения; что вы станете надменны и равнодушны к судьбам других. Есть ли революция, которая избежала этой судьбы, генерал? И почему ее сыны должны избежать судьбы своей матери, революции?

— А ты мне скажи, есть ли страна, которая не претерпела этих бед, включая твою собственную, гринго? — спросил, выпрямившись в седле, Арройо так же спокойно, как старый гринго.

— Нет, я говорю о вашей личной судьбе, а не о судьбе какой-нибудь страны, генерал Арройо. Вы спасетесь от порчи только в одном случае: если умрете молодым.

Эти слова, вопреки намерениям старика, даже, казалось, развеселили Арройо.

— Ты угадал мои мысли, индейский генерал. Я никогда не мог представить себя старым. А ты сам? Почему не загнулся вовремя, старый черт? — захохотал Арройо.

Старый гринго уступил юмору мексиканца и сказал ему только то, о чем иногда говорил со звездами: мексиканская земля... никогда он ее раньше не видел, хулил ее по указке своего хозяина Херста, имеющего тут невероятно большие поместья и угодья и страшащегося революции, и поскольку босс не мог сказать: «Идите защищать мои владения», то говорил: «Идите защищать наши жизни, североамериканские граждане в опасности, интервенция необходима...»

— Ох уж эти гринго,— воскликнул Арройо с едва скрываемым раздражением. — Им одно — они тебе другое... Дело в том, что ты не знаешь, на что мы имеем право, ничего ты не знаешь. Кто рож-

дается в хижине, где солома от кровли к носу липнет, на все имеет право, индейский генерал, на все!

Рассуждать или размышлять было больше некогда, они подъехали к каменистому откосу, где генерала ждал дозорный и доложил ему, что все сделано как приказано.

Арройо взглянул в упор на старика и сказал, что надо выбирать. Они решили заманить федералов в западню. Часть повстанческих сил двинется по равнине на встречу с регулярной армией, на что армия и рассчитывала, пойдет во фронтальную атаку, как и учат в академиях. Другая же часть повстанцев рассеется в горах за линиями федералов, люди даже цветом сольются с камнями, как вон те ящерицы, только с хвостами поменее, громко и невесело рассмеялся Арройо, и пока федералы станут, как их учили, сражаться на равнине с отвлекающими партизанскими силами, остальные повстанцы отрежут врага от подкреплений, атакуют с тыла, и мышь окажется в мышеловке.

— Говорите, надо выбирать?

— Да, где хочешь быть, индейский генерал?

— На равнине,— сказал старик не колеблясь. — Не ради славы, поймите, а ради опасности.

— А, значит, партизанская борьба тебе кажется не такой опасной.

— Нет, она более опасна, хотя менее славна. Вы — ночной воитель, генерал Арройо. А также обязаны думать о разных вариантах. Мне же, как я понимаю, на равнине надо лишь разудало мчать вперед, не слишком думая о том, что пушечное ядро может отхватить голову. Это как раз то, что мне надо.

На азиатском лице-маске Арройо не отразилось никаких эмоций. Он пришпорил лошадь в сторону горной тропки, а дозорный указал старику путь прямо, к отряду на равнине. Старик смотрел на лица повстанцев, тоже ничего не выражавшие. Думали ли они так же, как он? Знали? Тоже не боялись смерти или только подчинялись приказам, веря в удачу? Шли они в бой, ведая ли о действе, которое устраивал этот удивительный генерал Арройо — сын не беды, думал гринго, а многообразных предков; Арройо — комплекс чужеродных генов.

Потом, во главе бешеной атаки, старик об этом уже не думал, успев лишь заметить на ходу, что никто ни о чем не думает — все во власти ритма конской скачки, землетрясения от дробящих камни копыт и храпа коней, спокойствия полуденных облаков и стремительного лета мятежных штыков, оставляя позади себя своих мертвых и мчась к тяжелым и неповоротливым французским пушкам. В это же время опешившие артиллеристы вдруг замерли, услышав, ощутив шумы, каскадом низвергавшиеся за их спинами: содрогание и трепет гор под лавиной несущихся вниз лошадей, не боящихся сломать себе шею; дикий вой людей с блестящими — крест-накрест — патронными лентами на голой груди и в словно по воздуху летящих сомбреро, этих близнецах солнечного круга.

Федералы совсем сомлели от жары в своих тесных мундирах французского иностранного легиона, в твердых каскетках, сжимавших череп, а повстанцы вихрем неслись к ним с гор и по равнине под командованием бесстрашного гринго, к батарее, даже не оглядываясь назад на трупы конников, над которыми в мексиканском небе, как всегда бывало, уже кружили стервятники-сопилоты и возле которых уже бродили, принюхиваясь, свиньи, освобожденные снарядом из своего жалкого сарая и теперь вольно гулявшие по бесплодной земле — взъерошенные бестии цвета серой слизи, приглядываясь, вправду ли эти тела мертвы и их нечего бояться, чтобы потом, с хрюканьем, наброситься на них и затеять свой пир в час багровых сумерек.

Его не ранило. Не убило.

Одно это казалось ему каким-то чудом. Его старая седая голова не могла переварить случившегося. Оба победоносных повстанческих отряда соединились и окружили плененных федералов. Однако на сей раз не было никаких восторженных воплей, подобных вчерашним, когда гринго заставил умолкнуть пулемет. Наверное, теперь было слишком много павших товарищей. Они мертвы, а он — нет. Он желал смерти, а сам, достойный смехотворного сочувствия, занимался тем, что помогал сгонять в колонну остатки федерального полка, лишь позже ощутив жгучую злобу на судьбу, заставлявшую так долго ждать.

— А гринго-то не помер, здорово дрался, сегодня тоже летел вперед как сумасшедший, вроде никого и ничего не боится, а вот не помер, старый гринго-то.

Его не слишком удивило то, что он увидел и услышал в наскоро разбитом по приказу Арройо лагере рядом с разрушенным глинобитным сараем, откуда разбрелись по равнине свиньи, гонимые страшным голодом. Арройо сказал пленным, что тот, кто хочет присоединиться к революционному войску Панчо Вильи, будет принят без всяких допросов, но тот, кто откажется, будет расстрелян сегодня же ночью, так как вильистам, вступающим в бой с конного марша, несподручно таскать за собой пленных.

Большинство солдат молча сорвали с себя знаки различия федералов и перешли к вильистам. Но нашлись и такие, кто отверг предложение, и гринго смотрел на них, как смотрят на нечто из ряда вон выходящее. Их лица выражали вызов, или тупое равнодушие, или просто смертельную усталость. Они построились за своими пятью офицерами, которые не двинулись с места.

Подул холодный ветер, и старый гринго испугался, что опять вернется его душительница-астма. Голодное хрюканье свиней на поле боя заполняло тишину, последовавшую за предложением Арройо, пока пленные делали выбор. Полковник-федерал направился к Арройо и с достоинством вручил ему свою короткую блестящую шпагу, казавшуюся игрушечной. Арройо взял ее без всяких церемоний и с маху отсек ею кусок окорока одного из поросят, жарившихся над кострами.

— Вы, конечно, знаете, что убивать пленных офицеров считается преступлением,— сказал полковник.

У него были зеленые глаза, сонные и хмурые, и рыжие кайзеровские усы. Нелегко, подумал гринго, напомаживать их так, чтобы они стояли торчком днем и ночью.

— Вы храбрый человек, так что не спешите,— ответил Арройо и сунул кусочек свинины себе в рот.

— Что означают ваши слова? — спросил флегматичный, но надменный полковник.— Храбрость тут ни при чем. Я говорю о законе.

— Почему ни при чем,— сказал Арройо, взгляд его был тверд и печален.— Я вас спрашиваю, что важнее: как жить или как умереть?

Офицер-федерал на мгновение заколебался:

— Если говорить об этом, то... важнее, как умереть.

Старик ничего не сказал, но подумал, что эти слова, возможно, выражали суть кодекса чести Арройо, да и сам он, гринго, мог, если бы того захотел, принять их и на свой счет. Арройо протянул ему короткую шпагу и жестом пригласил пожевать свинины, как свиньи жевали трупы там, на равнине. Наверное, очень были нахмурены брови у старого гринго, потому что его задумчивость привлекла внимание полковника-федерала, заставила опять заговорить.

— Вот очень храбрый человек,— сказал полковник, хотя его глаза уже смирились со смертью. Арройо хмыкнул, а полковник прибавил: — Я тоже храбро дрался, вы не находите? — Арройо снова

хмыкнул.— Тем не менее умрет не этот храбрый старик, а я. Могло бы быть и наоборот. Что делать, такова война.

— Нет,— сказал наконец Арройо.— Такова жизнь.

— И смерть,— сказал небрежно-доверительным тоном полковник.

— А по мне, это одно и то же,— ответил Арройо.

Полковник усмехнулся и сказал, что беспримерная храбрость в жизни или перед лицом смерти — вещи разные. Он, например, умрет на холодном и высоком плато, далеко от моря, у которого родился; он, веракрусанец [1], как братьев знавший корабли, прибывшие из Европы, будет расстрелян здесь, ночью, при фонарях, под хрюканье свиней. И никому нет дела, что кто-то умрет храбрецом. Через секунду все о нем забудут. Но быть безмерно храбрым и продолжать жить — это еще хуже, мой генерал, хуже для обеих армий. Непристойно храбрый человек. Он посрамляет всех нас. Унижает даже своих врагов.

— Видите ли,— продолжал полковник-федерал,— все мы знаем, что трус может нагнать страху, и миримся с этим. Но никто не хочет мириться с тем, что храбрец может нагнать еще больше страху, ибо это заставляет всех нас чувствовать себя трусами. Не так уж и плохо испытывать немного страха в бою. Тогда все ощущают себя равными. А человек без капли страха заставляет падать духом. Я вам вот что скажу, мой генерал: оба наши войска должны объединиться и, так сказать, устранить храбрейшего. С почестями, да, но без сожаления.

Разглагольствования веракрусанца, казалось, не слишком вдохновили Арройо, который, пригнувшись, ловко завертывал в тонкую тортилью кусок свинины.

— Ты, что ли, этот храбрейший? — сказал Арройо.

Полковник-федерал засмеялся, мягко, но нервно:

— Нет, что вы. Куда мне. Какое там.

Старику хотелось думать, что никто не смотрит на то, как он впивается зубами в тако с мясом,— первая трапеза за целый день после утреннего завтрака, состоявшего из яичницы и горячего кофе. Арройо рассказывал о подвиге героя-генерала Фьерро, ближайшего сподвижника Вильи: Фьерро отделался от пленных, пообещав каждому отпустить его на все четыре стороны, если тот сумеет добежать по тюремному патио до стенки и перепрыгнуть через нее, не грохнувшись замертво от пули Фьерро, причем только от одной-единственной пули. Спастись удалось лишь троим. Фьерро убил той ночью триста человек.

Он, Арройо, генерал Северной дивизии [2], не смеет соперничать с великим генералом Фьерро, который был из батальона «Золотистых» [3] Вильи. Нет, он человек скромный. Зато есть тут у него один смельчак, генерал Гражданской войны в Северной Америке, настоящий герой, все это сегодня сами видели. Арройо поднялся, изогнулся по-кошачьи и обратился уже не к пленному офицеру, а к старику, да, индейский генерал всегда хотел быть самым доблестным воином, теперь же быть ему самым доблестным палачом. Если он равнодушен к смерти, значит, должен быть равнодушен и к жизни,— не так ли? — ведь и то и другое по сути одно и то же; старик приехал в Мексику, чтобы это понять, и он это понял,— верно?— а если он этого еще не понял, все его путешествие гроша ломаного не стоит, верно?

Старик сделает этой ночью то, что делал Фьерро тогда. Значит, так: офицеры и вся эта свора, забулдыги Уэрты, получают возмож-

---

[1] Уроженец г. Веракруса на побережье Мексиканского залива.

[2] Официальное название воинского соединения под командованием Франсиско (Панчо) Вильи.

[3] «Золотистыми» (Dorados) называли себя бойцы ударной кавалерии войска Вильи, после революции многие из них перекинулись на сторону реакции.

ность добежать от разбитой стенки до сломанной дверцы свинарника и выскочить на волю, где боровы угощаются мертвечиной. Индейский генерал даст им добежать до самой дверцы. А потом выстрелит. Если он в цель не попадет, кролики-федералы будут свободны. Если попадет — значит убьет. Наш удалой индейский генерал!

Позже (но не после жизни, хотя теперь его жизнь текла вне времени, как капля дождя по одному оставшемуся осеннему листку, когда неизвестно, что упадет раньше: листок или капля) он скажет, что сделал единственно возможное, что мог сделать. Так он сказал теперь мисс Гарриет, которая поняла этот непостижимый, невозможный поступок потом, после него:

— Я сделал единственно возможное, что мог сделать, ибо мне не повезло: я не был убит в обычном, честном, даже благородном сражении от руки неизвестного воина. Я мог стать еще одним трупом, сожранным свиньями. Ах, как они хрюкали и чавкали в эту холодную ночь.

(— В чем состояла для тебя эта единственная возможность? — спросил его отец, остановив своего летучего скакуна.

— В том, чтобы не дать другому умереть так, как хотел умереть я сам.)

Теперь он хотел быть этим полковником-федералом, немного позирующим, но удивительно мужественным, с этим его презрительно-сонливым взглядом и напомаженными усами, торчащими даже после дня сражений. Полковник дошел до глинобитной стенки и остановился, глядя на гринго, ожидая приказа.

— Да, отец, я хотел бы оказаться на месте этого человека.

— Беги! — приказал Арройо.

Полковник с такой неохотой оторвался от стенки, будто этот обшарпанный, полуразрушенный сарай всегда был пределом его мечтаний, последним милым сердцу пристанищем на родной земле. Сначала он шел обычным шагом, спиной к Арройо и старику с кольтом в руке. Потом заколебался, обернулся лицом к своим врагам и пошел к ним, глядя на того, кто выполнит миссию палача, на Арройо, на маленького полковника Фрутоса Гарсию, на Иносенсио Мансальво, на них всех, сливавшихся в очень странное многообразное лицо, которое предрекало ему казнь без суда.

— Вы же не убьете меня в спину? — сказал он. И был уверен, что старик не обесчестит себя таким поступком; о том же подумал старик, подумал и Арройо, встретившись взглядом с индейским генералом. Командир федералов почувствовал, что становится смешным. Он споткнулся, упал, поднялся и теперь, да, он побежал прямо к ним.

— Стреляй! — приказал Арройо.

Старик нацелил пистолет на полковника, потом перевел дуло на борова. Он продолжал целиться в борова, курок сухо щелкнул, и пуля навылет пробила пористое, начиненное глистами тело голодной твари. Арройо тут же вскинул свой пистолет и продырявил подбегавшего пленника. Остальные приговоренные переглянулись.

Полковник упал ничком на землю. Арройо, пройдя мимо старого гринго, подошел к лежащему и добил его «выстрелом милосердия». Федерал дернулся и затих. Пленные офицеры и солдаты, кичливые, храбрящиеся или просто усталые, кто их знает, выстроились у глинобитной стенки, и старик смотрел на них, на людское сборище — у одних намокли штаны, у других помутился взор, эти напоследок затягивались окурком, другие хрипло напевали что-то, напоминающее им о семье или о жене. А один из них улыбался — не придурковатый, не усталый, не храбрый, просто уже не видевший разницы между жизнью и смертью.

Именно этот солдат привлек внимание генерала Арройо.

— Долго генерал смотрел на него, помнишь, Иносенсио?

— А то нет, Педрито. Великодушно поступил наш начальник. «Не

надо,— говорит,— их убивать. Отрежьте только им всем уши, чтоб проучить их и чтоб знали: если с нами второй раз встретятся, живыми не уйдут».

— Ох, и добрая душа наш генерал!

XII

На обратном пути Арройо ехал впереди один, обособившись от всех, как черепаха. Панцирем ему служил сарапе, в который он закутался по самый нос, а лоб был прикрыт сомбреро по самые брови. Только глаза сверкали. Но горе тому, кто захотел бы взглянуть в эти бездонные желтые колодцы, сказала Куница, когда увидела его при въезде в деревню. Это были недобрые глаза. Победа ушла от них, заметил Иносенсио Мансальво.

Это не был триумфальный марш. Единственный проблеск надежды, счастья, или душевного удовлетворения, или еще чего-либо, если что-либо действительно было нужно Арройо, кроме достижения его идеалов справедливости и реальных результатов его хитроумной военной тактики, которая восстанавливала, но одновременно и ущемляла справедливость,— единственный такой проблеск виделся ему в простом продвижении вперед во главе своего войска, в общем стремлении скорее идти дальше, от разрушенного поместья к следующей цели, влиться в армию Вильи, двинуться на столицу, а там, может, и пожать руку брату с юга, Сапате. Понятно, что Арройо мечтал или твердо знал обо всем этом, потому что об этом мечтали его люди. Так ему хотелось еще с утра сказать старику, до того как индейский генерал поцеловал сеньориту Гарриет. Но также ему хотелось, неосознанно, инстинктивно, продлить пребывание в усадьбе, где он родился и вырос.

— Ну что, не пора ли нам выступать? — спросил Иносенсио Мансальво мальчугана Педрито, словно действительно верил, что только устами детей и пьяных глаголет истина.

— Не знаю,— ответил мальчик,— он тут родился, тут вырос. Небось ему тут хорошо.

— А войску — нет. Люди уже волнуются...— заметил полковник Фрутос Гарсиа.

Гринго чувствовал общую напряженность на обратном пути к усадьбе. Он не хотел сейчас провоцировать Арройо: его тонкому художественному вкусу (старый писатель усмехнулся) претила еще одна смерть, совершенно не впечатляющая после жестокого боя и после гибели полковника-федерала, и он рассмеялся: Шекспиром все равно не станешь, хоть умри на этом месте. Старик попридержал коня и слился с пехотой, но и там ощутил общую напряженность. Малопомалу усталое, но зло настроенное войско оттерло гринго назад, в последние ряды, к «мундирным» федералам, которые пошли с вильистами, но, кто знает, что затаили в себе. И гринго впервые почувствовал страх борьбы, подлинный страх, не глупую боязнь беды или зеркала. Он предпочел улыбнуться и далеко, через голову лошади, послал скользкий плевок.

— А как же, я хорошо помню,— говорил своим друзьям генерал Фрутос Гарсиа после восстания, когда полковники были повышены в чине, чтобы таким образом компенсировать разгромленный вильизм и воссоединить силы революции.— Гринго искал у нас смерть, вот и все. А вышло наоборот: нашел славу и горький плод этой славы, который называется зависть.

Гринго послал второй — длинный, серый, далекий плевок. И смеялся над самим собой. Когда-то он написал в своих записках о Граж-

данской войне США: «Простой рецепт, как стать хорошим солдатом: всегда лезть в самую пасть смерти».

— Всегда лезть в самую пасть смерти,— были последние слова генерала Фрутоса Гарсиа на смертном одре в его богатой резиденции в городе Мехико в 1964 году, и эта фраза стала одной из самых популярных среди ветеранов революции, любивших пошутить.

— Индейский генерал...

Он ударил кулаком по седельной луке, физически ощущая, как его снова одолевает желание творить, поднимающееся щекочущими толчками от самых стремян вверх по длинным, худым ногам к груди, к центру всех эмоций — солнечному сплетению. Нет, черт побери, зачем он здесь? Чтобы умереть или написать роман об одном мексиканском генерале, об одном старом гринго и об одной школьной учительнице из Вашингтона, затерявшейся в пустынях северной Мексики?

У него не было ни времени, ни возможности представить ее себе в этот день, когда они выполняли свои воинские мужские обряды встречи со смертью, а она оставалась в усадьбе, и ею владели мысли, совершенно противоположные мечтам генерала. Гарриет Уинслоу, освобождая шею от галстука под жарким утренним солнцем, когда большая часть войска уже отправилась в горы, и она осталась одна с полусонным гарнизоном, женщинами и детьми, вовсе не помышляла о том, чтобы шествовать дальше, от сражения к сражению, на встречу с Вильей и победоносно вступить в город Мехико, который был венцом всеобщих желаний и мечтаний. Гарриет Уинслоу, напротив, уже наметила основы начального образования для крестьянских детей, распределила среди мужчин и женщин обязанности по восстановлению и приведению в порядок усадьбы. Дети начнут не завтра, а сегодня же знакомиться с тремя постулатами начального англосаксонского обучения: уметь читать, писать и считать. Женщины опорожнят огромные шкафы и благоуханные комоды, вытащенные наружу до пожара, и отделят то, что опалено огнем, от целых вещей, а потом неповрежденные предметы одежды положат на место, а обгоревшие платья починят и укоротят для себя. Мужчины восстановят дом, побелят стены, уберут грязь и пепел. А сама она, мисс Гарриет Уинслоу, будет примером вдохновенной работы, станет символом обновленной усадьбы.

В спешке сеньора Миранда забыла прихватить шкатулку, спрятанную в углу у изголовья ее кровати, позади огромного распятья, которое сгорело, но спасло шкатулку и дало увидеть ее содержимое. Там оказалось несколько жемчужных ожерелий. Гарриет была шокирована идеей хранить драгоценности за фигурой агонизирующего Христа (который, помимо всего прочего, оберегал не только сладкие сны, но и бурные ночи супругов, возлежавших у его ног) — идеей совокупить муки господни с благами мирскими. Поэтому она поставила шкатулку на самом виду у всех, но не в сверкающем танцевальном зале, где, как ей казалось, одно роскошество сольется с другим роскошеством (что, согласно ее образу мыслей — ибо она не была идолопоклонницей,— свидетельствует о дурном вкусе), а в крытой галерее, ведущей в зал. Шкатулку Гарриет оставила в этой галерее на столике из орехового дерева без всякого надзора, словно для искушения. Мисс Уинслоу решилась на это после некоторого душевного колебания. Но искушение было необходимо, чтобы показать этим людям, что частная собственность должна уважаться и что знать это так же важно, как уметь читать.

Утро прошло в работе, потом был завтрак, слишком обильный и экзотичный для мисс Гарриет (горячая куриная похлебка, соусы из душистых и жгучих трав, горячие тортильи), а до того, как люди попросили позволить им использовать еще одно их естественное право — идти на свои поля, обрабатывать свои хилые посевы и подправлять свои дома, она выложила на стол свою самую сильную, нежданную, козыр-

ную карту. Мисс Гарриет созвала всех в танцевальный зал и сказала, что здесь они будут периодически собираться — один раз в неделю, если потребуется,— и выберут своих собственных служащих: секретаря и казначея; образуют комитеты по надзору за содержанием скота, по наведению и поддержанию порядка, а также по обеспечению населения продовольствием. Это необходимо сделать как можно скорее. Когда вернутся законные владельцы, они столкнутся со свершившимся фактом, с тем, что земельные угодья уже имеют свое правление, выступающее от имени людей, которые здесь живут, работают и защищают свои права. Это — позже. А уже сегодня генерал Арройо увидит по возвращении, что люди сами управляют хозяйством, на деле, а не морочат себе головы ожиданием, когда кончатся годы войны, да еще тысяча лет в придачу,— нет, прямо сейчас, поймите, он будет сражаться до самой смерти, он никогда не остановится, даже если будет побеждать, но вы-то, крестьяне, останетесь здесь. Генерал сказал, что освободил вас. Так покажите ему, что он прав,— хотя бы для того, чтобы он сам убедился, что не бросает слов на ветер.

Так она говорила, а они смотрели на нее, крестьянские лица-маски, и не говорили ни «да», ни «нет», ни «мы тебя понимаем», ни «мы тебя не понимаем», ни «как хотим, так и живем», ни «разберемся и без тебя». Нет, они ничего ей не сказали после того, как урок был окончен и она сказала, что завтра они свидятся снова.

Она быстро застегнула распахнувшийся воротничок блузы, но народ не расходился, люди тихо, озабоченно переговаривались, стараясь скрыть недовольство, а Куница потом сказала, что все эти затеи ей кажутся никчемными, другие же никак не могли решить — надо или нет сегодня же объяснять сеньорите, почему завтра не придется делать все то, о чем она сейчас говорила.

— Бедняжка,— сказала одна женщина,— добрая душа, да только понятия не имеет, что завтра — это завтра.

Люди жалели ее и тихо похихикивали, как щебечут птицы свадебной порой.

(Теперь она сидит и вспоминает.)

Она предалась дневной сиесте, а потом почувствовала себя подавленной, пристыженной тем, что смогла забыться легким сном до четырех часов дня и в дремоте мысленно продолжала пребывать в танцевальном зале, совсем одна, напрасно стараясь встретить глаза, которые поняли бы все муки ее мечтаний; хотела встать, но почувствовала, будто чья-то рука удерживает, сковывает в постели, пеленает влажной простыней ее нагое и потное тело, пахнущее мускусом и вялыми лепестками магнолии, и снова погружает в сон.

Гарриет Уинслоу всегда просыпалась с каким-то чувством досады на то, что она сказала или, напротив, не высказала вчера,— вечное недовольство собой за ошибки и упущения вчерашнего дня.

Сегодня внутренние тревоги и сомнения были особенно тягостны, а больше всего — в четыре часа дня, в этой постели — ее донимала одна мысль, донимала против воли (в этом она была уверена), и уже не в первый раз: «Когда я была по-настоящему счастлива?»

Она себя об этом не часто спрашивала, ибо всегда вспоминала благословенный ritornello [1] своей матери: «Счастье обязательно придет». Но всякий раз отвечала сама себе: «Я была счастлива, когда мой обожаемый отец нас покинул, и я ощутила свою ответственность, почувствовала, что теперь я одна отвечаю за то, что случится; это я теперь должна жертвовать, стремиться, оценивать, и не только от своего имени, но и от имени всех, кто меня любит и кому я отвечаю взаимностью». Можно быть счастливым, выполняя свой долг. Это моральное звено, связующее ее грезы с реальной жизнью, делало ей близким образ мыслей отца, который она хотела сохранить. Роднило

[1] Ritornello — припев, ритурнель *(итал.)*.

ее со всем тем, что он, бывало, говорил за столом; с доморощенной философией, которую каждый слышит и воспринимает дома: мол, жизнь трудна или жизнь легка, но все будет хорошо, все образуется, если сострадание начинается с собственного очага, проявляется прежде всего людьми сильными, рачительными, мудрыми и богобоязненными, а значит — воздержанными методистами, презревшими пышные алтари, почитающими бога. Таков был долг, который она решила выполнить, когда отец ушел, и выполнять строже, чем мать, которую Гарриет презирала, когда та казалась униженной и прибитой, и снова тянулась к ней, когда мать вызывала в памяти те безмятежные годы, то простое детское счастье своей дочери до того, как отец ушел и потом был объявлен пропавшим без вести в боях.

— И чего ты тут прозябаешь со мной, Гарриет? Тебя не одолела скука?

В Мексике ее долг стал воистину ее долгом. Но в мечтах чего-то недоставало. Было что-то еще, без чего долг просто не возымел бы такого значения. В свой сон-мечту она звала другой сон: бегущий свет, задний дворик, усыпанный белыми кизиловыми лепестками, стон из глубины подвала.

Старик на обратном пути в тот вечер не видел ее перед собой. Арройо тоже. Она вдруг очнулась. Но еще до того, как увидеть лица или услышать голоса, шепнула себе в полусне: если не посвятить себя делам жизни сразу, как только проснешься, нечего носиться со своими мечтаниями. «За девочку страшно, за девочку очень страшно»: жуткое, размалеванное лицо с мелкими острыми зубками, лицо Куницы заливалось слезами возле нее, Куница трясла ее за плечи, рассказывала ей какую-то бредовую и мелодраматичную историю, которую трудно было понять, понятны были только несколько слов:

— Помогите нам, мисс, девочка умирает.

Посиневший комочек, тельце, почерневшее от боли, умирающая девочка, задыхающаяся при порывах сухого ветра пустыни,— и Гарриет, на коленях, в железнодорожном вагоне, представляя себя самое девочкой, как во сне, дочкой офицера действующей армии, заболевшей вот так же, в железнодорожном вагоне, который служил и домом, и кухней, а теперь и госпиталем. Задыхалась девочка — как будто она сама,— и все говорили ей — и ревущая Куница, и луноликая женщина: спасите ее, мисс, мы уже не знаем, чего делать, с ней это так вдруг случилось, с дочкой Куницы, с двухлетней малышкой, она помирает, ей нечем дышать, гляньте, как посинела, а Гарриет чувствовала себя беспомощно — без лекарств, без шприца, без ничего, кроме пакетика аспирина в своем саквояжике, кроме зубной пасты, щеток — для волос, для одежды, для зубов,— у Куницы зубы как ножи, а у Гарриет нет и этого, нет лекарств, но есть рот, есть руки, и она решила своими силами, своим телом спасти девочку, велела бежать за аспирином, нет, это мы ей уже давали, и растирали, и секли ветками руты, а священника здесь нет, он удрал, а я, мое тело тут, сказала себе Гарриет, когда же я смогу вымыть его, когда смогу, наконец, отмыть его, на мне — грязь и смерть; со мной — смерть и сон, если мне снится мой отец, пропавший в боях на Кубе, и его пустая могила на Арлингтонском кладбище; со мной сон и грязь, и смерть, и страх с той поры, как я высадилась в Веракрусе; Куба и Веракрус, эти всегдашние задворки моей страны, оккупированные моей страной, ибо наше предназначение — быть сильными, имея дело со слабыми; порт Веракрус, оккупированный морской пехотой Соединенных Штатов в результате надуманного оскорбления, якобы нанесенного звездно-полосатому флагу.

— Вы испытывали какие-либо трудности при высадке в мексиканском порту, сеньорита Уинслоу?

— Вас очень донимали шутками и насмешками оккупационные власти, сеньорита Уинслоу?

— Вас не слишком вежливо расспрашивали американцы, куда вы едете и какова цель вашей поездки, сеньорита Уинслоу?

— Вы показали с нескрываемой гордостью документы, подтверждающие, что вы можете защитить свои права и заработать на жизнь, сеньорита Уинслоу?

— Вы сказали, что им не придется тратить время на хлопоты по репатриации потерявшейся здесь голодной американской девушки и что она приехала обучать английскому языку детей одной состоятельной семьи, сеньорита Уинслоу?

— Вы им сказали, что вы не прислуга, а действительно учительница с немалым опытом; преподавательница, а не школьница, сеньорита Уинслоу?

— Вы смотрели на изрешеченные пулями стены старой тюрьмы Сан-Хуан-де-Улоа, думая, что сами могли бы найти там свой конец, сеньорита Уинслоу?

— Вы поняли, что стены городских домов тоже разбиты снарядами после недавнего обстрела города военными кораблями гринго, сеньорита Уинслоу?

— Вы слышали, что белыми лентами с белыми бантами и белыми цветами отмечены на улицах те места, где пали смертью кадеты морского училища города Веракрус, сеньорита Уинслоу?

— На вокзал вас сопровождали два морских пехотинца, и ехали вы в экипаже по улицам, где рыщут бездомные собаки и кормятся сопилоты-стервятники, сеньорита Уинслоу?

— В вас стрелял мексиканский стрелок-партизан с крыши дома, и рядом с вами был убит один из морских пехотинцев, запачкав вашу розовую блузку кровью с пшеничных полей Огайо, откуда он был родом и о которых успел рассказать вам этот юнец, чья мертвая голова упала вам на плечо, сеньорита Уинслоу?

— Вы со страхом сели в поезд, который повез вас по Мексике, сеньорита Уинслоу, в окружении священников и молодых людей и торговцев, сначала куда-то бежавших, потом арестованных, запуганных разными путаными рассказами о здешней революции, сеньорита Уинслоу?

— Видели вы, как схватили мексиканских юношей, которые хотели ехать в Веракрус, и как затолкали их в поезд, направлявшийся в Чиуауа, сеньорита Уинслоу?

— Сказали вам, что эти парни хотели сражаться против янки в Веракрусе, но Уэрта насильно послал их на север сражаться с Панчо Вильей, сеньорита Уинслоу?

— Поняли ли вы вообще, что происходило на «задворках», сеньорита Уинслоу?

Ковер белых кизиловых лепестков. Глубокий и темный стон. Но теперь в голове проносились другие мысли, в том числе и мысль о том, что она может прижать свой рот к губам больной девочки и вдувать в нее воздух, целовать, высасывать и сплевывать мокроту, забившую горло девочки, говорить себе: ничего, мне сделали прививку, а девочке — нет; сплевывать мокроту, черно-синюю, как тельце девочки; а в голове проносились мысли о своем приезде в Мексику, чтобы не думать о том, что она сейчас делает, а девочка вдруг заплакала громко и сильно, словно снова родилась на свет. Куница целовала руки мисс Гарриет:

— Господь вам воздаст, сеньорита!

— Чудо, чудо! — сказала луноликая женщина.

— Нет, нет,— отнекивалась Гарриет,— сделано только то, что нужно было сделать, это не чудо, скорее предопределение свыше. Может быть, лишь ради этого я и приехала в Мексику. А теперь дайте ей воды с солью и сахаром. Девочка будет жить.

Девочка будет жить, потому что я взяла ее за ноги и пошлепала по спинке. Девочка будет жить, потому что, благодаря шлепкам, ко-

мок мокроты выскочил из горла. Девочка заплакала и сказала, чтобы ее больше не били, не надо. Я испытывала великую радость, когда ее шлепала. Я спасала ее с ожесточением. У меня не было детей. Но эту девочку я спасла. Мне трудно полюбить то, что мне чуждо. Я постигаю это и храню, как великое таинство.

Так сказала Гарриет Уинслоу однажды ночью генералу Томасу Арройо:

— У меня не будет детей.

XIII

Женщины прикрывали шалями лица, когда вереницы усталых повстанцев на рассвете тащились обратно к лагерю.

Педрито вспоминал, как женщины приглушенно смеялись, и только молодые девушки не скрывали своей радости, которой сверкали их круглые лица, пламеневшие, как яблоки на свежей утренней заре.

— Влюбленные,— сказал полковник Фрутос Гарсиа мальчику, еще плохо понимавшему, что такое любовь; они считали своих людей: сколько вернулось, кто погиб.

— Мой бедный отец пропал на Кубе.

— Мой бедный сын убит в Веракрусе.

С повстанцами пришли и новые люди, чувствовавшие себя неуверенно на здешней земле. Это были пленные, перешедшие на сторону Вильи, довольные тем, что попали в поселок и найдут новых соратников. Куница, снова бодрая и веселая, распушив свой букетик искусственных роз на груди, была уже тут как тут, чтобы сказать им «добро пожаловать» и растолковать, что жизнь не стоит на месте и что точно так же, как она сама, они, сроду не вылезавшие из своих деревень, теперь будут идти от одного места к другому, зачинать сыновей в Дуранго, смотреть на их рождение в Хуаресе и хоронить в Чиуауа; когда-то отгороженные от всего мира в своих затерянных в глуши деревушках, хибарках на равнинах и в хижинах на горах, теперь все сни идут вместе и даже путешествуют в поезде: «Да здравствует революция и мой генерал Томас Арройо!»

Старый гринго смотрел на все эти лица, которые их встречали, и как-то острее и глубже воспринимал то, что впервые увидел в танцевальном зале. Вокруг костров разливалась песня: «Налетел ураган и нас всех разметал».

— Вряд ли гринго и сеньорита Гарриет понимают, что этот ураган — революция, с корнем вырвавшая мужчин и женщин из их земли и унесшая далеко-далеко от родительского праха, от старых кладбищ и сонных деревушек,— сказал полковник Фрутос Гарсиа, глядя на быстрые и мутные воды реки Рио-Браво-дель-Норте.

— Понимают. Как не понять,— ответил Иносенсио.— Небось знают, что американцы всегда перли на Запад, и мы, мексиканцы, никогда с места не снимались, до нынешних пор.

Его накрыли на месте преступления, когда он грабил золото у пассажиров в каком-то поезде, сошедшем с рельсов в местечке Чарко-Бланко, и там же повесили, оставив ему, однако, его пояс, набитый золотыми монетами.

— Не трогайте деньги,— сказал полковник Фрутос Гарсиа, который велел его казнить.— Он был храбрый человек. Имеет право взять с собой свое добро.

— Мне очень жаль, Иносенсио, но ты уже больше никогда не будешь самовольничать.

Я сам, своими глазами видел, хотел сказать старый гринго мисс Уинслоу, как целые народы шли от Нью-Йорка к Огайо, на поля сражений Джорджии и Каролины, а потом в Калифорнию, где обрывался континент, а порой и чья-то судьба. Мексиканцы же никогда не

трогались с места, за исключением преступников и рабов. Теперь они пришли в движение, чтобы воевать и любить. Куница распростерла руки, завлекая одного федерала с пышными усами, который ей пришелся по нраву.

Старый гринго застал мисс Уинслоу в вагоне перед зеркалом, закалывающей на затылке шпильками свои длинные каштановые волосы, и замер, завороженный, словно видением, и одновременно близостью благоуханной нежной плоти, переливчатым смехом женщины.

— Не смотрите на меня так. Я просто-напросто ополоснулась вместе с другими женщинами из глиняных кувшинов. Мне не удавалось помыться с тех пор, как я здесь. И знаете, нет большего удовольствия после молитв, чем...

— Безусловно,— буркнул старик. Их взгляды встретились в зеркале, он продолжал: — Я много думал о вас вчера вечером. И очень живо вас себе представлял. Кажется, вы мне даже снились. Я был вам так близок, как...

— Как отец,— на этот раз она прервала его, не оставшись в долгу.— Так же близок,— и голос ее был абсолютно ровен.

Но тут же опустила глаза:

— Я очень рада, что вы вернулись.

Послышались частые взрывы, кто знает, сколько их было, потому что взрывы нарушают ход времени, сливают секунды, и мисс Гарриет рванулась к своему гребню, как потерпевший кораблекрушение — к лодке. Ронять вещи всегда казалось ей очень смешным, но гребень упал, упали волосы ей на плечи, а она схватила гринго за руку.

— Боже мой! Они пришли!

— Кто?

— Те, с той стороны. Этого я боялась. Они придут и не станут разбираться — кто есть кто.

— А вас, мисс Гарриет, примут за солдатку-янки, которая приехала в Мексику в поисках веселых приключений.

Смешная мысль рассеяла страхи Гарриет Уинслоу, она благодарно сжала руку старика. Подумала о переменчивом характере смерти. Он пристально смотрел в серые глаза женщины.

— Клянусь вам, я приняла решение до всего случившегося, еще до того, как мой жених, мистер Дилейни, был осужден за финансовую махинацию, и даже раньше, чем его история раскрылась, клянусь вам...

— Мне до этого нет никакого дела,— сказал старик и дотронулся губами до щеки Гарриет.

— Вы рассказывали мне о Лиланде Стэнфорде. Вы сами знаете, что такие вещи происходят каждый день. Но я клянусь вам, что свое решение я приняла очень давно. Я решилась приехать сюда только по своей воле, вы должны знать об этом...

Она посмотрела через плечо старика, обнявшего ее, и увидела Арройо, который стоял у входа в купе, полускрытый тяжелыми портьерами желтого шелка, драпировавшими весь этот королевский вагон. И тут же услышала легкий шорох: длинная легкая рука женщины легла ему на плечо. Мисс Гарриет, умолкнув, успела заметить луноликую женщину, закутанную в синее ребосо.

Взрывы продолжались, их сила и частота нарастали. Она высвободилась из мягких объятий старика и застегнула последние пуговицы на блузке. Что там происходит? Но страха показывать не стоит.

— Наверное, нагрянули федералы,— сказал старик, без боязни открыто выказать боязнь.— Попросил нечистую силу над нами сжалиться.

— Нет,— сказала маленькая женщина с длинными легкими руками, выйдя из купе генерала.— Это всего лишь петарды.

Сегодня день святой покровительницы этой деревни, сказала женщина, большой праздник всей округи, сами увидите, и вывела их из стоявшего вагона на воздух, начиненный порохом, тем самым, которым эти же люди накануне начиняли свои «винчестеры», вывезенные контрабандой из Техаса. Воздух казался кисловатым от двух смешавшихся запахов: пороха и ладана; ряженые детишки окружили мисс Гарриет и, не приседая, запрыгали вокруг, как маленькие старички. Гринго остановился и оглянулся на железнодорожный вагон.

Арройо стоял на платформе: голая грудь, длинная черная сигара в зубах, обдававшая его дымом,— и смотрел на старика, на Гарриет Уинслоу, на них обоих. Североме́ксиканские танцоры-индейцы монотонно плясали перед часовней, позвякивая колокольчиками, привязанными к щиколоткам. Старик последовал за Гарриет к остову разрушенной усадьбы, вдоль обгоревшей галереи, где крестьянские женщины, и радуясь, и смущаясь, примеряли старые платья, которые она им разрешила взять: праздник — всегда самое подходящее время, а Гарриет хотела показать старику то, что ей удалось сделать: победить мечты, победить прошлое, определить будущее, то есть спасти чью-то жизнь, но об этом она не хотела говорить, пусть поймет он сам.

Жемчужных ожерелий на месте, однако, не оказалось, и ее охватили гнев и стыд, когда она опустила руку в пустую шкатулку. И сразу все — желаемое, подготовленное, достигнутое — развеялось в прах (теперь она сидит одна и вспоминает).

— Грабить,— сказала она,— им больше ничего не надо.

— Не бойтесь,— вдруг сказал старик.

— Ей нечего бояться,— сказал Арройо, поглаживая пояс с тяжелыми пистолетами по обеим сторонам голого мускулистого живота. На генерале были только замшевые штаны и высокие сапоги.

— Прошу прощения, мне некогда было одеться. Я испугался, как бы сеньорита не наделала еще каких-нибудь глупостей.

— Вы уже захватили свою добычу,— ответила она, гордо (вспоминает), высокомерно (теперь она сидит одна) и довольная тем, что он слышал ее слова.— Другого вам и не надо, не правда ли? Все остальное — пшик.

Арройо посмотрел на пустую шкатулку. Посмотрел на старика. И с силой сжал запястье Гарриет; Гарриет тоже посмотрела на старика, прося защиты, но он знал, что его время — с этой девушкой — пришло и ушло, хотя бы у нее еще и оставалась возможность гнездиться в его объятиях и любить его, как женщина или как дочь, небажно, но уже поздно: он видел лицо Арройо, тело Арройо, руку Арройо и признал себя побежденным. Его сын и его дочь.

— Всадник, ты хотел бы взять беззащитную женщину или стать ей защитой?

Арройо крепко сжал ее руки, и она сопротивлялась бы, если бы старик пренебрег первыми словами Арройо и встал между ними, но — любитель поиздеваться и над самим собой — он помешал ее сопротивлению. Арройо же только дал ей почувствовать, что она тоже сильная, что, хотя он действует против ее воли, она, не отбиваясь, не протестуя, проявляет такую же силу, как и он, и сохранит силу во всем, что ему вздумается сделать. Он повел Гарриет и старого гринго из галереи в жгучий, сухой, дымчатый день к мужчинам и женщинам, преклонившим колена в пыли перед часовней, к людям, теснившимся перед уже переполненной часовней... Она сейчас сидит и вспоминает, что больше, чем возвращение федералов, ее тогда вдруг испугало осознание того, что она действительно находится на странной, роковой земле, чье единственно ясное волеизъявление состоит в вечном и неизменном желании остаться древней, несчастной и сумбурной страной. Так виделось Гарриет, так ей чувствовалось. Такова Мексика.

Старик тоже уловил страх Гарриет и представил себе, что сказал бы его собственный отец, истый кальвинист, входя в эту часовню:

— Что за мотовство, что за страшное расточительство, языческое транжирство плодов господних на эту барочную мешанину, где каждый угол алтаря забит золотыми листьями, где стены облеплены затейливыми узорами, где сверкают позолоченные барельефы: яблоки, финики, херувимы, дующие в трубы,— какое-то кощунственное нагромождение мексиканского и испанского золота посреди пыльной равнины с колючками и свиньями, с босыми и оборванными людьми и с сожженными распятиями!

Фигура мертвого Христа покоилась в своем стеклянном ящике. Обнаженный царь царей был едва прикрыт бархатным красным плащом. Его раны кровоточили и после смерти. Принесенная жертва не оборвала раболепства его жизни, его человеческое воплощение, его потрясающее стремление к самосохранению, невзирая на предрешенный приговор, вынесенный его злосчастному телу, которое должно было думать только о своем Отце... о своем отце на небесах, воздушном всаднике, навеки взобравшемся на свой кальвинистский амвон, на свою деревянную лошадь, на своего Клавиленьо [1], сотворенного из приговоров и предначертанной судьбы. Девица-янки спасла больную девочку Куницы: что это — чудо? необходимость? Старый гринго видел в глазах Гарриет холодное и ничем не проявляемое соучастие в те минуты, когда они оба думали о религиях Севера, не требующих алтаря, позволяющих Христу Спасителю продолжать жить, навеки избавившись от плоти, от скульптурных и живописных изображений,— неосязаемый дух, витающий в жертвенниках музыки: Бог истинный, который никогда не смог бы истекать кровью, принимать пищу, знать плотскую любовь, очищать желудок, как этот Христос мексиканский.

Арройо привлек ее к себе и указал на алтарь, искрящийся, самопожирающий, огнедышащий, где святая дева тоже отнюдь не исходила кровью и не занималась любовью, а — пречистая богоматерь — стояла во всей своей эмалевой красе, укутанная в голубую с золотом накидку и увенчанная короной с жемчугами. Теперь она сидит одна и вспоминает эти жемчуга, которые, кажется, спасла только вчера из темной спальни уехавшей испанки и поставила в открытой шкатулке на всеобщее обозрение в качестве монумента рачительности и честности.

— Кто же оплатил все это... это... роскошество? — только и смогла проговорить она, чтобы не выдать своего чувства неловкости, своего обвинения в воровстве; она вела себя как внучатая племянница старого Хелстона.

— Они копили весь год, сеньорита, ходили голодные, чтобы устроить себе праздник.

Он вырос среди них, сын безмолвия и беды.

Праздник — без предела, нечто, всеохватно растущее и черпающее свою мощь в собственных избытках красочности, огненности и жертвенности. Старый гринго не хотел задумываться над предзнаменованиями или искать фатальности окружающей жизни во всем том, что происходило вокруг него и что, стискивая и подталкивая, медленно вносило вовнутрь часовни, к алтарю, увлекая жестоким и незыблемым зрелищем овеществленной веры, и самопожертвования, и расточительности, отдаляя его от них обоих. Старик отдалился от Арройо и Гарриет, мужчина и женщина теперь были вместе, связаны слепой судьбой, что старому гринго виделось в лице Гарриет, но не в его лице. В лице Арройо. Лицо старого гринго кричало Арройо: «Бери, бери мою дочь». Среди коленопреклоненных верующих, густого фимиама и свисавших с голых шей до земли ладанок по земле

[1] Деревянный «волшебный» конь (М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот», гл. XI, ч. II).

покатилась серебряная, пробитая пулей монета, и малыш Педрито, на четвереньках, как зверек, скользнул вслед за ней, боясь потерять свое единственное сокровище.

XIV

Монета катилась по площадке перед часовней до галереи. Педрито услышал приглушенный звук пианолы, почти растворявшийся в шуме праздника. Он тоже замурлыкал знакомый мотив. Да кто его только не знал?

— «Над волнами»,— сказал Томас Арройо на ухо Гарриет Уинслоу.

— The Most Beautiful Night[1],— сказала Гарриет Уинслоу на ухо Томасу Арройо. Пианола играла в каком-то темном углу разрушенного дома, он и она танцевали в зеркальном зале, убереженном генералом от огня и, как она сказала, преподнесенном в дар ночи, светлой ночи.

Они кружились медленно, слиток их двух теней мягко бил разными своими гранями в зеркала при каждом повороте:

— Смотри. Это я.

— Смотри. Это ты.

— Смотри. Это мы...

...в объятиях друг друга по случаю праздника. Она танцевала с ним очень медленный вальс, с ним и со своим отцом, *я танцую с моим отцом, который с наградой вернулся с Кубы,* повышен в чине на Кубе, спасенный Кубой, спаситель Кубы:

— Мы отправлялись спасать Кубу.

— Мы приходили спасать Мексику.

Гарриет танцует этим вечером со своим полным достоинства, награжденным, храбрым отцом на балу в честь героев Кубы, и у каждой женщины на груди трехцветная ленточка: «Welcome back, heroes of San Juan Hill» [2], а ее отец, при всех регалиях, гордящийся своей прелестной дочерью в этой официозной сутолоке, капитан Уинслоу с жесткими усиками, напомаженными волосами, почему-то отдавал странным запахом; она, уткнув нос почти в затылок отца, улавливала запах города Вашингтона в затылке своего отца, дух этого фальшивого Акрополя из мрамора с куполами и колоннами, воткнутыми в топкую грязь тропиков, пагубную, ничего не говорящую своим названием: североамериканская духота, каменные джунгли, похожие на гигантское пустынное кладбище; дверцы правосудия и власти, тонущие в южноамериканских зарослях, всепоглощающих, безудержных, как растительный рак, разлагающий фундамент Вашингтона, города влажного, как потное тело негритянки. Гарриет почти уткнула нос в затылок Томаса Арройо и уловила запах пота жаркой негритянки: «капитан Уинслоу, я очень одинока, и вы можете пользоваться мной когда хотите».

Томас Арройо в танце крепко обнимал талию чужестранки, все сильнее прижимая ее к себе, представляя ее той очень красивой парковой рощей, на которую он всегда смотрел только издали, и тут из-за одного из зеркал вдруг вышел совсем юный Томас Арройо, чтобы потанцевать со своей матерью, со своей матерью — законной супругой своего отца, со своей матерью, чистой и достойной, хотя и без тяжелой брачной шали на плечах, без венца из виноградных листьев на голове, с не замутненными ярким солнцем глазами, а всего лишь чистой, лишь очень чистой сеньорой, с чистыми волосами, чисто одетой и обутой и танцующей со своим сыном вальс «Над волнами», который часто долетал издалека, из дома, где могли запретить смотреть на танцы, но не были вольны удержать звуки музыки.

[1] Самая прекрасная ночь *(англ.).*

[2] «Добро пожаловать домой, герои Сан-Хуан-Хилла» *(англ.).*

Так громко звучала в зале музыка, что, казалось, награждала голосом почти всегда молчащую землю и позволяла — смотри, это мы — предаваться любви без боязни быть услышанными. Томас Арройо прижал губы к уху Гарриет Уинслоу.

Она ощутила инстинктивный страх одновременно познать нечто прекрасное и опасное.

Страх обернулся радостью, как только мысль подавила инстинкт. Но шевельнулся новый, глубинный страх, что потом ничего не случится. Томас Арройо прижался губами к уху, и Гарриет Уинслоу почувствовала, что ей сейчас ужасно нужен — нет, не отец ее, а старый гринго. «Я подчиню генерала Томаса Арройо до своего возвращения домой, до того, как опять начнется обычная жизнь».

Но старик заметил бы, что в Мексике некого подчинять и некого спасать.

— Это следовало бы нам понять, ибо наши предки никого тут не завоевали, они нашли здесь зрелую цивилизацию. Так сказал мой отец после войны 1848 года. Мексика не порочная страна. Она всего лишь иная страна.

Иные губы на ее ухе: слышимые, ощутимые, влажные, шевелящиеся, от которых Гарриет не уклонялась, но которым в то же время внутренне не поддавалась, обращаясь к своему умению менять по желанию времена года — она танцует в объятиях Арройо, но мысленно способна очутиться в любом не существующем в этой стране сезоне; вот она танцует летом в дни своего детства рядом со свежим дыханием Рок-Крик-Парка; вот несется вниз на санках по заснеженным склонам Меридиэн-Хилл-Парка; вот бежит, держась за руку отца, по Четырнадцатой улице, покупая по пути плоды осени — яблоки и орехи — в ароматных греческих лавках; идет на Арлингтонское кладбище однажды весной, полной летучей пыльцы и трепета кизиловых деревьев, и видит пустую могилу.

Она сильнее прижалась к Томасу Арройо, словно боялась что-то потерять, но повернулась к нему лицом, чтобы увидеть собственное жгучее изумление в глазах мексиканца.

— Я была здесь раньше, но пойму это, лишь когда уеду.

Он спросил ее на ухо, нравится ли ей видеть сны.

Она ответила «да» — тогда теряешь возраст.

Или еще лучше: когда очнешься, не знаешь, где находишься.

Арройо помнил только одно время года — лето: здешнее время всегда одно и то же, не имеет никаких дорожных знаков, и потому так чертовски надо метить время неизлечимыми ранами, которые болят, даже когда закрываются — такова вся его жизнь.

— Прости меня, грингита [1]. Я многого не знаю. Иногда бываю свиреп и горяч. Но что-то понимаю и чувствую очень глубоко, грингита, очень глубоко, а если не почувствовать, то мне и не понять ничего.

Они танцевали вальс, словно танцевали какую-то историю; она рассказывала ему на ухо о своем по-английски, словно он мог понять ее только потому, что она рассказывала обо всем, как об уже прошедшем: *я больше никогда не встречусь с Дилейни; если я говорю о возвращении, я не говорю о повторении прошлого; я вернусь с твоим временем, Арройо, и с временем старика; я буду беречь это время, Арройо; ты не знаешь, но я буду хозяйкой всего того времени, которое возьму здесь; я стану более красивой и более счастливой, потому что теперь мне понятнее, что это значит, и со мной всегда будет время всех вас, я буду хранить его — и в каньонах Рок-Крика летом, и на заснеженных тропах Меридиэн-Хилла зимой, и гуляя по Четырнадцатой улице осенью, и останавливаясь весной возле заброшенного дома,*

[1] Уменьшительное от «гринга» (латиноамериканское название американки. Ср. «гринго» — американец).

где заходящее солнце зайчиком прыгает по стеклам окон; и тогда ты простишь меня, потому что я продлю твое время, Арройо, а может, ты все испортишь, попросив меня отдаться тебе во имя спасения жизни одного человека...

Она ни о чем не спрашивала и ничего не внушала. Просто это уже не будет историей только одного мужчины. Присутствие других (мое присутствие, сказала Гарриет) изменит историю. Я только хотела бы тоже приобщить его к такой тайне и к такой опасности, от которых ничто не избавит, никакой шаг.

— Одиночество — это бытие вне времени.

Арройо прижал ее к своей груди и хотел бы высказать ей все, что он думает, чтобы она ушла отсюда, ни о чем не сожалея, а, напротив, чувствуя себя хозяйкой всего, что здесь возьмет. Он попросит ее хранить его время, его, Томаса Арройо, когда он уже не сможет это делать сам. И время старого гринго тоже. Да, тоже, сказал Арройо. Он согласен. Продлим свое время, усмехнулся мексиканец: тот, кто выживет, будет хранить время двух других, это можно, правда? — сказал почти с робостью, даже с какой-то нежностью генерал,— правда можно? будь что будет...

Он хотел знать, когда оба гринго уедут из Мексики.

— Я — здешний. С этой землей связан навеки. А вас обоих прошу уйти. Честное слово: это единственное, чего я хочу. Но о нас помните. Главное, будьте с нами, хоть и останетесь с вашими, чтоб их...

А потом сказал то, чего она боялась:

— От тебя зависит, вернется гринго домой живым или нет.

Она уже не слышала того, что добавил Арройо *(старик — бешеный. Он лезет на рожон. Для моего войска такое не подходит)*, а слышала то, чего он не добавил *(сегодня ночью я не смогу быть без тебя. Ты не представляешь, как я тебя хочу, грингита. Да, хочу, как хочу, чтобы воскресла моя мать. Именно так. Прости меня, но я сделаю все, чтобы ты была со мной этой ночью, красавица грингита)*, ведь Арройо не знал, что Гарриет танцевала с награжденным, благородным, свежевымытым офицером; Арройо же, напротив, забыл о своей скромной, достойной уважения матери; Гарриет виделось, что Арройо, рожденный всеми женщинами, раздавленными горем и страданиями, хочет бежать от них, страдающих и обездоленных.

Отступив от Арройо, она увидела себя в танцевальном зале, окруженной зеркалами. Ей казалось, что она входит в эти зеркала, не глядя на себя самое, потому что на самом деле вступала в сновидение,— и в этом сновидении ее отец не был мертв.

Она взглянула на Арройо и поцеловала его со жгучим изумлением. Мальчик выронил из рук монету, но металл не звякнул о камень, ибо худая веснушчатая рука, покрытая седыми волосками, подхватила ее на лету.

XV

Он чувствовал, что его унижает смиренное присутствие луноликой женщины, укутанной в синее ребосо. В ее влажных глазах застыла бесстрастность, глубокая и мудрая. Женщина солдата. Он встречал их в своей жизни или читал о них во всех эпосах прошлого. А сейчас она коснулась его длинной и мягкой рукой, без слов умоляя сделать вид, что ничего не происходит, что она и он просто находятся там, в этой сверкающей клетке танцевального зала, как Христос в своем стеклянном гробу или как сбежавшие землевладельцы, которые ежегодно давали здесь один-единственный бал для дам и кабальеро из Чиуауа и Эль-Пасо и даже из города Мехико.

Они притворялись, что ничего не происходит, но он чувствовал себя униженным, а она — нет.

— Иногда ему бывает тоскливо, но он всегда — мужчина,— сказала луноликая женщина.

— Вас ему недостаточно? — резко сказал старый гринго.

Она не обиделась:

— Мужчины устроены по-другому, чем женщины.

— Это неверно, и вы это знаете. Я не феминист. Одна из причин, по которой вы видите меня здесь, сеньора, состоит в том, что я боюсь мира, полного взбалмошных суфражисток. Невыносимый матриархат. Дело в том, что все мы друг другу мстим. Вы, женщины, действуете более скрытно, чем мы. Только и всего.

Луноликая женщина не возражала. Да, она всем довольна, а он нет, но не потому, что не любит ее, а потому, что просит ее выражать свою любовь еще сильнее, так, как надо ему, а не ей.

— Ты не крестьянка.

Он взял руки женщины и посмотрел на ладони.

— Да. Я умею читать и писать.

— Где он тебя нашел?

— Нет, это я его нашла. Он влетел в мою деревню как загнанный жеребец, черный от грязи, умирая от жажды. А потом деревню взяли федералы. Я спасла его от страшной смерти, можете мне верить, индейский генерал.

— Значит — благодарность.

— Нет, это я ему благодарна. Мне и не снилось, что меня кто-то будет так любить. В моей деревне открыто любить не принято. Это была грустная деревушка, где супруги ложились спать в потемках. Уж не знаю — от страха или от неохоты.

Она сказала, что Арройо, напротив, обнажен, даже когда одет. Молчит, даже когда говорит.

— Я должна была спасти его, чтобы спасти себя. Мы связаны намертво, и я его понимаю.

— Очень мило.

Они надолго умолкли. Старый гринго пытался представить себе, о чем Арройо говорил Гарриет, пока эта женщина разговаривала с ним, не представляя себе, что и Арройо мог вспоминать о том же, о чем эта женщина рассказывает старому гринго, и тоже рассказывать Гарриет, как луноликая женщина спасла его, спрятав от федералов в первые дни кампании, развернувшейся против Уэрты здесь, на севере Мексики.

Опасность была повсюду, и Арройо знал, что его убьют, если встретят. Ему одному удалось спастись в этой деревне, и он укрылся в каком-то погребе. Оттуда он слышал стук вражеских сапог над головой и грохот выстрелов — кончали его пленных товарищей. Ему было все слышно, потому что погреб всасывал все звуки, как морская раковина. А потом вход забили досками.

Арройо призадумался. Быть может, всю эту деревню приговорили к смерти за то, что тут дали приют революционерам? А он остался погребенным в подвале? У него всегда был хороший нюх. И он почуял спящих собак там, в углу. Стук молотка их разбудил. Псы были огромные и страшные, серые, со стальными мордами. Никогда он не видел такое медленное и ленивое пробуждение: словно они спали в этом погребе с незапамятных времен. Ему почудилось, что их оставили тут специально для него, что они — его науали, его духи-звери. На самом же деле этих двух страшных, свирепых серых псов тут спрятал хозяин дома, потому что федералы забрали в доме все, а этот человек любил своих собак больше, чем серебро, если оно у него было, или больше, чем жену, которая у него была.

— Почему ты на меня так смотришь, гринга?

— Думаю.

— Ты здесь свободна.

— Да, но только на словах. Ты прекрасно знаешь.

— А ты любишь старика?

— Да. Ему больно. Во всяком случае, я это вижу.

— А мне как?

— Ты сам причиняешь себе боль. Я постараюсь помочь ему чем смогу. Знай, именно для этого я здесь.

— Хочешь его спасти так же, как она спасла меня?

— Я не знаю, как она спасла тебя.

Арройо и псы подстерегали друг друга. Псы знали, что он здесь. Он знал, что псы здесь. Собаки всегда либо набрасываются, либо лают. Самое забавное состояло в том, что они были только начеку, словно боялись Арройо так же, как он их. Может быть, они не знали, что он не зверь, а может, их хозяин внушил им страх ко всему, что пахнет солдатом? Кто знает? У собак больше пяти чувств. Арройо сказал, что и не вспомнил бы об этой истории, если бы она не показалась ему такой необычной.

Это был очень долгий день. Арройо не шевелился, но давал им знать, что тоже силен, хотя пока их не трогает. Подошла ночь, и он знал, что псы настороже — они ловили каждое его движение, а он их почти не видел. Послышалось рычание. Они учуяли, что Арройо готов к нападению. Дико взвыли и прыгнули на него. Арройо выстрелил прямо перед собой. Он подбил их в воздухе, как двух тяжелых орлов. Разрядил в них всю обойму. Они рухнули с жутким визгом. Он посмотрел себе под ноги. И испугался, что выстрелы услышаны, и тогда другие так же застрелят его, как он застрелил собак. Пнул их и оттолкнул подальше носком сапога. Две страшные отвратительные твари.

— Я рассказываю тебе все это и надеюсь, что ты в конце концов меня поймешь.

— Ты знаешь, для чего я здесь.

Прошло несколько дней, Арройо часто слышал над своей головой военную команду, чаще всего приказ расстрелять. А сам погибал от голода с разряженным пистолетом в руках и двумя дохлыми собаками у своих ног. Он жалел, что не оставил ни одной пули. Так было бы лучше, чем съедать своих мертвых врагов.

— Я поверю всему, что ты сейчас наговоришь.

— Ты у меня здесь не пленница.

— Это я уже слышала.

— Верь всему, что я тебе говорю. И можешь уйти когда хочешь.

Однажды ночью он услышал, что кто-то стучит костяшками пальцев по доскам, которыми была забита дверь. Женский голос просил его не есть мертвечину. Она его выпустит, как только минует опасность. Не надо есть падаль. Она не знала, что Арройо уже съел собак. Но, услышав ее голос, он сказал себе, что ей надо верить, не нужно обижать ее неверием, а кроме того, она стала его единственной надеждой. Не надо было есть дохлятину, чтобы не сказать ей потом: я поверил тебе, хотя знал, что доверяться опасно, и я целую твои губы теми же губами, которые касались собачьего мяса.

— Пойми меня и прости мою мимолетную любовь к тебе, гринга.

— Я знаю. Но и я в силах спасти человека. Хотя последствия, наверное, будут разными. Ты хорошо знаешь, что должен рассказать мне, генерал Арройо.

Он сказал, что тем вечером, после боя, двое мужчин имели равные возможности выжить или найти смерть. Одна возможность была у гринго. Другая — у федерального полковника. Кто-то из них мог умереть.

— Я уже говорил, что полковник умер как храбрец.

— Ты живешь в каком-то фантастическом сне со своими понятиями о чести.

(Теперь она одна и вспоминает: жизнь не такова, какой я ее представляю. А может быть, жизнь стала, наконец, понятна после того, как она узнала его любовь?)

— Ты порой тщеславен и глуп, порой же искренен и раним. Это я знаю после нашей любви. Это мне понятно, но мне непонятно твое отношение к жизни — ты ставишь смерть превыше всего.

— Но я жив. Благодаря одной женщине — вчера и благодаря тебе — сегодня.

Нет, она резко качнула головой, взметнув густую каштановую массу волос, он жив сегодня, потому что еще не пришел звездный миг его смерти. Он этого не упустит. Главное в жизни Арройо не как жить, а как умереть.

— Конечно. Я надеюсь, что ты сможешь увидеть, как я умру, грингита.

— Я тебе уже сказала, что предпочитаю увидеть твою смерть, чем смерть старика.

— Он очень стар.

— Но я не могу осудить его боль, а твою — могу.

— Ты осудила меня, как только явилась.

— Больше не буду, клянусь тебе. Обещание за обещание, генерал Арройо.

— Много болтаешь, грингита, красавица. Я вырос в молчании. Ты тратишь больше слов, чем чувства, так мне думается.

— Ошибаешься. Я люблю детей. И знаю подход к ребенку.

— Тогда заимей своего.

Они громко рассмеялись, и он снова стал целовать ее, впиваясь в губы с тем же чувством ненасытного голода, какой испытывал там, в подвале.

— Тебе хорошо, грингита? С обещаниями или без обещаний, правда, красавица грингита, моя бедная любовница, грингита, ведь ты любишь по-настоящему первый раз в жизни, не говори мне, что не так, тебе ведь нравится моя любовь, твоя любовь, грингита?

— Да.

Арройо вскрикнул, а луноликая женщина сжала руку старого гринго и сказала про Арройо то, что все говорили про гринго:

— Не иначе как пришел сюда умирать.

— Капитан Уинслоу, я очень одинока, и вы можете пользоваться мной когда захотите.

Старый гринго вернулся в железнодорожный вагон и оттуда увидел, как Арройо один, смеясь и ликуя, шагал вразвалку туда и сюда по пыльным тропам лагеря, нимало не заботясь о том, что скажет или сделает его недруг. А гринго раздумывал и опасался того, что генерал петушится, желая показать: мол, гринга — моя, и расквитался я теперь со всеми проклятыми гринго, и я — Арройо — настоящий мачо, овладевший грингой и одним махом стеревший все воспоминания о поражениях мексиканцев при Буэнависте и Чапультепеке.

Но Гарриет думала иначе, чем гринго. Когда Арройо ушел, луноликая женщина вошла в купе, где ночевали они обе, и Гарриет почувствовала себя опозоренной и устыженной. Вот кто действительно его любимая.

— Ты должна понять,— сказала женщина с длинными и мягкими руками, вечно помогавшими ей выражать ласку и говорить с людьми.— Их избивали мачете плашмя по спине, если слышали, как они любят друг друга. Иногда забивали чуть ли не до смерти. Они должны были выражать свою любовь молча, говорю тебе это как женщина. Им было тяжелее, чем животным. Я стала первой, которую он полюбил, не боясь своих слов, не боясь звука голоса. Он

никогда не забудет своего крика из самого нутра, когда впервые взял меня и никто его потом не избил. Я тоже этого не забуду, сеньорита Гарриет. Я никогда не оборву его любовь, потому что это значило бы оборвать свою любовь. Но больше он никогда не кричал, до этого вечера с вами. Это меня испугало, должна признаться вам сейчас, до того как будет слишком поздно и мое предсказание оправдается. Томас Арройо — сын молчания. Его невысказанные слова — это его бумаги, которые он понимает лучше всех, хотя и не умеет читать. Я всегда боялась, что он вернется сюда, где родился. Всякое может случиться, если человек возвращается в родные места, которые покинул навсегда, ведь правда?

Не зная, что ответить, Гарриет предприняла слабую попытку рассказать женщине, что на родине у нее тоже был человек мягкий и мужественный, человек благородный и честный, человек... Посмотрела в глаза луноликой женщины и умолкла.

— Ты свободна, гринга,— сказал ей Арройо, расставаясь с ней вечером в галерее, а она ему ответила «нет», *это* не было настоящей любовью, ну, а *что* она ему тогда скажет, если он придет к ней этой ночью, немного навеселе, и заявит, что ему мало того, что было, что боль старого гринго ничто в сравнении с его болью, болью оттого, что не может быть снова ей близок, все так же желает ее, представляет себе, как сжимал бы ее в своих объятиях, ласкал бы всю, без этой никчемной одежды...

— Тебе уже больше нечего желать или представлять себе, генерал Арройо.

— Не издевайся, очень тебя прошу.

— Значит, ты мог бы и представлять меня себе? Сейчас ты говоришь как человек, которого я когда-то знала. Он тоже предпочитал представлять меня себе и в это же время жил с другими, желая иметь «свой идеал». Такова уж, наверное, моя доля — жить в воображении мужчин.

Арройо сказал, что ничего не знает о личной жизни Гарриет и знать не хочет. Может быть, она тоже чувствует себя отмщенной?

— Мы все чем-то задеты или обижены, одни больше, другие меньше,— сказал ей Томас Арройо.— Всем нам по душе отмщение. Здесь мы это называем своим именем. А вы там как это называете?

— Сострадание... Судьба...— пробормотала Гарриет Уинслоу.

Он признался: да, ему хотелось убить старого гринго тогда, после сражения, а ей сказать, что тот умер как трус. А чего хотела бы она, по правде? Иметь такого отца, как старый гринго, или обойтись с Арройо, как ее отец? Ее бросило в дрожь от его слов, и она сказала ему: говори, говори дальше, чтобы он говорил о чем-нибудь другом, только не об этом.

И Арройо сказал, что еще до того, как решил полюбить ее, не мог понять, почему старый гринго не прикончил полковника и упустил возможность завоевать доверие командира.

— Это было первое, о чем я подумал, гринга,— поделился он с ней своими мыслями.— А потом пришло в голову второе: Арройо, если ты убьешь старого гринго, станет ли когда-нибудь гринга твоей? И тут вдруг словно бес шепнул мне на ухо: Арройо, наверное, оба вопроса имеют один ответ. Ни ты, ни гринго не хотят потерять эту красивую женщину. И они оба знают, что она никогда не полюбит убийцу.

Это привело ее в отчаяние. Значит, все убитые его рукой сами по себе не имеют для Арройо никакого значения? Завтрашние мертвецы заслоняют вчерашних? Каждое утро смывается старая кровь и начинается новый счет смерти? Завтра, завтра... Она сказала, что ей стало неинтересно его слушать. Может говорить что хочет. Мог выбрать любую судьбу для старика. Закричала, что он топчет ее глубокую веру. Просила, чтобы он понял: она мыслит совсем по-дру-

гому, чем он, ей очень трудно с ним, они больше не должны видеться, да, пусть был один раз, чтобы выполнить обещание и получить наслаждение, это она допускает, но нельзя изменить судьбу, ни свою, ни чужую. В этом заключена ее вера, сказала, рыдая, Гарриет Уинслоу. Только бог властен над судьбами людей.

— Не просто человек, как ты.

— Я мог его убить.

— Тогда бы тебе никогда не получить меня, ты прав. Я с тобой только потому, что ты грозил его убить. Так ты сказал мне в набитой битком часовне, схватив меня за руку.

— Послушай, а что это за пятно у тебя на правой руке?

— Прививка. Но ответь мне. Теперь ты должен выполнить свое обещание.

— Ты свободна, гринга. Это — прививка?

— Ты хочешь сказать, что открыл мне любовь без любви? Это не настоящая свобода женщины, ты ошибаешься.

И снова в ответ:

— Тебе не понравилось, грингита? Скажи, разве тебе не по вкусу, с обещаниями или без них, правда ведь, что ты довольна и хочешь еще, грингита-красавица, желанная моя девочка, грингита моя нежная, любовница, впервые любящая по-настоящему, со всеми своими прививками, я знаю, ведь тебе понравилась моя любовь, наша любовь, грингита?

— Да.

И этого Гарриет Уинслоу никогда не могла простить Томасу Арройо.

XVI

— Знаешь, почему я вернулся к усадьбе? — спросил он у Гарриет Уинслоу и, не дожидаясь ответа, сказал: — Ты знаешь, почему я вернулся. Твои глаза тебя выдают, грингита, ты сама от чего-то бежала, потому и хочешь вернуться назад, откуда бежишь. Ты ведь гляделась в зеркало, думаешь, я не знаю? Я тоже гляделся в зеркала, когда был мальчишкой, а мои люди — нет, они никогда не видели себя во весь рост. Я должен был сделать им этот подарок, этот праздник, теперь они смотрят на себя, они задвигались, заплясали,— ну-ка, подними сама руку, танцуй польку,— они мстят за все свои слепые годы, когда вслепую распоряжались своим телом, на ощупь искали в потемках другое тело, вот как твое — такое незнакомое, и молчаливое, и далекое, как те, другие тела, которые не разрешалось трогать или которым не позволяли трогать тебя. Они задвигались перед зеркалом, и волшебство исчезло, грингита. У нас тут, знаешь, есть такая детская игра. «Заколдованный» называется. Тот, кто водит, говорит «замри», и ты — заколдован. И стоишь недвижим до тех пор, пока кто-нибудь другой не «выручит». Тогда опять оживаешь. И кто знает, когда снова тебя заколдуют? Заколдуют. Очень звучное слово. Очень опасное слово. Ты заколдован. И уже не волен над самим собой. Ты принадлежишь кому-то другому, кто не может сделать тебе ни зла, ни добра. Впрочем, кто его знает? Послушай, грингита, меня околдовал вот этот дом, с той поры как я тут родился, нет, не в большой кровати моего отца с одеялом и пологом, а на циновке моей матери в покоях для прислуги. Тридцать лет смотрели мы с усадьбой друг на друга, как ты смотрела на себя в зеркало или как мои люди смотрели на свои отражения. Я был заколдован и камнем и кирпичом, изразцом и стеклом, гипсом и деревом. Дом — все это, но он значит и гораздо больше этого. Был ли у тебя дом, о котором ты могла бы сказать «мой дом», когда ты была маленькой, грингита? Или тебе тоже случалось смотреть на дом, который мог быть твоим, который каким-то образом тебе принадлежал — пони-

маешь? — но в то же время был от тебя так же далек, как дворец в сказках про добрых волшебниц? Есть вещи особого рода: они твои и не твои, они у тебя в сердце, а до них не достать. Понимаешь? Например, ты видишь дом, ты знаешь этот дом; смотришь, как зажигаются огни, как они скользят от одного окна к другому, как их потом гасит ночь, и ты словно бы и там, в доме, и тут, снаружи, и злишься, что снаружи, но и доволен тем, что можешь видеть весь дом целиком, тогда как они, все остальные, другие, многие, кто сидит там внутри, как в плену, не могут этого видеть, и, значит, им этого не дано, и ты радуешься, грингита, успокаиваешься, и на душе становится веселее: у тебя два дома, а у них только один.

Арройо судорожно глотнул воздух — его вздох был как стон получившего удар в пах,— и чтобы скрыть невольное проявление сокровенных чувств, тут же отхаркнулся и сплюнул густую мокроту в бокал с мескалем. Это было неприятное зрелище, и Гарриет отвернулась, но Арройо с силой поднял ее подбородок.

— Погляди на меня,— сказал Арройо, выпрямившись возле Гарриет, встав на колени: крепкая смуглая грудь, голый подтянутый живот и черное густое облачко волос, обволакивающее словно сосуд с мескалем и пару агуакатов; точеные, гладкие, лоснящиеся ноги индейца и такое черное густое облачко, какого она никогда не видела, и засмеялась, вдруг вспомнив Дилейни и его щуплого сонного карлика, прикорнувшего на редкой рыжей соломе, услышав голос Дилейни: будь моей женой, Гарриет, покажи, как ты меня любишь, делай что хочешь, ты же знаешь, я ничего не прошу, кроме твоих ласк, Гарриет,— а потом его вялые, холодные конвульсии; Арройо же сам будто близнец своего фаллоса и бурный поток: именно это означает его имя: Брук, Стрим, Крик [1]; Том Крик, Том Брук — неплохое английское имя для человека, похожего на Томаса Арройо! И она смеялась над ним, стоявшим перед ней на коленях, вовсе не похвалявшимся своей мужской статью, которую она видела и притом понимала, что там нечего понимать, что Арройо, ее Том Брук,— обыкновенный самец: она давно слышала, что такие мужчины, как погонщики скота, стригальщики овец, каменщики, всегда готовы облегчать, а не осложнять себе жизнь рефлексиями и так же просто удовлетворяют свое желание, как ходят, чихают, спят или обедают. И Арройо такой же. Мысль эта промелькнула, но она тут же внутренне себя одернула, что снова смотрит на него сверху вниз,— лучше, гораздо лучше думать, что в действительности Арройо всегда в силе — или почти всегда,— побуждаемый каким-то собственным стимулом, для нее непостижимым. А если он вот таков с нею, только с нею, и больше ни с кем, ни с одной другой женщиной?

«Гарриет Уинслоу,— тут же молча отчитала она себя,— гордыня — это грех. Превращаться в глупую и тщеславную девчонку уже поздно. Ты никого не сведешь с ума, ни в Мехико, ни в Вашингтоне. Спокойно, спокойно, мисс Гарриет, тихо, девочка».

Она говорила уже не самой себе, воображение перенесло ее к любовнице ее отца, к влажной негритянке во влажном и молчаливом доме, где огни поднимались и спускались по лестницам.

— Погляди на меня,— повторил Арройо.— Погляди: ты считаешь (это ему, во всяком случае, хотелось выразить) *(теперь она сидит в одиночестве и вспоминает)*, что самой тебе не по силам расшевелить меня, взбудоражить, хотя я смотрю на твое лицо, потому что ты, наверное, красива, но красота не единственная причина, чтобы вот так замереть перед кем-нибудь или чем-нибудь, как, например, перед змеей, усмехнулась Гарриет, или перед миражем в пустыне, или во власти глубокого сна, из которого никак не вырваться, падая и падая в бездну сновидения, становясь вечным странником по доро-

[1] Ручей, поток, река *(англ.)*.

гам сновидений. Нет,— сказал Арройо,— ты думаешь о каких-то неприятных и грустных вещах, гринга, я просто думаю о красоте или о любви или вдруг представляю себе, кто ты, или ты заставляешь меня представить, кто я, или вдруг каждый из нас в отдельности вспоминает еще о ком-нибудь и благодарит другого за то, что мы смотрим друг на друга и возвращаем прекрасное воспоминание. Да, она подняла вверх руку, раскрыв ладонь,— здесь, в эту ночь, я могу вообразить многое, чего никогда не было, или пожелать то, чего мы никогда не имели,— сказал Арройо, сцепив пальцами свою раскрытую ладонь с ее ладонью: с ее — холодной и сухой, свою — горячую, но тоже сухую. Простыни вздымались белой пеной под их коленями; постель, как застывший прибой, который колышется, когда поезд трогается с места, устремляясь к следующему бою, сражению, походу, еще предстоявшим Арройо в жизни, это ложе супругов Миранда, принявшее влюбленных, заволновалось, словно само собой, словно не было тех двоих, кто сейчас жил ритмом волн, мгновением горячих приливов, рождающихся в неведомых глубинах и разбивающих зеркало холодного моря, взрывающих гладь действительности.

Рука одного крепко сжимала руку другого.

Он сказал, что целых тридцать лет был как заколдованный, глядя на усадьбу: ребенком, мальчишкой, молодым парнем. А потом все пришло в движение. Не он первый начал. Он только присоединился. Но понял: это принадлежит ему, будто сам зачал революцию меж холмов Чиууа, да, гринга, именно так. Но главным было другое. Самое важное то, что он наконец расшевелился, он и все они, согнутые пополам, очнулись, будто стряхнули сон после марихуаны, вялые смуглые животные, страдающие от жажды и от ран, встали с ложа равнины, вышли из горных ущелий, босые ноги деревень, съедаемых вшами; разговаривала ли она с Луной, женщиной, которая ушла из маленькой деревушки на севере Мексики, знает ли она это, знает? Так вот, движение его расшевелило, взбудоражило, а теперь — он с силой опустил ее руку и прижал к своему животу,— теперь он ей все скажет, только ей, но никогда и ничего не скажет Луне — женщина все поняла бы, но назвала бы это предательством, потому что оба они — мексиканцы, и он расскажет про все гринге, потому что об этом можно рассказать только человеку, который приехал издалека, из такой чужой страны, как Соединенные Штаты, из другого мира, из мира, который не Мексика, из мира далекого и странного, из баламутного и несуразного мира янки, которые не понимают толка ни в хорошей еде, ни в бурных революциях, ни в горячих женщинах, ни в прекрасных церквах и сдуру ломают все традиции, словно только будущее да новизна чего-то стоят, и он может рассказать обо всем гринге не только потому, что она не такая, как они, а потому, что сейчас они, мексиканцы, хотя бы и на какой-то момент, такие же, как она, как старый гринго, как все гринго: тревожные, расшевеленные, забывающие свою древнюю приверженность одному-единственному месту, одному своему краю, одному кладбищу, так он говорил.

— Гринга, а я опять скован.

— Не понимаю,— сказала она, снова удивленная неожиданным поворотом речи этого человека.

— Пойми. Постарайся. Я сказал то, что хотел сказать. Раньше я не мог шевельнуться, глядя на усадьбу, словно меня заковал домовой. Потом я рванулся и ожил. А теперь опять замер.

— Потому что вернулся сюда? — спросила она, стараясь казаться понятливой.

— Нет,— он резко мотнул головой.— Бери глубже. Я чувствую себя опять в плену своих же дел. Как будто опять заколдован.

Он чувствовал, что скован судьбой революции, и узнал это там, где революция его когда-то застигла,— это он хотел сказать. Это чув-

ство куда сильнее, чем тяга к родному дому. Несравнимо сильнее (его рука упала на обнаженную ногу Гарриет), и все же: у нас у всех есть свои мечты, но когда наши мечты делаются нашей судьбой, если мечты становятся действительностью, всегда ли должны мы чувствовать себя счастливыми?

Он не знал. Она — тоже. Но вопрос вдруг навел Гарриет на мысль о том, что, может быть, этот человек оказался способен сделать то, чего нельзя ждать от других? Он все-таки пришел домой, оживил один из древнейших мифов человечества — возвращение к родным пенатам, к едва теплящемуся очагу нашего исхода.

«Нет, не так,— сказала она себе,— и не только потому, что очага здесь уже нет. А если бы и был, все меняется: люди стареют, вещи портятся, чувства преображаются. Уже никому не вернуться домой, даже если существует то же место и те же люди, если случайно еще осталось и то и другое, и все-таки это не то же самое, а что-то, еще находящееся там». Ей пришло в голову, что в английском языке есть лишь одно значение глагола «быть» — to be, а в испанском имеется глагол «быть» (ser) и его призрак (estar) «находиться», как зеркальное, но одновременно и видоизмененное — вечно меняющееся — изображение предмета, словно дух и плоть. Родной очаг — это память. А память — единственная подлинность, и потому память и есть наш очаг, и становится она единственным подлинным прибежищем наших сердец, страстным желанием отыскать наши крохотные и неясные кусочки счастья, зарытые глубоко в наших сердцах, которые перестает трогать бедность или богатство, доброта или жестокость. Может быть, золотая крупинка самопознания сверкает только для ребенка? — спросила Гарриет.

— Нет,— интуитивно впопад ответил Арройо,— ребенок только свидетель. Я был свидетелем жизни в усадьбе. Потому, что я был незаконнорожденный из каморки прислуги, я впитывал в себя то, на что они даже и не оглядывались. Я рос, обнюхивая, вдыхая, слушая каждый уголок этого дома, каждой комнаты. Я мог обо всем знать, даже не шевельнувшись, не открывая глаз, понимаешь, грингита? Я мог вдыхать тот дом и видеть, что́ каждый из них делает в своей комнате, в своей ванной, в столовой, и не было никаких секретов или тайн в этом доме для маленького свидетеля, для меня, Гарриет, я видел их всех, слышал всех, представлял себе всех и даже знал их запахи, потому что вбирал в себя все так глубоко, как они не могли, потому что им это не было нужно, они и так все имели, а я вдыхал в себя весь дом, самую незаметную подкраску стен, самую чуточную крошку хлеба, самые скрытые следы блевотины или дерьма, сухой пылью загнанные под ковры; я был невидимым свидетелем любой встречи, быстрой или долгой, унижающей или радостной, нежной или холодной; свидетелем чуть ли не каждого испражнения, черного или желтого, слышал каждый звук, каждый стон, каждый плеск; видел ощипанных индюков с перерезанной шеей, холощеных быков и выпотрошенных козлят над жаровней; видел горы закупоренных бутылок с шипучим вином из Коауилы в наших диких местах, где пьют только спирт из сока агавы; видел и горы раскупоренных пузырьков от касторки, видел и предсмертные судороги, и родовые схватки, и детские болезни; дотрагивался до красного бархата, до кремового муслина и зеленой парчи женских кринолинов и шляп, до длинных рубашек с кружевами и сердцем Иисуса, вышитым на животе. Дико было смотреть, как скромная и пугливая набожность свеч, тихо ливших, словно капли пота, свой оранжевый воск, уживается с роскошью канделябров над блестящим паркетом, с богатством тяжелых драпри, и золотых кистей, и больших стоячих часов, и мягких кресел на гнутых ножках в столовой, и хрупких стульев с позолотой. Я все это видел, но вот однажды мой старый друг, самый старый человек в усадьбе, наверное, такой же старый, думается мне, как сама усадьба,

никогда не носивший обуви и всегда ступавший бесшумно (Грасиано его звали, я вспомнил), одетый во что-то светлое, похожее на дряблую кожу самого старика, носивший латаную-перелатанную одежду, где швы уже не отличить от его собственных морщин, которые тоже были как швы на его тысячекратно залатанном теле, этот самый Грасиано со своими белыми, торчащими, как жнивье, волосами на голове и подбородке, человек, обязанный ежевечерне заводить все часы в этом доме, как-то взял меня туда с собой.

Я его не просил об этом. Он просто взял меня за руку, а когда мы подошли к часам в зале, где все собрались пить кофе и коньяк после ужина, Грасиано дал мне ключи от дома. Он был единственный слуга, имевший право их иметь. Он дал мне тем вечером подержать их, пока заводил большие часы у входа в залу.

Гринга, я только какой-то миг держал эти ключи в своей руке. Они были и горячие и холодные, как будто тоже говорили о жизни и смерти в тех комнатах, которые отпирали.

Я старался представить себе, какие комнаты открываются горячими ключами, а какие — холодными.

Это был один какой-то миг.

Я сжимал ключи в кулаке, будто и не ключи, а весь дом. В тот миг весь дом был в моей власти. Все они были в моей власти. Они это, видно, почувствовали, потому что (я уверен) впервые в жизни все вдруг прекратили болтать, курить, пить и стали глядеть на старика, заводившего часы, а одна очень красивая сеньора, одетая в черное, заметила меня, подошла, нагнулась ко мне и сказала: «Какой славный!»

Остальная компания не разделила восторга молодой сеньоры. Я видел, как они переглянулись, перекинулись едва слышными словами, а когда молодая сеньора обернулась к ним, воцарилось тягостное молчание. Встретив вместо одобрения своим словам одни только холодные взгляды, она робко спросила:

— Что я такое сделала?

Это была молодая жена старшего сына моего отца. Мать мальчишек, моих племянников, к которым ты приехала учить их английскому, гринга. Двадцать лет назад эта девушка еще не знала законов семьи Миранда. Я ошалело смотрел на них, сжимая в кулаке ключи от их дома. Тогда человек, который был моим отцом, рявкнул:

— Грасиано, возьми ключи у этого сопляка.

Старик усмехнулся и протянул ладонь за своим даром.

Я понимал дона Грасиано. Я отдал ему ключи, но он уже знал, что я подержал их в руках, что я догадался о его намерении почему-то сделать мне такой чудесный подарок. Когда я ему возвращал ключи, они были горячие, а моя рука была холодная.

Потом дон Грасиано взял меня с собой в свою комнатушку в той части дома, где спала прислуга, и сел на кровать, устремив куда-то далекий взгляд, который я со временем научился узнавать, гринга, в глазах тех, кто уже от нас уходит, но сам еще об этом не знает. Порой, глядя в глаза людей, мы раньше их самих знаем, кто уйдет и когда. Есть словно какая-то даль во взгляде, словно взгляд устремлен далеко-далеко в себя и говорит нам: смотри. Я уже ухожу. Я этого не знаю. Не знаю, потому что смотрю внутрь, а не наружу. Ты, глядящий на меня снаружи, скажи, если я не прав, но только, парень, не дай мне умереть в одиночестве.

Понятно, что старый Грасиано говорил в ту ночь другие слова. Он говорил, мне помнится (Арройо вспоминал), что господа часто давали ему старье, заношенную городскую одежду, чтобы выказать свое расположение и довольство. Он советовал мне никогда не брать обноски. Всегда ходи в своей одеже работника, сказал он мне той ночью.

Он говорил о сострадании и о том, как его ненавидит. Говорил о том, как надо говорить, говорить, как говорим мы, а не подражать языку господ. Говорил, что никогда не надо сетовать: лучше сносить побои, чем сетовать и жаловаться. Если надо выжить, лучше сделать это без таких жалких слов, как «Бедный я, бедный», или «Ох, до чего же мне худо».

Я влез к нему на колени, прижался к груди, а стук его сердца был чуть-чуть слышен, как у тех ящериц, которых я иногда ловил, притаившись где-нибудь в углу клетушки для прислуги.

Сострадание, говорил он, враг достоинства, а гордыня не грех, гордость — это настоящее человеческое достоинство. Гордость — это наша природа, говорил он, шаря рукой в скатке из плаща, заменявшей ему подушку, а наше достоинство — это наше право. Он вытащил из скатки красивую плоскую палисандровую шкатулку, гринга, глубоко запрятанную в скатанном плаще, и сказал: да, достоинство — это наше право, и находится оно в этой шкатулке; он давал мне ключи, но их надо было вернуть, иначе те люди заподозрили бы недоброе. Но то, что находится в деревянной коробке, он может мне отдать, отдать насовсем, потому как они ничего об этом не знают, а мне надо знать, потому что я — законный наследник усадьбы Миранда.

Я взял шкатулку, вытаращив на него глаза, ничего, по правде сказать, не поняв. Случилось это как раз в тот день, когда мне исполнилось девять лет. Но я пообещал дону Грасиано беречь его шкатулочку, как свою собственную жизнь.

Он улыбнулся, одобрительно кивнул головой.

Наши предки придут на мои похороны и возьмут меня к себе, потому что я сберег эти бумаги.

И старик больше ничего не добавил, не объяснил. Глубоко вздохнул, погладил меня по голове и сказал, чтобы я шел спать, а наутро вернулся к нему.

Клянусь тебе, Гарриет, старик не сказал мне: мол, завтра поговорим; не сказал мне: обязательно приходи завтра, поболтаем. И, понятно, он не сказал мне: слушай, Томасито, я скоро умру и хочу, чтобы ты завтра побыл со мной, не оставлял меня завтра одного; хочу, чтобы ты видел, как я умираю, потому что мне надо ввести тебя в дом, чтобы ты видел их, а они видели тебя, посмотрели бы на тебя не так, как они обычно смотрят на нас с тобой — как на людей из толпы их прислужников, поверх голов этой толпы, словно бы нас тут и нет, а я, наоборот, хочу сказать им:

— Поглядите на него. Вот он. Вы не можете не видеть Томаса Арройо. Он не воздух, а сама кровь. Он плоть, а не стекло. Он не прозрачный. Он — смутный, твари вы подлые, гады поганые, смутный и твердый, как самая крепкая тюремная стена, которую ни вы, ни я никогда бы не прошибли.

Таково было прощальное слово Грасиано, проведшего все свои долгие годы в усадьбе семьи Миранда.

Утром его нашли мертвым на койке. Я видел, как его выносили хоронить. Это Грасиано, сказали они, кто же теперь будет заводить наши часы?

Грасиано тоже был стар, как твой старый гринго. Мы похоронили его здесь, на этой дикой равнине, на которую ступил индейский генерал, когда шел сюда. Но когда мы хоронили Грасиано, здесь собрались все наши предки: и апачи, и тобосо, и бродячие лагунеро, которые охотились и убивали на этих землях, когда земли были ничьи; и испанцы, которые жаждали найти в этой пустыне города из золота; и все, кто шел за ними с крестом в руках, когда увидали, что здесь вместо золота одни колючие заросли; и, наконец, явились те, кто пришел засеять эти земли и заявлять на них свое право, звеня серебряными ножнами и железными шпорами, отбирая землю у индейцев, которые или возвращались, паля из ружей, насилуя жен-

щин, выбивая из каменной земли искры подковами своих недавно угнанных коней; или были убиты, или загнаны в тюрьмы в тропиках, где умирали от страшной лихорадки; или уходили в горы, все выше и дальше, чтобы рассеяться, как дымка, которая порой окутывает макушки самых высоких горных пиков, словно бы эта дымка — их ежедневное подношение смерти, ежедневно требуемое от всех нас,— серое облако нашего прощания с миром, говорящее, что мы спокойно уходим с ним каждый день, уходим с одним дуновением ветра в облачном небе, чтобы в день, когда мы насовсем уйдем, мы бы уже свыклись с этим, нашли бы свое место в той нашей смерти, которая нас берет. Грингита, ты согласна, что моя смерть — это часть моей жизни?

— Нет,— сказала она,— жизнь это одно, а смерть — другое. Они противоположны и враждебны, и мы не должны их смешивать. Иначе сами не заметим, как уйдем из жизни, перестанем ее защищать — ведь жизнь очень недолговечна и может оборваться в любой момент.

— Ага, значит, жизнь носит в себе свою собственную смерть,— заметил Арройо.

— Нет, нет,— Гарриет тряхнула разметавшимися косами,— жизнь окружена своим врагом, мы взяты в осаду тем, что нас губит: грех, смерть, дьявол...

Опустила голову и добавила:

— Но мы можем спастись добрыми делами, скромностью, воздержанием,— и, не удержавшись, покосилась на него, нагого и самоуверенного, хотя тут же упрекнула себя в отсутствии всякого сострадания,— и божьей милостью, ибо Он вездесущ и нам близок, ибо многолик, а потому Он и господь бог...

Арройо пристально смотрел на нее, потому что в глазах Гарриет, прежде чем она опустила голову, он не видел ничего, что обращало бы слова в истины: одни лишь убеждения, а это не одно и то же, но он спрашивал себя, следует ли уважать убеждения.

— А знаешь, грингита, ведь дон Грасиано жил очень долго.

— Надеюсь, что старый американец тоже проживет срок, отпущенный ему богом.

Арройо рассмеялся, положив голову ей на колени:

— Пусть живет столько, сколько проживет; пусть проживет вдвое больше того, чем прожил, грингита, и ты увидишь, как ему станет тошно. Он нас возненавидит, если мы дадим ему прожить вдвое больше. Нет, гринга, мы умираем потому, что пути наши пересекаются. Вот так. Пустыня наша велика. Грасиано, дон Грасиано, похоронен тут. Он всегда жил здесь. Его предки приходили к нему на похороны. Старый гринго пришел сюда неизвестно зачем. Никто его не звал. У него нет тут корней. Его смерть была бы тут невеселой. Никто не навестил бы его могилу. Место его смерти осталось бы безвестным. Скажи ему, чтобы он поскорее убрался, гринга. Он не наш. Он не верит в революцию. Верит в смерть. Он страшит меня, гринга. У него нет предков в этих местах.

— Расскажи мне о своих,— попросила Гарриет, чувствуя, что миг близости проходит, волей-неволей приближается отстраненность, а ей хотелось, чтобы близость длилась как можно дольше, ибо Гарриет была уверена если и не в родстве или противостоянии жизни и смерти, то, во всяком случае, в том, что жизнь диктует людям принимаемое ими условие: жить разобщенно, никогда не быть чем-то единым,— а жить разобщенно, мягко сказала она Арройо, это и есть смерть при жизни, может быть, так?

Он сказал, на свой лад развивая в ответе ее мысль, что сначала белые, а потом метисы, которые быстро заселили эти земли, страдали так же, как индейцы; они тоже отдали свои маленькие наделы на

потребу хищным поместьям, необъятным земельным владениям, заграбастанным иностранцами или богатеями из города Мехико; сразу стали богатейшими господами и те, кто имел деньги, чтобы купить с торгов земли, отобранные у церкви, а мелкие собственники, как и в целом народ, опять остались ни с чем. Ну и — шагай в горы, Арройо, живи с индейцами и превращайся в дым от костра, или шныряй днем по каменной равнине, как ящерица, переводя дух в тени агавы, или нападай по ночам, как волк, рыская по сухой пустынной земле: или стань работником здесь, в усадьбе: если будешь вести себя хорошо, может, получишь ключи, станешь заводить часы, когда будешь старым, помни, Томас, ты должен хранить свое достоинство, не брать обноски господ.

— Ты не подашь мне фасоль?

Арройо проглотил фасоль, приподнялся, чтобы взглянуть на Гарриет, и снова опустил голову на колени женщины. Их глаза встречались в необычном ракурсе, странные глаза из подводного мира, резко очерченные бровями, проглядывавшие словно из-под каких-то складок, усов, жабр, но тон Арройо стал так резок, так беспощаден, что сначала это ее обескуражило:

— Я вернулся, чтобы никто в Мексике больше не повторял моей жизни и не стоял перед таким выбором, перед каким стоял я.

Она представила себе, как посмеялся бы старый гринго, услышав подобное утверждение, но почему ей самой не хотелось смеяться? Почему она уже не раздражалась, как вначале, когда при первой встрече не хотела называть его «генералом»? Почему же, почему? Она заглянула в свое сердце и обнаружила там страшный жар, но жар углей, горящих без пламени, тихий огонь, огонь самый жгучий и стойкий, таков ли тоже огонь Арройо или это всего лишь — она быстро закрыла глаза, чтобы больше не видеть этих двух скользящих под водой касаток, которыми были глаза Арройо,— всего лишь ее собственный огонь, огонь Гарриет Уинслоу, горящий во спасение ее самой после того, как Арройо его зажег, а не его огонь, нет, у него был только всполох, сам он только высек огонь, который всегда был заточен в ней, в погибшем доме Хелстона, в затаенном лете Лонг-Айленда, а также в ее матери и в ее отце, и в любовнице-негритянке ее отца, огонь, принадлежавший ей и всему, что ей принадлежало, который он хотел считать своим, зажженным его мужской неотразимостью и его яркой театральностью: он вдруг снова представился ей в одной из своих неожиданных поз, нет, совсем не нарочитых: вот — тореро, красующийся на пустой полуночной арене в затхлом запахе убитых животных, а вот — знаменитый тенор в одной из итальянских опер, которые она слушала с матерью в «Национальном театре», но здесь — с другой декорацией, с другими костюмами и с парчовыми занавесями,— нагой певец, да, почти ребенок, принявший образ самца-мужчины. И Гарриет сделала то, чего никогда не делала в своей жизни, она, как хрупкая, но хищная птица, бросилась на Арройо — если раньше он овладевал ею, теперь она овладеет им; меч, пронзавший ее, был теперь в ее власти; ранее она могла стать жертвой, теперь мог стать он, и Арройо поддавался, но сдаться не захотел, будь ты проклят, жалкий кобель, не желающий взвыть так, как выл с луноликой женщиной, не желающий подчиняться и готовый задушить ее, прежде чем она станет торжествовать победу.

Она отшатнулась с хриплым диким воплем — самым неблагозвучным возгласом в ее жизни (сказала она себе, вспоминая) — и стенала: почему? почему ты такой? почему ты отнимаешь у женщины этот страшный всесильный миг, который всегда оставляешь для себя?

И это Гарриет Уинслоу тоже никогда не могла простить Томасу Арройо.

XVII

Старик шел, глядя прямо перед собой и бормоча что-то из старых рассказов, которые он когда-то написал, жестоких историй времен Гражданской войны в Северной Америке, историй, в которых люди гибнут и выживают, потому что им дано раздробленное сознание, потому что человек с петлей на шее, повешенный под мостом, может умирать и в эти же мгновения видеть свою смерть с другого берега реки; потому что человек может в одно и то же время мечтать о летучем всаднике и убивать собственного отца.

Блуждающее, неугомонное сознание рассеивается, как пыльца в весенний день; оно творяще потому, что оно фрагментарно. Но наряду с этим раздробленным осознанием мира, один вопрос всегда сопровождает нас в путешествии по жизни: что служит глубинным поводом для любви?

Гарриет шла теперь рядом со старым гринго, но он продолжал бормотать о своем, не заботясь о том — слышит ли, понимает ли она его. Если это необходимо, наше мозаичное сознание изобретает любовь, порождает ее воображением, побуждает нас верить в нее, но не может без нее жить, потому что в сфере беспредельной разобщенности любовь, даже выдуманная, служит нам мерой наших утрат.

Однако приходит время, когда отказываешься от всякого предлога, и об этом он написал так: «Пора уходить, когда теряешь самую большую ставку, всякую надежду на возможный успех, твердость духа и любовь к игре».

Он видел, как она теперь идет рядом, в ногу с ним, размеренно и нешумно, как ходят гринго вроде него, а не семенит, часто стуча каблуками, как ходят женщины в мире испанских потомков. Он смотрел на эту деятельную и уверенную в себе женщину, элегантную, тридцатилетнюю, и она напоминала ему одновременно и дочь и жену, когда та была молодой. Она шла совсем рядом, чтобы вместе с ним издали смотреть, как Арройо командовал, метался в тучах пыли, возможно разрушая вчерашние хрупкие построения Гарриет Уинслоу; она шла с ним бок о бок, стараясь, наконец, понять слова старика.

— Он взял вас как вещь, он хотел утолить свой зверский голод, он взял вас, чтобы погарцевать, потешить свое самолюбие.

— Нет. Не он взял меня. Я взяла его.

Старый гринго остановился и впервые посмотрел на нее в упор, пронизывая взглядом. Его безрадостные глаза, казалось, были под стать его грустным словам. Но глаза не верили словам, глаза действительно пронизывали насквозь.

— Значит, это вы были голодны и одиноки, Гарриет.

Он хотел сказать: тебе незачем было страшиться одиночества; с тех пор как я тебя увидел, ты стала жить другой жизнью, любить, сама того не зная, в каких-то фрагментах моих собственных чувств и моих собственных мечтаний. Ты даже не посмотрела на себя в зеркальном зале, словно бы вступала в какое-то забытое сновидение, где уже жила и была любима.

— Нет,— ответила Гарриет,— я взяла его не потому, я знаю, что могла найти другие утешения.

Он пристально смотрел на нее. Она не услышала его мыслей. Он стоял, вперив в нее тоскливые голубые глаза.

— Тогда зачем же, мой бог, почему?

— Он сказал, что убьет вас. Я сказала ему, что может взять меня, если это спасет вам жизнь.

Старик не сразу отозвался на ее слова, секунды три он вникал в смысл услышанного, а потом взорвался смехом, хохотал до слез, согнувшись, словно от порыва ветра-суховея, пока у него не пере-

хватило дыхание, а она смотрела, ничего не понимая, стараясь заполнить лакуну смеха быстрыми подробными объяснениями:

— Арройо сказал, что мог убить вас вчера вечером, когда вы его ослушались и не убили полковника; сказал, что этого достаточно: вы осмелились перечить ему, своему начальнику; вы сами попросились в отряд Арройо, он вас не звал; он думал, вы захотите завоевать его доверие, и не мог понять, почему вы предпочли продырявить серебряное песо, а не полковника-федерала. Я ему говорю:

«— Ты сказал, что полковник все равно умер, да еще как храбрец. Тебе мало?

— Да,— ответил он.— Я мог сказать тебе также, что старик умер, да еще как трус.

— Почему, почему ты хотел мне так сказать?

— Потому что я видел, как он тебя целовал тогда, вечером. Я видел. Я видел его в твоем купе, не раз и не два, мол, извини, я с детства научился шпионить. Мой отец был богатым помещиком. Я подглядывал, как он пьет, спит с женой, не зная, что его сын следит за ним и ожидает только момента, чтобы прикончить. Но я его не убил. Отец ускользнул от меня. А теперь от меня ускользнет этот мятежный гринго, потому что мы оба знаем, что ты никогда не полюбишь убийцу».

— Клянусь, я решила уехать в Мексику еще до того, как обвинили мистера Дилейни в мошеннич...

— Чек в семьдесят пять миллионов долларов на счет государственного казначейства США, мистер Стэф...

— Ни единым словом не задевать президента Диаса: сами знаете, каковы в Мексике капиталовложения нашего хозяина, мистера Херс...

— Там кто-то скачет верхом? Да, мой отец. Ох ты, господи.

— Так никогда он и не вернулся с Кубы. Погиб в бою. Ох ты, господи.

— Я подглядывал, как он пьет, спит с женой. Он от меня ускользнул. Ох ты, господи.

Старый гринго перестал смеяться и зашелся кашлем, глубоким и надрывным.

— Вас все время обманывали,— с трудом проговорил он, думая, можно ли ей и ему, обоим гринго, вытащить на свет божий всю свою правду и не убить ее, как это случается с некоторыми цветами, которые прячутся в тенистых углах и вянут, едва их тронут солнце и воздух.— Сначала семейство Миранда заставило вас приехать сюда, чтобы отвести от себя подозрения и незаметнее сбежать. Семья Капета[1], наверное, спасла бы во Франции свои головы, если бы сообразила перед своим намеченным бегством нанять учительницу. Но здесь не Варенн[2], Гарриет. А дальше вас заставили поверить, будто, отдавшись генералу, вы спасете мою жизнь.

И снова разразился хриплым смехом мрачный старик.

— Бедные ли, богатые ли — все мексиканцы нам мстят. Ненавидят нас. Мы — гринго. Их вечные враги.

— Вы не поняли,— сказала Гарриет растерянно и недоверчиво.— Он хотел убить именно вас, я не шучу.

— А сказал — за что?

— За то, что человек без страха опасен не только для своих врагов, но и для своих соратников, так, кажется, он сказал. Храбрость иногда опаснее страха, сказал он.

— Нет. Есть истинная причина.

Он хотел сказать — есть ее причина, ею видимая причина, если представить себе, как ее держало в плену и потом освободило ее

---

[1] Имеется в виду французский король Людовик XVI и его семья.

[2] Селение, в котором 21 июня 1791 г. был арестован Людовик XVI с семьей, пытавшийся бежать от Французской революции за границу.

собственное прошлое, прошедшее в мечтах, там, где такие влажные лета на побережье Атлантики, где свет в старом доме, ее отец, женщина-негритянка, лампа на столике матери, одиночество и радость, когда отец ушел и не вернулся; сорокадвухлетний жених, говоривший: «Ты недовольна? Ведь ты — мой идеал».

— Да. Он сказал еще, что ревнует.

Старик собрался было зашагать дальше, обдумать насущные проблемы, но, услышав Гарриет, замер на месте, притянул ее к себе, обнял, прижал ее голову к своей груди.

— Девочка, славная девочка, моя бедная девочка,— говорил старый гринго, стараясь побороть волнение, которое невольно охватило его, когда он услышал, что Арройо хотел убить его, а она отдалась, чтобы его спасти.— Ох, милая детка, ты ни от чего меня не спасла.

И тут мятущееся сознание, которое было и свойством, и стимулом его воображения, если не его духа вопросило старого гринго: ты разве не знал, что она тебя создает так же, как создаешь ее ты, разве не знал, старый, что она даже строила планы, как тебе жить? Разве не знал, что все мы — объект чужого воображения?

— Или ты не понимаешь? Я хочу умереть. Для этого и пришел сюда. Чтобы меня убили.

Уткнувшись в грудь старика, Гарриет уловила свежий запах лаванды, подняла руку и ласково погладила чистые, впалые, только что выбритые щеки старика, на которых не было привычной белой щетины. Хорошо выглядящий старик. И ей стало страшно видеть его таким чистым, выбритым, благоухающим, словно собравшимся на какой-то большой раут. Тут внимание обоих было отвлечено суматохой в деревне: Арройо вдали что-то говорил людям, властно распоряжался, стремительно сновал туда-сюда среди своих. Гринго и гринга видели его издалека, но они видели его и вблизи — жестокого и мягкого, справедливого и несправедливого, настороженного и расслабленного, подавленного и самоуверенного, энергичного и ленивого, скромного и заносчивого: подлинного сына индейской и латинской рас. Они смотрели на него, обнявшись, вдыхая запах друг друга, лицемеря друг перед другом на фоне заходящего солнца, далеко от городов и рек, им принадлежавших; стояли, все более поддаваясь желанию раскрыть душу, этому желанию, которое порой вдруг является, «как божий лик в пустыне», дважды или трижды в жизни.

Старик быстро прошептал ей на ухо:

— Я никогда не убью сам себя; так умер мой сын, и я не хочу повторять его страдания.

Он сказал ей, что не имеет права жаловаться, а тем более требовать сочувствия теперь, когда на него обрушились беды. Не имеет права потому, что сам всегда смеялся над несчастьями других,— всю жизнь обвинял людей в том, что они несчастливы. Он окружил свою семью стеной чужой ненависти.

— Разве только дети мои служили доказательством того, что я не ненавидел всю вселенную. Тем не менее сами они меня ненавидели.

Она выслушала его и коротко ответила, что жить все же стоит и она приведет ему такой пример: тут, в деревне, есть девочка, двухлетняя девочка... Но старый гринго мягко отстранил ее от себя, сказав, что все знает, что сам, едва въехав в Мексику, почувствовал, как проснулось былое мироощущение, и что он уже не помнит, когда мог так видеть, и слышать, и испытывать такое удовольствие, и вдыхать такие запахи, как в этих горах и долинах, словно снова стал юнцом, нет, даже не юнцом, усмехнулся он, почти младенцем, когда отсутствие всякого жизненного опыта лишает возможности делать сравнения, и вот теперь он чувствует себя свободным от грязных редакционных кабинетов и от салунов с желтыми лампочками, и от смрадных вертепов, где умер его сын и в чем заключалась его жизнь, где калифорнийские мумии поднимали стаканчики виски за скорей-

шее землетрясение и за скорейшую погибель главного, из «Золотистых» в пучине моря, навеки и на благо человечества; теперь же он свободен от Херста, свободен от молодых отцеубийц, которые вольно или невольно терзали одного известного писателя, как стервятники — падаль на мексиканской равнине, и останется в памяти своих почитателей не дряхлым стариком, а как бы растаявшим в воздухе всадником.

«Я хочу быть хорошо выглядящим трупом».

Его голубые глаза сверкали.

— Быть гринго в Мексике... значит — легко умереть.

И вот теперь здесь, среди медно-желтых гор, прозрачных и трепетных сумерек, и запаха печеных тортилий с зеленым перцем, и далеких переборов гитары — тогда как Арройо был в плену зеркальной клетки своего зала, убереженного от пожара,— он мог слушать и блаженствовать, и вдыхать аромат, словно это был не он, а кто-то вне его — как тот повешенный на Совином мосту, который в миг своей смерти смог наконец увидеть прожилки на каждом листке, более того — крохотных тлей на каждом листке, и более того — переливчатый блеск граней каждой капли росы на миллионах травинок.

Его стремительное дробящееся сознание, уже близкое к своей конечной целостности, сказало ему, что он получил от Гарриет великую компенсацию за всю потерянную любовь, которую ему было суждено потерять. Мексика же, кроме того, стала для него компенсацией самой жизни, жизни чувств, пробудившихся от летаргии перед смертью; показала ему все величие природы, эту последнюю радость жизни. Могла ли женщина разрушить это, даже пожертвовав телом, которое вчера вечером принадлежало Арройо?

— У меня есть последнее нелепое желание,— улыбнулся старый гринго.— Я хотел бы умереть от руки самого Панчо Вильи.

Это он и хотел сказать, когда писал прощальное письмо одной своей приятельнице-поэтессе, говоря: «Ты меня больше не увидишь; наверное, кончу тем, что мне размозжат череп у мексиканской стенки. Это лучше, чем сломать шею, свалившись с лестницы. Пожелай мне успеха, мой друг».

Он смотрел в серые глаза Гарриет. Позволял минуте тихо и тяжело проходить, чтобы обоим глубже почувствовать друг друга.

— Я боюсь в вас влюбиться,— сказал он ей, как сказал бы самые обыденные слова своей жизни. Она была последним отзвуком несбыточных мечтаний художника с разобщенным сознанием. Она видела книги в раскрытом саквояже. Она знала, что он собирается прочитать «Дон Кихота», но не знала, что он хочет прочитать эту вещь перед смертью. Она видела черновые заметки и затупленные карандаши. Она, наверное, знала, что все незримо, пока писатель это не назовет. Язык позволяет видеть. Без слов мы все слепы. Он поцеловал женщину, поцеловал ее как возлюбленный, как мужчина, не с той страстностью, что Арройо, но с нежностью, не оставленной без ответа.

— А знаете, я хотела спасти вас, чтобы спасти своего собственного отца от второй смерти,— заговорила она торопливо, прерывисто, волнуясь от собственного признания,— знаете, что с Арройо я могла быть такой, каким был мой отец,— раскованной и чувственной, зато с вами я как с отцом, понимаете?

Да, сказал он, да, как ответила она Арройо, когда Арройо заставил ее почувствовать себя шлюхой, а ей пришлось по вкусу ощущать себя одной из тех, кого она презирала. Старик отстранил ее от себя лишь затем, чтобы посмотреть, увлажнились ли эти красивые серые глаза, и снова обнял, ослепляя объятием, чтобы сказать ей то, что должен был сказать сейчас, когда казалось, что он знает все, а знать все означало, что он не знает ничего. Она изменилась безвозвратно, об этом ему говорили ее объятия, пылкость, сама близость этой очаровательной женщины, которая могла быть его женой или дочерью,

но не была и осталась в конечном счете самой собой. Ему лишь выпала редчайшая роль свидетеля той минуты, когда человек, мужчина или женщина, меняется навсегда, переживает тот фатальный миг, ради которого родился, а потом прощается с ним спокойно, хотя и с грустью. Она изменилась навсегда, его дочь изменилась, познав его сына, и ничто измышленное им, никакое глумление, никакое издевательство, никакие дьявольские словеса не смогут этому помешать. Оставалось лишь смириться с новой Гарриет, испытавшей бурную любовь Арройо, и кое-что потребовать от нее именем любви, которая не могла состояться, любви старика, готового к смерти, и молодой женщины, терявшей юность.

— А теперь ты скажи мне всю правду, если, конечно, хочешь; не дай мне уйти, не поделившись своей тайной.

(Она сидит в одиночестве и вспоминает. Моя возлюбленная. Моя дочь.)

— Да. Мой отец не умер и не погиб в сражении. Мы ему надоели, и он остался жить с какой-то негритянкой на Кубе. Но мы объявили его умершим и получаем пенсию, чтобы жить. Мне он написал втайне от матери — просил его понять. Что я могла понять, если я еще не умела чувствовать? Он ничего не сказал, но мы, моя мать и я, практически его похоронили, чтобы выжить. К моему большому сожалению, я так и не узнала, известно ли ей о нем то, что было известно мне, или она ежемесячно получала за него деньги с чистой совестью. Уверяю вас, мне не хотелось понимать, хотелось чувствовать...

Дать волю душевным побуждениям, волнениям, порывам, слить их воедино. Никто ее никогда не понимал. А он понимал? Старик кивнул. Она поклялась ему, что, хотя и знает, кто он, никогда и никому об этом не скажет. Таковым будет выражение ее любви к нему, отныне и впредь.

— Я забуду ваше настоящее имя.

— Благодарю,— просто сказал старый гринго и добавил, что сожалеет, что она собиралась подарить ему жизнь, а придется засвидетельствовать смерть.

— Вы хотите сказать, я собралась давать уроки, а приходится их получать,— сказала она, промокнув глаза и нос своим широким рукавом, и последовала за пошедшим вперед старым гринго: отныне верная ему, отныне навсегда его весталка, освятившая эти минуты, когда они оба смогли соединить обрывки своего сознания в сознании другого — до конечного разъединения, которое они предвидели. Та эпоха, Мексика, война, воспоминания, тесное общение предоставили им для этого бóльшую возможность, чем очень многим другим мужчинам и женщинам.

— Наверное,— сказал старик,— все мы стараемся слыть добропорядочными. Это наше национальное развлечение.

— Вы хотите, чтобы я вам сказала, что была у Арройо не для того, чтобы спасти вам жизнь и чувствовать себя добропорядочной, а потому, что сначала мне понравилась его фигура, а потом я вкусила и страсть.

— Да, желал бы. Хотя наше второе национальное развлечение — это резать всяческую правду в глаза, разбалтывать секреты, чтобы опять же чувствовать себя добропорядочными. Мальчик по фамилии Вашингтон не смог утаить, что срубил топором вишневое деревце. Думаю, что мальчик по фамилии Хуарес [1] мог скрыть свое вожделение к прекрасной дочери хозяина.

— Это хорошо,— сказала Гарриет, не вслушиваясь в рассуждения старого гринго.

Она сказала, что хорошо желать так, как он (его первые слова —

[1] Бенито Хуарес (1806—1872) — мексиканский государственный и политический деятель, в 1861—1872 гг.— президент республики, национальный герой Мексики.

«да, желал бы» — она отнесла к себе самой, к желанию его увядшего тела), ей хотелось, чтобы он это знал.

— Я также хочу, чтобы вы знали, что Томас Арройо не имел никаких прав на меня и что я заставлю его дорого заплатить за это.

Гарриет посмотрела на старого гринго так, как он мечтал, чтобы на него посмотрели перед смертью. Гринго почувствовал, что этот взгляд дополнил серию фрагментов его представления о Гарриет Уинслоу, начиная с ее отражений в зеркалах танцевального зала, отражений, ставших лишь ступенькой в сновидение, распавшееся на тысячу коротких снов и теперь снова собранное воедино словами, которые сказали старому гринго, что Гарриет не потерпит живых свидетелей своего сладострастия и что право мечтать о ней она дала ему, старику, а не Арройо.

XVIII

И здесь Гарриет Уинслоу увидела генерала Томаса Арройо, который шел к своему вагону, опустив голову, будто смотрел на запыленные носки своих сапог, не замечая старика. Старик же круто обернулся к Гарриет и сказал:

— Недавно я записал забавную мысль. Все события с самого начала складывались таким образом, чтобы я умер именно здесь.

Он говорил, и взгляд его сверкавших глаз был тверд. Говорил тихо, вполголоса, что пришел сюда, чтобы его убили, потому что он не в силах покончить с собой. Он почувствовал себя свободным, когда пересек границу в Сьюдад-Хуаресе, словно действительно вступил в иной мир. И теперь он твердо знает, что в каждом человеке есть своя сокрытая граница и что эту границу труднее всего перешагнуть, ибо каждый думает, что отгорожен от других, внутренне обособлен, заключен в самом себе, и вдруг оказывается, что он теснейшим образом связан с другими.

Секунду поколебавшись, добавил:

— Это поражает. Это пугает. Это больно. Но это хорошо.

Он решительно и отрешенно потер свою свежевыбритую щеку и спросил у Гарриет, прощаясь с ней:

— Как я выгляжу сегодня вечером?

Она ничего не сказала, только кивнула в знак того, что выглядит он хорошо.

Арройо еще раньше приказал своим людям:

— Гринго пальцем не трогать. У нас свои счеты.

Да, она вспоминала о старом гринго только до того момента, как он вошел в личный вагон генерала Арройо, помнила только его рассуждения о фрагментарности сознания и что старалась это понять по мере того, как Арройо — и не ведавший об этом общем секрете двух гринго — становился ей ближе, этот человек, с фрагментом сознания Гарриет в своей голове, этот генерал, мудрый и хитрый, потому что ничего не смыслил в том мире, который находился за пределами его земли; хвастливый и высокомерный, использовавший верования своего народа и взявший на себя роль великого распределителя благ жизни. Она видела его фигуру в отблеске сумерек на равнине, когда умирали и сумерки и равнина, но только не генерал, этот мавританский, испанский и мексиканский каудильо со своей семейственной свитой слуг, торгашей и сотоварищей, льстецов и наемников, человек, овладевший ею и ставший свидетелем ее сластолюбия, видевший, как сокровенные желания ее души воплощаются в движениях ее тела; узревший тот миг, когда Гарриет Уинслоу, которой следовало быть богатой невестой в Нью-Йорке, но которая стала бедной девицей в Вашингтоне, жившей на пенсию отца и случайные заработки, преобразилась навеки. А там, в вагоне, находился другой свидетель ее перерождения, человек, пришедший за своей смертью, ста-

рый офицер-картограф полка Индианских волонтеров, знавший цену бумагам, тем бумагам, которые узаконивали притязания бедного генерала Арройо на богатство и месть, на свободу любви и чувство гордости, и просто на почитание со стороны себе подобных. Один осколок сознания Гарриет Уинслоу вырвался наружу, чтобы засесть в голове генерала Томаса Арройо: ни у него, ни у нее нет отца, отцы умерли или пропали без вести, что то же самое, словно бы они действительно умерли, потому что знать ничего не желают о своих детях — Гарриет и Томасе: смерть и неведение всегда идут рядом, всегда в конце жизни — безмолвный и бесчувственный покой небытия и непознанности.

Арройо уже поднялся по ступенькам в железнодорожный вагон, когда она бросилась вслед за ним, крича: постой, остановись,— а луноликая женщина выбежала из другой двери вагона и силой удержала ее в тот самый момент, когда послышались выстрелы и яростный хрип Арройо, но ни единого звука не издал старик, который еще сумел сделать шаг на платформу, держа в горстях пепел сожженных бумаг, а за ним стоял, покачиваясь, Арройо, в таком неистовом гневе, какого Гарриет Уинслоу никогда не видела раньше и не увидит потом: свидетель смерти страшнее свидетеля ее плотского желания обуздать его. В одной руке у Арройо дымился пистолет, в другой была зажата пустая длинная и плоская шкатулка из старого палисандрового дерева.

Она кричала Арройо, чтобы остановить его, чтобы напомнить: оба узнали друг о друге в любви, оба презрели своих ушедших отцов, но и юность тоже — она сознательно, он инстинктивно; во имя своей потерянной юности она просила не убивать единственного отца, который у них оставался, хотя она впервые познала любовь с ним, с Арройо, а он впервые познал любовь с луноликой женщиной, прожив столько времени в тишине, в которую погрузила усадьба своих рабов. Умер старый гринго, и Гарриет Уинслоу подумала, что он умер, спрашивая себя так же, как она спрашивала себя теперь,— не с этой ли ночи солнце будет восходить потому, что отныне надо разгонять страх, а не только темень (сейчас она сидит в одиночестве и вспоминает); умер старый гринго, и суша все равно одинока среди морей, и эта пустыня все равно одинока на суше, и умер он на одинокой громаде земли; умер старый гринго, и древние слова обратились в пепел; умер старый гринго, и здешние люди заговорили, ибо теперь бумаги с записанной в них историей уже не будут говорить за них; люди скажут, что мы тысячу лет обрабатывали эту землю, раньше чем пришли землемеры, и крючкотворы, и солдаты, чтобы сказать нам: эта земля уже не ваша, земля уже пошла с торгов, но вы оставайтесь здесь, и живите, и работайте на новых хозяев, а если не хотите — подыхайте с голоду; умер старый гринго, и слова из бумаг разлетелись по равнине, говоря: мы хотим сражаться, мы почувствуем себя мертвецами, если не будем сражаться, даже если эта революция никогда не кончится, а если кончится, мы опять пойдем воевать, пойдем в новую революцию, пока не свалимся в свои могилы только от смертельной усталости; умер старый гринго, и сожженные слова улетели далеко от усадьбы, от деревушки и от часовни, говоря: мы никого не знали за пределами нашей округи, не знали, что существует другой мир за нашими маисовыми полями, а теперь мы узнали людей, пришедших отовсюду, мы вместе поем наши песни, вместе мечтаем и спорим; когда мы были более счастливы — в наших деревнях или теперь, лавиной катясь вперед, взбудораженные своими большими мечтами и своими разными песнями; умер старый гринго, и зазвучала песнь подожженных слов, летя над равниной, заполненной видениями рек, озер, океанов: теперь все это наше, все наше — деревушки, войско, деньги, лошади, и мы хотим, чтобы так было до нашего конца; умер сутулый гринго, и слова из бумаг проглотил ветер-

суховей, которого он никогда не встретит кашлем, не услышит слов, которые говорят: нас били, если мы не вставали в четыре утра, чтобы работать до захода солнца; били, если кто обмолвился словом во время работы; били, если они слышали, как мы зачинаем детей; нас не били только тогда, когда мы были младенцами и плакали или делались стариками и умирали; умерев, гринго упал ничком в пыль, горы сдвинулись на шаг, а ближайшие тучи стали искать свое зеркало на земле, глядясь в пылающие слова; самый плохой хозяин был тот, который говорил, что любит нас как отец, оскорбляя нас своей жалостью, обходясь с нами как с детьми, как с идиотами, как с дикарями; мы — совсем другое; у нас есть головы, и мы знаем, что мы — другое; когда старый гринго уткнулся лицом в пыль Мексики, на пустынной равнине разразился ливень, словно бы для того, чтобы унять и кровь и пыль, а гигантские водяные простыни покрыли саваном земли, чтобы сожженные слова обернулись водой, говоря: все было так далеко, а теперь — так близко, и мы даже не знаем — хорошо это или нет; теперь все так близко от нас, что нам даже страшно, теперь до всего рукой подать — это и есть революция? Когда старый гринго ушел навсегда, горы казались окаменевшим песком, а небо умирало над нами, изливаясь в потоках слов, которые говорили, что до всего еще далеко, но зато Панчо Вилья близко, и он такой же, как мы, мы все — Панчо Вилья!

Когда умер старый гринго, жизнь не посмела остановиться.

Гарриет Уинслоу и старый гринго нередко видели, как Арройо обращался к людям в тишине, убеждал, хлопал по плечу того, трепал по щеке эту, говоря, что не нужны ни уроки, ни комитеты, а нужна храбрость для войны и любовь для мира, пули днем и поцелуи ночью, где еще мужчина может показать себя? в бою или в постели, а не на уроке, кричал он, заглушая рев ослов с мордами в белой пене. Революция — это одна большая семья, мы все идем вместе, самое главное — идти вперед, я слушаюсь Вилью как родного отца, и я слушаю вас как братьев единой семьи; все может быть, даже победа в этой войне. Он поднял вверх грудного ребенка и пошлепал его тихонько по голой попке, а гринго смотрели на него издалека и полагали, что он старается блеснуть своей лихостью: да, я взял грингу, и мне по нраву брать не только одни земли, остальное тоже надо брать, не годится жить, думая только о том, что имеешь, и бояться это потерять, вместо того чтобы вести себя как положено мужчине и умереть с достоинством и честью.

Теперь старый гринго уже умер, дождь кончился, пустыня пахла влажным креозотом, а генерал Томас Арройо разговаривал со своей большой, молчаливой и босоногой семьей: смотрите, смотрите, что я для вас сохранил в целости,— зеркальный зал, хорошее местечко, которое раньше принадлежало только им, его я не тронул, а остальное сжег: хозяйскую лавку, где дети наших детей не могли расплатиться за рубаху; я сжег конюшни, где лошади получали корм лучший, чем мы; сжег казарменные бараки, где солдаты-федералы изо дня в день поглядывали на нас, ковыряя во рту стебельками и начищая свои штыки, вы помните? Я сжег грязные столовые, зараженные водоемы, зловонные отхожие места; конуры, где бесились и рычали псы, которых я хорошо знаю и боюсь даже во сне, мама родная, все это я разнес вдребезги во имя вас, кроме того, что останется вам, если мы выживем. Зеркальный зал.

— В детстве я все видел. Только меня никто не знал. А я знал всех, таясь по углам. И однажды нашел зеркальный зал, и нашел свое лицо свое тело. Я смог себя увидеть. Томас Арройо. Это и для тебя, Росарио, и для Ремедиос, для Хесуса, Бенхамина, Хосе, моего полковника Фрутоса Гарсиа, Ченчо Мансальво и для тебя, Куница, во имя всех хижин, и тюрем, и жалких мастерских, во имя вшей и циновок, во имя...

Все смотрели на него теперь с какой-то долей боязни, страшась за себя и за него. Смотрели на предводителя, смотрели на защитника, смотрели с тревожной грустью. Таким его видел Педрито в 1913 году, когда был одиннадцатилетним мальчишкой с монетой, пробитой пулей, с песо, спасенным в церкви из-под ног верующих. Поглядитесь в это зеркало, и я увижу всех вас.

— Я больше вас, дети мои. Я тот, кто хранит бумаги. Кому-то положено это делать. У нас нет других доказательств, что эти земли — наши. Это завещание наших предков. Без него мы словно сироты. Я сражаюсь, ты сражаешься, мы все сражаемся, чтобы в конце концов эти бумаги показали свою силу. Наши жизни, наши души...

— Я никогда тебя не пойму,— говорила Гарриет.

И вот теперь старый гринго, которого он просил пальцем не трогать, лежал мертвым под радугой, полыхавшей в вечернем небе после грозы. Пустыня стала зеркалом самой себя, она вгрызалась в дно древнего моря, в гравий обширного побережья, покинутого водой, и генерал Томас Арройо, который никогда много не говорил, потому что у него были бумаги, теперь должен был говорить от имени сожженных бумаг. Теперь память принадлежала только предводителю и только им. А луноликая женщина знала, что ее мужчина, Томас Арройо, не бросает слов на ветер, он хранит слова.

Поэтому она тихо сказала дрожавшей гринге:

— Если он так много говорит, значит, с ним что-нибудь случится. Молчание было его лучшим другом.

В это время повстанцы сами стали сбивать своего предводителя, подаваясь вперед, накатывая волнами голосов и призывов, которые показывали ему, что он прав, что они будут жить с ним и без него.

— Пора идти вперед. Хватит возиться тут с зеркалами, мой генерал. Нам будет конец, если мы не соединимся с Вильей. Так и останемся летучей бригадой, а нам одним не добраться до Мехико.

— Моя судьба — это моя судьба,— сказал Арройо, оставшись один.

— А что будет с грингой? — сказала луноликая женщина Кунице в час, когда голоса звучат тихо, чтобы не разбудить землю.— Что будет с моим мужчиной?

Но Куница лишь громко расхохоталась, не заботясь о вселенском покое, и гаркнула, что ей до всех этих бумаг и зеркал, как до Вильсона — по тогдашней расхожей поговорке вильистских партизан.

— А что же для тебя самое важное? — спросила ее луноликая женщина.

И Куница опять рассказала ей, что была одинокой и непорочной девушкой в деревне близ Дуранго под надзором своей благочестивой тетушки Хосефы Арреола, когда пришел туда первый революционный отряд, и она с интересом взглянула на одного молодого и красивого, но с застывшей смертью в глазах парня, а он посмотрел на нее, подбежал и позвал с собой, чтобы не быть одному. Она ощутила в сердце тепло, очень грустное, но очень приятное, вроде как сострадание, и больше не вернулась домой, уйдя с парнем, который стал отцом ее дочки, а потом его сразила пуля в стычке возле Асенсьона. И вот говорят, теперь она шлюха.

— Нет, моя судьба — это моя судьба,— часто повторял в своих беспокойных снах генерал Томас Арройо той ночью, когда убил старого гринго, и когда ливень обрушился на пустыню, и сожженные слова криками разнеслись в воздухе.

XIX

Луноликая женщина завела граммофон и молча опустила иглу на крутящуюся пластинку. Из бежевого ребристого рупора в форме рога изобилия, украшенного фирменной черно-белой собачкой, которая

слушает «Голос своего Хозяина», вырвался приглушенный, но отчетливый голос Норы Бэйз, певшей «В свете луны серебристой»:

By the light, light, light of the...

Гарриет снова подумала об Уобаше[1] и других нескончаемых реках Северной Америки и даже не взглянула на мексиканскую равнину в окошко стоявшего поезда.

Женщина не сказала, но дала понять, что незаигранная музыкальная вещица должна заглушить ее и без того приглушенный голос. Женщина, которая вечно боится, как бы ее не услышали мужчины, подумала Гарриет с некоторым презрением.

Зазвонил колокол приусадебной часовни.

Женщина, которую Арройо называл Луной, сказала, что странно слышать колокол и не знать, почему он звонит. Именно такой звон известил, что пришла революция в ее деревушку в Дуранго; колокола зазвонили тогда в час, когда не надо было звать ни к заутрене, ни к вечерне, ни по какому другому поводу. Как будто пришло новое время, сказала она, время, какого мы и представить себе не могли, и тогда она оглянулась на размеренный ход своего времени, когда одно поколение сменяет другое, подчиняясь традиционным временам года, назначенным часам, даже традиционным минутам. И сама она была так воспитана, жила скромно, да, в достатке, но скромно, отец — торговец зерном, муж — ростовщик в этой же деревушке, где все, дети и женщины, вставали в пять, чтобы успеть одеться затемно (это было очень важно — никогда не видеть собственного тела), а затем, в шесть, пойти в церковь и вернуться домой голодными, хотя и отведали «тела Христова» (чудо, не выходившее у нее из головы, тайна, будоражившая ее воображение: тело — в маленькой просвирке, тело мужчины, рожденного женщиной, так и не познавшей того, чем отличается мужчина от женщины. Знаете, мисс Уинслоу, мы здесь приучены говорить страх как витиевато, с детства нам велено называть ноги «тем, чем мы ходим», зад «тем, на чем мы сидим»,—смешок Луны прозвучал, как выдох), отведали тела Мужчины, который был Богом, тела мужчины, делившего свою божественную природу еще с двумя мужчинами; троица представлялась мне тремя мужчинами: второй из них — бородатый, могущественный и древний старец, сидящий на троне и в то же самое время — молодой человек, распятый на кресте; третий мужчина — как призрак, без возраста, маг, называющий себя Дух, с добавлением — Святой и который в детских представлениях был, конечно, самым главным и мог быть кем хотел: единым в троих, тремя в одном, одним в лоне девы, а потом — вне этой девы, а потом — мертвецом, а потом — воскресшим и, наверное, вернувшимся обратно в троицу, оставаясь, однако, самим собой и в то же время всей троицей в одной облатке, во многих просвирках, в миллонах кусочков хлеба, в которых — во всех — был Он, вечный труженик-Маг, Призрак Мира Призраков. И потому церковь превратилась для меня во что-то призрачное, так же как и мой дом, как сама моя судьба; все мы были призраки, то там, то здесь заменявшие друг друга: завтрак, уроки так называемого домоводства, обед, лавки, молитвы, ужин, фортепьянные пьески, раздевание в темноте — и в постель: жизнь девочки, и вы мне скажете: мол, неплохая жизнь, но когда мужчина надевает ярмо на эту девочку-девушку, мисс Гарриет, тогда такая жизнь становится мрачной, ужасно однообразной, словно все вокруг замирает и не видно впереди никакого просвета, и все вокруг гаснет, когда мужчина — отец, муж — рядом с тобой только для того, чтобы доказать тебе, что ты навсегда останешься женщиной-девушкой и что брак — это только нескончаемый акт ужаса, страха, что сейчас опять будешь наказана за то, что ты уже не маленькая девочка, потому что этот человек сначала насилием казнил девочку, еще не ставшую девушкой, а

[1] Река, протекающая в штатах Огайо и Индиана (США).

потом стал жестоко издеваться надо мной за то, что я не могла родить ему детей, за то, что обманула его своими густоволосыми подмышками, и промежностью, и пышной, но пустой, без молока, грудью; чтобы не видеть моего тела, моего лица, он завертывал меня в свою ночную рубашку, и все происходило моментально — я не знала наслаждений супружеской жизни, судьба мне в них отказала, хотя, глядя на себя в зеркало, я видела молодую цветущую женщину, но потом я больше не смотрела в зеркало, потому что стала видеть там просто перезрелую девочку, никуда не годную куклу, напевавшую все те же глупые детские песенки, осужденную на застойную жизнь: колокольный звон, заутрени, вечерни, исповеди, причастия, молитвы, удушливые благоухания в церкви и дома, проповеди, страх перед адом, любовь к Иисусу, любовь к Иисусу-человеку, любовь к обнаженному Иисусу-мужчине, на кресте и в его стеклянном гробу, любовь к прелестному голенькому ребенку Иисусу, прыгающему на коленях своей матери; жизнь моя остановилась. А мой муж каждую субботу вечером приказывал своим счетоводам созывать малоимущих жителей нашей деревни, мелких торговцев и ремесленников — в коричневых фетровых шляпах, в полосатых без воротничка рубахах и в наглухо застегнутых жилетах,— а также всю остальную бедноту: старьевщиков, свечников, немногих женщин, укутанных в ребосо и прячущих лица. Самую длинную очередь составляли сельские поденщики, которые не имели постоянной работы ни в какой усадьбе, и все они числились в должниках моего мужа. Длинная-предлинная очередь мужчин и женщин протягивалась по субботам во всю улицу, жаркую, пыльную, пустую улицу, где дома прятались за жалюзи; дома, замуровавшие сами себя, навесившие замки, словно пояса целомудрия, на свои ворота, мисс Гарриет, эти дома, сами посадившие себя за решетку — низкие чугунные балконы будто в клетки заточили лица домов, торчали, будто намордники на собаках, мисс, сеньорита, мой друг, можно мне называть вас своим другом?

Иногда я смотрела на этих людей и нарочно искала своими глазами их глаза, когда ходила на исповедь субботними вечерами. И вот однажды я встретилась взглядом с одним удивительным человеком. С виду это был обычный скромный пеон в белых штанах и рубахе, со шляпой в мускулистых руках, но его лицо — я это сразу заметила — отличалось от других лиц, в нем не было униженности, оно светилось дерзким бесстрашием; его взгляд словно пригвоздил меня к месту и сказал мне то, что мне, наверное, хотелось услышать (Луна пояснила: «...Я беден, но в цепях долгов. Ты богата, но в кандалах без любви. Позволь мне подарить тебе любовь темной ночью»),— столько жесткой властности и желания было в его глазах, так вызывающе кривился в улыбке его белозубый рот, так энергично подрагивали его густые черные усы, так гордо и бесстрашно была поднята его нечесаная голова. Я не могла пройти мимо, сеньорита. Все мое воспитание восставало против меня: мол, нельзя делать того, что я делаю. Мне надо было опустить голову и следовать дальше, в церковь, сжав четки скрещенными на груди руками. Но я стояла на месте.

— Как тебя зовут? — невольно спросила я этого человека, голова которого казалась слишком большой даже для его плотного, крепкого тела.

Во всех домах моментально открылись жалюзи. Лица всех домов вдруг показали тени своих глазниц.

— Доротео,— ответил он.— Доротео Аранго[1].

Я кивнула и пошла своей дорогой. Пришла в церковь. Преклонила покорно колена в исповедальне, как подобает женщине, и прислонилась к решетке, защищающей от рук священника, но не от его дыхания. Перечислила все свои обычные легкие проступки. Он покачал головой:

[1] Настоящее имя и фамилия Франсиско (Панчо) Вильи (см. стр. 33).

— Ты кое-что утаила.

— Что же, падре?

— Ты разговаривала на улице с незнакомцем. С пеоном. С человеком, который должен деньги твоему мужу. Что это значит, дочь моя? Мне страшно за тебя!

Когда я вернулась домой, людская очередь уже разошлась, жалюзи были заперты.

На следующий день падре читал в церкви проповедь о сострадании. Он цитировал Евангелие от Луки, когда говорил о том, как Христос изгнал торговцев из храма. Но он уверял, что святой гнев Христа был направлен на защиту храма, а не во вред торгашам. Они были прощены Христом, ибо Его глас — это глас неиссякаемого сострадания.

Этим же вечером за ужином я сказала мужу и всей его семье, всегда собиравшейся вместе за столом, что много думала о словах падре из его воскресной проповеди, и мне кажется, что сострадание — это и прощение долгов.

Мои слова ледяным градом просыпались на стол.

— Да, долгов,— повторила я.— Прощение долгов. Не только грехов.

Мой муж велел мне убраться из-за стола, не дав поужинать: мол, я всегда была и осталась девчонкой, каково, сеньорита, друг мой, можно мне называть вас своим другом?

Когда мой муж поднялся в мою комнату, я не испугалась, я знала, что ему скажу.

— Я по-своему тебя люблю. Выслушай меня,— сказала я,— ради твоего же блага.

— Ты дура,— прервал он меня,— говоришь дурацкие вещи за столом, делаешь дурацкие вещи на улице, заговариваешь с незнакомыми мужчинами, с грязной чернью, ты жалкая шлюшка!

Я посмотрела на него в упор, как смотрел на меня человек по имени Доротео, и сказала:

— Бойся. Тебе бы видеть глаза этого человека, как я их видела. Тебя охватил бы страх. Эти люди не мы. Они вытерпели все, что можно вытерпеть. Теперь они посмотрят тебе в глаза и покончат с тобой. Берегись.

Он ударил меня и сказал, что если я буду плохо себя вести, то в наказание запрет меня в подвале.

А что же там было в подвале, под полом?

Я никогда туда не спускалась.

Но в эту же ночь, на понедельник, из глубинного нутра дома стало доноситься непрерывное рычание, рыкание, словно одно только упоминание об этом подвале, куда он в наказание хотел меня бросить, населило подвал всякими ужасами, шумами, привидениями, страшными тварями, гудением голосов, звяканьем металла. Я напрягла слух, старалась различить отдельные звуки, уловить рождение какой-то внутренней звуковой гармонии, которая, наверное, достигала моего слуха через тысячи слоев бревен и камней, обоев и кирпича, штукатурки и досок, да, и еще через завесу, разделявшую тех, кто жил в этом доме — я, мой муж, его родные,— и других людей, мужчин и женщин, топтавшихся снаружи по субботам и бормотавших, громко вздыхавших в длинной-предлинной очереди: дадут ли мне немного денег? заставят ли меня заплатить долг? смилуются ли? смилуются ли, смилуются ли?

Скажите мне, сеньорита, подруга моя (можно?): разве могла я различить истинное происхождение всех звуков сквозь столько слоев того, что есть и чего нет, сквозь злобу и безнадежность, сквозь страх, страх не стать никогда настоящей женщиной, страх умереть, как я сказала, бесплодной и униженной, ни для чего не пригодной, как груша, гниющая на кладбище!

Уж не были ли звуки в подвале нежной музыкой фортепьяно, игравшего мой любимый вальс «На волнах»?

— Нет,— завизжал мой муж, когда шумы из нутра дома были заглушены шумами улицы,— нет! Это вопли пленных, мы уничтожили всех бандитов, взявшихся за оружие,— каждого вшивого голодранца, но сначала я их загоню сюда, в мой погреб, чтобы живьем содрать с них шкуру; они есть и всегда были голоштанниками,— говорил он, позвякивая чашкой чая о блюдце,— ободранцами, а отныне они навеки будут ободранцы,— злобно топал он по кедровому паркету своими маленькими ботинками на пуговках, прикрытыми сверху серыми язычками гамаш,— они будут ободранцы в полном смысле этого слова, ободранные, как бананы, как яблоки, источенные червями, как груши, гниющие на кладбище, ха! — воскликнул он, и чай плеснул из чашки ему на гамаши, обрызгав их.— Если каждую субботу они не будут вставать в шеренгу, чтобы расплачиваться со мной, им придется строиться в шеренгу каждый день, чтобы дохнуть под хлыстами. Вот какие голоса ты услышишь из погреба, моя дорогая,— сказал он, нагнувшись и отряхивая с гамаш капли чая.— Теперь ты знаешь.

— А раньше? — осмелилась я задать вопрос.— А до этого что за шум был там, внизу?

— Ты еще смеешь меня допрашивать? — вскочил он и замахнулся на меня в тот самый миг, клянусь вам, подруга моя, my friend[1], когда ни с того ни с сего зазвонили колокола — ни к заутрене, ни к вечерне, ни по какой другой причине, известной в те времена, и взрыв разнес в щепы наши ворота, и пропыленные люди со «стетсонами» в руках, с патронными лентами на мускулистых торсах ворвались в комнату: хрупкая раковинка чайной чашечки превратилась в прах на полу, один из людей указал на моего мужа:

— Вот он, подлый грабитель! — И человек, которого я тогда заметила в очереди, человек с устрашающей гордостью во взгляде, человек, который молча сказал мне: «Я беден, но в цепях долгов. Ты богата, но в кандалах без любви. Позволь мне подарить тебе любовь темной ночью»,— этот человек стоял теперь в моем зале.

Я его узнала.

Я и потом видела его лицо на бумажках, приколотых булавками к доскам для церковных объявлений рядом с приглашениями на девятины для поминок по той или иной душе в чистилище или с напоминанием о дне святого Антония. Это — Доротео Аранго, говорили бумажки, бандит и разбойник, а тут он вдруг очутился в моем зале, даже не взглянул на меня и повелительно сказал:

— Отведите мерзавца в корраль и расстреляйте. У нас нет времени. Федералы наступают нам на пятки.

Колокола перестали звонить, в коррале послышались ружейные выстрелы, хлопавшие в вечернем воздухе, как парус под ветром, и я, оставшись одна в своем доме, упала без сознания.

Когда я очнулась,— подруга моя, сеньорита Уинслоу, вы позволите?..— никого рядом не было. Вокруг — жуткая тишина. Они ушли, а мне не хотелось идти в корраль и смотреть на то, что там осталось.

Потом пришли федералы и спросили, что произошло. Я была не из любопытных. И ничего не знала.

— Кажется, убили моего мужа. Доротео Аранго...

— Панчо Вилья,— сказали они, поправив меня. В ту пору это имя мне ничего не говорило.

— Они уже ушли,— сказала я просто.

— Мы им дадим жару, не беспокойтесь,— сказали они.

— Я не беспокоюсь.

— Вы уверены, что они все удрали?

Я кивнула головой.

---

[1] Друг мой *(англ.)*.

Но этой же ночью, так и не сходив в корраль посмотреть, что там осталось, я услышала в подвале звуки, совсем не похожие на прежние. Я хочу сказать: там были и прежние шумы, но прибавилось что-то новое, какой-то новый шелест, который только я могла услышать,— музыка дыхания, отличающаяся от пыхтения моего мужа, нагонявшего на меня страх перед сном (самым ужасным его подарком к свадьбе был страх, и я должна была это принять и смириться во имя брака, ибо, по правде сказать, ничто нас, кроме брака, не связывало). Я не пошла хоронить мужа. Я не знала, сколько там было трупов, мертвецов революции, нет, не жертв, мне не хотелось их так называть — только мертвецов; да разве когда-нибудь нам узнать, подруга моя, что справедливо, а что — нет? Я не знаю. И тогда. Еще и теперь. И тот новый звук тоже нес мне новый страх: а вдруг в подвале нашего дома (говорю — «нашего» только сейчас, когда уверена в смерти мужа) окажется что-то хорошее, какое-то сокровище (мои детские мечты, сеньорита Гарриет, наконец осуществились)? Да, но это неведомо хорошее — я так чувствовала — мне надо защитить, чтобы не пойти по пути смерти, следом за мужем.

В первую ночь после всего происшедшего я не знала, что делать.

Мне так и виделось, что мой супруг не умер, а только прячется среди цыплят за решеткой курятника, а потом лезет нагим в мою спальню, распахивая дверь, я охаю от страха, а он — жив, только весь в крови.

Затем мне казалось в дремоте, будто то, что таится в моем подвале, у меня отнимают возвратившиеся федералы.

По какому-то странному побуждению я защищала это изо всех сил.

Рано утром пошла в корраль.

Я не смотрела себе под ноги, только слушала, как жужжат мухи.

Оторвала доски от курятника, сложила их, прислонила, плотно приставила, как могла, к двери, за которой шла лестница вниз, в подвал.

От непривычной работы мое длинное черное платье порвалось, исцарапались в кровь руки, привыкшие лишь печь пирожные, перебирать четки или дотрагиваться до своих сиротливых грудей.

Впервые в жизни я упала на колени не для молитвы.

Я вспотела и уловила свой новый запах, какого до сих пор не знала, мисс Уинслоу.

На душе было и горестно, и стыдно, и больно, когда я вбивала гвозди в доски, закрывая вход в погреб.

Я хотела сохранить для себя то, что было там, внизу.

Или, может быть, я делала лишь то, что должна была делать, если бы решила похоронить своего мужа по-христиански.

Ритуал свершился, но без его тела.

В полном изнеможении я прислонилась к прибитым доскам и сказала себе: «Ты ощущаешь дух другого тела. Ты дышишь в лад с другим дыханием. Не чудовища ждут тебя внизу. Подвал больше не хранит ужасов, о которых говорил твой муж».

Но что же было там, внизу?

Мне хотелось, чтобы там оказалось только то, о чем мечталось во время этого долгого бдения, и не было того, что вызывало во мне отвращение, но если мой муж не был предан земле в подвале, значит, от него там кое-что оставалось, что-то зловонное, гнилостное, тлетворное, грязное, дерьмовое, слюнявое, отвратительное. И я улавливала эту смесь запахов.

Но я различала и другой запах, который меня так сильно влек.

И вот снова зазвонили колокола, и я поняла, что федералы ушли, а люди Панчо Вильи опять взяли деревню. Впрочем, может быть, я ошибалась, и колокола, которые сами по себе ничего не говорят, выражали еще что-нибудь? Мир не меняет свою действительность лишь мне в угоду.

Мои сомнения рассеял пистолетный выстрел в подвале, потом прозвучал второй, и все стихло.

Так еще раз я услышала выстрелы в своем доме, но на этот раз страха не чувствовала.

Я стала руками отдирать доски от двери, я твердо знала, что надо освободить — кто бы он ни был — дважды стрелявшего в подвале. Я знала, что надо открыть дверь подвала и увидеть там мертвых собак — только собак, и больше ничего.

И увидеть, как он выходит с чистыми губами.

— Там только собаки.— Это были его первые слова, сеньорита, друг мой, могу я теперь называть вас моим другом? Вы понимаете меня, мисс Уинслоу?

XX

Панчо Вилья вступил в Камарго весенним сияющим утром; его отливающая тусклой медью голова была увенчана огромным сомбреро, шитым золотом, сомбреро — не предметом роскоши, а символом власти и стягом борьбы, так же покрытым пылью и кровью, как его крупные мозолистые руки и его бронзовые стремена, исхлестанные горными ветрами. Пороховая гарь, колючки, штрихи камней — следы горных троп среди сосен слепых равнин — изукрасили его грубоватый походный костюм лосиного цвета, его замшевые гамаши, его стальной кинжал и его солдатские шпоры, короткую куртку и штаны, отделанные застежками из золота и серебра — сплошной блеск золота и серебра, сверкавших здесь, однако, не показной мишурой, а металлами, украшающими нас в сражении и в смерти: костюм тореро.

Он был человек с севера Мексики, довольно высокий и крепкий, с длинным торсом на коротких индейских ногах, с большими и мощными руками и с этой его головой, которая, казалось, давно была срезана с туловища другого человека, очень давно и где-то далеко; голова, отсеченная от прошлого и сплавленная, будто золотой шлем, со смертным телом — нужным и ненужным — нашего времени. Восточные глаза, смешливые, но жестокие, окруженные стрелками веселых морщин, внезапная улыбка, зубы, сверкающие, как зерна очень белого маиса, топорщливые усы и бородка трехдневной давности — голова, которую когда-то видели в Монголии, и Андалусии, и в Рифе, среди бродячих племен американского севера, а теперь она здесь, в Камарго, в штате Чиуауа, улыбается, и мигает, и щурит глаза под натиском яркого света, и хранит в себе огромные запасы интуиции, и жестокости, и доброты. Такая голова была посажена на плечи Панчо Вильи.

Помещики сбежали, а ростовщики попрятались. Вилья хохотал, едва сдерживая своего гнедого коня, гарцевавшего по мощенным брусчаткой улицам Камарго, где основная колонна Северной дивизии соединялась с отрядами остальных генералов перед наступлением на Сакатекас, торговый центр разбросанных поместий, которые Вилья разграбил, чтобы освободить народ от рабства, от спекулянтов и лавок, где рассчитывались не деньгами, а бонами. Он въехал в город, сопровождаемый громким цоканьем копыт о камни, неся с собой звонкий металлический стук, гармонически сливающийся с удивительной гулкостью каменных мостовых; звякали железные удила, цепочки на уздечках, медные недоуздки; звучно похлопывали подседельники из конского волоса, ремешки шпор и хлысты.

Их встречал весь городок. С железных балконов летели конфетти, с фонарных столбов — ленты серпантина, приглушая перестук металла и камня мягкими стелющимися волнами — розовыми, голубыми, пурпурными,— волнами цвета мексиканских праздников. Через край огромных стеклянных кувшинов лилась свежая вода, отовсюду

тянулись руки с яркими сладостями и широкие кастрюли с бурлящими — черными, красными и зелеными — подливками.

Были там и репортеры, журналисты и фотографы-гринго с новейшим изобретением — кинокамерой. Вилья уже по достоинству оценил новинку, убеждать его в ее пользе не было надобности, он понимал, что эта «машинка» могла поймать призрачность его тела, хотя и не видела плоти его души — душа принадлежала только ему, его покойной матушке и революции; его тело в движении, благородное и властное тело пантеры, это — пожалуйста, можно поймать и снова выпустить на волю в темном зале, как Лазаря, воскресающего если и не из мертвых, то из времен и мест далеких, в черном зале и на белой стене, где угодно, в Нью-Йорке или в Париже. Гринго Уолшу, владельцу кинокамеры, он пообещал:

— Не волнуйтесь, дон Рауль. Если, как вы говорите, в четыре утра еще маловато света для вашей машинки, ничего страшного. Расстрелы начнем в шесть. Но не позже. Потом нам надо идти воевать. Согласны?

Теперь журналисты-янки, собравшиеся в Камарго, атаковали его вопросами, прежде чем он отправится атаковать Сакатекас, чтобы решить судьбу революции и Уэрты, а заодно и судьбу мексиканской политики Вильсона.

— Думаете ли вы, что Соединенные Штаты вас признают, если вы победите?

— Такой проблемы не существует. Я подчиняюсь Каррансе, Первому вождю революции[1].

— Весь мир знает, что вы с Каррансой не в ладах, генерал.

— Кто это знает? Может, вы? Тогда сообщите мне, сделайте милость.

— Мы перехватили телеграмму, которую ваш генерал Макловио Эррера послал Каррансе после того, как тот не разрешил вам атаковать Сакатекас, генерал Вилья. Содержание телеграммы весьма лаконично: «Сукин вы сын». И все.

— Ха, приятель, да я и не употребляю таких слов по-испански. Клянусь, что ругаюсь только по-английски: you son of a bitch[2]. Во всяком случае, сеньор Карранса счел более подходящим послать братьев Арриета на штурм Сакатекаса.

— Но ведь у вас здесь целая дивизия, артиллерия и десять тысяч человек...

— И все мы служим революции, сеньоры. Если братья Арриета, как всегда, с делом не справятся, я через пять дней буду в Сакатекасе и подсоблю им. Только и всего.

— И еще, генерал Вилья. Что вы думаете об американской оккупации Веракруса?

— А то, что и оккупанты и мертвецы через два дня смердеть начинают.

— Вы не могли бы выразиться чуть яснее, генерал?

— Ваши морские пехотинцы высадились в Веракрусе, бомбили город и убивали юных мексиканских кадетов. Вместо того чтобы скинуть Уэрту, американцы его поддержали, распалив национализм народа. Они затуманили революционное сознание и позволили пьянчуге Уэрте провести принудительную вербовку в армии. Парни, думавшие, что идут сражаться против гринго в Веракрусе, были посланы на север сражаться против меня. Я не знаю, это ли вы желали знать, но мне думается, когда вам, гринго, не удается прослыть удальцами, вы оказываетесь в дураках.

— Скажите, это правда, что вы убили выстрелом в спину одного американского офицера, капитана армии Соединенных Штатов, точ-

---

[1] Титул, присвоенный Венустиано Каррансе его сторонниками.

[2] Сукин ты сын *(англ.)*.

нее, что он был зверски убит одним из ваших приближенных офицеров, генерал?

— Какая сволочь это?..

— Ответственные люди в Соединенных Штатах считают вас просто бандитом, генерал Вилья. Общественность интересуется, можете ли вы дать людям необходимые гарантии здесь, в Мексике. Уважаете ли вы человеческую жизнь? Способны ли вы иметь дело с цивилизованными народами?

— Какая сволочь распускает эти слухи?

— Одна сеньорита, мисс Гарриет Уинслоу из Вашингтона. Говорит, что была свидетельницей убийства. Ее отец пропал без вести в войне на Кубе. Но, как оказалось, он желал лишь уйти от семьи, а потом, в старости, ему захотелось увидеть свою уже взрослую дочь. Она приехала сюда встретиться с ним. В его смерти обвиняют одного генерала из вашей армии, генерал. Как, ты говоришь, его зовут, Арт?

— Его имя Арройо, генерал Томас Арройо. Она говорит, что видела, как он стрелял в ее папу и застрелил.

— При всем уважении к вам, генерал, должны вам напомнить, что тела граждан Соединенных Штатов, убитых в Мексике или в любой другой части света, должны быть возвращены родственникам по их ходатайству и захоронены на родине достойно и по-христиански.

— Так говорит закон? — прохрипел Вилья.

— Именно так, генерал.

— Покажите, где это написано.

— Многие наши законы не написаны, генерал Вилья.

— Законы, не написанные на бумаге? Тогда какого дьявола надо учиться читать? — сказал с мрачной и ехидной усмешкой Вилья, потом вдруг захохотал, и все захохотали вместе с ним, и расступились перед человеком, который представлял революцию и желал показать миру, что он не Карранса, этот старый напомаженный сенатор из так называемых достопочтенных людей Мексики, которым, мол, сам бог велел представлять революцию, а напротив, он — тот, кого Карранса так ненавидел, босоногий и неграмотный крестьянин, любитель выпить крепкого пульке и пожевать тако, пришедший с беспокойных холмов Дуранго и не раз битый теми самыми помещиками, которые насиловали его сестер.— Нет,— продолжал он, смеясь и обращаясь к своему командующему артиллерией, образованному генералу Фелипе Анхелесу, окончившему французскую военную академию Сен-Сир,— нет, я не вас имею в виду, дон Фелипе, а тех, которых только что видел. Гринго никогда не вспоминают о нас, словно бы мы и не существуем, а потом вдруг нас замечают, ах, ты, мать честная, и смотрят на нас, как на дьявола во плоти, который хочет лишить их жизни и отнять землю. А почему бы и в самом деле не нагнать на них страху? — внезапно опять улыбнулся Панчо Вилья.— Почему бы не сунуться к ним разок, чтобы знали, кто мы такие?

А потом в страшной ярости он обрушился на тех, кто не понимает обстановку. Карранса запер его в Чиуауа, чтобы не он, Вилья, открыл дорогу на Мехико, чтобы слава досталась этим напомаженным, да! Панчо Вилью больше всего бесило то, что этот старый козел с бородой не упускал случая напомнить давнему конокраду из Чиуауа, что они с ним разного роду и племени. Ясное дело, это не одно и то же: попусту лить чернила или подставлять шкуру под пули! И тогда Вилья приказал своему секретарю-грамотею написать прошение о своей отставке, об отказе командовать дивизией, надо идти ва-банк, черт подери, и пусть поглядят, как Натера и братишки Арриета одни возьмут Сакатекас, а этот гад Пабло Гонсалес еще не высылает ему ни угля, ни боеприпасов из Монтеррея, да, пусть увидят, что смогут сделать гражданские власти без военной помощи Панчо Вильи: немедленно решайте мой вопрос. А тут еще этот подонок из Чиуауа

заставляет меня, кроме всего прочего, обострять отношения с гринго! — взорвался Вилья и успокоился, как всегда, только после ночных любовных утех.

Генерал Томас Арройо получил приказ откопать гринго, где бы он ни был зарыт, и доставить его в Камарго. Нет — между прочим солгали генералу,— ничья семья не требует тела, а интересуется всем этим газета «Вашингтон стар», так ему передали. Но когда приказ дошел до летучей бригады, расположившейся возле сожженной усадьбы Миранда, Арройо прекрасно понял, от чьего имени затребовано тело. Он видел в своих снах, как она обеими руками нежно гладит мертвую голову старика и как смотрит на него, Арройо, выпрямившись возле вагона, словно бы он убил то, что принадлежало ей, но также и ему, и теперь они оба снова осиротели, остались одни и с ненавистью глядят друг на друга, лишившись живого существа, подогревавшего их интерес друг к другу, глядят, не будучи в силах заглушить то ощущение тоскливой пустоты, которое она испытывала по одной причине, он — по другой.

— Смотри, что у него в руках! Смотри, что у него в обеих руках!

Арройо не мог говорить. Она увидела клочки обгоревшей бумаги, и тогда Арройо сказал, что гринго сжег ему душу, а она подумала, что сожжено кое-что еще: история Мексики,— но это не было оправданием преступления, потому что жизнь человека значит больше, чем история страны, и Гарриет Уинслоу была убеждена, что несмотря ни на что с ней в один голос кричала вся равнина Чиуауа.

— Убийца, подлец, свинья, грязный трус,— громко сказала она,— тебе надо было взять меня и надо было убить его.

— Он сам вынудил меня,— хрипло выдохнул Арройо,— так же, как и ты. Вы оба пришли сюда, чтобы вынудить меня. Сволочи гринго... вашу мать.

— Нет, ты вынудил себя сам,— сказала она ему в завершение этого дня,— чтобы показать самому себе, кто ты есть на самом деле. Ты зовешься не Арройо, по матери. Ты — Миранда, как твой отец. Да,— говорила она ему, а дождь размывал остатки пепла,— да, ты — обиженный наследник, лицемерный бунтарь. Бедняга незаконнорожденный. Ты — Томас Миранда.

Она говорила это с холодной жестокостью, желая ранить его и одновременно сознавая, что могла так же спокойно и то же самое сказать старику, распростертому у колес железнодорожного вагона с пулями в спине, только в спине; но про себя она говорила это в дикой ярости, стремясь восстановить справедливость и напомнить ему, что она тоже может бороться и отвечать ударом на удар. Томас Арройо ничего не понимал. Он убил старого гринго. И не мог себе представить, что Гарриет Уинслоу еще полна желания сражаться: она должна была быть так же опустошена, как и он. Старый гринго. Сожженные бумаги.

— Я все бы стерпел от вас, от гринго. Все, только не это,— сказал Арройо, указывая на почерневшие обрывки бумаг.

— Не волнуйся,— ответила Гарриет Уинслоу с тенью юмора и сострадания.— Он верил, что уже мертв.

Но тем вечером Арройо хотелось до конца сжечь собственную душу:

— Что такое жизнь старика в сравнении с правами всего моего народа?

— Я тебе уже сказала, что ты убил мертвеца. Скажи спасибо. Ты избавил себя от его расстрела по всем правилам.

Именно этого требовал теперь Панчо Вилья от Томаса Арройо, когда смотрел на скорченное тело старика, с трудом сдерживая свою знаменитую ярость, которой так страшились и его сотоварищи, и его враги, тот самый Панчо Вилья, который, дотронувшись до скрючен-

ной спины старого гринго, вспомнил о том, что сказал ему один из репортеров-янки на встрече в Камарго.

— У меня, генерал Вилья, есть для вас одна поговорка. То, что вы называете смертью,— это просто последняя боль.

— Кто это сказал?

— Это написал один невеселый старик.

— А, значит, написано.

— Вот именно, одним невеселым стариком.

— Так, так...

Вилья приказал произвести расстрел этой же ночью, ровно в двенадцать. Предупредил, что казнь будет тайной, никто не должен знать о ней, кроме него, Вильи, генерала Арройо и особого взвода солдат.

— Поскольку мистер Уолш и его киномашинка могут замерзнуть, они тут ни к чему.

Старого гринго с трудом поставили на ноги, прислонив к стене, лицом к ружьям, голова его свисала на грудь, лицо немного потускнело после первых похорон, колени одеревенели.

Приказ «пли!» был отдан в патио за штабом Вильи при свете фонарей, стоявших на земле и театрально подсвечивавших лица. Послышались выстрелы, и старый гринго вторично упал в объятия своей старой приятельницы — смерти.

— Теперь он расстрелян как положено, в грудь, и по закону,— сказал Панчо Вилья.

— Что делать с телом, мой генерал? — спросил командир взвода.

— Пошлем его тем, кто востребовал его в Соединенных Штатах. Скажем, что он погиб в бою против федералов, они его взяли в плен и расстреляли.

Вилья не смотрел на Арройо, когда сказал, что не хочет делать свалку из трупов гринго, чтобы дать Вильсону предлог для признания Каррансы или для интервенции против него, Вильи, с севера.

— Мы еще порядком настреляем этих гринго,— сказал Вилья, свирепо осклабившись,— но в свое время и когда решу я сам.

Он обернулся к Арройо, не меняя выражения лица:

— Храбрый человек, верно? Храбрый гринго. Мне рассказали о его подвигах. И убит в лоб, а не в спину, как трус, каким он не был, так ведь, Томас Арройо?

— Так, мой генерал. Гринго был очень храбрый.

— Пойди, Томасито. Сделай выстрел милосердия, добей его. Ты знаешь, ты мне что сын родной. Сделай это хорошо. Надо все делать хорошо и по закону. Я не хочу, чтобы на этот раз ты меня обманул. Надо всегда быть начеку. А ты, мне чудится, засиделся в этой усадьбе, где потерял немало времени и даже успел прославиться.

— Арройо,— сказал Вилье тогда журналист-янки,— его имя Арройо.

— Да, мой генерал,— просто ответил Арройо.

Он пошел к трупу старого гринго у стены, нагнулся и вытащил кольт. Последовал точный выстрел милосердия. Теперь кровь уже не выступила на шее гринго. И тут сам Вилья отдал приказ стрелять по несчастному Арройо, лицо которого стало живым изображением страдальческого неверия. Однако он успел крикнуть:

— Вива Вилья!

Арройо упал рядом со старым гринго, а Вилья сказал, что не потерпит, чтобы его офицеры играли в игрушки с иностранными гражданами и создавали ему лишние проблемы; он один, Панчо Вилья, знает, когда и за что бить этих гринго. Тело старика будет передано его дочери, и делу конец.

Глаза, блестящие голубые глаза старого индейского генерала, были навсегда закрыты рукой мальчика с ясными черными глазами и

двумя перекрещенными патронными лентами на груди, когда-то спросившего старика:

— Вы ищете Панчо Вилью?

Педрито вытащил из своих штанов монету, продырявленную тем самым кольтом-44, который Арройо дал тогда старому гринго, и засунул ее в кармашек забрызганной кровью рубахи человека, который умер два раза. Вилья сам подарил «выстрел милосердия» Томасу Арройо.

XXI

Гарриет Уинслоу, опознавая скрюченное тело старика, сказала: да, это мой отец — и похоронила его на Арлингтонском кладбище возле матери, которая умерла рядом с настольной лампой, побежденная в конце концов тенями. Таким образом дочь прежде всего подумала о своей бедной матери, которая очень хотела, чтобы Гарриет была бы девицей воспитанной и уважаемой, хотя настоящих джентльменов поблизости оказалось не слишком много, когда семья попала в весьма стесненные обстоятельства, но интеллектуальное развитие требовало для повседневности соответствующего социального антуража — присутствия джентльмена. Гарриет презрела такие условности, как различия во взглядах со стариком, и пришла к выводу, что хотя в конечном счете счастье и должно возобладать, но порядок вещей необходимо соблюдать. Она подумала, что когда-нибудь сама будет покоиться здесь, рядом со своей матерью и одиноким старым писателем, который отправился в Мексику искать смерти.

— Старый гринго пришел сюда за своей смертью.

В ночь его гибели она как оглушенная бродила по лагерю, а потом почувствовала страшный голод и, хотя знала, что сейчас это ощущение отнюдь не физического свойства, поняла, что только еда может принести успокоение. И неожиданно села напротив женщины, которая пекла тортильи в маленькой раскаленной печурке. Спросила среди тишины, не надо ли помочь. Взяла немного теста и слепила тортилью, наподобие той, что делала женщина, сидевшая перед ней на корточках. Потом попробовала готовые лепешки.

— Нравится? — спросила женщина.

— Да.

— Они вкусные. Скоро уйдем отсюда. Слишком мы тут засиделись.

— Не знаю. Это — ваши места. Ему действительно не хочется уходить.

— Нам какое дело? Надо идти. Я пойду за своим мужчиной, я ему стряпаю и хожу за нашими детьми. Жизнь не кончается с войной. А вы пойдете за вашим?

— Не понимаю вас.

— За нашим генералом Арройо? Вы разве не новая его солдатка?

Когда она ела тортилью рядом с этой женщиной той уже далекой ночью в диких местах или когда сидела у могилы старого гринго, помеченной именем ее отца, и еще позже, уже в старости, когда вспоминала обо всем этом в одиночестве, ее не покидало чувство сострадания, которому она, наверное, изменила один раз в жизни, когда затребовала тело старого гринго, зная о неизбежных последствиях. Но что такое подлинное сострадание, она узнала именно в силу этого своего прегрешения, и внушили его ей молодой мексиканский революционер, который жертвовал жизнью, и старый североамериканский писатель, который искал смерти; они дали ей возможность существовать, жить дальше — здесь ли, в Соединенных Штатах, там ли, в Мексике, где угодно: жалость — вот название чувства, с которым Гарриет Уинслоу смотрела в лицо насилия и в лицо славы, ибо когда-

нибудь и то и другое являют свою суть и обнажают истинные черты — черты смерти.

Потом разразилась первая мировая война, и революция по ту сторону южной границы США отступила с первых страниц газет, пока Вилья не вторгся в пограничный поселок штата Нью-Мексико и генерал Першинг[1] не был направлен преследовать его в горы Чиуауа, и, конечно, не смог его изловить — не только потому, что Вилья знал эти ущелья и эти пыльные дороги как свои пять пальцев, а по другой, гораздо более значительной причине: Панчо Вилью мог убить только предатель.

Поэтому, говорит Гарриет Уинслоу, она бы хотела, несмотря ни на что, присутствовать на казни генерала Томаса Арройо и собственными глазами видеть пресечение этой судьбы, которую он считал своей, всецело подчиненной собственной воле, и более никому. Но умер он от руки своего командира Панчо Вильи — так окончилась еще одна судьба, которая могла быть иной. Гарриет всегда себя спрашивала: что делал бы Томас Арройо, если бы пережил революцию («его убила революция»), сложилась бы его судьба в будущем Мексики? Кто знает, может быть, старый гринго умер, спалив их общее будущее — и Мексики и Томаса Арройо?

После смерти обоих Гарриет Уинслоу вышла из своего номера в отеле Камарго. Она издалека слышала полуночный расстрел: старый гринго умер второй раз. Затем последовал следующий расстрел — первая смерть и сухой одиночный выстрел. Арройо тоже умер дважды.

В зале отеля — в патио с изразцами, цветами и канарейками — ее ждала луноликая женщина. И ничего ей не сказала. Гарриет последовала за ней к заброшенной часовне. Панчо Вилья стоял в дверях и, увидя их, снял шляпу. Гарриет увидела его темную голову с примятыми, прилипшими к вискам от пота волосами. Вилья взял под руку луноликую женщину.

— Вы — достойная женщина, донья, и понятливая.

— Не надо никаких объяснений, Доротео Аранго. Ты мне известен с той поры, когда федералы преследовали тебя как разбойника.

— Вы бросили свой дом, я бросил свой.

— У тебя не было дома, Доротео Аранго.

— Но теперь я — Франсиско Вилья и преследую их за насилие над сестрами и за расправы над родителями. Я никогда не допускал несправедливости. Они отняли у меня мой дом.

— Мой мужчина мертв, Доротео Аранго.

— Томас Арройо думал, что смог вернуться в свой дом. Но никто не имеет на это права, пока не победит революция. Сейчас революция — наш дом. Или Томас этого не знал? Если каждый из моих людей останется в своем доме, добравшись до него, то революции конец. Теперь всякий, кому захочется остаться дома, вспомнит, что случилось с Томасом Арройо. Это — армия, донья, и порой приходится на части рвать свое сердце, чтобы другим неповадно было.

— Когда-нибудь и ты захочешь вернуться на свою землю, Доротео.

— Только чтобы там умереть, донья, да.

— Хорошо, генерал Вилья. Я навсегда запомню, что родной дом — еще более непостижимая вещь, чем смерть.

Вилья обернулся к Гарриет и сказал, что она правильно делала, когда хотела создать школу и наладить работы в поместье. Именно это они делают на всей территории мексиканского севера: организуют школы, распределяют земли, вешают ростовщиков и прощают долги.

— Но иногда всего этого не видно, потому что в то же время надо выиграть войну. Вам вот удалось выиграть. Хороните своего папоч-

[1] Джон Джозеф Першинг — американский генерал, возглавлявший вооруженную интервенцию США в Мексику в 1916 г.

ку, который, как говорят, был храбрый человек, и расскажите там, у себя, что Панчо Вилья — человек с сердцем, но и солдат, идущий напролом. Со мной шутки плохи.

Посмотрел на женщин, надел сомбреро и сказал:

— Можете войти посмотреть на своих мужчин.

Там лежали трупы Томаса Арройо и старого гринго. Луноликая женщина заплакала, потом закричала, а Гарриет Уинслоу вспомнилось, что Томас Арройо впервые вскричал с этой безутешной женщиной от одной только радости, что может не таиться, любя женщину, и Гарриет Уинслоу вспомнилось также, что и она впервые почувствовала себя женщиной с этим мертвым мужчиной.

— Мой муж-сынок, мой муж-сынок,— кричала возлюбленная Томаса Арройо в ночь бдения возле покойных в церкви Камарго, где Христос, замурованный в стекло, увенчанный шипами и зачем-то прикрытый мантией, смотрел на них с высоты пустого ящика из-под пива.

Гарриет Уинслоу кратко сказала трупу старого гринго:

— Тебя ожидает готовая могила на военном кладбище, папа.

Женщины вышли из Камарго вместе и следующим утром, которое выдалось зябким и ясным. Каждая шла за своим гробом, за повозкой, которую тащили печальные мулы. Куница, Иносенсио Мансальво и мальчик Педро сопровождали их до развилки дорог. Все молчали. Куница несла свою девочку, закутанную в ребосо, и когда показался развилок, снова стала благодарить Гарриет Уинслоу.

— Вот увидишь, моя дочка еще похоронит меня по-христиански рядом с моей тетей, доньей Хосефой Арреолой в Дуранго.

— Надеюсь, вы еще долго проживете,— сказала Гарриет Уинслоу.

— Кто знает. Но умирать буду, думая о моем братике, который так и не родился, и буду благословлять тебя...

— Где ты захоронишь моего генерала Арройо? — спросил Иносенсио Мансальво луноликую женщину.

Она ответила без слез, что похоронит его на дикой равнине, где бы никто и ничего о нем не знал.

— Жаль, что не могу пойти с тобой,— сказал Иносенсио.— Мне надо сопровождать грингу. Таков приказ моего генерала Вильи.

Возлюбленная Томаса Арройо кивнула головой, стегнула старого мула и отправилась своим путем. Полковник Фрутос Гарсиа опоздал сказать последнее прости своему командиру. Повозка уже скрылась в тучах пыли. Фрутос Гарсиа посмотрел на Гарриет и сказал ей, что до границы с ней пойдут Иносенсио Мансальво и мальчик Педро — он храбрый парнишка и любил старого гринго.

— Кроме того, хе! — хохотнул он чисто по-испански,— если тут ребенок, никто ничего плохого не заподозрит. Не беспокойтесь,— сказал он иностранке уже серьезно,— вы сделали то, что должны были сделать. Гринго приехал в Мексику умирать. Никто вас не упрекнет, что он шел на смерть из-за женщины, карамба. А умер он, по правде сказать потому, что перешел нашу границу. Или этого мало?

— Я тоже ее перешла,— сказала Гарриет.

— Не беспокойтесь. Мы уважительно отнесемся и к вам, и к старому гринго. К гринго потому, что он был храбрый. Потому, что во взгляде у него была боль. И потому, что таков был последний приказ нашего генерала Томаса Арройо: пальцем не трогать старого гринго.

— А ко мне?

— А к вам — чтобы вы всегда и обо всем помнили.

Во время долгого перехода из Камарго в Сьюдад-Хуарес у Гарриет Уинслоу было много времени, чтобы подумать о том, как жить дальше, по возвращении в Вашингтон. Хотя рядом с ней была одна живая горячая душа — мексиканский мальчик. Педрито любил этого мертвого человека, который теперь будет положен в могилу капитана Уинслоу в Арлингтоне. Все тяготы пути взвалил на свои плечи Иносенсио Мансальво: ночлег и еда, ориентировка в степи и охрана.

Он хорошо знал это бездорожье. Впрочем, здешние земли уже были завоеваны революцией, и все здесь были вильистами.

В Сьюдад-Хуаресе, когда Гарриет уже готовилась перейти на свой берег, мальчик Педрито наконец заговорил.

— Ты своего добился, дед,— сказал он на прощание трупу гринго, пока Гарриет преодолевала бюрократические барьеры, оформляя бумаги на ввоз покойника в Соединенные Штаты Америки.— Ты своего добился, дед. Тебя велел расстрелять сам Панчо Вилья.

Иносенсио Мансальво курил, оперевшись локтями на перила моста, и подозвал Гарриет коротким взмахом руки, почти растворившимся в жаркой приграничной весне. Она повиновалась. Это было ее прощание с Мексикой. Оба какое-то мгновение молча смотрели на мутные воды, быстрые, но гладкие, этой реки, которую североамериканцы называют «большой», а мексиканцы — «буйной»[1].

Гарриет в первый раз посмотрела на Мансальво. Худой человек с зелеными глазами и прямыми волосами, с глубокими складками на лице, с двумя морщинами по углам губ и с двумя — на лбу, везде по паре, словно бы двое близнецов-ремесленников наскоро вырубили его топором, чтобы скорее вытолкнуть на свет божий. Гарриет прикусила губу, она не видела этого человека до сего дня. До сего часа.

Она смотрела на него, неподвижного и непроницаемого, словно разделенного надвое, начиная с подбородка, и знала, что он остается сторожить длинную северную границу Мексики: для мексиканцев единственной причиной войны всегда были гринго.

Мансальво сумрачно глядел на ту, североамериканскую сторону границы.

— Старый гринго говорил, что у вас, гринго, нет границы ни на западе, ни на севере, только на юге, всегда только на юге,— сказал повстанец и развернул обрывок газеты.

Гарриет, облокотившись на перила рядом с Мансальво, улавливала смешанный запах пота, алкоголя, лука и черного табака, исходивший от мужчины. И тоже посмотрела на лицо старого гринго в североамериканской газете. Иносенсио Мансальво бросил газетный обрывок в реку.

— Жаль,— сказал он,— что не умею читать по-английски. А теперь уж и вы не сможете прочитать мне то, что там написано.

Тут Мансальво обернулся и с силой сжал руку Гарриет:

— Жаль. Что вы влюбились не в меня. Мой генерал остался бы живехонек.

И отпустил ее.

— Всегда только на юге,— повторил Иносенсио Мансальво.— Жаль. И впрямь это не граница, а шрам.

Он отвернулся и пошел, а Гарриет смотрела ему в спину, на его замшевый жилет поверх рубахи без воротничка, на широкополое сомбреро, покрытое пылью, которую Иносенсио Мансальво поднимал при ходьбе, шагая вразвалку, как истый мексиканец-северянин, наездник.

Гарриет больше не оглядывалась ни на него, ни на мальчика. Когда она перешла железный мост и оказалась в Эль-Пасо, там облепил ее рой журналистов. Они еще раньше, чем таможенники, слышали историю о том, как капитан Уинслоу, пропавший где-то в боях на Кубе, конечно контуженный, а потом дезориентированный испанской охранкой в концентрационном лагере, не потерял своего воинственного духа, знакомого его замечательной дочери, которая и разыскала отца на полях кровавых сражений мексиканских революционеров... Гарриет слушала и не возражала против вымыслов, распространявшихся прессой, она воспринимала их как частицу того бремени, которое ей надо вынести. Гроб был установлен на орудийный лафет и доставлен к железнодорожному вокзалу.

[1] Речь идет о реке Рио-Гранде (Рио-Браво).

— Вы — национальная сенсация, мисс Уинслоу. Один ваш друг в Вашингтоне, мистер Дилейни, объявил, что сенат с удовольствием заслушает ваши свидетельские показания о варварстве, процветающем в Мексике.

Гарриет не могла сойти с места. Она боялась утратить духовную связь с сотоварищем, с найденным трупом, видя, как он снова удаляется от нее, это блуждающее сознание, потерявшееся в смерти, в смерти уже навсегда, сознание, населенное привидениями, убитыми отцами и утраченными сыновьями.

— Мисс Уинслоу... национальная сенсация...

Голубое облако снова отделяло ее от старика; Гарриет протянула руку, чтобы удержать этого мертвеца, уплывающего теперь в дымке, сотворенной людьми, в облаке ровно и сильно дышащего пара; протянула руку, чтобы помешать разлуке их обоих, гринго, которые побывали в Мексике — он, зная зачем, она — не задумываясь над будущим,— чтобы преодолеть еще одну границу североамериканского сознания, самую трудную границу, почти кричала в этот миг Гарриет, национальная сенсация, национальная сенсация, стараясь вырваться из окружения репортеров, чтобы не расставаться с трупом старика,— перейти самую трудную, самую удивительную границу, потому что она самая близкая и поэтому самая незаметная и самая опасная, когда напоминает о себе после долгого затишья.

— Жаль. Что вы влюбились не в меня.

— Фиск, из «Сан-Франциско кроникл». Вы не ответили на мой вопрос. Будете ли вы свидетельствовать, что мы несем Мексике прогресс и демократию? Подумайте...

— Несем, мы? Кто это — «мы»? — сказала Гарриет, судорожно, растерянно оглядываясь, потеряв своего покойного сотоварища, бросая взгляд то в одну сторону, где садилось солнце и клубилась пыль; то в другую, где изгибался рельсовый путь и поднимался голубой дым над вокзалом, а гроб был покрыт флагом Соединенных Штатов.

— Кто? Соединенные Штаты, мисс Уинслоу. Ведь вы — американская гражданка.

— А я — Фиск. Вы позвали меня, чтобы заявить, что ваш отец был зверски убит.

— Национальная сенсация.

— Мы услужили вам как могли. А теперь вы...

— Думаете ли вы, что нам надо вторгнуться в Мексику?

— Вы не хотите отомстить за смерть вашего отца?

— «Сан-Франциско кроникл».

— «Вашингтон стар».

— Разве вам не хочется, чтобы мы спасли Мексику для демократии и прогресса, мисс Уинслоу?

— Нет и нет, я хочу научиться жить рядом с Мексикой, я не хочу ее спасать,— наконец выговорила она и оставила журналистов, оставила труп старика, бросилась бежать назад, к границе, к реке, к солнцу, уставшему от этого дня и тяжело оседавшему за кромкой запада, побежала, словно забыла там что-то, о чем не сказала журналистам, словно хотела сказать что-то тем, кто там остался, словно могла заставить их понять, что эти слова ничего не значат — «спасти Мексику для прогресса и демократии»; и что самое важное — жить рядом с Мексикой помимо прогресса и демократии, и что каждый человек несет в себе свою Мексику и свои Соединенные Штаты, свою темную и кровоточащую границу, которую мы осмеливаемся преступать только ночью, как сказал старый гринго.

Она увидела на другом берегу реки малыша Педрито и Иносенсио Мансальво. Она крикнула им, что просит прощения за смерть Томаса Арройо, но они ее уже не слышали и не поняли бы. *«Я только выполнила желание Арройо: умереть молодым, отдать мне свой срок, продлить его своей жизнью».*

Они не слышали ее криков также и потому, что взрыв погрузил мост в пламень.

— Я была там. Эта земля никогда меня не отпустит.

Они уходили не оглядываясь и видели, как она навсегда входит в танцевальный зал с зеркалами, не глядя на себя, потому что в действительности она входила в сновидение.

XXII

— Я смотрел внутрь этого дома (как-то говорил Арройо; сейчас она сидит в одиночестве и вспоминает) и видел свою замужнюю мать. Моя замужняя мать в доме моего отца. Видел я и жену своего отца, и была она незамужняя. Так я считал. Никто не жил с законной женой моего отца. Он с ней не жил. Он жил с моей матерью, и родился я. Это у моей матери в мужьях был мой отец, а не у его законной жены. Законная была совсем не такая, как я ее себе представлял до той ночи, со старым Грасиано, до ночи, когда мне указали мое место, грингита. Она была желтоватая, старообразная женщина, как залежалый и растресканный сыр, забытый и высохший где-то в чулане. Она была такая же темная, как ее одежда, темные складки ее одежды будто повторяли черноту всех мощин ее упрятанного в ткань тела. Умерщвленная, умерщвленная — это с детства мы слышали в церкви: умерщвление плоти, покаяние в грехах, искупление всех грехов перед смертью. А твоя церковь так же сурова, как наша, грингита, так же быстро обвиняет в грехах и так же легко их прощает? Когда законная жена моего отца приходила в часовню в праздничные дни, я себя спрашивал, будут ли прощены ее грехи после исповеди, потому что никак не мог представить себе своего отца на коленях, говорящего: «Прости, господи, мои прегрешения». Это она была виновница всех грехов моего отца, потому была счастливой обладетельницей его богатства, его имени и его самого; она и должна была платить за все это, каясь от его имени. Его я никогда не видел на коленях. А вот моей матери он не приносил ни радости, ни богатства, но и греха тоже: я не был грехом, я — его плод — не был, повторяю, грехом. Мне не в чем было каяться, никогда. Даже в том, что его законная жена превратилась в иссохшую темную мумию. А ему? Мое самое глубокое желание было остаться с ним после его смерти. Не при умирании — дон Грасиано заслуживал это больше, чем мой отец, гораздо больше, я так и сделал. Мой отец не заслуживал ничего. Клянусь, что, если бы мне каким-то образом довелось присутствовать при смерти своего отца, я не стал бы на него глядеть, даже если бы он умолял, чтобы мои глаза вывели его на путь смерти; клянусь, что мои глаза больше пригодились бы мне, чтобы смотреть на его гниение,— я раскопал бы его, утащил с собой и сидел бы с ним все дни и ночи, пока не истлело бы мясо, не отросли бы волосы и ногти, его хищные ногти, скребущие по всему белу свету и наконец омертвевшие; сидел бы, пока не прогнили его веки и не открылся бы снова его смертный взгляд, требующий, чтобы я на него взглянул; пока его кости не стали бы такими белыми и чистыми, как черепа сдохшего скота в пустыне.

А ты знаешь, сколько надо времени, чтобы пришла настоящая смерть, абсолютная нагота костей (она спросила его об этом раньше, чем он сам мог определить это время), сколько нужно времени, чтобы проявилась абсолютная суть нашей вечности на земле, Арройо, сколько надо всем нам времени, чтобы вынести не только наше нынешнее призрачное существование, но и пребывание в земной вечности, во что я верю, не веря в сказки о волшебстве, о бессмертии души или в надежду на перевоплощение? Сколько времени ты созерцал бы труп твоего отца, Арройо? Сколько времени смотрел бы на смерть после смерти, Арройо, не зная, бедный отважный болван, что

смерть — это только то, что происходит внутри нас? Хорошо, ты прав, но не совсем: смерть не продолжает жизнь, во что ты веришь, а порой заменяет жизнь, хотя мы верим, что живем. Я, Гарриет Уинслоу, столько раз жила со смертью в самой себе, знала, что я мертва, что смерть — во мне, только внутри меня, а остальное — и в расчет не принимала. Теперь скажи мне, генерал Томас Арройо, скажи мне, что я вышла из самой себя — каким-то удивительным образом, каким-то чудом, сама не зная как, пережив свою смерть внутри себя,— вошла теперь в жизнь, существующую вне меня, жизнь, которую я раньше не знала, которую теперь принимаю, и ты — часть этой жизни, но только часть, мой милый мужчина, пожалуйста, не возгордись, все уходит, уносится стремительным потоком, и мои слова, и мои мечтания тоже, и мое время, хотя бы ты и удвоил жизнь; ты сам однажды сказал, что старик нас проклял бы, если бы мы сделали ему такой подарок — дали бы прожить вторые семьдесят лет, он бы нас возненавидел; а думаешь, нет других, кроме тебя, Арройо, кто его проклинал? Теперь старик — тоже часть жизни вне меня, которая непонятным образом представляется мне отныне единственной жизнью во мне, понимаешь? Тут же и твоя любимая женщина по имени Луна, и бедная женщина, чьей дочери я спасла жизнь, думая, стоит ли это делать, думая, что я тоже могла бы иметь сына и спасти ему жизнь, как спасла чужую, неведомую. Арройо, я понимаю, я не узнала весь твой народ, не посмотрела на всех, как хотелось бы, знаю, что я что-то потеряла, но что именно я потеряла? Может быть, чьи-то глаза, которые встретились бы с моими, может быть, я виновата, что не попыталась создать мир вне себя, вне собственного закрытого мира, Арройо? Ты должен сказать мне. Я не могу так быстро воспринять новое. Я слаба, и я — иноземка, да еще обедневшая аристократка, не привыкшая действовать самостоятельно. Можешь ли ты это понять? Но я многому научилась. Я стараюсь, клянусь тебе. Я силюсь понять все: тебя, твою страну, твой народ. Но ведь я и часть своего собственного народа, не могу я это отбросить, Арройо, и здесь у меня нет ни матери, ни отца, никого, кроме старика, только в старике я узнаю самое себя, хотя стараюсь также узнать всех вас. Только он один тут, слышишь, Арройо? Ты заставлял меня выслушивать всех вас (скажи, если я что-нибудь упускаю, Арройо), и я стараюсь понять, зачем вы делаете то, что вы делаете. Но если ты позволяешь мне видеть, как ты сам проделываешь с ними то же, против чего они сражаются — против смерти-внутри-себя, от которой они спасаются изнуряющим бегством, в которое обратились все мы,— я думаю, что ты наносишь им такой же вред, какой нанесли тебе самому в детстве. Арройо, тогда это значит, Арройо, что ты убьешь меня и вернешь опять в то самое одиночество, которое и есть моя собственная смерть, единственная смерть, которую я когда-либо знала. И этого я тебе не прощу, Арройо. Не делай ничего во вред своему собственному народу. Но не делай ничего во вред и моему единственному человеку — старику, который пишет, Арройо. Этого я тебе никогда не прощу, сказала Гарриет.

Тогда, после сражения в горах, в ночь «заколотых свиней», все трупы были разложены по краям площади перед церковью. Гарриет как-то видела репродукцию картины одного из старых мастеров, которых братец ее деда ненавидел так же, как и вожделел, вожделел, когда они стали знаменитыми и бесценными, и ненавидел, когда их истинная ценность еще не могла обнажить искаженность реальности, открыть такие возмутительные нереальные и драматичные для него перспективы их утраты (может быть, эта ненависть ее старого дядюшки сравнима с его отвращением к переменчивости театральных декораций, ко всем вещам, которые не желают растаять и исчезнуть в его желанном мироздании тихо и уступчиво, чтобы он, мистер Хелстон, мог бы стать в самом центре всего на свете? «Какая чушь!»— восклик-

нула Гарриет почти с яростью). Трупы напомнили ей изображение Христа на полотне Мантеньи, такого одинокого на своем смертном одре, его ноги, все его тело, словно рвущееся из-под покрывала, бьющее пятками зрителя, будто всеми силами желая убедить его, что смерть не благородна, а низменна, не тиха, а конвульсивна, не обещающа, а безвозвратна и вечна; полузакрытые стеклянные глаза, жидкая двухнедельная бородка, изъязвленные ноги, бездыханный приоткрытый рот, провалившиеся ноздри, кровоточащие бедра, пряди волос, слепленные пылью и потом. Ужасающее ощущение присутствия живых мертвецов, которые недавно принимали присягу, и стреляли, и ходили, и были взяты в плен какой-то час назад. Арройо был прав, когда говорил о смерти своего отца и о бдении его сына над останками родителя: вдруг отец снова поднимется и докажет, что все уже мертвы (именно так ей подумалось в какой-то миг, когда она лежала с Арройо в вагоне) и что все мы уже удваивали наш жизненный срок в других обстоятельствах, в другой ситуации, в другое время. Может быть, все эти тела, заботливо уложенные вокруг площади, как белесые куклы (бледные, как дымка, Арройо, которая опускалась с горных вершин и тем не менее стремилась вернуться вверх, в горы), все эти трупы служат только доказательством того, что они сами: старый писатель и молодой генерал, ее блудный отец и прикованная к дому мать, мальчик Педрито и луноликая женщина — все они были телами с усопшими душами, трупами, обитающими в реальности под видом людей, зовущихся «Гарриет Уинслоу», «Томас Арройо», «Амброз Бирс»? Она замерла, похолодев от ужаса: словно, если назвать когонибудь по имени, особенно в первый раз, действительно значит насильно преобразить его жизнь; словно, произнося это имя, она тут же приговаривает старика к смерти. Она будто видела его там распростертым среди павших в бою, спрашивая себя, не Арройо ли его убил, или она сама в своем воображении, или сам старик убил себя, следуя своему последнему желанию, непонятному и замысловатому. Это имя она прочитала на обложке одной из книг, которые старик возил с собой, имя, которое наверняка не было его именем, потому что он не хотел называть себя, а она уважала высказанное им желание, чтобы уважать и невысказанное тоже: она училась представлять себе то, что скрыто от глаз, с помощью того, что могла видеть, и то, что видела с помощью того, что видеть не могла: несколько часов назад все эти тела были живы, теперь они мертвы, но она видела, как их пронзали штыки, как вываливались внутренности, разбрызгивались от пуль мозги, дырявились пулеметом груди, происходили последние, самые разные встречи со смертью. «Амброз Бирс» было мертвым именем, напечатанным на обложках книг, которые старик взял с собой в свое путешествие к смерти. Гарриет показалось бы нелепым назвать его «Сервантес», именем автора другой книги. Тем не менее называть его «Бирс», наверное, не менее экстравагантно. Но, произнося второе имя, она содрогнулась: это было незримое имя просто потому, что старый гринго уже не имел имени, его имя стало умершим именем. Таким же умершим, как трупы, аккуратно разложенные вокруг площади. Были ли у них когда-нибудь имена? Кто был среди мертвых тел, которые она теперь видела на этой площади, знакомой ей и в праздник, и в траур, когда там собрались плакальщицы и начали свой ритуал слов и жестов по превращению жизни в смерть? Кто был там из тех, кого она знала? Может быть, там был ее собственный отец? Или старый гринго? Или был там отец Арройо среди женского плача, и клубящейся пыли, и тлеющего пепла от поминальной трапезы?

— Моего отца застрелили в Юкатане. Старому кобелю взбрело в голову поиграться с красивой девушкой-индеанкой в поместье самого дона Олегарио Молины, бессменного губернатора этой южной провинции. Тогда в большой цене было волокно хенекена. Мы все

знали, что самые большие деньги приносит сбор хенекена. Юкатаном правила «божественная каста», как они сами себя прозвали, паразиты. Мой отец был землевладельцем с севера, отсюда, где мы теперь, а что тут? Пустыня да кактус-нопаль, да кое-где виноградники, а еще кактус-магей для пульке да добрые урожаи хлопка. Тут на равнине ночи холодные. Воздуха маловато у нас на высокогорье. Говорят, внизу, на юге, жарко и сыро круглый год. Крепкая там земля без рек. Колодцы глубокие. Сельва серого цвета, говорят. Я там не был. Рассказывают, что девушек там бросают в колодцы. Отец мой гостил в поместье, увидел хорошенькую девчонку, работавшую там, и его разобрало. Частенько бывает. Говорят, что он взял ее в самый канун революции. Он уже был стар, но петушился, как всегда. Вся земля уже пахла порохом и кровью, ему, наверное, думалось, что он уже в преддверии ада и должен спешить со своей последней великой победой. Говорят, он взял ее в своей же спальне и что она отбивалась и сорвала москитную сетку, которая на них свалилась, а он только мычал от удовольствия, насилуя девушку под тканью, прикрывавшей их обоих как легкое, хотя и душное облако, сотрясая медный балдахин кровати. А тут парень, такой, как я, жених девушки, наверное, ключник усадьбы,— кто знает? — тоже заводивший часы, увидел, как она выходит из спальни моего отца, и ударил ее по лицу ключами, но она не заплакала, а только сказала: «Он там, в комнате». Мой отец был там, грингита, отирая платком незаживающие язвы на всем своем теле, кровоточащие и гнойные, хотя он всегда утешал себя тем, что, мол, не болен, а просто берет девушку или просто любую женщину Мексики в ее лунный период, будто насилует саму луну, ах ты, старый кобель, как я его ненавижу и как хотел бы быть там, когда эта молодая пара, такая пара, как я и... и... ох, дьявол, не как ты, мисс Гарриет, будь ты проклята, и не как Луна, будь она неладна. Последнюю девушку, которую взял мой отец, не сравнить ни с одной женщиной, какие у меня были, ни с одной... и пошли вы все к... и ты, и Луна, и все девки, которым далеко до моей матери, потому что мать моя, как сестра родная той, последней женщины, которую испохабил мой сволочной отец. Они убили его там же, в его кровати, понимаешь? Страшной он умер смертью: они засунулу ему в рот все ключи от дома, все до одного, заставили глотать все ключи, гринга, пока он не задохнулся и не стал синим, как металл, а потом вытащили его на исходе ночи, завернув в москитную сетку и в простыни, и когда еще не начало светать, спрятали в большой корзине для грязного белья; дождавшись рассвета, потащили к колодцу, к глубокой яме, и там подвесили его за мошонку на крюк, которым поднимают тюки, и он сказал ей:

«Я ухожу в революцию, а ты останешься здесь и ничего никому не скажешь. Будешь приходить сюда и смотреть, как он гниет, никто его тут не разыщет. Помни, ты ничего не знаешь. Только ты одна приходи смотреть на него. И чтобы никто ничего не знал и никого не бери сюда с собой. Ты мне дашь знать, когда он целиком сгниет и ничего от него не останется, кроме старых чистых костей. Тогда сможешь его обнаружить и похоронить по-христиански».

— Я иду на Юг с Севера. А этот незнакомый мне парень, убийца моего отца, идет с Юга. Революция движется. Где-нибудь мы встретимся. Может, в столице, в Мехико. Я его обниму. Он придет узнать эту землю, где мой отец был когда-то полновластным и жестоким хозяином. А я пойду узнать землю, где в колодце висит отцовский скелет.

— И тоже полюбишь девушку и отнимешь ее у убийцы твоего отца.

— Всякое бывает.

И он снова стиснул ее в объятиях, и она чувствовала пульсацию этого стройного, жесткого, но гладкого, ловкого тела, чей ритм отзывался биением ее сердца, и Гарриет знала, что тот миг, который был,

никогда больше не повторится, и не потому, что она будет отвергать мужчин, а потому, что никогда не сможет пойти на то, на что пошла только с Арройо,— один невыносимо громкий стон, великий крик зверя, который она не потерпела бы от себя больше ни с кем; греховный вздох наслаждения, бросающий вызов богу, ибо она издевалась над наслаждением (месяц назад она не разрешила бы этого себе), крик любви, возвестивший миру, что любовь — это единственное ощущение, достойное того, чтобы его иметь, выражать, добиваться в этом мире, ибо жизнь состоит из промежутков между мгновениями любви и последним мгновением самой жизни; оставь, оставь в моей памяти только такой миг, молила она, но вдруг жестом бесконечной ненависти словно оттолкнула тело Арройо, отшатнулась от тени человека, который предлагал ей то, что — она знала — ей недоступно, и, зная, поняла, что сколько бы таких невообразимых мгновений она ни получала, это было именно то, чего он не мог ей отдать навсегда: свое тело и дух в сфере иных долгих и обыденных лет, исконный источник этих удивительных мгновений. Девушка, ожидающая, когда сгниет тело, подвешенное в священном колодце в Юкатане; босой старик, отказывавшийся носить городскую одежду; плодовитое существо по кличке Куница, словно хищный зверек, не дающий появляться на свет другим выводкам; или луноликая женщина, позволяющая своему мужчине брать других женщин и спокойно ожидающая его за дверью; весь этот народ, приверженный идолопоклонству, ползущий на коленях к окровавленному Христу, обернутому в бархат и увенчанному короной с шипами; или тот парень, еще один убийца, второй Арройо, идущий вместе с революцией с юга, чтобы встретиться с Арройо в центре страны, которая сама как одно смуглое тело, как клубок смуглых тел, страна в форме пустого рога изобилия из дубленой кожи и высохшей плоти, и потных мускулов, и худых рук,— все они знали источник, сами были источником тех мгновений, которые она пережила с Арройо; ей это не было дано, для нее все это не имело истинного смысла, продолжения, перехода из настоящего в ее будущее, каким бы оно ни было.

Именно тогда, в тот миг, в объятиях Арройо, Гарриет уже ненавидела Арройо прежде всего за это: она узнала этот мир, но не могла стать его частью, а он это знал и все же предлагал его ей, дал вкусить от него, зная, что ничто не может соединить их навсегда, и, может быть, даже издевался над ней, спрашивая: «Ты не жалеешь, что приехала сюда, грингита?»— и она отвечала «нет»; «Тебя тут не обижают?»— и она отвечала «нет»; «Ты хочешь сейчас вернуться назад, на границу, в сопровождении моих людей?»— и она отвечала «нет»; «Ты останешься со мной навсегда? Я брошу Луну, а ты поедешь со мной встретить моего незнакомого брата в Юкатане, убившего моего отца?» — и она отвечала «нет, нет, нет». «А если мы будем жить вместе и народим сыновей, и поженимся, и вместе состаримся, грингита?»

— Нет.

— Боишься, что шальная пуля меня прикончит?

— Нет. Боюсь, что ты можешь кого-нибудь прикончить.

— Твоего гринго, а?

— И себя самого, Арройо. Боюсь того, что ты сделаешь сам с собой.

— Поверь, гринга, сейчас я — это почти не я. Ведь я скор на дела и умею драться, как ты видела. Теперь же я застрял в доме, который был моим прошлым. Прошлого больше нет. Я это понял. Нам надо идти дальше. Движение не кончилось.

— Ты ослушался приказа, так долго оставаясь здесь?

— Нет. Я сражаюсь. И сам отдаю приказы. Но,— засмеялся Арройо,— Панчо Вилья ненавидит всякого, кто хочет вернуться домой. Такое он считает почти за измену. Конечно, я рисковал, когда взял усадьбу Миранды и задержался тут.

Он шел к югу, к городу Мехико, на встречу со своим братом, убившим его отца.

Она не шла никуда.

— Я не могу,— сказала Гарриет с горечью.— Ты предлагаешь мне стать такой, какой я никогда не смогу быть.

И этого Гарриет Уинслоу никогда не простила Томасу Арройо.

Ей захотелось в конечном итоге протянуть свою руку, положить ее на веснушчатую, худую, с тяжелым обручальным кольцом руку старика и сказать ему: то, что она сделала, не было местью за него, а расплатой с Арройо за ту беду, которую он навлек на нее, ибо знал, что она никогда не будет такой, какой — это он ей показал — она могла бы быть. Тогда она, обреченная на возвращение домой с трупом старого гринго, должна была показать Арройо, что никому не дано вернуться к истинно родному дому.

И тем не менее Гарриет Уинслоу знала — она сказала это бродячему писателю, ласково поглаживая его пальцы, покрытые белыми волосками,— что не наказала Арройо, а лишь принесла ему победу героя, молодую смерть. И старый гринго тоже получил свое: он ведь приехал в Мексику умирать. Эх, старик, ты сделал по-своему и стал хорошо выглядящим трупом. Эх, генерал Арройо, ты сделал по-своему и умер молодым. Эх, старик. Эх, юнец.

От автора

В 1913 году американский писатель Амброз Бирс, мизантроп, журналист из концерна Херста и автор прекрасных рассказов эпохи Гражданской войны в Северной Америке, простился в письмах со своими друзьями, отрекшись от своей признанной силы духа, сказав, что стал стар и устал.

Однако во всех письмах он оставлял за собой право решить, какой смертью он умрет. Болезнь и несчастный случай он считал недостойной кончиной. Напротив, быть поставленным к стенке в Мексике... «О,— написал он в своем последнем письме,— быть гринго в Мексике — это значит легко умереть».

Он въехал в Мексику в ноябре, и больше о нем никто и ничего не слышал. Остальное — вымысел.

Эта книга была начата в поезде между Чиуауа и Сакатекасом в 1964 году и окончена в Тепостлане (штат Морелос) в 1984 году, в доме Антонио и Франчески Сальдивар на пишущей машинке художника Мариано Риверы Веласкеса.

Мехико, февраль 1985.

В зеркале романа Карлоса Фуэнтеса

Почти одновременно — в ноябре 1913 года — границу между Соединенными Штатами и Мексикой пересекли два американца. Через пограничную реку Рио-Гранде-дель-Норте, как ее называют их соотечественники, переправились оба путника бродом, но в различных пунктах, независимо друг от друга; впрочем, не выяснено, знавал ли один другого; встречали, быть может, лишь фамилии в публикациях.

Слишком разными были эти люди. Хотя бы по возрасту. За плечами одного насчитывалось несколько более семи десятков прожитых лет, другому едва минуло двадцать шесть. Отнюдь не схожими представали их судьбы, жизненные пути: одному довелось сражаться на стороне северян против рабовладельческого Юга США в Гражданской войне 1861—1865 годов, а другой лишь за какие-то месяцы до первого шага по мексиканской земле окунулся в классовые бои американского пролетариата, горячо заявив о своих симпатиях бастовавшим рабочим. Несравнимы и характеры обоих: одного относили к мизантропам, чуть ли не к человеконенавистникам, поскольку жестокие удары рока побуждали его смотреть на многое в мрачном свете, а в принадлежащих ему литературных произведениях только что не доминантой звучала тема крушения человеческих надежд, бездонного отчаяния, чаще — смерти. Зато жизнелюбием, непоколебимой верой в лучшее будущее, неунывающим оптимизмом, добрым юмором искрился молодой журналист — таким он, собственно, был в жизни, таким выступал в печати.

Оба они, наконец, представляли разнотипные органы американской прессы. Один сотрудничал в радикальном литературно-художественном и общественно-политическом журнале «Метрополитен», где его коллегами по перу являлись, в частности, Джек Лондон и Теодор Драйзер. Другой поехал в Мексику от издательского концерна Уильяма Рэндолфа Херста, само имя которого стало нарицательным.

Разными были эти люди, а цель оказалась одна. Спешили они разобраться — как можно глубже — в революционных событиях, охвативших Мексику после свержения диктаторского режима Диаса. И конечно, разгоралось желание непосредственно увидеть, а то и познакомиться с легендарной личностью, вызвавшей в ту пору поток противоречивейших — от беспредельного восхищения до злобной ненависти — суждений и все же олицетворявшей тогда еще в северных штатах Мексики революцию.— с генералом Панчо Вильей, бывшим пеоном Доротео Аранго, командовавшим сформированной лишь в сентябре того 1913 года Северной дивизией, но уже завоевавшей боевую славу.

Вскоре один из прибывших из-за Рио-Гранде-дель-Норте американских корреспондентов, Джон Рид, опубликует в «Метрополитен» репортажи и очерки, открыв прежде всего для себя, затем для читателей необычайную страну и ее бедный и мужественный народ, поднявшийся с оружием в руках против исконных врагов; напишет колоритный портрет вождя партизанского движения Панчо Вильи, с которым ему посчастливилось сблизиться. Спустя короткое время появится книга «Восставшая Мексика», в основу которой будут положены репортажи и очерки из «Метрополитена», из газеты «Уорлд». Книга «Восставшая Мексика», принесшая Джону Риду впервые широкую известность, сыграет в биографии молодого писателя столь большую роль, что заставит Джона Дос Пассоса отметить: «Именно мексиканский опыт Рида помог ему впоследствии так быстро понять Россию», когда он создавал знаменитые «Десять дней, которые потрясли мир».

В Мексике Джон Рид приветствовал героизм борющихся народных масс, мечтавших построить новую жизнь. Чаяния мексиканцев о будущем увлекли пылкого американца, которого тут звали просто Хуан Рид.

Совсем иное выпало на долю ветерана войны между Севером и Югом в XIX веке, старого писателя Амброза Бирса, военного корреспондента херстовской монополии, также прибывшего в Мексику. Ему не удалось внести в свою национальную литературу какой-нибудь приметный вклад в виде литературного произведения, навеянного впечатлениями о мексиканской революции, а ведь до этого не раз печатались его рассказы, выходили сборники рассказов, рисующие картины войны между Севером и Югом в прошлом столетии, не говоря о «Словаре Сатаны». Более того, никто не знает, что действительно случилось с ним в Северной дивизии Вильи (не поясняет этого и последнее, посланное им из Мексики, письмо, датированное 26 декабря 1913 года), никому не известно, при каких обстоятельствах он исчез бесследно, поныне загадкой остаются подлинные мотивы, побуждавшие его, как это утверждалось и утверждается, искать гибель в сражении (правда, тайной не было, что четыре года, проведенных на фронте в войсках северян, обошлись ему очень дорого, тяжелое ранение приводило его в госпиталь, но и после лечения непрерывно преследовали мучительные головные боли, головокружения; пришлось пережить ему потерю жены и сыновей, долго бедствовать: с трудом выхлопотал он пенсию за службу в армии, да и начислили ему, майору в отставке, всего-навсего двенадцать долларов в месяц). А литературные заслуги талантливого писателя Амброза Бирса Америка признала только после его кончины.

Неразгаданная история ухода Амброза Бирса из жизни, порождавшая всевозможные и подчас невероятные версии, не могла не заинтересовать крупнейшего мексиканского прозаика Карлоса Фуэнтеса, в творчестве которого Мексиканская революция, ее персонажи, ее проблемы, а также ее наследие в наши дни приоб-

рели принципиальное значение. Об этом Фуэнтес говорил нам, в редакции «Иностранной литературы», четверть века назад (см. «ИЛ», 1963, № 12). И в первом произведении Карлоса Фуэнтеса, появившемся в русском переводе — романе «Смерть Артемио Круса», опубликованном «Иностранной литературой» («ИЛ», 1965, № 7—8), отдельные эпизоды разворачиваются во время пребывания Джона Рида и Амброза Бирса в Северной дивизии Панчо Вильи.

В романе-гипотезе «Старый гринго», согласно художественному вымыслу Фуэнтеса, излагающего предположение о финале жизненного пути Амброза Бирса, имя Джона Рида не фигурирует. Это понятно. «Присутствие» Джона Рида с его мировоззрением, очевиднее всего, нарушало бы авторскую концепцию произведения — чересчур велика антиномия, разделяющая двух американских литераторов, попавших в бурный круговорот событий! Как бы то ни было, в одной из бесед с Мигелем Отеро Сильвой и пишущим эти строки, годы назад в Каракасе (тогда «Старый гринго» еще не был издан и речь не шла конкретно об этом произведении), Карлос Фуэнтес подтверждал, что, изучая эпоху Мексиканской революции, свершившейся задолго до его рождения (в 1928 году), кроме мексиканской документации он, естественно, держал в поле зрения и «Восставшую Мексику». В этом случае художнику требовалось показать революцию в Мексике через призму ее очевидцев-американцев. А Бирс молчал...

Бирс — в центре романа. И эпиграфом к произведению автором выбраны слова, Бирсом написанные, однако воспринимаешь их как надпись на могильном камне, что и понималось под словом «эпиграф» у античных греков.

Амброз Бирс вложил высказывание — «То, что вы называете смертью, это всего лишь последняя боль» — в уста героя своего рассказа «Паркер Аддерсон, философ», относящегося ко временам Гражданской войны в США шестидесятых годов прошлого века. Напомним содержание рассказа. Сержанта армии северян (в которой, повторяю, служил и Бирс) по имени Паркер Аддерсон, посланного в разведку, взяли в плен солдаты войск Юга. В походной палатке поздним вечером его допрашивает генерал-южанин. Хладнокровие, остроумие и философские рассуждения военнопленного, понимающего, что его ждет неминуемая казнь, не могли не возбудить любопытство генерала — и формальный допрос вылился в своеобразный диалог собеседников, оставшихся вдвоем, так как конвоира генерал отправил с приказом о расстреле сержанта. В спокойных тонах, словно сидят у домашнего камина, беседуют они о смертном часе: «...лишь последняя боль...» Смог ли сам Бирс испытать ее именно на поле сражения, если о том помышлял?

Судьба Бирса — в центре романа, но не судьбой одного человека определяет свой замысел автор произведения. Писателем воссоздана — скупо, однако ярко — исторически правдивая обстановка того периода. К концу 1913 года, спустя десять месяцев после контрреволюционного переворота, предательского убийства президента Мадеро и вице-президента Пино Суареса (к чему был причастен посол США Генри Лейн Вильсон), установления террористической диктатуры Уэрты, чрезвычайно осложнилось и обострилось внутриполитическое и военное положение в Мексике. В то же время в борьбу вовлекались все более и более широкие массы народа, осознававшего собственную значимость.

В текст романа «Старый гринго» Фуэнтес включил, изменив время и место действия и принадлежность бойцов революционной армии, примечательнейший эпизод: партизаны Панчо Вильи, попав в помещичий дом Миранды, с особым вниманием вглядываются в зеркальные отражения своих лиц. Первоначально, за полтора десятка лет до появления «Старого гринго», Фуэнтес приводил похожий факт в сборнике эссе «Мексиканское время». На тех страницах в декабре 1914 года бойцы Освободительной армии Юга под командованием национального героя Эмилиано Сапаты, вместе с вильистами вступившие в столицу страны, оказавшись в дворцах аристократов, игнорируя роскошнейшее дворцовое убранство, впервые в своей жизни увидели себя в зеркалах: «Смотри — это я! Смотри-ка — это ты! Смотри — ведь это мы!..» И писатель резюмировал: «Быть может, только ради этого стоило свершить революцию — народ познал себя».

Кто же такой среди революционеров генерал Томас Арройо?

Рисуя тип одного из сподвижников Вильи, не относящегося к историческим персонажам и являющегося плодом воображения автора романа, Фуэнтес наделил его весьма характерными, жизненными чертами — положительными и негативными. Как социальный типаж, генерал Арройо отнюдь не был каким-то исключением. Не были исключением и личные мотивы, подтолкнувшие его участвовать в вооруженной борьбе.

В памяти всплывает давнишний разговор с пожилым мексиканцем, случайным попутчиком, с которым мы сели в вагон еще в Эль-Пасо, но разговорились, когда я о чем-то его спросил в Сьюдад-Хуаресе, миновав по железнодорожному мосту реку, которую мексиканцы именуют, в отличие от американцев, Доблестной, Рио-Браво, в память сражавшихся на ее берегах защитников национальной независимости (о том, что за тридцать лет до моей поездки в Мексику через эту реку переправлялись Джон Рид и Амброз Бирс, я не знал).

Глядя через окно вагона на мелькавшие суровые пейзажи штата Чиуауа, каменистые, выжженные солнцем, с редко торчавшими кактусами и агавами, мой сосед делился со мной своими раздумьями:

— Вам не представить, сколько здесь пролито крови людьми, которые не всегда знали, за что они отдают жизнь. Для многих ничего не значили такие понятия, как «диктаторский режим», «Уэрта», «империализм». Многие «ушли в нашу революцию» ради того, чтобы отомстить помещику. Между прочим, сам Вилья, еще будучи Аранго — тогда ему и в голову не приходило, что как Франсиско Вилья он станет фактическим губернатором Чиуауа, от Мадеро получит чин полковника, а от Каррансы, до конфликта с ним, получит генеральский чин, что народ восславит Панчо,— заочно был приговорен к смертной казни за расправу над помещиком, изнасиловавшим его сестру, и долго скрывался в горах, где сколотил свой первый отряд... А потом, спустя несколько лет, вместе с восемью друзьями ввязался в бой с латифундистами, выступая уже за интересы народа, за справедливость... Поначалу первопричиной «идти в революцию» для многих была личная заинтересованность. Кто-то понимал, что надо покончить с помещичьим гнетом, кто-то лишь рассчитывал нажиться на революции. Светлые струи смешивались в стремнине с грязными. А почему? В первые революционные годы еще не было четкой политической программы, единой. Это уж после, по ходу развития революционного процесса, наша революция как бы выкристаллизовалась, стала демократической, антифеодальной и антиимпериалистической, хотя, к сожалению, далеко не все ее идеалы претворены в жизнь. Мне самому пришлось видеть, как старый вильистский генерал Николас Родригес во главе банды гангстеров, одетых в желтые рубашки и нагло титуловавших себя «ветеранами Северной дивизии», «Дорадос», вместе с фашистскими элементами, в тридцатых годах пытался в столице атаковать правительство Ласаро Карденаса, символизировавшего нашу революцию, открыв огонь против рабочих... А сколько было тех, кто еще в период революции находил общий язык с тогдашним американским президентом Вудро Вильсоном, предпринявшим интервенцию в нашу страну, а позднее пошел на сделку с другими правителями Вашингтона... Злодейски убив Панчо Вилью, враги осквернили могилу народного героя, отрубили и похитили его голову. Сообщалось, что похищение головы Панчо Вильи финансировал Херст, уплатив пять тысяч долларов...

Фуэнтес раздвигает рамки романа о Бирсе.

«Как писатель и гражданин,— заявил он в недавнем интервью для латиноамериканской печати,— я не могу не быть обеспокоенным проблемами Латинской Америки. Я пишу о том, что мне хорошо известно, что переживаю сам. По-моему, два моих последних романа во многом свидетельствуют о сказанном. В драматической форме один из романов — «Старый гринго» — поднимает вопрос об американо-мексиканских отношениях. Исчезновение североамериканского писателя Амброза Бирса в Мексике в годы революции предоставило мне возможность, используя трагический предлог, рассмотреть серию проблем, в том числе и такую — как относятся к нам американцы и как мы относимся к ним, как мы видим их и как они видят нас... Я убежден, что роман — это не только диалог персонажей, каким он и был всегда, но вместе с тем роман — диалог исторических этапов, социальных сил...»

В романе «Старый гринго» — равным образом как и во всем многогранном творчестве Карлоса Фуэнтеса, включая его публицистические работы (в последних, признаться, не всегда наши точки зрения совпадают),— можно обнаружить нечто большее чем «мексиканский аспект». Читая роман, думаешь о днях нынешних — о Центральной Америке, о Никарагуа, вообще о латиноамериканских странах. Общелатиноамериканский отзвук заметен в идеях той же мисс Гарриет Уинслоу, робко попытавшейся посеять в асьенде Миранды семена, по выражению латиноамериканского критика, «домашнего изготовления american way of the life» («американского образа жизни»), изрядно согласующегося с идеями пресловутого «Союза ради прогресса», чем США вознамерились было облагодетельствовать Латинскую Америку.

Мексика — перед глазами латиноамериканцев. «Латинская Америка начинается с мексиканской границы,— подчеркивал Карлос Фуэнтес.— Моя страна претерпела тяжелые агрессии, претерпевает постоянный нажим на протяжении всей своей истории. Вероятно, расположение ее вдоль границы, сама по себе граница заставляют Мексику с особым рвением отождествлять себя с Латинской Америкой. И мы, мексиканские писатели, не стоим от этого в стороне».

Многое может сказать и тот факт, что рукопись такого небольшого по объему романа, как «Старый гринго», пробыла на рабочем столе Карлоса Фуэнтеса два десятка лет...

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

Литературное наследие

ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ

К 100-летию со дня рождения

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

От переводчика

Имя Джузеппе Унгаретти, одного из крупнейших поэтов XX века, юбилей которого отмечается в этом году по решению ЮНЕСКО, знакомо советским читателям. Возвращаясь сегодня к его творческому наследию, мы остановили свой выбор на стихах поэта, написанных в перерывах между боями в окопах первой мировой войны. Пехотный полк, в составе которого был рядовой Унгаретти, вел бои на итальянско-австрийском фронте — в тех же, кстати, местах, где происходит действие романа Хемингуэя «Прощай, оружие!».

Для предлагаемых страниц поэтического дневника характерно суеверное молчание о будущем: в минуты затишья, когда крик души «за что?» оставался риторическим вопросом, когда «незримые слезы» были слезами бессилия, память поэта о недавнем бое искала забвения в мыслях о довоенной поре, о доме, о любви, об искусстве. Антивоенная лирика Унгаретти — свидетельство художника, смотревшего в лицо смерти, терявшего боевых товарищей, но не терявшего веры в жизнь. Окопная правда шестнадцатого года отозвалась почти через тридцать лет в строках об открытом городе Риме, занятом гитлеровцами. Поэт не только выстрадал право сказать о себе: «Я человек надежды, слуга надежды, солдат надежды», но и подтвердил это на посту президента Европейского сообщества писателей, которое он возглавил в 1962 году.

Погребенный порт

Мариано, 29 июня 1916

Поэт побывавший там
выносит на свет свои песни
и расточает их

От этих песен
мне остается
эхо
неисчерпаемой тайны

Восточная нега

Верса, 27 апреля 1916

Облизывая пересохшие губы
мы бессильны перед волной
орошающей побеги желанья

Нас пожинает солнце

Мы закрываем глаза
чтоб видеть прохладное озеро
освежающее надежды

Мы приходим в себя чтоб снова
отпечатывать на земле
неподъемным ставшее тело

Сладостная передышка

Мариано, 25 июня 1916

Шел шел
и нашел
любовный колодец

В глубине
тысячи и одной ночи
почил

К далеким садам пустынным
она прибилась
голубкой

Под головокружительным
полуденным небом
я зарылся лицом в жасмин
и припал
к живым апельсинам

Пробуждения

Мариано, 29 июня 1916

Миг за мигом
я уже прожил когда-то
давным-давно
эту жизнь
в других

Память уносит меня
вослед утраченным жизням

Я просыпаюсь в купели
дорогих для меня подробностей
растроганный
и удивленный

Провожаю
мягко тающие облака
внимательным взглядом
и вспоминаю
одного из покойных
друзей

Что такое Бог?

И поверженное
создание
раскрывает очи
навстречу
звездным брызгам
и безмолвной равнине

И обретает
себя

Я смертный

Окоп, 4-я вершина,
5 августа 1916

Под стать этому камню
с горы Сан-Микеле
такому холодному
такому твердому
такому сухому
такому бесплодному
такому на самом деле
безжизненному
под стать этому камню
мои
незримые
слезы

Плата
за смерть
жизнь

Дремота

По пути из Деветаки
в Сан-Микеле, 25 августа 1916

Эти торсы гор
улеглись
во мраке долин

Из пустоты
доносится
только журчанье цикад

Аккомпанементом
моей тревоге

За что

Карсия Джулия, 1916

Мрак и растерянность
в моем сердце нуждающемся
в утешении

По примеру здешней травы
растущей из каменных трещин
ему бы трепетать на свету

Но в праще времени
я всего лишь осколок
одного из щербатых камней
на импровизированной дороге
войны

С тех пор как он посмотрел
в бессмертное лицо
вселенной
этому безумцу канувшему
в лабиринт
своего несчастного сердца
нужно знать

Обращенное в слух
мое сердце распласталось
как колея
но по-прежнему выдавало себя
шлейф
за кормою исчезнувшего корабля

На моих глазах горизонт
покрывается оспинами воронок

Мое сердце не прочь озариться
хотя бы как эта ночь
траекториями ракет

Я держу мое сердце
которое зарывается в землю
с шумом
как разрывная пуля
правда не оставляя
над равниной следа полета

Мое бедное сердце
оглушенное
неведением

Посылка

Локвицца, 2 октября 1916

Любезный
Этторе Серра[1]
поэзия
это вселенная
человечество
собственная жизнь
в зеркале слова
прозрачное чудо
лихорадочного порыва

Когда нахожу
в этом моем молчании
слово
оно коренится в жизни моей
как в бездне

Тщета

Валлоне, 19 августа 1917

Неожиданно
в вышине
над развалинами
прозрачное
диво
беспредельности

И человек
склонясь
над водой
застигнутой
солнцем
видит себя
тенью

Укачиваемой и
все более
зыбкой

[1] Этторе Серра (1890—1961) — итальянский поэт. Во время первой мировой войны был лейтенантом итальянской армии. Познакомившись на фронте со стихами Унгаретти, издал в 1916 г. его сборник «Погребенный порт». *(Прим. перев.)*

ФРАНЦ КАФКА

Замок

РОМАН

Перевод с немецкого Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ

17

Тайна Амалии

«Суди сам,— сказала Ольга.— Впрочем, все как будто очень просто, сразу и не понять, как это может иметь такое большое значение. В Замке есть один важный чиновник, его зовут Сортини». «Слышал я о нем,— сказал К.— Он имел отношение к моему вызову». «Не думаю,— сказала Ольга.— Сортини почти никогда официально не выступает. Не перепутал ли ты его с Сордини, через «д»?» «Ты права,— сказал К.,— то был Сордини». «Да,— сказала Ольга,— Сордини все знают, он один из самых деятельных чиновников, о нем много говорят. Сортини же, напротив, держится особняком, его никто не знает. Года три назад, а то и больше, я видела его в первый раз и в последний раз. Это было третьего июля, в праздник пожарной команды, и Замок тоже принял участие, оттуда прислали в подарок новый насос. Сортини, как говорят, отчасти занимается пожарными делами (впрочем, может быть, он кого-то замещал, обычно чиновники замещают друг друга, поэтому так трудно определить должность того или другого). Так вот, Сортини принимал участие в передаче насоса, ну, конечно, из Замка пришло много народу — и чиновников и слуг,— и Сортини, как и можно было ожидать от человека с его характером, держался совершенно в стороне. Он мал ростом, тщедушен, сосредоточен на себе, но что особенно бросалось в глаза тем, кто его вообще замечал, так это его морщины, их у него было множество, хотя ему, наверное, было не больше сорока, и все они шли веером со лба к носу, я никогда в жизни ничего подобного не видела. Ну вот, значит, наступил этот праздник. Мы с Амалией уже за несколько недель радовались, переделали свои праздничные платья по-иовому, особенно красивое платье было у Амалии: белая блузка, спереди вся пышная, кружева на ней в несколько рядов, матушка отдала ей все свои кружева, я ей тогда позавидовала и проплакала полночи. Только тогда хозяйка постоялого двора «У моста» пришла посмотреть на нас...» «Хозяйка «У моста»? — спросил К. «Да,— сказала Ольга,— она тогда очень дружила с нами, вот она и пришла, приз-

Окончание. Начало см. в № 1, 2.

нала, что Амалия одета куда лучше меня, и чтобы меня успокоить, одолжила мне свои бусы из богемских гранатов. А когда мы уже были готовы и Амалия стояла передо мной, а все на нее залюбовались и отец сказал: «Наверное, Амалия сегодня найдет жениха!»— я вдруг, сама не знаю почему, сняла с себя бусы, мою гордость, и уже без всякой зависти надела на Амалию. Я преклонялась перед ее победой и считала, что все должны перед ней преклоняться; может быть, всех нас поразило, что она выглядит совсем не так, как всегда, ведь, в сущности, красивой ее назвать нельзя, но сумрачный взгляд, сохранившийся у нее с тех пор, витал где-то высоко над нами и невольно заставлял и в самом деле чуть ли не преклоняться перед ней. Это заметили все, даже Лаземан с женой, которые пришли за нами». «Лаземан?»— переспросил К. «Да, Лаземан,— сказала Ольга.— Ведь мы были окружены почетом, и праздник, например, без нас никак не мог бы начаться, потому что отец был третьим инструктором пожарной команды». «Неужели отец тогда был еще настолько бодр?»— спросил К. «Отец? — переспросила Ольга, словно не понимая.— Да ведь три года назад он был сравнительно молодым человеком — например, во время пожара в гостинице он вынес бегом на спине одного чиновника, Галатера, весьма тяжелого человека. Я сама была при этом, правда, настоящего пожара не было, только сухие дрова у печки занялись и задымили, но Галатер перепугался, закричал из окна: «Помогите!»— приехали пожарные, и отцу пришлось его вынести, хотя огонь уже потушили. Но Галатер — весьма неподвижный мужчина, и в таких случаях отцу приходилось соблюдать осторожность. Все это я рассказываю только из-за отца, но с тех пор прошло не больше трех лет, а ты посмотри, каким теперь он стал». Только тут К. увидел, что Амалия уже вернулась в комнату, но она была далеко, около стола родителей, и там кормила мать с ложки — та из-за ревматизма не могла шевелить руками — и при этом уговаривала отца потерпеть с едой, сейчас она и к нему подойдет, и его тоже накормит. Но отец, не обращая внимания на ее уговоры, с жадностью старался подобраться к супу, и, пересиливая свою слабость, он то пробовал хлебать суп ложкой, то пить его прямо из тарелки и сердито ворчал, когда ему ни то ни другое не удавалось: суп выливался, пока он подносил ложку ко рту, а в суп попадали лишь его свисающие усы, и брызги летели во все стороны, только не ему в рот. «И до этого его довели за три года?»— спросил К., все еще испытывая к старикам и ко всему, что было у стола, не жалость, а отвращение. «Да, за три года,— сказала Ольга,— вернее, за те несколько часов, что длился праздник. Праздник шел на лугу, близ деревни, у ручья; когда мы пришли, была уже страшная давка, собралось много народу из соседних деревень, от шума кружилась голова. Сначала, конечно, отец подвел нас к новому насосу, он засмеялся от радости, когда увидел его, так он был счастлив, что прислали новый насос, он стал его ощупывать и объяснять нам его устройство, сердился, если другие вмешивались и перебивали его, а когда ему хотелось показать нам что-то под насосом, он заставлял нас нагибаться и чуть ли не залезать вниз, он даже отшлепал Варнаву, когда тот не захотел лезть туда. Только Амалия никакого внимания на этот насос не обращала, она стояла в своем красивом платье не двигаясь, и никто не смел сделать ей замечание, иногда я подбегала к ней, брала ее под руку, но она молчала. Я до сих пор никак не могу понять, почему вышло так, что мы долго стояли у насоса, и только когда отец наконец отошел, мы увидели Сортини, хотя он, очевидно, все это время стоял позади насоса, прислонясь к рукоятке. Правда, вокруг был ужасный шум, и не просто такой, какой всегда бывает на праздниках. Дело в том, что из Замка прислали в подарок пожарникам еще и несколько духовых инструментов, совсем особенных, из таких труб даже ребенок без малейших усилий может извлекать самые дикие звуки, услышишь их — и кажется, что нагрянули турки, и привыкнуть к этой музыке было немыслимо, при каждом звуке так и вздрагиваешь. И оттого, что трубы были новые, каждому хотелось их попробовать, а раз это был народный праздник, то всем и разрешали в них дуть. Вокруг нас теснилось несколько таких трубачей, может быть, их привлекла Амалия, собраться с мыслями было просто невозможно, а тут еще отец приказывал внимательно осматривать насос, оттого и Сортини, которого мы раньше и не знали, так долго оставался для нас незамеченным. «Вон стоит Сортини»,— шепнул наконец отцу Лаземан, я стояла рядом. Отец низко поклонился и сделал нам знак — поклониться Сортини. Отец хотя и не знал его раньше, но глубоко уважал как знатока пожарного дела и часто говорил об этом дома, потому для нас было большой неожидан-

ностью и большим событием, что мы вдруг увидали живого Сортини. Но Сортини не обратил на нас внимания — не по личной прихоти, а как все чиновники, он выказывал полное безразличие к людям. Кроме того, он очень устал, и только служебный долг удерживал его тут, внизу; иным представительство бывает в тягость, но это вовсе не значит, что они — из самых плохих чиновников; другие чиновники и слуги, раз они пришли сюда, смешаются с толпой, с народом, но Сортини стоял у насоса, и всякого, кто пытался подойти к нему с какой-нибудь просьбой или лестью, он отпугивал своим молчанием. Поэтому он нас заметил еще позже, чем мы его. И только когда мы почтительно поклонились и отец стал извиняться за нас, он посмотрел на нас, взглянул на всех по очереди усталыми глазами; казалось, он вздыхает оттого, что мы подходим друг за другом, пока его взгляд не остановился на Амалии, на которую ему пришлось поднять глаза, потому что она куда выше его. Тут он опешил, перескочил через рукоятку насоса, чтобы подойти поближе к Амалии, и мы, не разобрав, в чем дело, все, во главе с отцом, двинулись было ему навстречу, но он остановил нас, подняв руку, а потом махнул, чтобы мы уходили. Вот и все. Мы стали ужасно дразнить Амалию, что она наконец нашла жениха, и очень веселились весь день, ничего не подозревая. Но Амалия стала молчаливее, чем обычно. «Видно, она по уши влюбилась в Сортини»,— сказал Брунсвик; ведь он человек грубый и таких людей, как Амалия, никак не понимает; но на этот раз нам показалось, что он почти прав, вообще мы весь день дурачились, и все, даже Амалия, были словно оглушены сладким вином из Замка, когда за полночь вернулись домой». «А Сортини?»— спросил К. «Да, Сортини,— сказала Ольга.— Несколько раз я видела Сортини мимоходом, во время праздника, он сидел на рукоятке насоса, скрестив руки на груди, и не двигался, пока за ним не приехал экипаж из Замка. Даже на маневры пожарных он не пошел, а наш отец, надеясь, что Сортини на него смотрит, превзошел всех мужчин своего возраста». «И вы больше о нем ничего не слышали?— спросил К.— Ведь ты, кажется, очень его почитаешь?» «Да, почитаю,— сказала Ольга,— а услыхали мы о нем скоро. На следующее утро нас, с похмелья, разбудил крик Амалии, все тут же заснули снова, только я проснулась окончательно и подбежала к Амалии. Она стояла у окна, держа в руках письмо — его подал через окошко какой-то мужчина, он ждал ответа. Амалия уже прочла письмо — оно было короткое — и держала его в опущенной руке; я всегда любила ее, когда видела такой усталой! Я встала на колени и прочла письмо. И только я успела его прочесть, как Амалия, взглянув на меня, подняла руку с письмом, но не смогла заставить себя перечитать его и разорвала на клочки, бросила в лицо мужчине, ждавшему за окном, и захлопнула окошко. Это утро оказалось решающим. Я называю его решающим, хотя весь предыдущий день, каждая его минута были не менее решающими». «А что было в письме?»— спросил К. «Да я же еще об этом ничего не сказала,— ответила Ольга,— письмо было от Сортини, адресовано девушке с гранатовыми бусами. Передать содержание я не в силах. Это было требование явиться к нему в гостиницу, причем Амалия должна была идти туда немедленно, так как через полчаса Сортини уезжал. Письмо было написано в самых гнусных выражениях, я таких никогда и не слыхала, и поняла их лишь наполовину по догадке. Кто не знал Амалии, тот, наверно, счел бы обесчещенной девушку, которой смеют так писать, даже если бы до нее никто и не дотрагивался. И письмо было не любовное, без единого ласкового слова, наоборот, Сортини явно злился, что встреча с Амалией так его задела, оторвала от его обязанностей. Мы потом сообразили, что Сортини, вероятно, хотел уже с вечера уехать в Замок и только из-за Амалии остался в Деревне, а утром, рассердившись, что ему и за ночь не удалось забыть Амалию, написал ей письмо. Такое письмо возмутило бы любую девушку, даже самую хладнокровную, но потом, быть может, другую, не похожую на Амалию, одолел бы страх из-за гневного, угрожающего тона письма, а вот у Амалии оно вызвало только возмущение, страха она не знает — ни за себя, ни за других. И когда я снова забралась в кровать, повторяя про себя отрывок фразы, которой кончалось письмо: «... и чтобы ты немедленно явилась, не то...»— Амалия все стояла у окна и выглядывала во двор, словно ждала других посланцев и готова была со всеми обойтись как с первым». «Так вот они какие, чиновники,— нерешительно сказал К.,— значит, есть среди них и такие экземпляры. А что же сделал твой отец? Надеюсь, он пожаловался на Сортини в соответствующие инстанции, если только он не предпочел более короткий и верный путь — пря-

мо пойти в гостиницу. Но самое отвратительное во всей этой истории совсем не обида, которую нанесли Амалии, обиду легко исправить, не понимаю, почему ты именно этому придаешь такое преувеличенное значение; почему это Сортини навек опозорил Амалию своим письмом, а так можно подумать по твоему рассказу, но ведь это совершенно нелепо, и вовсе не трудно было добиться для Амалии полного удовлетворения, и через два-три дня вся история была бы забыта; Сортини вовсе не Амалию опозорил, а себя самого. И меня пугает именно Сортини, пугает самая возможность такого злоупотребления властью. То, что не удалось в этом случае, потому что было высказано слишком ясно и отчетливо и нашло у Амалии решительный отпор. то в тысяче других случаев, при других, менее благоприятных обстоятельствах, могло бы вполне удаться, причем незаметно для всех, даже для пострадавшей».

«Тише,— сказала Ольга,— Амалия сюда смотрит». Амалия уже накормила родителей и теперь стала раздевать мать, она только что развязала ей юбку, закинула руки матери себе на шею, слегка приподняла ее, сняла с нее юбку и осторожно посадила на место. Отец, всегда недовольный тем, что мать обслуживали раньше, чем его,— конечно, потому, что мать была гораздо беспомощнее его,— попытался раздеться сам, очевидно намереваясь попрекнуть дочь за ее воображаемую медлительность, но, хотя он начал с самого легкого и второстепенного, ему никак не удалось снять громадные ночные туфли, в которых болтались его ступни; хрипя и задыхаясь, он наконец отказался от всяких попыток и снова застыл в своем кресле.

«Самого важного ты не понимаешь,— сказала Ольга,— может быть, в остальном ты прав, но самое важное то, что Амалия не пошла в гостиницу; то, как она обошлась с посыльным, еще сошло бы, это можно было бы замять, но тем, что она не пошла, она навлекла проклятие на нашу семью, а при этом и ее обращение с посланцем сочли непростительным, более того, официально это обвинение и было выдвинуто на первый план». «Как!— крикнул К. и сразу понизил голос, когда Ольга умоляюще подняла руку.— Уж не хочешь ли ты, ее сестра, сказать, что Амалия должна была послушаться Сортини и побежать к нему в гостиницу?» «Нет,— сказала Ольга,— упаси меня бог от такого подозрения, как ты мог даже подумать? Я не знаю человека, который во всех своих поступках был бы более прав, чем Амалия. Правда, если бы она пошла в гостиницу, я бы и тут оправдала ее, но то, что она туда не пошла, я считаю ее геройством. Но насчет себя скажу тебе откровенно: если бы я получила такое письмо, я пошла бы туда непременно. Я не вынесла бы страха перед тем, что мне грозило, это могла только Амалия. Однако выходов было много: другая, например, нарядилась бы, потратила на это какое-то время, потом отправилась бы в гостиницу, а там узнала, что Сортини уже уехал, ведь могло быть и так, что, отослав письмо, он тут же и уехал, это вполне возможно, у господ настроение переменчивое. Но Амалия поступила иначе, совсем не так, слишком сильно ее обидели, оттого она и ответила без раздумья. Но если бы она для видимости послушалась и перешагнула бы тогда порог гостиницы, то можно было избежать, отвести все обвинения, тут у нас есть умнейшие адвокаты, они умеют любую мелочь употребить на пользу, но ведь в этом случае даже такой благоприятной мелочи не было. Напротив, тут было и неуважение к письму Сортини, и оскорбление посыльного». «Но при чем тут какие-то обвинения, при чем тут адвокаты? Неужто из-за преступного поведения Сортини можно было в чем-то обвинить Амалию?» «Конечно, можно,— сказала Ольга.— Разумеется, не по суду, да и наказать ее непосредственно не наказывали, но все же и ее, и всю нашу семью наказали другим способом, а насколько это наказание сурово, ты, наверно, уже стал понимать. Тебе это кажется чудовищным и несправедливым, но так во всей Деревне считаешь только ты единственный, для нас такое мнение очень благоприятно, оно бы нас очень утешало, если бы не покоилось на явных заблуждениях. Это я могу легко доказать тебе, извини, если при этом я заговорю о Фриде, но между Фридой и Кламмом тоже вышла — не считая конечного результата — очень похожая история, совсем как между Амалией и Сортини, однако ты, хотя сначала и перепугался, теперь считаешь, что все правильно. И это не значит, что ты ко всему привык, нельзя так отупеть, чтобы ко всему привыкнуть. Производя оценку, ты просто отказываешься от прежних ошибок». «Нет, Ольга,— сказал К.— Не понимаю, зачем ты втягиваешь Фриду в это дело, там случай совсем другой, перестань путать такие разные вещи и рассказывай дальше». «Прошу тебя,— сказала Ольга,— не ошибайся,

если я буду настаивать на сравнении, ты все еще заблуждаешься, и по отношению к Фриде тоже, когда думаешь, что надо защищать ее, не позволяя никаких сопоставлений. Да ее и защищать не приходится, ее надо хвалить. И если я сравниваю эти два случая, то вовсе не говорю, что они похожи, они все равно что черное и белое, и белое тут — Фрида. В худшем случае над Фридой можно посмеяться — я сама тогда, в пивном зале, так невоспитанно смеялась и потом об этом жалела, впрочем, тут у нас, если кто смеется, значит, злорадствует или завидует, но все же над ней можно посмеяться. Но Амалию — если ты только с ней кровно не связан — можно, только презирать. Потому-то оба случая хоть и разные, как ты говоришь, но вместе с тем они и похожи». «Нет, они не похожи,— сказал К., недовольно покачав головой.— Оставь ты Фриду в покое. Фрида не получала таких милых писулек, как Амалия от Сортини, и Фрида по-настоящему любила Кламма, а кто не верит, пусть спросит у нее самой, она его и сейчас любит». «Да разве это большая разница?— спросила Ольга.— Неужели, по-твоему, Кламм не мог написать Фриде такое же письмо? Когда эти господа отрываются от своих письменных столов, они все становятся такими, им никак не приладиться к жизни, они тогда могут в рассеянности и нагрубить, правда не все, но многие. Может быть, письмо к Амалии он набрасывал рассеянно, совершенно не размышляя над тем, что выходило на бумаге. Откуда нам знать мысли господ? Разве ты сам не слышал или тебе не рассказывали, каким тоном Кламм разговаривает с Фридой. Всем известно, какой Кламм грубиян, говорят, что он часами молчит и вдруг скажет такую грубость, что оторопь берет. Про Сортини ничего такого неизвестно, потому что он сам никому неизвестен. В сущности, про него только то и знают, что его имя похоже на имя Сордини, и если бы не это сходство в именах, его вообще никто не знал бы. Да и как специалиста по пожарному делу его, наверно, тоже путают с Сордини, тот и есть настоящий специалист, и сам пользуется сходством их имен, чтобы свалить на Сортини представительские обязанности, а самому спокойно работать. А когда у такого неопытного в обыденной жизни человека, как Сортини, вдруг вспыхивает любовь к деревенской девушке, чувство, конечно, принимает иную форму, чем когда влюбляется какой-нибудь столяр-подмастерье. И кроме того, надо помнить, что между чиновником и дочкой сапожника — огромная пропасть и через нее надо как-то перебросить мост, вот Сортини и пытался сделать это по-своему, другой, может быть, поступил бы иначе. Правда, считается, что мы все принадлежим Замку, и никакой пропасти нет, и никаких мостов строить не надо, может быть, в обычных условиях это и так, но, к сожалению, у нас была возможность убедиться, что, когда с этим столкнешься, все обстоит иначе. Во всяком случае, теперь тебе поведение Сортини должно стать понятнее и не казаться таким уж чудовищным, да это и на самом деле так; по сравнению с поведением Кламма все куда понятнее, а заинтересованному лицу перенести его гораздо легче. Если Кламм напишет самое нежное письмо, оно будет неприятней, чем самое грубое письмо Сортини. Пойми меня правильно, ведь я не смею судить о Кламме, я только их сравниваю оттого, что ты противишься всякому сравнению. Ведь Кламм — командир над женщинами, он приказывает то одной, то другой явиться к нему, никого долго не терпит, и как приказал явиться, так приказывает и убраться. Ах, да Кламм и труда себе не даст писать письма. И неужто по сравнению с этим тебе еще кажется чудовищным, когда такой, живущий в полном уединении человек, как Сортини, чье отношение к женщинам вообще никому неизвестно, вдруг садится и своим красивым чиновничьим почерком пишет письмо, хотя и отвратительное. А если доказано, что Кламм ничуть не лучше Сортини, а скорее наоборот, так неужели любовь Фриды может что-нибудь изменить в пользу Кламма? Поверь, отношение женщин к чиновникам определить очень трудно или, вернее, всегда очень легко. В любви тут недостатка нет. Несчастной любви у чиновников не бывает. Поэтому ничего похвального нет, если про девушку скажут — и я говорю далеко не только о Фриде,— что она отдалась чиновнику только потому, что любила его. Да, она его любила и отдалась ему, так оно и было, но хвалить ее за это нечего. Но Амалия-то не любила Сортини, скажешь ты. Ну да, она его не любила, а может быть, и любила, кто разберет. Даже она сама не разберется. Как она может решить — любила она или нет, когда она сразу его так оттолкнула, как еще ни одного чиновника никогда не отталкивали? Варнава говорит, что ее и сейчас иногда дрожь берет, стоит ей вспомнить, как она тогда, три года назад, захлопнула окошко. И это правда, вот почему ее ни о чем нельзя

спрашивать. Она покончила с Сортини и больше ничего не знает, а любит она его или нет — ей неизвестно. Но мы-то все знаем, что женщины не могут не любить чиновников, когда те вдруг обратят на них внимание; более того, они уже любят чиновников заранее, хоть и пытаются отнекиваться, а ведь Сортини не только обратил внимание на Амалию — он даже перепрыгнул через рукоять насоса ногами, онемевшими от сидения за письменным столом, он перепрыгнул через рукоять! Но, как ты сказал, Амалия — исключение. Да, она это подтвердила, когда отказалась пойти к Сортини, уж это ли не исключение? Но если бы она, кроме того, и не любила Сортини, но тут исключение стало бы из ряда вон выходящим, это и понять было бы невозможно. Конечно, в тот день на нас нашло какое-то затмение, но и тогда, словно в тумане, мы как будто углядели в Амалии какую-то влюбленность, и это показывает, что мы хоть немного, но соображаем. И если теперь все сопоставить, какая же разница останется между Амалией и Фридой? Только та, что Фрида сделала то, от чего Амалия отказалась». «Возможно,— сказал К.,— но для меня главная разница в том, что Фрида — моя невеста, Амалия же в основном интересует меня только потому, что приходится сестрой Варнаве — посыльному из Замка, и судьба ее, быть может, связана со службой Варнавы. Если бы какой-то чиновник нанес ей такую вопиющую обиду, как мне сначала показалось по твоему рассказу, меня бы это очень затронуло, но и то больше как общественное явление, чем как личная обида Амалии. Но теперь, по твоему же рассказу, картина совершенно изменилась, правда, не совсем для меня понятным образом. Тебе как рассказчику я доверяю и потому охотно готов совсем пренебречь этой историей, тем более что я не пожарник и меня Сортини никак не касается. А вот Фрида меня касается, потому мне и странно, что ты, кому я так доверял и всегда готов доверять, все время какими-то косвенными путями, ссылаясь на Амалию, пытаешься нападать на Фриду, вызвать во мне подозрения. Не хочу думать, что ты это делаешь с умыслом, тем более со злым умыслом, иначе мне давно следовало бы уйти. Нет, тут у тебя никакого умысла нет, просто обстоятельства тебя к этому вынуждают: из любви к Амалии ты хочешь возвысить ее, вознести над всеми женщинами, а так как для этого ты в самой Амалии ничего особо похвального найти не можешь, то выручаешь себя тем, что принижаешь других женщин. Поступила Амалия всем на удивление, но чем больше ты об этом поступке рассказываешь, тем труднее решить — значителен он или ничтожен, умен или глуп, героичен или труслив, потому что Амалия глубоко в душе затаила причину своего поступка, никому у нее ничего не выведать. Фрида же, напротив, ничего удивительного не сделала, она только последовала зову сердца, что ясно всякому, кто подойдет к ее поступку доброжелательно, каждый может это проверить, сплетням тут места нет. Но я-то не желаю ни унижать Амалию, ни защищать Фриду, я только хочу тебе разъяснить, каковы наши с Фридой отношения и почему всякое нападение на Фриду, всякая угроза Фриде угрожает и моему существованию. Я прибыл сюда по доброй воле и по доброй воле тут остался, но все, что произошло за это время, и особенно мои виды на будущее — хотя они и туманны, но имеются,— всему этому я обязан Фриде, чего и оспаривать никак нельзя. Меня, правда, приняли в качестве землемера, но все это одна видимость, со мной ведут игру, меня гонят из всех домов, со мной и сегодня ведут игру, но насколько теперь это делается обстоятельнее, видимо, я для них стал чем-то более значительным, а это уже что-то значит, теперь у меня есть и хоть и невзрачный, но все же дом, служба, настоящая работа, есть невеста, она берет на себя часть моих обязанностей, когда я занят другими делами, я на ней собираюсь жениться, стать членом общины, у меня кроме служебных отношений есть и личная, правда до сих пор не использованная, связь с Кламмом. Разве этого мало? А когда я прихожу к вам, кого вы приветствуете? Кому рассказываете историю своей семьи? От кого ты ждешь возможности, пусть мизерной, пусть маловероятной, возможности получить какую-нибудь помощь? Уж конечно, не от меня, того самого землемера, которого, например, еще неделю тому назад Лаземан и Брунсвик силой вынудили покинуть их дом, нет, ты надеешься на помощь человека, который уже в состоянии что-то сделать, а этим я обязан Фриде, Фриде настолько скромной, что, попробуй спроси ее, так ли это,— и она наверняка скажет, что знать ничего не знает. И все же выходит, что Фрида в своем неведении больше сделала, чем Амалия при всей своей гордости: видишь ли, мне кажется, что помощи ты ищешь для Амалии. И у кого же? Да, в

сущности, разве не у той же Фриды?» «Неужто я так нехорошо говорила о Фриде?— сказала Ольга.— Я вовсе этого не хотела, думаю, что и не говорила, хотя все возможно, ведь положение у нас такое, что мы со всем светом в раздоре, а начнешь жаловаться — и тебя заносит бог знает куда. Конечно, ты и в этом прав, теперь между нами и Фридой огромная разница, и ты правильно подчеркнул это еще раз. Три года назад мы были дочками бюргера, а Фрида — сиротой, служанкой в трактире, мы проходили мимо, даже не глядя на нее; конечно, мы вели себя слишком высокомерно, но так нас воспитали. Однако в тот вечер, в гостинице, ты уж мог заметить, какие теперь сложились отношения: Фрида с хлыстом в руках, а я — в толпе слуг. Но дело обстоит еще хуже. Фрида может нас презирать, это соответствует ее положению, это вызвано теперешними обстоятельствами. Но кто нас только не презирает! Те, кто решает презирать нас, сразу попадают в высшее общество. Знаешь ли ты приемницу Фриды? Ее зовут Пепи. Только позавчера вечером я с ней познакомилась, раньше она служила горничной. Так вот, она превзошла Фриду в презрении ко мне. Она увидела в окно, что я иду за пивом, побежала к двери и заперлась на ключ, мне пришлось долго просить ее, обещать ей ленту, которой я завязываю косу, пока она наконец не открыла мне. А когда я ей отдала эту ленту, она швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает меня, все-таки я как-то завишу от ее хорошего отношения, и она работает в буфете гостиницы, правда, только временно, нет в ней тех качеств, которые нужны для постоянной службы. Достаточно послушать, как хозяин разговаривает с этой Пепи, и сравнить, как он разговаривал с Фридой. Но это вовсе не мешает Пепи презирать Амалию, ту Амалию, от одного взгляда которой эта самая Пепи со всеми своими косичками и бантиками вылетела бы из комнаты во сто раз скорей, чем ее могли бы унести ее толстые ноги. А какую возмутительную болтовню про Амалию мне пришлось снова выслушать от нее вчера вечером, пока посетители не вступились за меня, хоть и вступились они так, как ты тогда вечером видел». «До чего ты напугана,— сказал К. — Ведь я только поставил Фриду на подобающее ей место, но вовсе не собирался вас принижать, как ты себе представляешь. Конечно, и я чувствую в вашей семье что-то необычное, но почему это может стать поводом к презрению — я не понимаю». «Ах, К.,— сказала Ольга,— боюсь, что ты еще поймешь почему. Неужели тебе никак не понятно, что поступок Амалии был причиной того, что все стали презирать нас?» «Это было бы слишком странно,— сказал К. — Можно восхищаться Амалией или осуждать ее, но презирать? А если даже по непонятным мне причинам Амалию действительно презирают, то почему же это презрение распространяется на всех вас, на вашу ни в чем не повинную семью? То, что тебя, например, презирает Пепи, просто безобразие, и если я когда-нибудь попаду в ту гостиницу, я ее проучу!» «Нелегкая была бы у тебя работа, К.,— сказала Ольга,— если бы ты взялся переубеждать всех, кто нас презирает, ведь все исходит из Замка. Мне хорошо помнится утро следующего дня. Брунсвик — он тогда был у нас подмастерьем — пришел, как всегда, отец выдал ему работу и отправил его домой, и все сели завтракать, мы с Амалией тоже, нам было весело, отец, не умолкая, рассказывал о празднике, у него были всякие планы насчет пожарной дружины, ведь в Замке своя пожарная дружина, они прислали на этот праздник и свою команду, с ними вели всякие переговоры, а господа, присутствовавшие там, видели учения нашей команды и очень лестно отозвались о ней, сравнивали с выступлением команды из Замка, и сравнение было в нашу пользу, начался разговор о реорганизации команды из Замка, им понадобились бы инструкторы из Деревни, тут речь пошла о нескольких людях, но отец понадеялся, что выбор падет на него. Об этом он и рассказывал, и по своей добродушной привычке — рассиживаться за столом — он сидел, раскинув руки, обхватив стол за всю ширь, и когда он подымал глаза к окну и смотрел в небо, лицо у него было такое молодое, такое радостное и полное надежды, каким мне с тех пор уже не суждено было видеть его. И тут Амалия с непривычной для нее сосредоточенностью сказала, что господским речам особенно доверять не стоит, в подобных обстоятельствах господа любят говорить что-нибудь приятное, но все это имеет мало значения или вовсе ничего не значит, они только скажут и тут же забудут навсегда, правда, в следующий раз можно попасться на эту же приманку. Мать запретила ей такие разговоры, отец посмеялся над ее скороспелыми мудрствованиями, но вдруг запнулся, казалось, он что-то ищет, словно вдруг чего-то хватился, но тут же вспомнил: Брунсвик ему рассказывал про какого-то посыльного, про какое-то разорванное письмо, и отец спросил: знаем ли мы об

этом, и кого это касается, и что произошло. Мы промолчали. Варнава — он тогда был проказлив, как молодой барашек,— сказал что-то совершенно глупое или дерзкое, мы заговорили о другом, и все позабылось».

18

Наказание для Амалии

«Но вскоре на нас со всех сторон посыпались вопросы насчет письма, стали приходить друзья и враги, знакомые и чужие; но никто не задерживался, и лучшие друзья больше всех торопились распрощаться. Лаземан, обычно такой медлительный и важный, вошел, как будто хотел проверить, какого размера наша комната, окинул ее взглядом, и все похоже было на страшную детскую игру, когда Лаземан стал уходить, а отец, отмахиваясь от обступивших его людей, поспешил было за ним до порога и потом остановился. Пришел Брунсвик и отказался от работы, сказал совершенно честно, что хочет работать самостоятельно. Умная голова, сумел использовать подходящий момент. Приходили заказчики, выискивали у отца в кладовой свою обувь, которую отдали ему в починку, сначала отец пробовал оттоваривать заказчиков — и мы его поддерживали как могли,— но потом он отступился и молча помогал людям разыскивать обувь, в книге заказов вычеркивалась строчка за строчкой, запасы кожи, сделанные нам, выдавались обратно, долги выплачивались, все шло без малейших пререканий, все были довольны, что удалось так быстро и навсегда порвать отношения с нами, и даже если кто-то терпел убыток, это ни во что не считалось. И наконец, как можно было предвидеть, появился Зееман, начальник пожарной дружины; вижу, как сейчас, всю эту сцену: Зееман, огромный, сильный, но слегка сгорбленный, из-за болезни легких, всегда серьезный — он совсем не умел смеяться,— стоит перед моим отцом, которым он вечно восхищался и даже в дружеской беседе обещал ему должность заместителя начальника пожарной дружины, а теперь пришел объявить, что дружина освобождает его и просит вернуть диплом пожарника. Все, кто был в нашем доме, побросали свои дела и столпились вокруг этих двух мужчин. Зееман не может выговорить ни слова, только все похлопывает отца по плечу, будто хочет выколотить из него те слова, какие он сам должен сказать, но найти не может. При этом он все время смеется — видно, хочет этим успокоить и себя и всех других, но так как он смеяться не умеет и люди никогда не слышали, чтобы он смеялся, никому и в голову не приходит, что это смех. А наш отец за этот день уж так устал, так расстроился, что ничем помочь не может, и кажется, что он до того утомился, что вообще не соображает, что тут происходит. И все мы тоже были расстроены не меньше его, но по молодости мы никак не могли поверить в полный крах, мы все время думали, что среди посетителей наконец найдется человек, который прикажет всем остановиться и повернет все обратно. Нам, по нашему недомыслию, казалось, что Зееман особенно подходит для такой роли. С напряжением ждали мы, что сквозь этот непрестанный смех наконец прорвется разумное слово. Над чем же и можно было смеяться, как не над глупейшей несправедливостью по отношению к нам. Господин начальник, господин начальник, думали мы, да скажите же вы наконец этим людям все, и мы теснились поближе к нему, но от этого он только нелепо топтался на месте. Наконец он все-таки заговорил, хотя и не для исполнения наших тайных желаний, а повинуясь подбодряющим или недовольным возгласам окружающих. Мы все еще надеялись на него. Он начал с высоких похвал отцу. Он назвал его украшением дружины, недосягаемым примером для потомков, незаменимым членом общества, чья отставка пагубно отзовется на дружине. Все было бы прекрасно, если б он на этом закончил! Но он продолжал говорить. Если теперь члены дружины все же решились просить отца, конечно временно, уйти в отставку, то надо понять серьезность причин, заставивших их сделать это. Если бы не блестящие достижения отца на вчерашнем празднике, дело не зашло бы так далеко, но именно эти его блестящие достижения особенно привлекли к нему внимание властей; теперь на дружину направлены все взгляды, и еще больше, чем прежде, она должна охранять свою незапятнанную репутацию. Однако случилось так, что обидели посыльного из Замка, и теперь дружина не нашла другого выхода, а он, Зееман, взял на себя тяжкую обязанность объявить об этом отцу. И пусть отец не затрудняет ему выполнение этой тяжелой обязанности. И как же Зееман был рад, что наконец все выложил; в уверенности, что все сделано, он

отбросил излишнюю щепетильность и, указывая на диплом, висевший на стене, пальцем поманил его к себе. Отец кивнул и пошел снимать диплом, но руки у него так дрожали, что он не мог снять его с гвоздя, тогда я забралась на стол и помогла ему. С этой минуты все было кончено, отец даже не вынул диплома из рамки, а так целиком и отдал Зееману. Потом сел в угол и больше не шевелился, ни с кем не разговаривал, так что мы сами как умели рассчитались со всеми клиентами». «Но в чем же ты тут видишь влияние Замка? — спросил К.— Пока что никакого вмешательства оттуда не видно. Пока что по твоему рассказу виден только бессмысленный страх людей, их злорадство по поводу неудач ближнего, ненадежность их дружбы, а это встречается всюду. Твой отец, как мне кажется, проявил некоторую мелочность: что такое, в сущности, этот диплом? Только подтверждение его способностей, но их-то он не лишился. Если эти способности сделали его незаменимым, тем лучше, и этот начальник попал бы в весьма неловкое положение, если бы твой отец при первых же его словах просто швырнул ему диплом под ноги. Но самым существенным мне кажется то, что ты даже не упомянула об Амалии, а сама Амалия, которая все это наделала, наверно, стояла спокойно в стороне и смотрела на все это опустошение?» «Нет,— сказала Ольга,— упрекать никого нельзя, никто не мог поступить по-другому, тут уже действовало влияние Замка». «Влияние Замка,— повторила Амалия, незаметно вошедшая со двора; родители давно легли спать.— Рассказывает всякие сказки про Замок? Все еще сидите тут вместе? Ведь ты, К., хотел сразу распрощаться с нами, а сейчас уже десятый час. Разве тебя вообще волнуют все эти истории? Тут есть люди, которые такими историями просто питаются, сядут рядком, вот как вы сейчас сидите, и угощают друг дружку россказнями; но ты, по-моему, к таким людям не принадлежишь». «Вот именно,— сказал К.,— принадлежу, а люди, которых такие истории не волнуют и которые предоставляют другим волноваться, меня никак не интересуют». «Да, конечно,— сказала Амалия,— но заинтересованность у людей тоже бывает разная, я слыхала об одном молодом человеке, который день и ночь думал только о Замке, все остальное забросил, боялись за его умственные способности, потому что все его мысли были там, наверху, в Замке. Но в конце концов выяснилось, что думал он вовсе не обо всем Замке, а о дочке какой-то уборщицы из канцелярий, наконец, он заполучил ее, тогда все стало на место». «Думаю, что этот человек мне бы понравился»,— сказал К. «Сомневаюсь, чтобы этот человек тебе понравился,— сказала Амалия.— Вот его жена — возможно! Ну не стану вам мешать, пойду спать, и огонь придется потушить, из-за родителей: обычно они сразу засыпают очень крепко, но через час настоящему сну уже конец, и тогда им мешает даже самый слабый отсвет. Спокойной ночи!» И действительно, сразу стало темно. Амалия, очевидно, постлала себе где-то на полу, поближе к родительской кровати. «А что это за молодой человек, про которого она говорила?»— спросил К. «Не знаю,— сказала Ольга,— может быть, Брунсвик, хотя ему это не совсем подходит, может быть, и кто-то другой. Ее не так легко понять, потому что часто не знаешь, с насмешкой она говорит или всерьез. Чаще всегда она говорит серьезно, а звучит как насмешка». «Оставь этот тон! — сказал К.— И как ты попала в такую зависимость от нее? Неужели так уже было и перед всеми несчастьями? Или стало потом? Разве у тебя никогда не бывает желания стать независимой от нее? И наконец, имеет ли эта зависимость какие-то разумные основания? Она ведь младшая, сама должна слушаться старших. Виновата она или не виновата, но все несчастье на семью навлекла именно она. И вместо того, чтобы изо дня в день просить прощения у каждого из вас, она задирает голову выше всех, ни о чем не беспокоится, разве что из милости о родителях, не желает, как она выражается, чтобы ее посвящали во все эти дела, а когда она наконец удостаивает вас разговором, так хоть и говорит она серьезно, а ее слова звучат насмешкой. Может быть, она забрала власть своей красотой, о которой ты так часто упоминаешь? А ведь вы, все трое, очень похожи, однако то, чем она от вас обоих отличается, во всяком случае говорит не в ее пользу: уже с первого раза, как только я ее увидел, меня отпугнул ее тупой, неласковый взгляд. А потом — хоть она и младшая, но по ее внешности это никак не заметно, у нее вид безвозрастный, свойственный женщинам, которые хотя почти и не стареют, но и никогда, в сущности, не выглядят молодыми. Ты видишь ее каждый день, и ты едва ли замечаешь какое у нее жесткое лицо. Потому, если хорошенько подумать, я никак не могу принять всерьез влюбленность Сортини; может быть, он этим письмом хотел ее только обидеть, а вовсе не позвать к себе?» «Про Сортини я разговаривать не хочу,— сказала Ольга,— от этих господ из Замка всего можно ожидать и самой красивой и самой безобразной девушке. Но во всем остальном насчет

Амалии ты совершенно ошибаешься. Пойми — у меня нет никаких оснований располагать тебя в пользу Амалии, и если я пытаюсь это сделать, то только ради тебя же. Амалия каким-то образом стала причиной всех наших несчастий, это верно, но даже отец, который тяжелее всех пострадал от этого, он, никогда не умевший выбирать слова и сдерживаться, особенно у себя дома, даже он в самые худшие времена никогда ни единым словом не попрекнул Амалию. И не потому, что одобрял ее поведение,— разве он, такой поклонник Сортини, мог это одобрить? — он и отдаленно не мог ее понять: он бы охотно пожертвовал для Сортини и собой, и всем, что у него было, правда, не так, как оно на самом деле случилось, когда Сортини, вероятно, очень разгневался. Говорю «вероятно», потому что мы больше ничего о Сортини не слыхали, и если он до сих пор жил замкнуто, то теперь как будто его и вовсе не стало. Но ты бы посмотрел на Амалию в те времена. Все мы знали, что никакого определенного наказания нам не будет. От нас все просто отшатнулись. И здешние люди, и весь Замок. Но если отчужденность здешних людей для нас, разумеется, была явной, то о Замке мы ничего не знали. Ведь Замок не причинял нам раньше никаких забот, как же мы могли заметить перемену? Но это молчание было хуже всего. Совсем не то, что отчужденность здешних людей, они же отошли от нас не по какому-то убеждению; может быть, ничего серьезного против нас у них и не было, тогда такого презрения, как нынче, никто еще не проявлял, они только из страха и отошли, а потом стали ждать, как все пойдет дальше. И нужды нам пока что бояться было нечего, все должники с нами расплатились, расчеты были в нашу пользу; если нам не хватало продуктов, нам тайком помогали наши родичи, это было нетрудно, только что собрали урожай, правда, у нас своего поля не было, а помогать в работе нас никто не звал, и мы впервые в жизни были вынуждены почти что бездельничать. Так мы и просидели всей семьей, при запертых окнах и дверях, всю июльскую и августовскую жару. И ничего не случалось. Никаких вызовов, никаких повесток, никаких известий, никаких посещений, ничего». «Ну, знаешь,— сказал К.,— раз ничего не случалось и никакое наказание вам не грозило, чего же тогда вы боялись? Что вы за люди!» «Как бы тебе это объяснить? — сказала Ольга.— Мы ведь боялись не того, что придет, мы уже страдали от того, что было, мы и теперь жили под наказанием. Ведь люди в Деревне только того и ждали, что мы к ним вернемся, что отец снова откроет мастерскую, что Амалия, которая прекрасно шила платья, снова станет брать заказы, разумеется, у самых знатных, ведь все люди сожалели о том, что они наделали: когда такое уважаемое семейство вдруг совершенно исключают из жизни в Деревне, каждый от этого что-то теряет, но они считали, что, отрекаясь от нас, они только выполняют свой долг — мы на их месте поступили бы точно так же. Они даже точно не знали, в чем дело, только тот посыльный вернулся в гостиницу, держа в кулаке клочки бумаги. Фрида видела, как он уходил, потом — как он пришел, перекинулась с ним несколькими словами и сразу разболтала всем то, что узнала, но опять-таки вовсе не из враждебных чувств по отношению к нам, а просто из чувства долга, на ее месте каждый счел бы это своим долгом. Но, как я уже говорила, людям больше всего пришелся бы по душе счастливый конец всей истории. Если бы мы вдруг пришли и объявили, что все уже в порядке, что, к примеру, тут произошло недоразумение и оно уже полностью улажено или что хотя тут и был совершен поступок, но он уже исправлен, больше того: людям было бы достаточно услышать, что нам благодаря нашим связям в Замке удалось замять эту историю, тогда нас наверняка приняли бы с распростертыми объятиями, целовали, обнимали, устраивали бы праздники, так уже не раз на моих глазах случалось с другими. Но даже и такие сообщения были не нужны, если бы мы только сами вышли к людям, решились бы восстановить прежние связи, не говоря ни слова об истории с письмом: этого было бы вполне достаточно, с радостью все отказались бы от всяких обсуждений, ведь тут, кроме страха, всем было ужасно неловко, потому от нас и так отшатнулись, чтобы ничего об этом деле не слышать, ничего не говорить, ничего не думать, чтобы не иметь к нему никакого касательства. Когда Фрида выдала все это дело, то сделала она так не из злорадства, а для того, чтобы и себя и других оградить от него, обратить внимание всей общины, что тут произошло нечто такое, от чего надо было самым старательным образом держаться подальше. Не мы, как семья, имели тут значение, а наша причастность ко всей этой постыдной истории. И если бы мы снова вышли на свет, оставили прошлое в покое, показали всем нашим видом, что мы замяли это дело — не важно, каким именно способом,— и убедили бы общественное мнение, что обо всей этой истории, в чем бы она ни заключалась, больше никогда не будет и речи, тогда все могло бы уладить-

ся, люди поспешили бы нам навстречу с прежней готовностью, и даже, если бы та история и не была окончательно забыта, люди поняли бы и это, помогли бы нам ее забыть. А вместо этого мы все сидели дома. Не знаю, чего мы дожидались! Наверно, какого-то решения Амалии; с того утра она захватила главенство в семье и без особых обсуждений, без приказаний, без просьб, одним молчанием крепко за него держалась. Правда, мы, все остальные, должны были о многом советоваться, мы шептались с утра до вечера, а иногда отец, внезапно испугавшись, подзывал меня к себе, и я полночи сидела на краю его кровати. А иногда мы забивались в угол с Варнавой, который сначала очень мало понимал и в беспрестанном запале требовал объяснений, всегда одних и тех же; видно, он уже знал, что беспечной жизни, ожидавшей его сверстников, ему уже не видать, и мы сидели вдвоем — точно так же, как сейчас с тобой, К.,— не замечая, как проходила ночь и наступало утро. Мать была самой слабой из нас, должно быть, потому, что она не только делила общее горе, но и страдала за каждого из нас, и мы со страхом видели в ней те изменения, которые, как мы предчувствовали, ждут всю нашу семью. Любимым ее местом был уголок дивана — теперь этого дивана давно уже у нас нет, он стоит в большой горнице у Брунсвика,— она сидела там, и мы хорошенько не знали, спит она или, судя по движению губ, ведет сама с собой бесконечные разговоры. Было вполне естественно, что мы непрестанно обсуждали историю с письмом, вдоль и поперек, со всеми известными нам подробностями и неизвестными последствиями, и, непрестанно соревнуясь друг с другом, придумывали, каким путем благополучно все разрешить, это было естественно и неизбежно, но и вредно, потому что мы без конца углублялись в то, о чем хотели позабыть. Да и какая польза была от наших, хотя бы и блестящих, планов? Ни один из них нельзя было выполнить без Амалии, все это была лишь подготовка, бессмысленная уже хотя бы потому, что до Амалии наши соображения никак не доходили, а если бы и дошли, то не встретили бы ничего, кроме молчания. К счастью, я теперь понимаю Амалию лучше, чем тогда. Она терпела больше нас всех. Непонятно, как она все это вытерпела и до сих пор осталась жива. Может быть, мать страдала за всех нас, столько напастей обрушилось на нее, но страдала она недолго; теперь уже никак нельзя сказать, что она страдает, но и тогда у нее уже мысли путались. Но Амалия не только несла все горе, но у нее хватало ума все понять, мы видели только последствия, она же видела суть дела, мы надеялись на какие-то мелкие облегчения, ей же оставалось только молчать, лицом к лицу стояла она с правдой и терпела такую жизнь и тогда и теперь. Насколько легче было нам при всех наших горестях, чем ей. Правда, нам пришлось покинуть наш дом, туда переехал Брунсвик, нам отвели эту хижину, и на ручной тележке мы в несколько приемов перевезли сюда весь наш скарб. Мы с Варнавой тащили тележку, отец с Амалией подталкивали ее сзади; мать мы перевезли прежде всего, и она, сидя на сундуке, встретила нас тихими стонами. Но я помню, как мы, даже во время этих утомительных перевозок — очень унизительных, так как нам навстречу часто попадались возы с полей, а их владельцы при виде нас отворачивались и отводили взгляд,— помню, как мы с Варнавой даже во время этих поездок не могли не говорить о наших заботах и планах, иногда останавливаясь посреди дороги, и только окрик отца напоминал нам о наших обязанностях. Но и после переселения никакие разговоры не могли изменить нашу жизнь, и мы только постепенно стали все больше и больше ощущать нищету. Помощь родственников прекратилась, наши средства приходили к концу, и как раз в это время усилилось то презрение к нам, которое ты уже заметил. Все поняли, что у нас нет сил выпутаться из истории с письмом, и за это на нас очень сердились. Они правильно расценивали тяжкую нашу судьбу, хотя точно ничего и не знали; они понимали, что сами вряд ли выдержали бы такое испытание лучше нас, но тем важнее им было отмежеваться от нас окончательно; преодолей мы все, нас бы, естественно, стали уважать, но раз нам это не удалось, люди решились на то, что до тех пор только намечалось: нас окончательно исключили из всех кругов общества. Теперь о нас уже не говорили как о людях, нашу фамилию никогда больше не называли, и если о нас заговаривали, то упоминали только Варнаву, самого невинного из нас, даже о нашей лачуге пошла дурная слава, и если ты проверишь себя, ты сознаешься, что и ты, войдя сюда впервые, подумал, что презрение это как-то оправданно; позже, когда к нам иногда стали заходить люди, они морщились от самых незначительных вещей, например, от того, как наша керосиновая лампочка висит над столом. А где же ей еще висеть, как не над столом, но им это казалось невыносимым. А если мы перевешивали лампу, их

отвращение все равно не проходило. Все, что у нас было и чем мы были сами, вызывало одинаковое презрение».

19

Прошение

«Что же мы делали все это время? Самое худшее, что только можно было делать, то, за что нас справедливее можно было презирать, чем за все другое. Мы предали Амалию, мы нарушили ее молчаливый приказ, мы больше не могли так жить, жизнь без всякой надежды стала невозможной, и мы начали каждый по-своему добиваться, чтобы в Замке нас простили, вымаливать прощение. Правда, мы знали, что нам ничего не исправить, знали, что единственная обнадеживающая связь, которая у нас была с Замком,— связь с Сортини, чиновником, благоволившим к отцу, стала для нас недоступной, но все же мы принялись за дело. Начал отец, начались его бессмысленные походы к старосте, к секретарям, к адвокатам, к писарям, обычно его нигде не принимали, а если удавалось хитростью или случаем пробиться — как мы ликовали при каждом таком известии, как потирали руки,— то его моментально выставляли и больше не принимали никогда. Да им и отвечать отцу было до смешного легко. Замку это всегда легко. Что ему, в сущности, надо? Что с ним случилось? За что он просит прощения? Когда и кто в Замке замахнулся на него хоть пальцем? Да, конечно, он обнищал, потерял клиентуру и так далее, но ведь это — явления повседневной жизни, все дело в состоянии рынка, в спросе на работу, неужели Замок должен во все вникать? Конечно, там вникают во все, но нельзя же грубо вмешиваться в ход жизни с единственной целью — соблюдать интересы одного человека. Что же — прикажете разослать отсюда чиновников, прикажете им бегать за клиентами вашего отца и силой возвращать их к нему?» «Да нет же,— прерывал их тогда отец, дома мы заранее с ним все обсудили и до его походов и после, обсуждали в уголке, словно прятались от Амалии, а она хоть и все замечала, но не вмешивалась.— Да нет же,— говорил им отец,— он ведь не жалуется, что мы обнищали, все, что он потерял, он легко наверстает, это все несущественно, лишь бы только его простили». «Но что же ему прощать? — отвечали ему.— Никаких доносов на него до сих пор не поступало, во всяком случае, в протоколах ничего такого нет, по крайней мере в тех протоколах, которые открыты для общественности. Значит, насколько можно установить, ни дела против него никто не возбуждал, ни намерений таких пока нет. Может быть, он скажет, были ли приняты против него какие-нибудь официальные меры? Или, быть может, имело место вмешательство официальных органов?» Об этом отец ничего не знал. «Ну вот видите, раз вы ничего не знаете и раз ничего не случилось, то чего же вы хотите? Что именно можно было бы вам простить? В крайнем случае, только то, что вы зря утруждаете власти, но это как раз и непростительно». Однако отец не сдавался, тогда у него было еще много сил, и вынужденное безделье оставляло ему много свободного времени. «Я восстановлю честь Амалии в самое ближайшее время»,— говорил он Варнаве и мне по нескольку раз в день потихоньку, потому что Амалия не должна была это слышать. Хотя говорилось это лишь для Амалии, потому что на самом деле он ни о каком восстановлении чести и не думал, а думал только о том, чтобы выпросить прощение. Но для этого ему надо было сначала установить свою вину, а в этом власти ему отказывали. И он напал на мысль, доказавшую, как ослабел к тому времени его ум, что от него скрывают его вину, потому что он мало платит,— дело в том, что мы до сих пор платили только причитающиеся с нас налоги, довольно большие, по нашим тогдашним обстоятельствам. Теперь же он решил, что ему надо платить больше, что, конечно, было ошибкой: хотя наши власти — чтобы избежать лишних разговоров, для простоты — и берут кое-какие взятки, но добиться этим ничего нельзя. Но раз отец на это надеялся, мы ему мешать не хотели. Мы продали все, что у нас оставалось — по большей части самое необходимое,— чтобы обеспечить отца средствами для его ходатайств, долгое время мы испытывали по утрам удовлетворение, когда он, отправляясь спозаранку в путь, мог позвякивать несколькими монетками в кармане. Правда, мы из-за этого целыми днями голодали, а единственно, чего мы действительно добивались благодаря этим деньгам,— это поддерживали у отца ка-

кие-то светлые надежды. Однако и это едва ли принесло пользу. Он измучился в своих походах, и то, что из-за отсутствия денег вскоре само собой пришло бы к концу, растянулось на долгое время. За деньги, конечно, никто ничего из ряда вон выходящего все равно сделать не мог, разве что какой-нибудь писарь иногда пытался создать видимость, будто что-то делается, обещал кое-что узнать, намекал, будто нашлись какие-то следы и он по ним начнет распутывать дело уже не по обязанности, а исключительно из любви к нашему отцу, и отец, вместо того чтобы усомниться, верил еще больше. Он возвращался домой, после таких явно бессмысленных обещаний, как будто нес в дом благополучие, и мучительно было видеть, как он, с вымученной улыбкой, широко открыв глаза, кивая на Амалию, хотел дать нам понять, как близко спасение Амалии,— что поразило бы ее больше всех! — но сейчас это еще секрет, и мы должны строго соблюдать молчание. Так тянулось бы еще долго, если бы мы в конце концов не лишились всякой возможности доставать для отца деньги. Правда, тем временем, после долгих упрашиваний, Брунсвик взял Варнаву к себе в подмастерья, но только с тем условием, чтобы он приходил за заказами вечером, в темноте, и приносил работу тоже затемно,— надо принять во внимание, что Брунсвик из-за нас подвергал свое дело некоторой опасности, но платил он Варнаве гроши, хотя работал Варнава безукоризненно, и этой платы хватало только на то, чтобы нам не умереть с голоду. Очень бережно, после долгой подготовки мы объявили отцу, что денежная наша поддержка прекращается, но он принял это очень спокойно. Умом он уже был не способен понять бесперспективность всех своих походов, но постоянные разочарования все же его утомили.

Иногда он говорил — но его речам уже не хватало прежней отчетливости, раньше он говорил даже слишком отчетливо,— что ему понадобилось бы еще совсем немного денег, завтра или даже сегодня он все узнал бы, а теперь все пошло прахом, все рушилось только из-за денег и так далее, но по тону его разговоров было ясно, что он сам уже ничему не верит. К тому же, у него тут же, с ходу, зародились новые планы. Так как ему не удалось установить свою вину и потому он и дальше ничего не достиг бы официальным путем, то теперь он решил обратиться к чиновникам с просьбами лично. Среди них наверняка есть люди с добрым, сострадательным сердцем, и хотя на службе они не имеют права слушаться голоса сердца, но если застать их врасплох вне службы, в подходящую минуту, дело обернется по-другому».

Тут К., который до сих пор слушал, совершенно поглощенный рассказом Ольги, перебил ее вопросом: «И ты считала, что это неправильно?» И хотя он получил бы ответ из дальнейшего рассказа, но это он хотел узнать немедленно.

«Нет,— сказала Ольга,— ни о каком сострадании тут и речи быть не могло. При всей нашей молодости и неопытности мы это знали, да и отец, конечно, знал, только позабыл, как и многое другое. Он составил себе план: встать неподалеку от Замка, у дороги, где проезжают коляски чиновников, и, если удастся, изложить им свою просьбу о прощении. Откровенно говоря, план был совсем неразумный, даже если бы случилось невозможное, и просьба дошла бы до ушей какого-нибудь чиновника. Разве один чиновник может простить? В крайнем случае, это дело всего руководства, но даже и оно не может прощать, а может только осуждать. Да и вообще, может ли чиновник, даже если он выйдет из коляски, составить себе полное представление о деле, по тем словам, которые пробормочет несчастный, измотанный, постаревший человек, наш отец? Чиновники — народ очень образованный, но односторонний, по своей специальности каждый из одного слова может вывести целый ряд мыслей, но ему можно часами объяснять то, что касается другого отдела, и он будет только вежливо кивать головой, но не поймет ни слова. И это вполне понятно: попробуй только сам разобраться в каких-нибудь служебных мелочах, которые тебя непосредственно касаются в каких-нибудь пустяках, которые любой чиновник может разрешить одним мановением руки, попробуй только в них разобраться досконально, и уж ты всю жизнь провозишься, а до сути так и не доберешься. Но даже если отец и попадет на какого-нибудь нужного чиновника, все равно тот ничего без предварительной документации сделать не смог бы, а уж на проезжей дороге он никак не сумеет простить отца, разобраться во всем он сможет только на службе, поэтому он снова посоветует идти обычным путем, по инстанциям, но именно на этом пути отца уже постигла неудача. До чего дошел отец, если уж он решил хоть как-то пробиться таким способом! Если бы существовала хоть отдаленная возможность чего-то достичь этим путем, то дорога кишмя кишела бы просителями, но даже школьники младших классов знают, что такие

вещи невозможны, и, разумеется, на дороге было совершенно пусто. Впрочем, быть может, в отце это еще больше укрепляло надежду, и он всячески поддерживал ее. Ему это было необходимо, но для этого человеку не нужно было даже пускаться в сложные рассуждения — ему и с первого раза становилось ясно, насколько все это безнадежно. Ведь когда чиновники едут в Деревню или возвращаются в Замок, они не на увеселительную прогулку отправляются: и в Деревне и в Замке их ждет работа, оттого и едут они со всей возможной быстротой. Им и в голову не приходит выглядывать из окна коляски и смотреть, нет ли на дороге просителей; в коляске полно бумаг и документов, чиновники их изучают».

«А я,— сказал К.,— заглядывал в сани чиновника и там никаких документов не было». В рассказе Ольги перед ним открывался такой огромный, почти неправдоподобный мир, что он не мог удержаться, чтобы как-то не соприкоснуться с ним, хотя бы вспоминая о своих мелких переживаниях, чтоб убедиться не только в существовании этого мира, но и отчетливее ощутить, что и сам он тоже существует.

«Все может быть,— сказала Ольга,— но это еще хуже: значит, у чиновника дела настолько важные, а документы настолько ценные или объемистые, что брать их с собой нельзя, и тогда чиновники вообще мчатся галопом. Во всяком случае, никто из них не смог бы выкроить время для отца. Более того: к Замку ведет множество дорог. То одна из них в моде, и тогда по ней едет большинство, то другая — и туда устремляются все. По каким правилам происходят эти перемены, установить еще не удалось. Один раз в восемь утра все едут по одной дороге, через десять минут — по другой, потом — по третьей, а быть может, через полчаса снова по первой, и уж тут едут весь день, но в любую минуту возможны изменения. Правда, у Деревни все дороги сходятся, но там коляски летят как бешеные, тогда как у Замка они еще замедляют ход. И если порядок езды по дороге не установлен и разобраться в нем трудно, то это относится и к числу колясок. Бывают дни, когда ни одной коляски не увидишь, а потом их проезжает великое множество. Теперь представь себе нашего отца в этой неразберихе. В лучшем своем костюме — вскоре у него ничего другого не останется — выходит он каждое утро с нашими благословениями из дому. С собой он берет маленький значок пожарника — в сущности, он уже не имеет права его носить — и прикрепляет его, выйдя из Деревни: в самой Деревне он боится его показывать, хотя значок такой крошечный, что его и за два шага еле видно, но, по мнению отца, именно этот значок может привлечь внимание чиновников. Недалеко от входа в Замок расположено садоводство, оно принадлежит некоему Бертуху, он поставляет овощи в Замок, и там, на небольшом каменном выступе у ограды, отец выбрал себе местечко. Бертух не возражал, потому что раньше они с отцом были приятели, и, кроме того, Бертух был одним из самых постоянных заказчиков отца, у него одна нога немного искалечена, и он считает, что только отец может шить подходящую для него обувь. Вот там отец и сидел изо дня в день, осень была пасмурная, дождливая, но погода была ему безразлична; с утра в один и тот же час он открывал дверь и кивал нам на прощание, вечером возвращался, промокший насквозь,— казалось, он с каждым днем горбился все больше и больше — и забивался в угол. Сначала он нам рассказывал все свои мелкие приключения — то Бертух из жалости, по старой дружбе бросал ему через решетку одеяло, то ему померещилось, что он узнал в проезжающей коляске того или иного чиновника, то вдруг какой-нибудь из кучеров его узнавал и в шутку стегал кнутом. Потом он совсем перестал рассказывать, видно уже не надеялся чего-нибудь добиться, и только считал своим долгом, своей унылой, бесполезной обязанностью отправляться туда и просиживать там целый день. Тогда и начались у него ревматические боли: подходила зима, снег выпал рано, у нас зима настает очень быстро, а он все сидел там, на мокрых камнях — то под дождем, то под снегом. По ночам он стонал от боли, утром иногда сомневался, идти ему или нет, но пересиливал себя и все-таки уходил. Мать цеплялась за него, не хотела отпускать, и он, очевидно уже напуганный тем, что ноги его не слушались, позволял ей идти с ним, и тогда у матери тоже начались боли. Мы часто к ним туда ходили, носили еду или просто навещали, уговаривали вернуться домой; как часто мы заставали их, сгорбленных, прижимавшихся друг к другу на узеньком выступе, закутанных в тонкое одеяльце, которое едва их прикрывало, а вокруг ничего, кроме серого снега и тумана, и нигде ни души, по целым дням ни экипажа, ни пешехода. Какое зрелище, К., какое зрелище! Кончилось тем, что в одно утро отец не смог встать с постели — ноги не держали, он был безутешен, в каком-то полубреду он видел, как именно сей-

час коляска останавливается у ограды Бертуха, из нее выходит чиновник, ищет глазами отца у ограды и, с досадой покачав головой, снова садится в свою коляску. При этом отец так кричал, словно хотел отсюда обратить на себя внимание чиновника там, наверху, и объяснить ему, что он отсутствует не по своей вине. А отсутствовал он долго, больше он уже туда не возвращался, много недель ему пришлось пролежать в постели. Амалия взяла на себя все обслуживание, уход, лечение, в сущности, до сегодняшнего дня с небольшими перерывами ей приходится этим заниматься. Она знает целебные травы, утоляющие боль, ей почти не нужно спать, ничто ее не пугает, ничего она не боится, никогда не теряет терпения, словом, всю работу для родителей делает она. В то время как мы, ничем не умея помочь, только суетились вокруг, она оставалась спокойной и молчаливой. Но когда самое плохое кончилось и отец уже мог осторожно, при поддержке с двух сторон, спускать ноги с кровати, Амалия сразу отступилась и предоставила его нам».

20
Планы Ольги

«Теперь надо было найти для отца какое-нибудь занятие по силам, что-то такое, что хотя бы поддерживало в нем веру, будто он содействует снятию вины с семьи. Найти что-нибудь в этом роде было нетрудно; в сущности, все могло служить этой цели не хуже, чем сидение у садоводства Бертуха, но я нашла то, что даже мне подавало какую-то надежду. Обычно, если поминались разговоры о нашей вине среди чиновников, среди писарей или еще где, все сводилось лишь к тому, что был обижен посыльный Сортини, и дальше никто не шел. Значит, если все общественное мнение, хотя бы только по видимости, касается лишь обиды, нанесенной посыльному, можно, опять-таки хотя бы только для видимости, все уладить, если помириться с посыльным. Ведь, как нам объясняли, никаких заявлений ниоткуда не поступало, значит, ни одна канцелярия этим не занимается, и потому посыльный волен от себя лично — а больше ни о чем и речи не было — простить обиду. Все это, конечно, не могло иметь решающего значения, все было лишь видимостью и никаких последствий иметь не могло, но отцу это доставило бы радость, а всех посредников, которые так его мучили, можно было бы, к его удовлетворению, загнать в тупик. Разумеется, прежде всего надо будет найти посыльного. Когда я рассказала о своем плане отцу, он сначала очень рассердился, он стал необычно упрямым; к тому же, он был уверен — и во время болезни это очень обострилось,— что мы ему все время мешали успешно завершить дело, сначала тем, что лишили его денежной поддержки, теперь тем, что держали его в постели, кроме того, он вообще потерял способность полностью воспринимать чужие мысли. Не успела я все рассказать ему до конца, как мой план был отвергнут; по его мнению, он должен был и дальше ждать у сада Бертуха, и так как сам он, конечно, будет не в состоянии ежедневно подыматься туда, то мы должны возить его на тачке. Но я не сдавалась, и постепенно он примирился с этой мыслью, мешало ему только то, что тут он всецело зависел от меня, потому что я одна видела в то утро посыльного, отец же его не знал. Правда, один слуга похож на другого, и полной уверенности, что я того посыльного узнаю, у меня не было. Мы стали ходить в гостиницу и искать его среди слуг. Хотя он и был слугой Сортини, а Сортини больше в Деревне не появлялся, но господа часто меняют слуг, и его вполне можно было найти среди челяди других господ, и если не удалось бы найти его самого, то, быть может, удалось бы собрать сведения о нем от других слуг. Для этой цели необходимо было каждый вечер бывать в гостинице, а нас везде принимали неохотно, особенно в таком месте; оплачивать свои посещения мы, конечно, тоже не могли. Однако выяснилось, что мы все-таки можем и там пригодиться; ты знаешь, как Фрида мучилась с этой челядью; по существу, они народ спокойный, избалованный легкой службой, отяжелевший. «Пусть тебе живется, как слуге»— вот обычная присказка чиновников, и, действительно, говорят, что слуги себе обеспечивают хорошую жизнь в Замке, они там полные хозяева и умеют это ценить, притом в Замке они ведут себя по тамошним правилам, держатся спокойно, с достоинством — мне это много раз подтверждали,— да и тут иногда видишь у слуг остатки таких манер, именно остатки, а в общем, бла-

годаря тому, что законы Замка в Деревне уже неприменимы, эти люди словно перерождаются — становятся дикой, беспардонной оравой, для которой уже не существует законов, а только их ненасытные потребности. Нет предела их бесстыдству, счастье для Деревни, что им разрешено покидать гостиницу только с особого разрешения, но уж в гостинице с ними хлопот не оберешься. Фриде это было очень трудно, и она обрадовалась, когда смогла использовать мои услуги, чтобы утихомирить челядь; вот уже больше двух лет, как я, по крайней мере дважды в неделю, провожу ночь со слугами на конюшне. Раньше, когда отец еще мог ходить со мной в гостиницу, он ночевал где-нибудь в буфете и ждал известий, которые я ему приносила утром. Но толку было мало. Того посыльного мы до сих пор не нашли; говорят, что он все еще служит у Сортини и последовал за ним, когда Сортини перешел в более отдаленные канцелярии. Почти никто из слуг не видел его с тех пор, как и мы, а если кому-то и казалось, что он его видел, то, вероятно, он ошибался. И хотя, по существу, мой план не удался, все же это не совсем так: правда, посыльного мы не нашли, а отца совсем доконали эти походы и ночевки в гостинице, а может быть, и жалость ко мне, насколько он на нее был еще способен, и вот уже два года, как он находится в том состоянии, в каком ты его видел, причем ему еще не так плохо, как матери — тут мы с минуты на минуту ждем конца, и только нечеловеческие старания Амалии оттягивают этот конец. Но все же мне удалось установить в гостинице некоторые связи с Замком; не презирай меня, если я тебе скажу, что ничуть не жалею о том, что я сделала. Вряд ли наладились такие уж значительные связи с Замком, подумаешь ты, наверно, и будешь прав; связи эти совсем незначительны. Правда, я теперь знаю почти всех слуг тех господ, что приезжали в последнее время к нам в Деревню, и если теперь я когда-нибудь попаду в Замок, то не буду там чужой. Конечно, слуг я знаю только по Деревне, в Замке они совсем другие и, должно быть, даже никого не узнают, а уж тех, с кем встречались в Деревне, и подавно, хотя на конюшне они сто раз клялись, что будут счастливы увидеться со мной в Замке. Впрочем, я уже узнала, как дешево стоят их обещания. Но и это не самое главное. Не только через слуг у меня установилась какая-то связь с Замком, но, возможно, и надо на это надеяться, что кто-нибудь, наблюдавший за мной и за моим поведением, а управление этой многочисленной челядью — очень важный и значительный отдел служебной работы,— может быть, тот, кто за мной наблюдал, составил обо мне более снисходительное суждение, чем другие, может быть, он признает, что я тоже, хоть и самым недостойным образом, борюсь за нашу семью и продолжаю усилия отца. Если так на это посмотрят, то, может быть, мне простят и то, что я беру у слуг деньги и трачу их на нашу семью. И еще я добилась кое-чего, хотя, наверно, ты мне и это поставишь в вину. От слуг я узнала многое о том, как обходными путями, не проходя трудного, длящегося иногда годами официального оформления, попасть в служащие Замка, правда, тут ты еще не официальный служащий, тебя допускают тайком, никаких прав и никаких обязанностей у тебя нет, и хуже всего, что нет обязанностей, зато есть одно: все-таки ты при деле. Можно уловить благоприятный случай и воспользоваться им, и хотя ты не служащий, но случайно может выпасть какая-нибудь работа, а служащих рядом не окажется, тебя окликнут, ты подбежишь и сразу станешь тем, кем ты за минуту еще не был — настоящим служащим. Ну, конечно, когда еще выпадет такой случай? Бывает, что сразу не успеешь появиться, не успеешь оглянуться, как случай уже подвернулся, тут не у каждого новичка достанет присутствия духа сразу за этот случай ухватиться, тогда уж приходится ждать годами, дольше, чем при официальном оформлении на работу, но оформиться на работу по всем правилам такому неофициально допущенному человеку совсем невозможно. Значит, тут сомнений возникает немало, но все они отпадают перед тем соображением, что при официальном приеме на работу отбор очень строг, и члена семьи, который себя чем-то запятнал, отвергают заранее. Он может проходить процедуру оформления годами, трястись в ожидании результата, все удивленно спрашивают его, как он посмел предпринять столь безнадежную попытку, а он все надеется, иначе как же ему жить; однако через много лет, быть может уже в старости, он узнает об отказе, узнает, что все потеряно и жизнь его прошла бесцельно. Но, правда, и здесь бывают исключения, потому-то так легко и поддаются соблазну. Бывает, что именно скомпрометированных людей в конце концов принимают, есть чиновники, которых буквально против их воли притягивает запах такой дичи, и во время приемных испытаний они все вынюхивают, кривят рот, закатывают глаза, такой человек у них, как видно, вызывает особый аппетит, и им при-

ходится крепко цепляться за своды законов, чтобы сопротивляться желанию принять его на работу. Но иногда это вовсе не помогает человеку в приеме на службу, а только бесконечно затягивает процедуру зачисления — такой процедуре конца нет, и она прекращается только со смертью данного человека. Так что и законный прием на службу, как и незаконный, чреват и явными и тайными трудностями, и прежде, чем впутаться в такое дело, очень полезно все заранее взвесить. Тут уж мы с Варнавой ничего не упустили. Всякий раз, как я возвращалась из гостиницы, мы садились рядом, я рассказывала все новости, какие я узнала, мы обсуждали их целыми днями, и бывало, что работа у Варнавы не двигалась дольше, чем следовало. И тут, возможно, была моя вина, как ты, наверно, считаешь. Ведь я знала, что рассказы слуг очень и очень недостоверны. Я знала, что они никогда не хотят рассказывать мне про Замок, стараются перевести разговор на другое, каждое слово приходится у них вымаливать, но, надо сказать, уж если они заводились, так болтали ерунду, хвастались, старались перещеголять друг дружку во всяких баснях и выдумках так, что там, в темной конюшне, из всего этого неумолчного крика, когда один перебивал другого, можно было извлечь в лучшем случае два-три жалких намека на правду. Но все, что мне запомнилось, я пересказывала Варнаве, а он, никак не умея отличить правду от вымысла, мечтая о той жизни, недосягаемой из-за положения нашей семьи, впивал каждое слово, с жаром требуя продолжения. А мой новый план действительно опирался на Варнаву. У слуг я ничего больше добиться не могла. Посыльный Сортини не отыскался, и найти его было невозможно, очевидно, и Сортини, и его посыльный уходили все дальше в неизвестность, другие часто забывали даже их имена, их внешность, и мне приходилось не раз подробно их описывать, но я ничего не добилась, кроме того, что их с трудом припоминали, но ничего сказать о них не могли. А что касается моей жизни среди слуг, то я, конечно, была не в силах предотвратить сплетни и могла только надеяться, что все будет воспринято так, как оно было на самом деле, и что это снимет хоть часть вины с нашей семьи, однако никаких внешних признаков такого отношения я не замечала. Так я и продолжала жить, не видя для себя никакой другой возможности добиться для нас хоть чего-нибудь в Замке. Такую возможность я видела лишь для Варнавы. Из рассказов челяди я могла, если хотела — а желание у меня было немалое,— сделать вывод, что каждый, кто принят на службу в Замок, может очень много сделать для своей семьи. Однако что же в этих рассказах было достоверного? Казалось, что установить это невозможно, ясно было только, что достоверности в них очень мало. Например, когда какой-то слуга, которого я потом никогда не увижу, а если и увижу, то не узнаю, торжественно заверяет меня, что поможет моему брату устроиться на службу в Замок или же, если Варнава каким-то образом попадает в Замок, он его хотя бы поддержит и подбодрит, потому что, судя по рассказам слуг, бывает, что ищущим работу приходится так долго ждать, что они часто падают в обморок, мысли у них путаются и они могут погибнуть, если друзья о них не позаботятся,— когда слуги мне рассказывали и это, и всякое другое, то, вероятно, все их предостережения были вполне основательными, но их обещания — совершенно пустыми. Однако Варнава относился к ним не так, хотя я его и предупреждала, что нельзя верить этим посулам, но уж одного того, что я ему их пересказывала, было достаточно, чтобы он увлекся моими планами. Все мои соображения на него почти не действовали, действовали только рассказы слуг. Таким образом, я была, в сущности, предоставлена самой себе, с родителями вообще никто, кроме Амалии, разговаривать не умел, а чем больше я пыталась по-своему выполнить прежние планы отца, тем больше отчуждалась от меня Амалия, при тебе или при других она еще со мной разговаривает, а наедине — никогда; для слуг в гостинице я была только игрушкой, которую они яростно пытались сломать, ни одного душевного слова я ни от кого из них за два года не слыхала, они только хитрили, врали или говорили глупости, значит, у меня оставался только Варнава, но Варнава был еще слишком молод. Когда я видела, как блестят его глаза при моих рассказах — они и теперь блестят,— я пугалась и все же не умолкала, слишком многое было поставлено на карту. Правда, больших, хоть и бесплодных планов, как у моего отца, у меня не было, не было во мне и мужской решимости, я только думала, как бы загладить обиду, нанесенную посыльному, и хотела, чтобы это скромное желание мне поставили в заслугу. Но того, что мне самой сделать не удалось, я теперь хотела достигнуть через Варнаву, другим и более верным способом. Мы обидели посыльного, спугнули его из ближних канцелярий; что же могло быть проще, чем предложить в лице Варнавы нового посыльного,

поручить Варнаве выполнять работу обиженного, а тем самым дать обиженному возможность спокойно жить в отдалении столько, сколько он захочет, сколько ему понадобится, чтобы забыть обиду. Однако я отлично понимала, что при всей непритязательности этого плана в нем было что-то нескромное, могло создаться впечатление, будто мы хотим диктовать начальству, как ему решать вопросы приема служащих, будто мы сомневаемся, способно ли само начальство найти наилучшее решение, а может быть, оно и нашло его давным-давно, еще до того, как у нас появилась мысль, что можно как-то вмешаться. Но потом я подумала: нет, не может быть, чтобы начальство так неверно истолковало мои намерения или, если так случится, чтобы оно сделало это намеренно, другими словами: не может быть, чтобы все, что бы я ни делала, заранее безоговорочно получило бы отпор. Поэтому я не сдавалась, а честолюбие Варнавы сделало свое. Во время всей этой подготовки Варнава так заважничал, что даже стал считать работу сапожника слишком грязной для себя, будущего служащего канцелярии; больше того, он даже осмеливался весьма решительно возражать Амалии, когда она к нему изредка обращалась. Я не хотела мешать его недолговечной радости, потому что в первый же день, когда он отправился в Замок, и радость и высокомерие, как и можно было ожидать, исчезли без следа. И началась та кажущаяся служба, про которую я тебе уже рассказывала. Удивительно было только то, что Варнава без всякого затруднения, сразу попал в Замок, вернее, в ту канцелярию, которая стала его рабочим местом. Такой успех меня чуть с ума не свел, и когда Варнава шепнул мне об этом на ухо, я бросилась к Амалии, прижала ее в угол и осыпала поцелуями, впиваясь в нее и губами и зубами так, что она расплакалась от испуга и боли. От волнения я не могла выговорить ни слова, да мы с ней уже давно не разговаривали, и я отложила объяснения на утро. Но в ближайшие дни рассказывать уже было не о чем. На том, что было достигнуто, все и остановилось. Два года Варнава вел эту однообразную, гнетущую жизнь. Слуги ничего не сделали, я дала Варнаве записку, в которой поручала его вниманию слуг и напоминала им про их обещания, и Варнава, как только видел кого-нибудь из слуг, вынимал записку и протягивал ему, при этом он иногда попадал на слуг, которые меня не знали, других раздражала его манера — молча протягивать записку,— разговаривать там, наверху, он не смел; но тягостно было то, что ему никто помочь не желал, и для нас было избавлением,— правда, мы могли бы давным-давно и сами избавить себя таким способом,— когда один из слуг, которому, быть может, не раз навязывали эту записку, смял ее и бросил в корзину для бумаг. Он, как мне казалось, мог бы при этом и добавить: «Вы же сами так обращаетесь с письмами». Но как бы бесплодно ни проходило это время, Варнаве оно принесло пользу, если можно назвать пользой то, что он преждевременно повзрослел, преждевременно стал мужчиной; да, во многом он стал серьезнее, осмотрительнее, даже не по возрасту. Мне иногда становится очень грустно, когда я гляжу на него и сравниваю с тем мальчиком, каким он был еще два года назад. И при этом ни утешения, ни внимания, которых можно было бы ожидать от взрослого человека, я от него не вижу. Без меня он вряд ли попал бы в Замок, но с тех пор, как он там, он уже от меня не зависит. Я его единственный поверенный, но он наверняка рассказывает мне только малую долю того, что лежит у него на сердце. Он часто говорит о Замке, но из его рассказов, из этих незначительных случаев, о которых он сообщает, невозможно понять, каким образом эта обстановка вызвала в нем такую перемену. Особенно трудно понять, почему он, став взрослым мужчиной, полностью потерял ту смелость, которая в нем, мальчике, приводила нас в отчаяние? Правда, это бесполезное стояние и бесконечное ожидание изо дня в день без всякой надежды на перемену ломает человека, делает его нерешительным, и в конце концов он становится неспособным ни на что другое, кроме безнадежного стояния на месте. Но почему ж с самого начала он не сопротивлялся? Ведь он очень скоро понял, насколько я была права и что никакого удовлетворения его честолюбию там не найти, хотя, быть может, ему и удастся принести пользу нашему семейству. Ведь там во всем — кроме причуд всякой челяди — царит большая скромность, там честолюбивый человек ищет удовлетворения только в работе, а так как тогда сама работа становится превыше всего, то всякое честолюбие пропадает — для детских мечтаний там места нет. Но Варнаве, как он мне рассказывал, казалось, что там он ясно увидел, как велика и власть и мудрость даже тех, собственно говоря, очень неважных чиновников, в чьих комнатах ему разрешалось бывать. Как они диктовали быстро, полузакрыв глаза, отрывисто жестикулируя, как одним мановением пальца, без единого слова, рассылали

ворчливых слуг, а те в такие минуты, тяжело дыша, все же радостно усмехались, или как один из чиновников, найдя важное место в книгах, хлопал по страницам ладонью, а все остальные сразу, насколько позволяло тесное помещение, сбегались и глазели, вытягивая шеи. И это, и многое другое создавало у Варнавы самое высокое мнение об этих людях, и он себе представил, что если вдруг они его заметят и ему удастся перекинуться с ними несколькими словами — уже не как постороннему, а как их сослуживцу по канцелярии, хоть и в самом низшем чине,— то для нашей семьи удастся достигнуть невиданных благ. Но покамест до этого еще не дошло, а сделать шаг, который приблизил бы его к чиновникам, Варнава не смеет, хотя ему уже совершенно ясно, что, несмотря на свою молодость, он из-за нашего несчастья занял в нашем доме ответственнейшее место отца семейства. А теперь хочу сделать тебе и последнее признание: неделю назад приехал ты. Я слышала, как в гостинице об этом кто-то упомянул, но не обратила внимания: приехал какой-то землемер, а я толком и не знала, что это такое. Но на следующий вечер Варнава пришел домой раньше, чем всегда — обычно я выходила ему навстречу в определенный час,— увидел в горнице Амалию и потому повел меня на улицу, а там вдруг прижался лицом к моему плечу и залился слезами. Он снова стал прежним мальчуганом. С ним случилось нечто такое, к чему он не был готов. Перед ним как будто открылся совсем новый мир, и ему не совладать с радостными заботами, которые несет с собой это открытие. А случилось только то, что ему дали письмо для передачи тебе. Но ведь это было первое письмо и вообще первая работа, которую он получил».

Ольга замолчала. Было тихо, только слышалось тяжкое, иногда похожее на хрип, дыхание родителей. И К. сказал небрежно, словно подытоживая рассказ Ольги: «Все передо мной притворялись. Варнава принес мне письмо с видом опытного и очень занятого посыльного, а ты с Амалией — на этот раз она была с вами заодно,— вы обе сделали вид, что и обязанности посыльного, и передача писем, все это он выполняет так, между прочим». «Ты только не смешивай нас всех,— сказала Ольга.— Варнаву эти два письма снова превратили в счастливого ребенка, несмотря на то, что он до сих пор сомневается в своей работе. Но эти сомнения он высказывает только мне; перед тобой же он считает для себя делом чести выступать в роли настоящего посыльного, каким тот должен быть, по его представлениям. И хотя теперь у него и возросла надежда получить форму, мне пришлось за два часа так ушить ему брюки, чтобы они хоть немного походили на форменные штаны в обтяжку, в них он хотел покрасоваться перед тобой — в этом отношении тебя нетрудно было обмануть. Это — про Варнаву. А про Амалию скажу, что она действительно презирает службу посыльного, и теперь, когда Варнава достиг какого-то успеха — она легко могла бы об этом догадаться и по мне, и по Варнаве, и по нашим переживаниям в уголке,— теперь она презирает Варнаву еще больше прежнего. Значит, она тебе говорит правду, и ты не поддавайся заблуждению, тут сомневаться не надо. А вот если я, К., иногда при тебе пренебрежительно говорила про службу посыльного, так вовсе не для того, чтобы тебя обмануть, а только из страха. Ведь те два письма, что прошли до сих пор через руки Варнавы, и были за три года первым, хоть и очень сомнительным указанием того, что над нашим семейством смилостивились. Эта перемена — если только это и на самом деле перемена, а не ошибка, потому что ошибки бывают чаще, чем перемены,— связана с твоим появлением здесь, наша судьба попала в некоторую зависимость от тебя, быть может, эти два письма — только начало, и работа Варнавы выйдет далеко за пределы должности посыльного, обслуживающего одного тебя, пока можно будет на это надеяться,— но сейчас все сосредоточивается только на тебе. Там, наверху, мы должны удовлетворяться тем, что нам дают, но тут, внизу, мы, может быть, и сами можем что-то сделать, а именно: обеспечить себе твое доброе отношение, или, по крайней мере, защититься от твоего недоброжелательства, или же, что самое важное, оберегать тебя, насколько хватит наших сил и возможностей, чтобы твоя связь с Замком, которая, быть может, и нас вернет к жизни, не пропала зря. Но как же все это выполнить получше? Главное, чтобы ты не относился с подозрением, когда мы к тебе подходим, ведь ты тут чужой, а потому, конечно, тебя одолевают подозрения, и вполне оправданные подозрения. Кроме того, нас все презирают, а на тебя влияет мнение других, особенно мнение твоей невесты,— как же нам к тебе приблизиться без того, чтобы, например, не пойти, хоть и непреднамеренно, против твоей невесты, и этим тебя не обидеть. А эти письма, которые я прочитывала до того, как ты их получал,— Варнава их не читал, он как посыльный себе этого не мог позво-

лить,— эти письма на первый взгляд казались мне совсем неважными, устаревшими, они, собственно говоря, сами себя опровергали тем, что направляли тебя к старосте. Как же нам надо было держаться с тобой при таких обстоятельствах? Если подчеркивать важность этих писем, мы вызвали бы подозрение — зачем мы преувеличиваем такие пустяки и что, расхваливая тебе письма, мы, их передатчики, преследуем не твои цели, а свои, больше того, мы этим могли обесценить письма в твоих глазах и тем самым разочаровать тебя без всякого намерения. Если же мы не придали бы письмам никакой цены, мы тоже вызвали бы подозрение, зачем же тогда мы хлопочем о передаче этих ненужных посланий, почему наши дела противоречат нашим словам, зачем мы так обманываем не только тебя, адресата писем, но и тех, кто нам дал это поручение, а ведь не для того же они поручили нам передать письма, чтобы мы их при этом обесценили в глазах адресата. А найти середину между этими крайностями, то есть правильно оценить письма, вообще невозможно, они же непрестанно меняют свое значение, они дают повод для бесконечных размышлений, и на чем остановиться — неизвестно, все зависит от случайностей, значит, и мнение о них составляется случайно. А если тут еще станешь бояться за тебя, все запутывается окончательно, только ты не суди меня слишком строго за эти разговоры. Когда, к примеру, как это уже один раз случилось, Варнава приходит и сообщает, что ты недоволен его работой посыльного, а он, с перепугу и, к сожалению, не без оскорбленного самолюбия, предлагает, чтобы его освободили от этой должности, тут я, конечно, способна обманывать, лгать, передергивать, словом, поступать очень скверно, лишь бы помогло. Но тогда я поступаю так не только ради нас, но, по моему убеждению, и ради тебя».

С улицы постучали. Ольга пошла к двери и отперла ее. Темноту прорезала полоса света от карманного фонаря. Поздний гость что-то спрашивал шепотом, и ему шепотом же отвечали, но он этим не удовлетворился и попытался было проникнуть в комнату. Очевидно, Ольга больше не могла его удерживать и позвала Амалию, должно быть надеясь, что та, защищая покой родителей, пойдет на все, чтобы удалить посетителя. Да Амалия и сама уже спешила к выходу, отстранила Ольгу, вышла на улицу и захлопнула за собой дверь. Все это длилось один миг, она тотчас же вернулась, настолько быстро ей удалось добиться того, чего никак не могла сделать Ольга.

Тут К. узнал от Ольги, что посетитель приходил к нему, это был один из его помощников, который искал его по поручению Фриды. Ольга хотела скрыть от помощника, что К. у них: если К. захочет потом признаться Фриде, что побывал тут, пусть признается, но не надо, чтобы его тут застал помощник. К. одобрил ее. Но от предложения Ольги остаться у них ночевать и дождаться Варнавы К. отказался; вообще-то он бы и принял это предложение, уже стояла глубокая ночь, и ему казалось, что теперь он волей-неволей настолько связан с этой семьей, что ночевка тут, хоть и тягостна во многих отношениях, но при такой тесной связи была бы в Деревне самой подходящей для него, однако он отказался, его спугнул приход помощника, ему было непонятно, как это Фрида, знавшая, чего он хочет, и помощники, привыкшие его бояться, теперь снова столкнулись настолько, что Фрида не постеснялась послать за ним одного из помощников, очевидно оставшись с другим. К. спросил Ольгу, нет ли у нее кнута, но кнута у нее не было, зато нашлась хорошая розга, он взял ее, потом спросил, нет ли другого выхода из дома, в доме оказался второй выход со двора, только надо было потом перелезать через забор соседнего сада и через этот сад выйти на улицу. К. так и решил сделать. И пока Ольга провожала его через двор к забору, он торопливо пытался успокоить ее, объяснил, что вовсе на нее не сердится за все мелкие подтасовки и очень хорошо ее понимает, поблагодарил за доверие, проявленное к нему,— она это доказала своим рассказом, поручил ей, как только вернется Варнава, будь это хоть поздней ночью, сразу прислать его в школу. И хотя сообщения, переданные Варнавой, далеко не единственная его надежда — иначе ему пришлось бы туго,— но он ни в коем случае не хочет от них отказываться, но будет за них держаться и при этом не забудет и Ольгу, потому что важнее всех сообщений для него сама Ольга, ее храбрость и осмотрительность, ее ум, ее жертвенность по отношению к семье. И если бы ему пришлось выбирать между Ольгой и Амалией, он ни на миг не задумался бы. И К. еще раз сердечно пожал ей руку перед тем, как перемахнуть через соседский забор.

Очутившись наконец на улице, он увидел, насколько позволяла пасмурная ночь, что неподалеку от дома Варнавы помощник все еще расхаживал взад и вперед, иног-

да он останавливался и пытался осветить фонарем комнату сквозь занавешенное окно. К. окликнул его, тот, по-видимому, не испугался, перестал подсматривать и подошел к К. «Ты кого ищешь?» — спросил К. и стегнул розгой по своей ноге, пробуя, хорошо ли она гнется. «Тебя»,— ответил помощник, подходя ближе. «А ты кто такой?» — вдруг спросил К., ему показалось, что это вовсе не его помощник. Этот человек казался старше, утомленнее, лицо морщинистое, но более полное, да и походка совсем не похожа на быструю, словно наэлектризованную походку помощников, у этого походка была медлительна, и он слегка прихрамывал с благородно-расслабленным видом. «Разве ты меня не узнаешь? — сказал этот человек.— Я Иеремия, твой старший помощник». «Вот как? — сказал К. и немного вытянул из-за спины спрятанную было розгу.— Но у тебя совсем другой вид». «Это из-за того, что я остался один,— сказал Иеремия.— Когда я один, тогда прощай и молодость и радость». «А где же Артур?» — спросил К. «Артур? — повторил Иеремия.— Наш любимчик? А он бросил службу. Ты ведь был довольно груб и жесток с нами. Его нежная душа не вынесла этого. Он вернулся в Замок и подал на тебя жалобу». «А ты?» — спросил К. «Я смог остаться,— сказал Иеремия.— Артур подал жалобу и за меня». «На что же вы жалуетесь?» — спросил К. «На то,— сказал Иеремия,— что ты шуток не понимаешь. А что мы сделали? Немножко шутили, немножко смеялись, немножко дразнили твою невесту. А вообще-то все делалось, как было велено. Когда Галатер послал нас к тебе...» «Галатер?» — переспросил К. «Да, Галатер,— сказал Иеремия.— Тогда он как раз замещал Кламма. Когда он нас к тебе посылал, он — и я это хорошо запомнил, потому что мы именно на это и ссылаемся, — он сказал: «Вы отправитесь туда в качестве помощников землемера». Мы сказали: «Но мы ничего не смыслим в этой работе». Он в ответ: «Это не самое важное, если понадобится, он вас натаскает. А самое важное, чтобы вы его немного развеселили. Как мне доложили, он все принимает слишком близко к сердцу. Он только недавно попал в Деревню и сразу решил, что это большое событие, хотя на самом деле все это ничего не значит. Вот что вы ему и должны внушить». «Ну и что же? — сказал К. — Прав ли Галатер и выполнили ли вы его поручение?» «Этого я не знаю, — сказал Иеремия.— За такое короткое время это вряд ли было возможно. Знаю только, что ты был очень груб, на что мы и жалуемся. Не понимаю, как ты, тоже человек служащий, и притом даже не служащий Замка, не можешь понять, что такая служба, как наша,— трудная работа и что очень нехорошо с таким своеволием, почти по-мальчишески, затруднять людям работу, как ты ее затруднял нам. Как безжалостно ты заставил нас мерзнуть у ограды, а как ты Артура, человека, у которого от злого слова весь день болит душа, чуть не убил кулаком тогда, на матраце, или как ты в сумерках гонял меня по снегу взад и вперед, так что я потом целый час не мог отдышаться. Я ведь не так уж молод». «Дорогой Иеремия,— сказал К., — ты во всем прав, только излагать все это надо не мне, а Галатеру. Он вас послал по своей воле, я вас у него не выпрашивал. А раз я вас не требовал, значит, я мог отправить вас обратно и охотнее сделал бы это мирным путем, чем силой, но вы явно на это не шли. Кстати, почему вы с самого начала, когда вы ко мне только что пришли, не поговорили со мной так же откровенно, как сейчас?» «Потому что я был на службе,— сказал Иеремия.— Это же само собой понятно». «А теперь ты больше не на службе?» «Теперь уже нет,— сказал Иеремия.— Артур оформил в Замке наш уход со службы, или, по крайней мере, там сейчас идет оформление, чтобы нас от этой должности освободили». «Но ты меня разыскиваешь, как будто ты еще у меня служишь?» — сказал К. «Нет,— сказал Иеремия.— Разыскиваю я тебя, только чтобы успокоить Фриду. Ведь когда ты ее оставил ради сестры Варнавы, она почувствовала себя очень несчастной, не столько из-за потери, сколько из-за твоего предательства; правда, она уже давно предвидела, что так случится, и очень из-за этого страдала. А я как раз подошел к окну школы посмотреть, не образумился ли ты наконец. Но тебя там не было, только Фрида сидела на парте и плакала. Тогда я зашел к ней, и мы договорились. Все уже сделано. Я теперь служу коридорным в гостинице, а Фрида опять там, в буфете. Для Фриды так лучше. Ей не было никакого смысла выходить за тебя замуж. Кроме того, ты не сумел оценить жертву, которую она тебе принесла. А теперь это доброе существо все еще иногда сомневается — справедливо ли мы с тобой поступили, может быть, ты вовсе и не сидел с семейкой Варнавы. И хотя насчет того, где ты, никаких сомнений и быть не могло, я все же отправился сюда, чтобы подтвердить это раз и навсегда; потому что после всех волнений Фрида заслужила право наконец спокойно заснуть, да и я тоже. Вот я и пошел, и не только нашел тебя

тут, но и увидел, что эти девчонки идут за тобой, как на поводке. Особенно та, чернявая, вот уж дикая кошка, до чего она за тебя заступалась! Что ж, у каждого свой вкус. Во всяком случае, тебе нечего было лезть в обход, через соседский сад, я тут все дороги хорошо знаю».

21

Значит, все-таки случилось то, что можно было предвидеть, но нельзя было предотвратить. Фрида его бросила. А вдруг это не окончательно, может быть, дело обстоит не так скверно; Фриду надо было снова завоевать, правда, на нее легко влияли посторонние, особенно эти помощники, считавшие, что у них с Фридой положение одинаковое, и теперь, когда они отказались от службы, они и Фриду подбили уйти, но стоит К. только приблизиться к ней, напомнить ей обо всем, что говорило в его пользу, и она снова с раскаянием вернется к нему, особенно если он сможет оправдать свое пребывание у девушек тем, что они помогли ему достигнуть какого-то успеха. Но несмотря на все эти соображения, касавшиеся Фриды, которыми он пытался себя успокоить, он не успокаивался. Только что он хвалился перед Ольгой отношением Фриды к нему и называл ее своей единственной опорой, оказывается, опора эта не из самых крепких, не нужно было вмешательства высших сил, чтобы отнять Фриду у К., достаточно было этого довольно неаппетитного помощника, этого куска мяса, который порой казался безжизненным.

Иеремия отошел было от К., но тот позвал его назад. «Иеремия,— сказал он,— я буду с тобой совершенно откровенен, но и ты честно ответь мне на один вопрос. Теперь мы с тобой уже не господин и слуга, и этим доволен не только ты, но и я, значит, у нас нет никаких оснований лгать друг другу. Вот у тебя на глазах я ломаю розгу, предназначенную для тебя, потому что пошел я через сад вовсе не из страха перед тобой, а чтобы застать тебя врасплох и вытянуть хорошенько этой розгой. Но ты на меня не обижайся, теперь этому конец, и если бы власти не навязали мне тебя в слуги, то мы с тобой наверняка поладили бы, хоть меня немножко раздражает твоя внешность. Теперь-то мы с тобой уже можем наверстать все, что упущено». «Ты так думаешь? — сказал помощник и с широким зевком прикрыл усталые глаза.— Я бы мог тебе подробнее объяснить, что случилось, но времени у меня нет, надо идти к Фриде, крошка меня ждет. Она еще не приступила к работе, я уговорил хозяина дать ей короткий отдых, она, видно, хотела сразу погрузиться в работу, чтобы тебя забыть, и теперь нам хочется хотя бы немного побыть вместе. Что же касается твоего предложения, то у меня, разумеется, нет ни малейших оснований лгать тебе, но еще меньше оснований тебе доверять. Пока я находился с тобой в служебных отношениях, ты, разумеется, был для меня важной персоной, не из-за твоих достоинств, а по долгу службы, и я охотно сделал бы для тебя все, чего бы ты ни захотел, но теперь ты мне безразличен. И то, что ты сломал розгу, меня тоже не трогает, только напоминает о том, какого грубияна мне дали в господа, но расположить меня к тебе такое поведение никак не может». «Ты со мной разговариваешь, будто уверен, что тебе уже никогда не придется меня бояться. А ведь, в сущности, это не так. Должно быть, тебя еще не освободили от службы, тут так скоро решения не принимают». «А бывает, что и скорее»,— сказал Иеремия. «Бывает,— сказал К.— Но пока нет никаких указаний, что в данном случае так оно и будет, во всяком случае ни тебе, ни мне документа на руки не выдали. Значит, разбор дела только начался, а я еще не использовал свои связи и не вмешался, но непременно вмешаюсь, непременно. Если все обернется для тебя неудачно, значит, ты не особенно старался расположить хозяина в свою пользу, и, быть может, я вообще зря сломал розгу. Фриду ты, правда, увел, потому-то от важности и распушил перья, но при всем уважении к твоей особе — а я тебя уважаю, хоть ты меня и нет,— достаточно сказать мне два-три слова Фриде, я это отлично знаю, чтобы изничтожить всю ту ложь, которой ты ее опутал». «Эти угрозы меня ничуть не пугают,— сказал Иеремия,— ты же не хочешь, чтобы я был твоим помощником, ты боишься меня, как помощника, да и вообще ты помощников боишься, только из страха ты побил доброго Артура». «Возможно,— сказал К.— А разве от этого ему было не так больно? Может статься, что я и свой страх перед тобой смогу выразить таким же образом — и не раз! Если только увижу, что тебе должность помощника не по нутру, так никакой страх не сможет испортить мне удовольствие — заставить

тебя насильно служить мне. Больше того, я приложу все усилия, чтобы заполучить одного тебя, без Артура, тогда я смогу уделять тебе больше внимания». «Неужели ты думаешь,— сказал Иеремия,— что я тебя хоть немножко боюсь?» «Да, думаю, что боишься, хоть немного, но боишься, а если ты умен, то очень боишься. Иначе почему ты сразу не пошел к Фриде? Скажи, ты ее любишь?» «Люблю? — переспросил Иеремия.— Она добрая, умная девочка, бывшая возлюбленная Кламма, значит, во всяком случае, заслуживает уважения. И если она меня непрестанно умоляет избавить ее от тебя, почему же не оказать ей эту услугу, тем более что и тебе я никакого вреда не приношу, ведь ты уже утешился с этими проклятыми варнавовскими девками». «Теперь мне ясна твоя трусость,— сказал К.,— твоя трусость жалкая. Вот такой ложью ты пытаешься меня опутать! Фрида просила меня только об одном — избавить ее от взбесившихся помощников, от этих похотливых кобелей, а у меня, к сожалению, времени не было выполнить ее просьбу, и вот что теперь вышло из-за моего упущения!»

«Господин землемер! Господин землемер! — закричал кто-то в переулке. Это был Варнава. Он подбежал задыхаясь, однако не забыл отдать К. поклон.— Мне все удалось!» «Что удалось? — спросил К.— Ты передал мою просьбу Кламму?» «Это-то не вышло,— сказал Варнава.— Я очень старался, но никакой возможности не было, хоть я и пробился вперед, весь день стоял так близко к столу, что один писарь, которому я загораживал свет, даже оттолкнул меня, потом, хоть это и запрещено, я заявил о себе, и когда Кламм взглянул, я поднял руку, потом задержался в канцелярии дольше всех, остался там один, со слугами, имел счастье видеть, как вернулся Кламм, но оказалось, что вернулся он не из-за меня, он только хотел быстро справиться о чем-то в книге и тут же ушел; в конце концов, так как я не трогался с места, один слуга чуть ли не вымел меня из комнаты метлой. Все это я тебе рассказываю, чтобы ты видел, как я стараюсь, и не выражал недовольства». «Да что мне в твоих стараниях, Варнава,— сказал К.,— если ты никакого успеха не добился». «Но я же добился успеха! — сказал Варнава.— Выхожу я из своей канцелярии — я называю ее своей канцелярией — и вдруг вижу, что из глубины коридора медленно выходит один господин, вокруг никого не было, время было позднее. Я решил подождать его, мне вообще хотелось там остаться, чтобы не сообщать тебе дурные вести. Да и так стоило подождать этого господина, ведь это был Эрлангер. Как, ты его не знаешь? Это один из первых секретарей Кламма. Тщедушный такой, маленький человек, немного хромает. Он меня сразу узнал, он славится своей памятью и знанием людей, ему стоит только наморщить лоб — и он сразу узнает любого, часто даже тех, кого он никогда не видел, только слышал или читал про них, меня, например, он вряд ли видел. Но хотя он и узнает сразу любого человека, он всегда спрашивает, будто не совсем уверен. «Ты, кажется, Варнава? — сказал он мне. И тут же спросил: — Ты ведь знаешь землемера? — И потом сказал: — Это удачно, сейчас я еду в гостиницу. Пусть землемер зайдет туда ко мне. Я живу в номере пятнадцатом. Но пусть он явится сейчас же. У меня там кое-какие переговоры, а в пять часов утра я уже уеду обратно. Скажи ему, что мне очень нужно поговорить с ним».

Тут Иеремия внезапно пустился бежать. Варнава был настолько взволнован, что не обратил на него никакого внимания, но теперь спросил: «Что ему надо?» «Хочет опередить меня у Эрлангера,— сказал К. и побежал за Иеремией, догнал его, схватил под руку и сказал: — Что, соскучился вдруг без Фриды? И я тоже, не меньше тебя, значит, пойдем вместе!»

У темной гостиницы стояла небольшая кучка людей, двое или трое держали фонари, так что можно было различить лица. К. узнал одного знакомого — возчика Герстекера. Герстекер встретил его вопросом: «А ты все еще в Деревне?» «Да,— сказал К.,— я приехал надолго». «А мне какое дело»,— сказал Герстекер и, сильно закашлявшись, повернулся к остальным.

Выяснилось, что все ждут Эрлангера. Эрлангер уже приехал, но прежде, чем начать прием, совещался с Момом. Разговоры вертелись вокруг того, что в доме ждать воспрещалось и приходится стоять тут, в снегу. Правда, было не очень холодно, но все же заставлять людей стоять ночью часами перед домом было безжалостно. Впрочем, Эрлангер был в этом не виноват, он был скорее человек предупредительный, ничего не подозревал и наверняка рассердился бы, если бы ему об этом доложили. Виновата была хозяйка гостиницы: в своем болезненном стремлении соблюдать порядок она не желала, чтобы столько просителей сразу наводнили ее дом. «Уж если непременно надо их принимать,— говаривала она,— так пусть они, бога ради, заходят по

очереди». И она добилась того, что просителей, ждавших сначала просто в коридоре, потом — на лестнице и, наконец, в буфете, в конце концов выдворили на улицу. Она и этим была недовольна. Ей было невыносимо, что в собственном доме ее непрестанно, как она выражалась, «осаждали». Она не понимала, зачем вообще принимают посетителей. «Чтобы пачкать лестницу», — как-то, очевидно с досады, ответил ей на этот вопрос один из чиновников, но этот ответ показался ей весьма вразумительным, и она охотно его повторяла. Она добивалась, чтобы напротив гостиницы построили здание, где могли бы ждать посетители, что вполне соответствовало и их желаниям. Больше всего она хотела, чтобы и прием и допросы проводились бы вне гостиницы, но на это возражали чиновники, а когда чиновники всерьез возражали, то хозяйке, разумеется, ничего добиться не удавалось, хотя в незначительных делах благодаря неустанной и все же по-женски мягкой настойчивости она для всех стала чем-то вроде домашнего тирана. Однако пока что хозяйке приходилось терпеть, чтобы и прием и допросы проходили у нее в гостинице, потому что господа из Замка отказывались покидать гостиницу и ходить в Деревню по служебным делам. Они всегда торопились, в Деревню ездили очень неохотно, и продлевать свое пребывание тут сверх необходимости у них ни малейшего желания не было, поэтому нельзя было с них требовать, чтобы они ради спокойствия в гостинице могли терять столько времени и со всеми своими бумагами переходить через улицу в какой-то другой дом. Охотнее всего чиновники занимались делами либо в буфете, либо у себя в номерах, по возможности за едой, а то и даже в постели, перед сном или проснувшись поутру, когда они от усталости не могли встать и хотели еще понежиться в кровати. Вместе с тем вопрос о постройке помещения для просителей близился к благоприятному разрешению, хотя — и над этим немного посмеивались — для хозяйки это превратилось в сплошное наказание, потому что именно дело о постройке такого помещения вызвало огромный приток посетителей и коридоры в гостинице никогда не пустовали.

Обо всем этом вполголоса беседовали ожидающие. К. обратил внимание на то, что, несмотря на значительное недовольство, никто не возражал против того, что Эрлангер вызвал к себе людей среди ночи. Он спросил: почему — и ему объяснили, что скорее нужно поблагодарить Эрлангера за это. Исключительно его добрая воля и высокое понимание своего служебного долга подвигли его на приезд в Деревню; ведь он мог бы, если бы захотел — и возможно, что это даже больше соответствовало бы предписаниям,— он мог бы послать кого-нибудь из второстепенных секретарей, чтобы тот составил протоколы. Но Эрлангер по большей части отказывался от этого, он желал сам все слышать и видеть, для чего и жертвовал своим ночным временем, потому что в его служебном расписании время для поездок в Деревню предусмотрено не было. К. возразил, что ведь даже Кламм приезжает в Деревню днем и проводит тут по нескольку дней; неужто Эрлангер, будучи только секретарем, более незаменим там, наверху, чем Кламм? Кто-то добродушно засмеялся на это, другие растерянно молчали, таких было большинство, и потому К. едва дождался ответа. Только один нерешительно сказал, что, конечно, Кламм незаменим, как в Замке, так и в Деревне.

Тут отворилась дверь, и между двумя слугами, несущими фонари, появился Мом. «Первым к господину секретарю Эрлангеру будут пропущены Герстекер и К. Оба здесь?» Оба откликнулись, но перед ними в дом проскользнул Иеремия, бросив на ходу: «Я тут коридорный», на что Мом улыбнулся и хлопнул его по плечу. Надо будет поостеречься Иеремии, подумал К., сознавая при этом, что Иеремия, по всей вероятности, куда безвреднее, чем Артур, работающий против него в Замке. Возможно, что было бы даже разумнее терпеть от них мучения, как от помощников, чем дать им расхаживать беспрепятственно и плести без помехи свои интриги, к чему у них имеется явная склонность.

Когда К. подошел к Мому, тот сделал вид, что только сейчас узнал в нем землемера. «Ага, господин землемер! — сказал он.— Тот, что так не любит допросов, а сам рвется на допрос. Со мной в тот раз дело обстояло бы проще. Ну конечно, трудно выбрать, какой допрос лучше». И когда К. при его словах остановился, Мом сказал: «Идите, идите! Тогда мне ваши ответы были нужны, а теперь нет». И все же К., взволнованный поведением Мома, сказал: «Вы только о себе и думаете. Только из-за того, что человек занимает какое-то служебное положение, я отвечать не собираюсь и не собирался». Мом на это сказал: «А о ком же нам думать, как не о себе? Кто тут еще есть? Ну, идите!» В прихожей их встретил слуга и повел по уже

знакомой К. дороге, через двор, потом в ворота, а оттуда в низкий, слегка покатый коридор. Очевидно, в верхних этажах жили только высшие чиновники, секретари же помещались в этом коридоре, и Эрлангер тоже, хотя он был одним из главных секретарей. Слуга потушил фонарь — тут было яркое электрическое освещение. Все вокруг было маленькое, но изящное. Помещение использовали полностью. В коридоре едва можно было встать во весь рост. По бокам — двери, одна почти рядом с другой. Боковые перегородки не доходили до потолка, очевидно, из соображений вентиляции, потому что в комнатках, размещенных тут, в подвале, вероятно, не было окон. Главный недостаток этих неполных перегородок был в том, что в коридоре, а вследствие этого и в комнатках, было очень неспокойно. Многие комнаты как будто были заняты, там по большей части еще не спали, слышались голоса, стук молотков, звон стаканов. Но впечатления особой веселости это не производило. Голоса звучали приглушенно, только изредка можно было разобрать слово-другое, да там, как видно, не беседовали, должно быть, кто-то диктовал или читал вслух, и как раз из тех комнат, откуда доносился звон стаканов и тарелок, не слышно было ни слова, а удары молотка напомнили К., что ему кто-то рассказывал, будто некоторые чиновники, чтобы отдохнуть от постоянного умственного напряжения, иногда столярничали, мастерили какие-то механизмы или что-нибудь в этом роде. В коридоре было пусто, лишь у одной из дверей сидел бледный, узкоплечий, высокий человек в шубе, из-под которой выглядывало ночное белье; очевидно, ему стало душно в комнате, и он сел снаружи и стал читать газету, но читал невнимательно, позевывал, то и дело опускал газету и, подавшись вперед, смотрел в глубь коридора: может быть, он ждал запоздавшего посетителя, вызванного к нему. Проходя мимо него, слуга сказал Герстекеру про этого господина: «Вон Пинцгауэр». Герстекер кивнул. «Давно он не бывал тут, внизу»,— сказал он. «Да, очень уж давно»,— подтвердил слуга.

Наконец, они подошли к двери, ничем не отличавшейся от всех остальных, но за которой, однако, как сказал слуга, жил сам Эрлангер. Слуга попросил К. поднять его на плечи и сквозь просвет над перегородкой заглянул в комнату. «Лежит,— сказал слуга спустившись.— На постели лежит; правда, одетый, но мне кажется, что он дремлет. Тут, в Деревне, от перемены обстановки его иногда одолевает усталость. Придется нам подождать. Когда проснется, он позвонит. Конечно, случается и так, что все время своего пребывания в Деревне он спит, а проснувшись, должен тотчас же уезжать в Замок. Ведь он сюда приезжает работать по доброй воле». «Лучше бы ему и сейчас проспать до отъезда,— сказал Герстекер,— а то, если у него после сна остается мало времени для работы, он бывает очень недоволен, что заспался, и уж тут старается все доделать как можно скорее, так что с ним и поговорить не удается». «А вы пришли насчет перевозок для стройки?» — спросил слуга. Герстекер кивнул, отвел слугу в сторону и что-то тихо стал ему говорить, но слуга почти не слышал, смотрел поверх Гестекера — он был больше чем на голову выше его — и медленно поглаживал себя по волосам.

22

Бесцельно озираясь вокруг, К. внезапно увидал в конце коридора Фриду; она сделала вид, что не узнает его, и только тупо уставилась ему в лицо; в руках у нее был поднос с пустой посудой. К. сказал слуге, не обращавшему на него внимания — чем больше с ним говорили, тем рассеяннее он становился,— что сейчас же вернется, и побежал к Фриде. Добежав до нее, он схватил ее за плечи, словно утверждая свою власть над ней, и задал ей какой-то пустячный вопрос, настойчиво заглядывая ей в глаза, словно ища ответа. Но она оставалась все в том же напряженном состоянии, только рассеянно переставила посуду на подносе и сказала: «Чего ты от меня хочешь? Уходи к ним, к тем — ну ты сам знаешь, как их звать. Ты же только что от них, я по тебе вижу». К. сразу перевел разговор, он не хотел так, сразу пускаться в объяснения и начинать с самой неприятной, самой невыгодной для него темы. «А я думал, ты в буфете»,— сказал он. Фрида посмотрела на него с удивлением и вдруг мягко провела свободной рукой по его лбу и щеке. Казалось, она забыла, как он выглядит, и снова хотела ощутить его присутствие, да и в ее затуманенном взгляде чувствовалось напряженное старание — припомнить его. «Меня снова приняли на работу

в буфет,— медленно сказала она, словно то, что она говорила, никакого значения не имело, а за этими словами она вела какой-то другой разговор с К. о самом важном.— Тут работа для меня неподходящая, ее любая может выполнять: если девушка умеет заправлять постели да делать любезное лицо, не чураться приставаний гостей, а, напротив, получать от этого удовольствие — такая всегда может стать горничной. А вот в буфете работать — другое дело. Да меня теперь сразу приняли на работу в буфет, хотя я в тот раз и не совсем достойно ушла оттуда, правда за меня попросили. Но хозяин обрадовался, что за меня просили, и ему легко было принять меня снова. Вышло даже так, что ему пришлось уговаривать меня вернуться, и если ты вспомнишь, о чем оно мне напоминает, ты все поймешь. В конце концов я это место приняла. А здесь я пока что только помогаю. Пепи очень просила не опозорить ее, не заставлять сразу уходить из буфета, и так как она работала усердно и делала все, на что хватало ее способностей, мы дали ей двадцать четыре часа отсрочки». «Хорошо же вы все устроили,— сказал К.— Сначала ты из-за меня ушла из буфета, а теперь, перед самой нашей свадьбой, ты опять туда возвращаешься». «Свадьбы не будет»,— сказала Фрида. «Из-за того, что я тебе изменил? — спросил К., и Фрида кивнула.— Послушай, Фрида,— сказал К., — об этой предполагаемой измене мы уже говорили не раз, и тебе всегда приходилось в конце концов соглашаться, что это несправедливое подозрение. Но ведь до сих пор с моей стороны ничего не изменилось, все осталось таким же безобидным, как и было, и никогда ничего измениться не может. Значит, изменилось что-то с твоей стороны, то ли кто-то тебе наклепал на меня, то ли еще из-за чего-то. Во всяком случае, ты ко мне несправедлива. Сама подумай: как обстоит дело с этими двумя девушками? Та, смуглая,— право, мне стыдно, что приходится их так выгораживать поодиночке,— так вот, эта смуглая мне, наверно, так же неприятна, как и тебе. Я стараюсь держаться с ней построже, впрочем, она в этом идет мне навстречу, трудно быть скромнее, чем она». «Ну да,— воскликнула Фрида, казалось, что слова вырвались у нее против воли, и К. обрадовался, что она не сдержалась и вела себя не так, как хотела. — Можешь считать ее скромной, самую бесстыжую из всех называть скромной, и ты так и думаешь на самом деле, я знаю, ты не притворяешься. Хозяйка трактира «У моста» так про тебя и сказала: «Терпеть его не могу, но и оставить на произвол судьбы не могу, ведь когда видишь ребенка, который еще почти ходить не умеет, а сам бросается вперед, нельзя удержаться, непременно вмешаешься!» «На этот раз послушайся ее,— сказал К. улыбнувшись, — но что касается той девушки — скромная она или бесстыжая,— давай забудем про нее, не будем думать, я ее и знать не хочу». «Но зачем же ты называешь ее скромной?— упрямо спросила Фрида, и К. счел этот интерес благоприятным для себя. — Ты на себе это испробовал или хочешь, чтобы другие опустились до этого»? «Ни то ни другое,— сказал К,— я называю ее так из благодарности, потому что она мне облегчает задачу не замечать ее, и еще оттого, что, если бы она со мной заигрывала, мне трудно было бы заставить себя еще раз пойти к ним, а это было бы для меня большой потерей, потому что бывать там мне необходимо ради нашего с тобой будущего, и ты это сама знаешь. Потому мне приходится разговаривать и с другой сестрой, и хотя я ее очень уважаю за ее усердие, чуткость и бескорыстие, но сказать, что она соблазнительна,— никто не скажет». «А вот слуги другого мнения, чем ты»,— сказала Фрида. «И в этом, и, наверно, во многом другом,— сказал К. — Так неужели похотливость этих слуг наводит тебя на мысль о моей неверности?» Фрида промолчала и позволила, чтобы К. взял поднос у нее из рук, поставил на пол и, подхватив ее под руку, медленно зашагал с ней взад и вперед по тесному помещению. «Ты не знаешь, что такое верность,— сказала она, слегка отстраняясь от него,— твое отношение к этим девушкам вовсе не самое важное, но то, что ты вообще бываешь в этой семье и возвращаешься оттуда весь пропахший запахом их жилья, вот что для меня невыносимый позор. И еще ты убежал из школы, не сказав ни слова, и пробыл у них полночи. А когда за тобой приходят, так ты позволяешь этим девицам отрицать, что ты у них, да еще так настойчиво отрицать! Особенно эта твоя несравненная скромница. Крадешься потайным путем из их дома, может быть даже, чтобы спасти их репутацию, репутацию таких девиц! Нет, давай лучше не будем говорить об этом!» «Об этом не будем,— сказал К.— А вот о другом, Фрида, будем. Об этом и говорить-то нечего. Зачем я туда хожу — ты сама знаешь. Мне это нелегко, но я себя пересиливаю. А ты не должна бы затруднять мне это еще больше. Сегодня я думал только на минуту зайти — спросить, не пришел ли наконец Варнава, ведь он давным-давно должен был принести мне важное

известие. Он еще не пришел, но, как меня уверили, должен был скоро появиться. Заставлять его идти за мной в школу я не хотел, боялся, что его присутствие тебе помешает. Время шло, а его, к сожалению, все не было. Зато пришел другой, ненавистный мне человек. Позволить ему шпионить за мной у меня никакой охоты не было, потому я и перебрался через соседний сад, но и прятаться от него я не собирался, а пошел по улице ему навстречу не только открыто, но, должен сознаться, и с довольно внушительной розгой в руках. Вот и все, и говорить об этом больше нечего, зато о другом поговорить надо. Как насчет моих помощников, о которых мне упоминать так же противно, как тебе — о том семействе? Сравни свое отношение к ним с тем, как я веду себя с этой семьей. Я понимаю твое отвращение к этой семье и могу его разделять. Но я к ним хожу только по делу, мне иногда даже кажется, что я нехорошо поступаю, эксплуатирую их. А ты и эти помощники! Ты и не отрицала, что они к тебе пристают, ты призналась, что тебя к ним тянет. Я на тебя не рассердился, я понял, что тут действуют такие силы, с которыми тебе не справиться, я радовался, что ты хотя бы сопротивляешься им, помогал тебе защищаться и вот только из-за того, что я на несколько часов ослабил внимание, доверяя твоей верности и, конечно, надеясь, что дом заперт накрепко, а помощники окончательно выгнаны,— боюсь, что я их недооценил! — только из-за того, что я ослабил внимание, а этот Иеремия, оказавшийся при ближайшем рассмотрении не очень крепким и уже немолодым малым, осмелился заглянуть в окно, и теперь только из-за этого я должен потерять тебя, Фрида, и вместо приветствия услышать от тебя: «Свадьбы не будет»! Не я ли должен был бы упрекать тебя, а ведь я тебя не упрекал и не упрекаю!» Тут К. снова показалось, что надо отвлечь Фриду, и он попросил ее принести ему поесть, потому что он с обеда ничего не ел. Фрида, явно обрадованная просьбой, кивнула и побежала зачем-то, но не по коридору, где, как показалось К., была кухня, а в сторону, вниз, по двум ступенькам. Вскоре она принесла тарелку с нарезанной колбасой и бутылку вина, это были явно остатки чьего-то ужина: чтобы скрыть это, куски были наспех заново разложены по тарелке, но шкурки от колбасы остались неубранными, а бутылка была на три четверти опорожнена. Но К. ничего не сказал и с аппетитом принялся за еду. «Ты ходила на кухню?» — спросил он. «Нет, в мою комнату,— ответила она,— у меня тут, внизу, комната». «Ты бы взяла меня с собой,— сказал К.— Давай я туда спущусь, присяду поесть». «Я тебе принесу стул»,— сказала Фрида и пошла было прочь. «Спасибо,— сказал К., удерживая ее,— вниз я не пойду, и стул мне тоже не нужен». Фрида нехотя подчинилась, когда он ее удержал, и, низко склонив голову, кусала губы. «Ну да, он внизу,— сказала она,— а ты чего ждал? Он лежит в моей постели, его на улице прохватило, он простудился, почти ничего не ел. В сущности, ты во всем виноват: если бы ты не прогнал помощников и не побежал к тем людям, мы бы теперь мирно сидели в школе. Неужели ты думаешь, что Иеремия посмел бы увести меня, пока он был у тебя на службе? Значит, ты совершенно не понимаешь здешних порядков. Он тянулся ко мне, он мучился, он меня подстерегал, но ведь это была только игра, так играет голодный пес, но на стол прыгнуть не смеет. И со мной было то же. Меня к нему влекло, он же мой друг детства, мы вместе играли на склоне замковой горы, чудесное было время, ты ведь никогда не спрашивал меня о моем прошлом. Но все это ничего не значило, пока Иеремия был связан службой, а я знала свои обязанности как будущая твоя жена. А потом ты выгнал помощников, да еще гордился этим, словно сделал что-то для меня; что ж, в каком-то отношении это верно. С Артуром ты чего-то добился, но только на время, он такой деликатный, нет в нем страсти, не знающей преград, как в Иеремии, к тому же, ты чуть не убил его ударом кулака в ту ночь, но удар этот пришелся и по нашему с тобой счастью, почти сокрушил его! Артур убежал в Замок жаловаться, и хотя он скоро вернется, сейчас его тут нет. Но Иеремия остался. На службе он боится, если хозяин хоть бровью поведет, а вне службы он ничего не страшится. Он пришел и увел меня; ты меня бросил, а он, мой старый друг, мной распорядился, и я не могла сопротивляться. Я не отпирала двери школы, а он разбил окно и вытащил меня. Мы убежали сюда, хозяин его уважает, да и гостям ничего лучшего желать не надо, как заполучить такого коридорного, нас с ним и приняли, он не со мной живет, просто у нас комната общая». «И все-таки,— сказал К.,— я не жалею, что прогнал помощников. Если ваши взаимоотношения и впрямь были такими, как ты их описываешь, и твоя верность определялась только служебной зависимостью помощников, то, слава богу, что все это кончилось. Не

очень-то счастливым был бы брак в присутствии двух хищников, которые только под хлыстом и смирялись. Тогда я должен благодарить и ту семью, которая ненароком помогла нас разлучить». Они замолчали и снова зашагали вместе взад и вперед, и трудно было разобраться, кто сделал первым шаг, Фрида шла близко к К. и явно была недовольна, что он не берет ее под руку. «Значит, все как будто в порядке,— продолжал К.,— и мы, пожалуй, могли бы распрощаться, ты пошла бы к своему господину Иеремие, он, видно, простыл еще в тот раз, как я его гнал через школьный сад, а теперь ты его и так слишком надолго оставила в одиночестве, а я могу отправиться один в школу или, так как мне там без тебя делать нечего, еще куда-нибудь, где меня примут. И если я, несмотря на все, еще колеблюсь, то исключительно оттого, что я, не без оснований, все еще немного сомневаюсь в том, что ты мне тут наговорила. На меня Иеремия произвел совсем другое впечатление. Пока он у меня служил, он от тебя не отставал, и не думаю, чтобы служба могла надолго удержать его от приставаний к тебе. Но теперь, когда он считает службу оконченной, все обернулось по-другому. Прости, если я себе представляю дело так: с тех пор как ты перестала быть невестой его хозяина, ты уже не так соблазнительна для него, как раньше. Возможно, что вы с ним и друзья детства, но для него — хотя я знаю его только по короткому разговору сегодня вечером,— для него все эти нежные чувства мало чего стоят. Не понимаю, почему тебе кажется, что у него страстная натура. Наоборот, мне он показался особенно хладнокровным. Очевидно, он получил от Галатера какое-то, может быть не особенно лестное для меня, поручение и старается выполнить его усердно и ревностно, это я должен признать, да, тут такое усердие встречается нередко, причем ему, видно, было поручено и разлучить нас с тобой; как видно, он пытался этого добиться разными способами, и один из них — соблазнить тебя своими похотливыми ужимками, другой — тут его поддерживала хозяйка трактира — наговаривать тебе про мою измену, и его попытки удались; может быть, тут помогло и то, что с ним связано какое-то напоминание о Кламме; правда, свою должность он потерял, но именно в тот момент, когда она, возможно, уже ему была не нужна, теперь он пожинает плоды своих стараний и вытаскивает тебя из окна школы, но на этом его деятельность и кончается; лишенный служебного рвения, он устает, ему бы хотелось быть на месте Артура — ведь тот вовсе не жаловаться пошел, а добиваться себе похвал и новых поручений, однако кому-то надо остаться тут и проследить за дальнейшим ходом событий. Его только немного угнетает необходимость заботиться о тебе. Любви к тебе тут и следа нет, в этом он мне откровенно сознался. Как возлюбленная Кламма ты ему, разумеется, внушаешь почтение, и ему, конечно, очень приятно угнездиться в твоей комнате и хоть ненадолго почувствовать себя этаким маленьким Кламмом, но это — все, а ты сама для него уже ничего не значишь, и то, что он тебя тут пристроил, это лишь дополнение к главному его заданию; а чтобы ты не беспокоилась, он и сам тут остался, но только временно, пока не придут новые указания из Замка». «Как ты клевещешь на него!» — сказала Фрида и стукнула своим маленьким кулачком по кулачку. «Клевещу? — сказал К.— Нет, я вовсе не хочу клеветать на него. Да, может быть, я к нему несправедлив, это конечно, возможно. И все, что я о нем сказал, тоже, конечно, не так уж ясно с первого взгляда, и толковать это можно по-всякому. Но клеветать? Клеветать можно было бы только с одной целью — бороться с твоей любовью к нему. Если бы это было нужно и если бы клевета оказалась подходящим средством, я бы ничуть не поколебался бы оклеветать его, и никто меня не осудил бы за это, потому что благодаря его хозяевам у него столько преимуществ передо мной, что я, полностью предоставленный самому себе, имел бы право возвести на него какой-нибудь поклеп. Это было бы сравнительно невинным и в конечном итоге бессильным средством защиты. Так что убери свои кулачки!» И К. взял руку Фриды в свою руку. Фрида хотела было отнять ее, но улыбнулась и особых усилий не приложила. «Нет, клеветать мне не придется,— сказал К.,— потому что ты его вовсе не любишь, только что-то воображаешь и будешь мне благодарна, если я тебя освобожу от такого заблуждения. Ты пойми: если кому-нибудь надо было разлучить тебя со мной, и не силой, а планомерно и рассчетливо, то он непременно должен был сделать это через моих помощников. Они такие с виду добрые, ребячливые, веселые, безответственные, да еще с ними связаны воспоминания детства, все это так мило, особенно когда я — полная им противоположность — вечно бегаю по делам, которые тебе не очень понятны и тебя раздражают, да еще сводят

меня с людьми, тебе ненавистными, и при всей моей невиновности, что-то от этой ненависти переходит и на меня. И в результате получается, что зло и довольно хитро использованы изъяны в наших с тобой отношениях. Все взаимоотношения имеют свои недостатки, а наши в особенности, мы ведь с тобой пришли каждый из своего, совсем непохожего мира, и с тех пор как познакомились, жизнь каждого из нас пошла совсем другим путем, мы еще чувствуем себя неуверенно, слишком все это ново. Я не о себе говорю — это не важно, в основном с тех пор, как ты остановила на мне свой взгляд, ты все время одаряешь меня; а привыкнуть принимать дары не так уж трудно. Тебя оторвали от Кламма — от всего другого я отвлекаюсь,— мне трудно оценить, что это для тебя значит, но какое-то представление я все же постепенно себе составил. Ты спотыкаешься на каждом шагу, не находишь себе места, и хотя я всегда готов поддержать тебя, но ведь не всегда я оказываюсь под рукой, и даже когда я тут, тебя держат в плену твои фантазии, а иногда и кто-то живой, например, хозяйка трактира; короче говоря, бывали минуты, когда ты смотрела не на меня, а куда-то в сторону, тянулась, бедное дитя, к чему-то неясному, неопределенному, и стоило только в такие минуты поставить подходящих людей там, куда был направлен твой взгляд, и ты им покорялась, поддавалась наваждению, будто эти мимолетные мгновенья, призраки, старые воспоминания, словом, вся безвозвратно ушедшая и все более уходящая вдаль прошлая жизнь еще является твоей настоящей, теперешней жизнью. Нет, Фрида, это ошибка, это последняя, и, если судить правильно, ничтожная помеха перед окончательным нашим соединением. Вернись ко мне, возьми себя в руки, если ты даже думала, что помощников послал Кламм — хотя это неправда, их направил Галатер,— и если даже они пытались тебя околдовать таким обманом настолько, что тебе даже и в их грязи, в их гадостях мерещится Кламм, как иногда человеку кажется, что он видит в навозной куче потерянный бриллиант, в то время как он его никогда не мог бы найти, даже если бы камень там был,— но ведь они простые парни, вроде слуг на конюшне, только вот у них здоровья нет, от свежего воздуха сразу заболевают, валятся в постель, а уж подходящую постель они себе находят немедленно — лакейские хитрости!» Фрида положила голову на плечо К., и, обнявшись, они снова молчаливо зашагали взад и вперед. «Вот если бы мы,— сказала Фрида медленно, почти умиротворенно, словно зная, что ей ненадолго уделена эта минута покоя на плече у К., но она хочет насладиться этой минутой сполна,— вот если бы мы с тобой сразу, в ту же ночь, уехали, мы бы могли жить где-нибудь в безопасности и рука твоя была бы всегда тут, взять ее можно было бы всегда. Как мне нужна твоя близость, как с тех пор, что я тебя знаю, мне одиноко без твоей близости; да, твоя близость — единственное, о чем я мечтаю, поверь мне, единственное». Вдруг в боковом коридорчике послышался голос, это был Иеремия, он стоял на нижней ступеньке в одной рубахе, закутавшись в платок Фриды. Растрепанный, с мокрой, будто от дождя, бороденкой, вытаращив с мольбой и упреком глаза, с раскрасневшимися щеками, рыхлыми, как расползающееся мясо, с голыми ногами, дрожавшими так, что тряслась бахрома платка, он был похож на больного, удравшего из госпиталя, и тут уж ни о чем нельзя было думать, только бы поскорее уложить его снова в постель. Фрида так это и восприняла, высвободилась из рук К. и тут же очутилась внизу, около Иеремии. От ее близости, от заботливости, с какой она крепче закутала его в платок, от того, как она торопливо пыталась заставить его вернуться в комнату, у него сразу прибавилось сил; казалось, что он только сейчас узнал К. «Ага, господин землемер! — сказал он и умиротворяюще погладил по щеке Фриду, которая явно не хотела допустить никаких разговоров.— Извините, если помешал. Но я очень нездоров, так что мне простительно. Кажется, у меня жар, меня надо напоить чаем, чтобы я пропотел. Проклятая решетка у школьного сада, никогда ее не забуду, а потом, уже простуженным, я еще ночью набегался. Жертвуешь своим здоровьем, сам не замечая, да еще ради самых нестоящих дел. Но вы, господин землемер, не стесняйтесь меня, пойдемте к нам в комнату, посидите около больного и скажите Фриде все, чего еще сказать не успели. Когда двое привыкших друг к другу людей расходятся, им в последние минуты столько надо сказать друг другу, что третий, особенно если он лежит в постели и ждет обещанного чая, даже и поить ничего не может. Заходите, я буду лежать тихо». «Хватит, хватит,— сказала Фрида и потянула его за руку.— Он в жару, сам не понимает, что говорит. Но ты, К., не ходи за нами, очень тебя прошу. Это комната моя и Иеремии, вернее только моя, и я тебе запрещаю

входить туда с нами. Ты меня преследуешь, ах, К., зачем ты меня преследуешь? Никогда, никогда я к тебе не вернусь, я вся дрожу, как только подумаю, что это возможно. Иди к своим девицам, они сидят около тебя в одних рубашках, мне все рассказали, а когда за тобой приходят — они шипят. Видно, ты у них как дома, раз тебя туда так тянет. А я тебя всегда удерживала от них, хоть и безуспешно, но все же удерживала, теперь все кончено, ты свободен. Чудная жизнь тебя там ждет; может быть, из-за одной из них тебе и придется немного побороться со слугами, но что касается второй — то ни на земле, ни в небе не найдется никого, кто станет ее отбивать. Ваш союз благословлен заранее. Не отрицай ничего, я знаю, ты можешь все опровергнуть, но в конце концов ничего не будет опровергнуто. Ты подумай, Иеремия, он все опровергает!» Они понимающе кивнули и улыбнулись друг другу. «Однако,— продолжала Фрида,— даже если все было бы опровергнуто, чего бы ты этим достиг, мне-то что за дело? Что у них там происходит, это их и его дело, но не мое. Мое дело — ухаживать за тобой, пока ты не поправишься; станешь здоровым, таким, каким ты был, пока К. из-за меня не взялся тебя мучить». «Значит, вы и вправду с нами не пойдете, господин землемер?» — спросил Иеремия, но тут Фрида, уже не оборачиваясь на К., окончательно увела его прочь. Внизу виднелась маленькая дверца, еще более низкая, чем двери в коридоре,— не только Иеремии, но и Фриде пришлось нагнуться при входе,— внутри, как видно, было тепло и светло; послышался шепот, наверно Иеремию ласково уговаривали лечь в постель, потом дверь захлопнулась.

23

Только сейчас К. заметил, как тихо стало в коридоре, и не только в той части, где он был с Фридой,— эта часть, очевидно, относилась к хозяйственным помещениям,— но и в том длинном коридоре, где помещались комнаты, в которых раньше так шумели. Значит, господа наконец-то заснули. И К. тоже очень устал, и возможно, что он от усталости не боролся с Иеремией так, как следовало. Может, было бы умнее взять пример с Иеремии, явно преувеличившего свою простуду — а вид у него был жалкий вовсе не от простуды, он отроду такой, и никакими целебными настойками его не изменишь,— да, надо бы взять пример с Иеремии, выставить напоказ свою действительно ужасающую усталость, улечься тут же в коридоре, что и само по себе было бы приятно, немножко вздремнуть, глядишь, тогда за тобой немножко и поухаживали бы. Только вряд ли у него все это вышло бы так удачно, как у Иеремии, тот, наверно, победил бы в борьбе за сочувствие, да и в любой другой борьбе тоже. К. устал так, что подумал: уж не попробовать ли ему забраться в одну из комнат — наверняка многие из них пустуют — и там выспаться как следует на хорошей постели. Это было бы воздаянием за многое, подумал он. Да и питье на ночь было у него под рукой. На подносе с посудой, который Фрида оставила на полу, стоял небольшой графинчик с ромом. Не опасаясь, что возвращаться отсюда будет трудно, К. выпил графинчик до дна.

Теперь он по крайней мере чувствовал себя в силах предстать перед Эрлангером. Он стал искать дверь в комнату Эрлангера, но так как ни слуг, ни Герстекера нигде не было, а двери походили одна на другую, то найти нужную дверь не удалось. Но ему казалось, что он запомнил, в каком месте коридора была та дверь, и решил открыть одну из комнат, которая, по его мнению, могла оказаться именно той, какую он искал. Ни малейшей опасности в этой попытке не было; если Эрлангер окажется в комнате, то он его примет, а если комната не та, можно будет извиниться и уйти, а если хозяин спит, что было самым вероятным, то он и не заметит прихода К.; хуже всего будет, только если комната окажется пустой, потому что тогда К. едва ли удержится от искушения лечь в постель и спать без просыпу. Он посмотрел направо и налево по коридору, не идет ли кто, у кого можно получить сведения, чтобы зря не рисковать, но в длинном коридоре было пусто и тихо. К. приложил ухо к двери: в комнате никого не было. Он постучал так тихо, что спящего стук не разбудил бы, а когда никакого ответа не последовало, он очень осторожно отворил дверь. И тут его встретил легкий вскрик.

Комната была маленькая, и больше чем половину ее занимала огромная кровать, на ночном столике горела электрическая лампа, рядом лежал дорожный саквояж.

В кровати, укрывшись с головой, кто-то беспокойно зашевелился, и из-под одеяла и простыни послышался шепот: «Кто тут?» Теперь К. уже не мог так просто уйти, с недовольством поглядел он на пышную, но, к сожалению, не пустующую постель, вспомнил вопрос и назвал свое имя. Это подействовало благоприятно, и человек в кровати немножко отодвинул одеяло с лица, готовый в испуге снова спрятаться под одеяло, если окажется что-то не так. Но тут же, не раздумывая, он совсем откинул одеяло и сел. Конечно, это был не Эрлангер. В кровати сидел маленький, благообразный господинчик, лицо которого было как бы противоречивым, потому что щечки у него были по-детски округлые, глаза по-детски веселые, но зато высокий лоб, острый нос, и узкий рот с едва заметными губами, и почти срезанный подбородок выглядели совсем недетскими и говорили о напряженной работе мысли. Очевидно, довольство самим собой и придавало ему налет какой-то ребячливости. «Вы знаете Фридриха? — спросил он, но К. ответил отрицательно.— А вот он вас знает»,— сказал господин усмехнувшись. К. кивнул: людей, которые его знали, было предостаточно, это являлось даже главной помехой на его пути. «Я его секретарь,— сказал господин.— Моя фамилия Бюргель». «Извините, пожалуйста,— сказал К. и взялся за ручку двери,— к сожалению, я спутал вашу дверь с другой. Видите ли, меня вызывал секретарь Эрлангера». «Как жаль,— сказал Бюргель,— не то жаль, что вас вызвали к другому, а жалко, что вы двери перепутали. Дело в том, что мне никак не заснуть, если меня разбудят. Впрочем, пусть это вас не очень огорчает, это мое личное горе. А знаете, почему тут двери не запираются? Тому есть свои причины. Потому что, согласно старой поговорке, двери секретарей всегда должны быть открыты. Но буквально это понимать вовсе не следует, не правда ли?» И Бюргель вопросительно посмотрел на К. и весело улыбнулся: несмотря на жалобы, он, как видно, уже отлично отдохнул; а до такой степени, как сейчас устал К., этот Бюргель, наверно, не уставал никогда. «Куда же вы теперь хотите идти? — спросил Бюргель.— Уже четыре часа. Вам придется будить каждого, к кому вы зайдете, но не каждый, как я, привык к помехам, не каждый так мирно к этому отнесется, секретари — народ нервный. Посидите тут немножко. Часам к пяти все уже начинают вставать, тогда вам будет удобнее пойти к тому, кто вас вызвал. Так что, прошу вас, выпустите наконец дверную ручку и сядьте куда-нибудь, правда, тут тесновато, вам лучше всего сесть на край кровати. Вы удивляетесь, что у меня ни стола, ни стульев нет? Видите ли, передо мной стоял выбор — то ли взять комнату с полной обстановкой, но с узенькой гостиничной кроватью, то ли эту — с большой кроватью и одним только умывальником. Я выбрал большую кровать, ведь в спальне кровать — самое главное! Эх, какая великолепная штука эта кровать для человека, который может вытянуться как следует и заснуть, для того, у кого сон крепкий. Но даже мне, хотя я всегда чувствую усталость, а спать не могу, даже мне тут приятно, я почти весь день провожу в кровати, тут и корреспонденцию веду, тут и посетителей выслушиваю. И это очень удобно. Правда, посетителям сесть некуда, но они на это не обижаются, для них же лучше, если они стоят, а протоколист устроился поудобнее, чем если они удобно рассядутся, а на них будут шипеть. Потом я еще могу кого-нибудь усадить на край постели, но это место не для служебных дел, тут только ночные переговоры ведутся. Что же вы так притихли, господин землемер?» «Я очень устал»,— сказал К., который сразу после приглашения сесть бесцеремонно плюхнулся на кровать и прислонился к спинке. «Понятно,— сказал Бюргель с усмешкой,— тут все устали. Например, взять меня, я и вчера и сегодня провел немалую работу. При этом совершенно исключено, что я сейчас усну. Но если уж случится такая невероятная вещь, то попрошу вас, сидите тихо и не открывайте дверей. Но не бойтесь, я, наверно, не усну, в лучшем случае — задремлю на минуту. Хотя я настолько привык к приему посетителей, что легче всего засыпаю, когда тут у меня сидят». «Спите, пожалуйста, господин секретарь! — сказал К., обрадованный этим заявлением.— И если разрешите, я тоже немного вздремну». «Нет-нет,— засмеялся Бюргель,— к сожалению, я не могу уснуть просто по вашему приглашению, только по ходу разговора может вдруг представиться такая возможность, меня легче всего усыпляет разговор. Да, в нашем деле нервы здорово страдают. Я, например, секретарь связи. Вы, наверно, не знаете, что это такое? Так вот, я являюсь самой прочной связью,— тут он невольно потер руки от удовольствия,— между Фридрихом и Деревней, я осуществляю связь между его секретарями в Замке и в Деревне, нахожусь по большей части в Деревне, но не постоянно, каждую минуту я должен быть наготове, чтобы вернуться в Замок. Вот видите, вон мой дорожный саквояж, жизнь у меня неспокойная, не каждому выдержать. С другой стороны, верно

и то, что я без этой работы жить бы не смог, всякая другая работа мне показалась бы мелкой. А как с вашими землемерными работами?» «Я ими не занимаюсь, тут меня как землемера не используют»,— сказал К., но сейчас его мысли были далеко от дел, он жаждал только одного — чтобы Бюргель заснул, но и этого ему хотелось только из какого-то чувства долга перед самим собой, в душе он сознавал, что момент, когда Бюргель уснет, неизмеримо далеко. «Странно,— сказал Бюргель, живо вскинув голову, и вытащил из-под одеяла записную книжку для каких-то отметок.— Вы землемер, а землемерных работ не производите». К. машинально кивнул: он вытянул вдоль спинки кровати левую руку и оперся на нее головой, он все время искал как бы сесть поудобнее, и это положение оказалось удобнее всего, и теперь он мог внимательно прислушаться к словам Бюргеля. «Я готов,— продолжал Бюргель,— разобраться в этом деле. У нас, безусловно, не такие порядки, чтобы специалиста не использовать по назначению. Да и для вас это должно быть обидно. Разве вы от этого не страдаете?» «Да, страдаю»,— сказал К. медленно, улыбаясь про себя, потому что именно сейчас не страдал ни капельки. Да и предложение Бюргеля никакого впечатления на него не произвело. Все это было сплошное дилетантство. Ничего не зная о тех обстоятельствах, при которых вызвали сюда К., о трудностях, встреченных им в Деревне и в Замке, о запутанности его дел, которая за время пребывания К. уже дала или дает о себе знать, ничего не ведал обо всем этом, более того — даже не делая вида, что он, как, во всяком случае, полагалось бы секретарю, имеет хотя бы отдаленное представление об этом деле, он предлагает так, походя, при помощи какого-то блокнотика уладить недоразумение там, наверху. «Видно, у вас уже было немало разочарований»,— сказал Бюргель, доказав этими словами, что он все же разбирался в людях, и вообще К., с той минуты, как вошел в эту комнату, все время старался себя уговорить, что недооценивать Бюргеля не стоит, но он находился в том состоянии, когда трудно правильно судить о чем бы то ни было, кроме собственной усталости. «Нет,— продолжал Бюргель, словно отвечая на какие-то мысли К. и желая предусмотрительно избавить его от необходимости говорить.— Пусть вас не отпугивают разочарования. Иногда сдается, что тут специально все так устроено, чтобы отпугивать людей, а кто сюда приезжает впервые, тому эти препятствия кажутся совершенно непреодолимыми. Не стану разбираться, как обстоит дело по существу, может быть так оно и есть, я слишком близко ко всему стою, чтобы составить определенное мнение, но заметьте, иногда подворачиваются такие обстоятельства, которые никак не связаны с общим положением дел. В этих обстоятельствах одним взглядом, одним словом, одним знаком доверия можно достигнуть гораздо большего, чем многолетними, изводящими человека стараниями. Это, безусловно, так. Правда, в одном эти случайности соответствуют общему положению дел — в том, что ими никогда не пользуются. Но почему же ими не пользуются? — всегда спрашиваю я себя». Этого К. не знал; и хотя он заметил, что слова Бюргеля непосредственно касаются его самого, но у него возникло какое-то отвращение ко всему, что его непосредственно касалось, и он немного повернул голову вбок, как бы пропуская мимо ушей вопросы Бюргеля, чтобы они его не затрагивали. «Постоянно,— продолжал Бюргель и, потянувшись, широко зевнул, что странно противоречило серьезности его слов,— секретари постоянно жалуются, что их заставляют по ночам допрашивать деревенских жителей. Но почему они на это жалуются? Потому ли, что это их очень утомляет? Потому ли, что ночью они предпочитают спать? Нет, на это они никак не жалуются. Конечно, среди секретарей есть и более усердные, и менее усердные, как и везде, но на слишком большую нагрузку никто из них, во всяком случае открыто, не жалуется. Просто это не в наших привычках. В этом отношении мы не делаем разницы между обычным и рабочим временем. Такое различие нам чуждо. Так почему же тогда секретари возражают против ночных допросов? Может быть, из желания щадить посетителей? Нет-нет, посетителей секретари совершенно не щадят, так же как и самих себя, тут они пощады не знают. Но в сущности, эта беспощадность есть не что иное, как железный порядок при исполнении служебных обязанностей, а чего же больше могут для себя желать посетители? В основном, хоть и незаметно для поверхностного наблюдения — это и признают все без исключения,— сами посетители как раз и приветствуют ночные допросы, никаких существенных возражений против ночных допросов не поступает. Но почему же тогда секретари так ими недовольны?» К. и этого не знал, он вообще знал очень мало, он даже не мог разобрать, всерьез ли Бюргель задает вопросы или только для проформы. «Пустил бы ты меня поспать на твоей кровати,— думал К.,— я бы завтра днем или лучше к вечеру ответил тебе на все вопросы». Но Бюргель как будто не обращал на

него никакого внимания, уж очень его занимало то, о чем он сам себя спрашивал: «Насколько я понимаю и насколько я сам испытал, секретари в основном возражают против ночных допросов по следующим соображениям: ночь потому менее подходит для приема посетителей, что ночью трудно или даже совсем невозможно полностью сохранить служебный характер процедуры. И зависит это не от внешних формальностей, их можно при желании соблюдать со всей строгостью ночью так же, как и днем. Так что суть дела не в этом, страдает тут именно служебный подход к делу. Невольно склоняешься судить ночью обо всем с более личной точки зрения, слова посетителя приобретают больше веса, чем положено, к служебным суждениям примешиваются совершенно излишние соображения насчет жизненных обстоятельств людей, их бед и страданий; необходимая граница в отношениях между чиновниками и допрашиваемыми стирается, как бы безупречно она внешне ни соблюдалась, и там, где, как полагается, надо было бы ограничиться, с одной стороны, вопросами, с другой — ответами, иногда, как ни странно, возникает совершенно неуместный обмен ролями. Так по крайней мере утверждают секретари, которые по своей профессии одарены особенно тонким чутьем на такие вещи. Но даже и они — об этом много говорилось в нашей среде — мало замечают эти незначительные отклонения во время ночных допросов; напротив, они заранее напрягают все силы, чтобы противостоять подобным влияниям, сопротивляться им, и считают, что им в конце концов удается достигнуть особенно ценных результатов. Однако, когда потом читаешь их протоколы, то удивляешься явным промахам, которые видны невооруженным глазом. И это такие ошибки, обычно ничем не оправданные ошибки в пользу допрашиваемых, которые, по крайней мере по нашим предписаниям, уже нельзя сразу исправить обычным путем. Разумеется, когда-нибудь эти ошибки наверняка будут исправлены контрольной службой, но это пойдет только в счет исправления правовых нарушений, и человеку уже повредить не сможет. Разве при всех этих обстоятельствах жалобы секретарей не обоснованны?» К. уже давно находился в каком-то полусне, но вопрос его снова разбудил. К чему все это? К чему все это? — спросил он себя и посмотрел на Бюргеля из-под полузакрытых век не как на чиновника, обсуждающего с ним сложные вопросы, а только как на что-то мешающее ему спать, что-то такое, в чем он никакого другого смысла увидать не мог. Но Бюргель, всецело поглощенный своими мыслями, усмехался, как будто ему удалось совсем сбить К. с толку. Однако он был готов снова вывести его на верную дорогу. «Все же,— сказал он,— считать эти жалобы совершенно законными тоже нельзя. Конечно, ночные допросы нигде прямо не предписаны, так что если стараются их избегать, то никаких инструкций не нарушают, но все обстоятельства: перегрузка работой, характер занятий чиновников в Замке, затруднения с выездом, порядок, в соответствии с которым допрос назначается лишь после тщательного расследования, но уж тогда без промедления,— все это, да и многое другое сделали ночные допросы неизбежной необходимостью. Но коль скоро они стали необходимостью, то должен вам сказать: это, хотя и косвенно, означает, что они вытекают из предписаний, и жаловаться на ночные допросы значило бы — тут я несколько преувеличиваю, я и осмеливаюсь это высказать именно как преувеличение — это значило бы, в сущности, жаловаться на предписания.

Следует, однако, признать, что секретари, действуя в рамках предписаний, стараются оградить себя от ночных допросов и связанных с ними, хотя возможно и кажущихся, неудобств. Насколько возможно, они прибегают к этому в широких масштабах. Они берутся только за те дела, которые представляют наименьшую опасность, тщательно проверяют себя перед встречей, и если результат проверки этого требует, то отказывают просителю в приеме, иногда даже в самую последнюю минуту, иногда вызывают просителя раз десять, прежде чем заняться его делом, охотно посылают взамен себя своих коллег, которые совсем не разбираются в данном вопросе и потому могут решить его с необычайной легкостью, или же назначают прием хотя бы на начало ночи или на ее конец, сохраняя для себя середину, словом, таких мероприятий существует множество, их не так легко поймать, этих секретарей, и насколько они обидчивы, настолько же умеют постоять за себя». К. спал, однако сон был не настоящий, он слышал слова Бюргеля, быть может, даже лучше, чем бодрствуя и мучаясь. Слова, одно за другим, били ему в уши, но исчезло тягостное ощущение, он чувствовал себя свободным, и не Бюргель держал его, а он сам минутами ощупью тянулся к Бюргелю, он еще не потонул в самой глубине сна, но уже погружался в нее. Никому теперь не вырвать его оттуда. И у него появилось ощущение, будто победа уже одержана, и вот собралась компания отпраздновать ее, и не то он сам, не то кто-то другой поднял бокал шампан-

ского за его победу. И для того, чтобы все знали, о чем идет речь, и борьба и победа повторились вновь, а может быть, и не повторились, а только сейчас происходят, а победу стали праздновать заранее и продолжают праздновать, потому что исход, к счастью, уже предрешен. Одного из секретарей, обнаженного и очень схожего со статуей греческого бога, К. потеснил в борьбе. Это было ужасно смешно, и К. усмехался во сне над тем, как секретарь при выпадах К. терял свою гордую позу и спешил опустить вскинутую кверху руку и сжатый кулак, чтобы прикрыть свою наготу, но все время запаздывал. Борьба продолжалась недолго; шаг за шагом — а шаги были широкие — К. продвигался вперед. Да и была ли тут борьба? Никаких серьезных препятствий преодолевать не приходилось, только изредка взвизгивал секретарь. Да, греческий бог визжал, как девица, которую щекочут. И наконец, он исчез. К. остался один в огромной комнате, он храбро оглядывался по сторонам, готовый к бою, ища противника, но никого не было, компания тоже разбежалась, и только бокал от шампанского лежал разбитый на полу. К. растоптал его.

Осколки, однако, кололись, он, вздрогнув, проснулся, его мутило, как младенца, которого внезапно разбудили. Но тут же, при взгляде на обнаженную грудь Бюргеля, к нему из сна выплыла мысль: «Да вот он твой греческий бог! Вытащи же его из-под перины!» «Бывает, однако...— сказал Бюргель, задумчиво подняв взгляд к потолку, словно ища в памяти какие-то примеры и никак не находя их.— Бывает, однако, что, несмотря на все предосторожности, посетители находят возможность выгодно для себя использовать все эти слабости секретарей в ночное время, конечно, если считать, что такие слабости действительно существуют. Правда, подобные возможности представляются чрезвычайно редко, вернее, почти никогда. А состоит такая возможность в том, что посетитель является среди ночи без предупреждения. Может быть, вы удивляетесь, что эта, казалось бы, явная возможность используется редко. Впрочем, ведь вы с нашими обстоятельствами совсем незнакомы. Но и вам должна была броситься в глаза непрерывность нашей служебной процедуры. А из этой непрерывности вытекает то, что каждый, кто имеет какое-то дело или должен быть допрошен по каким-либо причинам сразу, без промедления, часто даже до того, как он сам поймет, в чем состоит это дело, более того — даже прежде, чем он узнает о наличии дела, уже получает вызов. На первый раз его и не спрашивают, обычно его дело еще недостаточно созрело, но вызов ему уже вручен, значит, прийти без вызова он уже не может, в крайнем случае он может явиться в неуказанное время, что ж, тогда его внимание обратят на дату и час вызова, а когда он придет в назначенное время, его, как правило, отсылают, это не встречает никаких затруднений: вызов на руках у посетителя, и отметка в делах о явке уже служит для секретарей хотя и не всегда полноценным, но все же сильным орудием защиты. Понятно, это касается только секретаря, компетентного в этом деле. Но каждый волен зайти ночью врасплох к любому другому секретарю. Только вряд ли кто-нибудь на это пойдет, смысла нет. Прежде всего, это обозлит компетентного секретаря, правда, мы, секретари, никакой зависти друг к другу в работе не испытываем, ведь каждый несет слишком большую, поистине неограниченную нагрузку, но по отношению к просителям мы не должны терпеть никаких нарушений компетентности. Многие уже проигрывали дела из-за того, что, не видя для себя возможности попасть к компетентному человеку, пытались проскользнуть к некомпетентному. Но эти попытки непременно проваливаются еще потому, что некомпетентный секретарь, сколько к нему ни врывайся ночью, даже при самом большом желании не может помочь именно оттого, что он к делу отношения не имеет, и вмешаться он может не больше, чем первый встречный адвокат, пожалуй, даже меньше, потому что у него просто не хватает времени и, даже если бы он мог что-то сделать, зная тайные лазейки правосудия лучше всех господ адвокатов, у него нет времени для тех дел, в которых он некомпетентен, он ни минуты потратить на них не может. Кто же станет зря расходовать свое ночное время, чтобы пробиваться к некомпетентным секретарям? Да и сами посетители полностью заняты, так как кроме своих обычных обязанностей им приходится следовать всем приглашениям и вызовам ответственных инстанций, правда, они «полностью заняты» только как посетители, что, разумеется, никак не соответствует «полной занятости» самих секретарей». К. с улыбкой кивал, ему казалось, что теперь он все понял, не потому, что это касалось его, а из уверенности в том, что в следующую минуту он совсем заснет, на этот раз без снов и без помех: между компетентными секретарями, с одной стороны, и некомпетентными — с другой, и перед толпой полностью занятых просителей он сейчас погрузится в глубо-

кий сон и там избавится от них всех. А к негромкому, самодовольному, тщетно пытающемуся убаюкать самого себя голосу Бюргеля он так привык, что этот голос скорее вгонял его в сон, чем мешал. «Мели, мельница, мели,— думал он,— мне на пользу и мелешь». «Но где же тогда,— сказал Бюргель, барабаня двумя пальцами по нижней губе, широко раскрыв глаза и вытянув шею, словно приближаясь после изнурительного пути к прелестному пейзажу,— где же тогда та, вышеупомянутая, редкая, почти никогда не представляющаяся возможность? Вся тайна кроется в предписаниях о компетентности. Ведь дело обстоит вовсе не так, да и не может так обстоять в большой, жизнеспособной организации, что по данному вопросу компетентен только один определенный секретарь. Установлено, что кто-нибудь один осуществляет главную компетентность, а многие другие компетентны в деталях, пусть даже в меньшей степени. Да и кто бы мог один, будь он усерднейшим работником, собрать у себя на письменном столе весь материал, даже по самому малейшему делу? Да и то, что я сказал о главной компетентности, слишком сильно сказано. Разве в самой малой компетентности не таится вся компетентность? Разве тут не становится решающим то рвение, с каким человек берется за дело? И разве это рвение не всегда одинаково, не всегда проявляется в полную силу? Секретари во всем могут отличаться друг от друга, таких отличий множество, но в служебном рвении различия меж ними нет, ни на кого из них удержу не будет, если вдруг ему предложат заняться делом, в котором он хотя бы минимально разбирается. Разумеется, внешне должен существовать определенный порядок ведения дела, и благодаря этому для населения на первый план выступает определенный секретарь, с которым они поддерживают служебные отношения. Но это не обязательно, тот секретарь, который лучше других разбирается в деле, тут все решает организация и ее насущные потребности в данную минуту. Вот каково положение вещей. Теперь взвесьте, господин землемер, возможность, когда посетитель благодаря каким-то обстоятельствам, несмотря на уже описанные вам и в общем вполне серьезные препятствия, все же застает врасплох среди ночи какого-нибудь секретаря, имеющего некоторое отношение к данному делу. О такой возможности вы, должно быть, и не подумали? Охотно вам верю. Да и не стоит о ней думать, поскольку она почти никогда не представляется. И каким крошечным и ловким зернышком должен быть такой проситель, чтобы проскользнуть через такое безукоризненное сито? Думаете, так случиться не может? Вы правы, да, так случиться не может. Но когда-нибудь — кто может заранее поручиться? — когда-нибудь ночью все же это произойдет. Разумеется, среди своих знакомых я не знаю никого, с кем бы нечто подобное приключилось, правда, это еще ничего не доказывает, мои знакомства, по сравнению с числом проходящих тут людей, ограничены, а кроме того, совершенно нет уверенности, что тот секретарь, с кем произошел такой случай, сознается в этом, ведь все это чрезвычайно личное дело, в какой-то мере серьезно затрагивающее профессиональную этику. И все же я, вероятно, по опыту знаю, что речь идет о чрезвычайно редком случае, известном только понаслышке и ничем не доказанном, так что бояться такого случая — значит сильно преувеличивать. Даже если бы такой случай произошел, можно было бы его, поверьте мне, совершенно обезвредить, доказав — и это очень легко,— что таких случаев на свете не бывает. И вообще это болезненное явление — прятаться от страха перед таким происшествием под одеяло и не сметь даже выглянуть. Даже если эта полнейшая невероятность вдруг обрела бы реальность, так неужели тогда все потеряно? Напротив! Потерять все — это еще более невероятно, чем самая большая невероятность. Правда, если проситель уже забрался в комнату, дело скверно. Тут сердце сжимается. Долго ли ты еще сможешь сопротивляться? — спрашиваешь себя. Но сопротивления никакого не выйдет, это ты знаешь точно. Только представьте себе это положение правильно. Тот, кого ты ни разу не видал, но постоянно ждал, ждал с настоящей жадностью, тот, кого ты совершенно разумно считал несуществующим, он, этот проситель, сидит перед тобой. И уже своим немым присутствием он призывает тебя проникнуть в его жалкую жизнь, похозяйничать там, как в своих владениях, и страдать вместе с ним от его тщетных притязаний. И призыв этот в ночной тиши неотразим. Следуешь ему — и, в сущности, тут же перестаешь быть официальным лицом. А при таком положении становится невозможным долго отказывать в любой просьбе. Точно говоря, ты в отчаянии, но еще точнее — ты крайне счастлив. Ты в отчаянии от своей беззащитности — сидишь, ожидаешь просьбы посетителя и знаешь, что, услышав ее, ты будешь вынужден ее исполнить, даже если она, насколько ты сам можешь о ней судить, форменным образом разрушает весь административный порядок, а это самое скверное, что может

встретиться человеку на практике. И прежде всего потому — не считая всего остального,— что получается переходящее всякие границы превышение власти, которую ты самовольно берешь на себя в такой момент. По нашему положению, мы вовсе не уполномочены удовлетворять такого рода просьбы, но от близости этого ночного посетителя как-то растут наши служебные возможности, и тут мы начинаем брать на себя полномочия, которые нам не даны, более того, используем их. Словно разбойник в лесу, этот ночной проситель вымогает у нас жертвы, на которые мы в обычной обстановке были бы не способны; ну ладно, все это так, в тот момент, когда проситель еще тут, когда он принуждает, поощряет, подбадривает тебя, все идет своим чередом, почти помимо твоей воли, а вот как оно будет потом, когда проситель, ублаготворенный и успокоенный, оставит тебя и ты окажешься в одиночестве, беззащитный перед только что совершенным тобой служебным преступлением,— нет это и представить себе немыслимо! И все же ты счастлив. Каким же самоубийственным может быть счастье! Конечно, легко заставить себя скрыть от просителя истинное положение вещей. Сам по себе он ведь почти ничего не замечает. По его мнению, он усталый, разочарованный, и от этой усталости, этого разочарования, невнимательный и безразличный ко всему, случайно проник не в ту комнату, куда хотел, и теперь сидит, ничего не понимая и думая, если он в состоянии думать, о своей ошибке или о том, как он устал. Можно ли бросить его в таком состоянии? Нет, нельзя. Со всей словоохотливостью счастливого человека надо ему все растолковать. Надо, не щадя себя ничуть, подробно объяснить ему все, что произошло и по какой причине это произошло, надо объяснить, какие это были невероятно редкие, какие единственные в своем роде обстоятельства, надо показать, как проситель, с той беспомощностью, какой нет ни у одного живого существа, кроме просителя, попал в эти обстоятельства, и как, господин землемер, он теперь может, если захочет, стать хозяином положения, а для этого ему ничего делать не надо, только каким-нибудь образом высказать свою просьбу, исполнение которой уже подготовлено, более того, все уже идет просителю навстречу; ему надо объясить это, и для чиновника это трудный час. Но когда и это сделано, господин землемер, то сделано самое необходимое, и остается только смириться и ждать».

Но К. уже спал, отключившись от всего окружающего. Его голова сначала опиралась на левую руку, лежавшую на спинке кровати, потом соскользнула вовсе и свесилась вниз, опоры одной руки уже не хватало, но он невольно нашел себе другую опору, опершись правой рукой на одеяло, причем случайно схватился за выступающую из-под одеяла ногу Бюргеля. Бюргель только взглянул, но, несмотря на неудобство, ноги не отнял.

Вдруг в соседнюю стенку громко постучали несколько раз. К. вздрогнул и посмотрел на стену. «Нет ли здесь землемера?» — раздался вопрос. «Да»,— сказал Бюргель, выдернул свою ногу из-под К. и вдруг потянулся, живо и задорно, как маленький мальчик. «Так пусть, наконец, идет сюда!» — крикнули за стеной. На Бюргеля и на то, что К. мог еще быть нужным ему, никакого внимания не обратили. «Это Эрлангер,— сказал Бюргель шепотом; то, что Эрлангер оказался в соседней комнате, его как будто совсем не удивило.— Идите к нему сейчас же, он уже сердится, постарайтесь его умаслить. Сон у него крепкий, но мы все же слишком громко разговаривали: никак не совладаешь с собой, со своим голосом, когда говоришь о некоторых вещах. Ну, идите же, вы как будто никак не можете проснуться. Идите же, чего вам тут еще надо? Нет, не оправдывайтесь тем, что вам хочется спать. К чему это? Сил человеческих хватает до известного предела; кто виноват, что именно этот предел играет решающую роль? Нет, тут никто не виноват. Так жизнь сама себя поправляет по ходу действия, так сохраняется равновесие. И это отличное, просто трудно себе представить, насколько отличное устройство, хотя, с другой стороны, крайне неутешительное. Ну, идите же, не понимаю, почему вы так на меня уставились? Если вы будете медлить, Эрлангер на меня напустится, а я бы очень хотел избежать этого. Идите же, кто знает, что вас там ждет, тут все возможно. Правда, бывают возможности, в каком-то отношении слишком широкие, их даже использовать трудно, есть такие дела, которые рушатся сами по себе, а не от чего-то другого. Да, все это весьма удивительно. Впрочем, я еще надеюсь немного поспать. Правда, уже пять часов, скоро начнется шум. Хоть бы вы ушли поскорее!»

К. был так оглушен внезапным пробуждением из глубокого сна, ему так мучительно хотелось еще поспать, и все тело так болело от неудобного положения, что он никак не мог решиться встать и, держась за голову, тупо смотрел на свои колени.

Даже то, что Бюргель несколько раз попрощался с ним, не могло его заставить уйти, и только сознание полнейшей бессмысленности пребывания в этой комнате медленно вынудило его встать. Неописуемо жалкой показалась ему эта комната. Стала ли она такой или всегда была, он определить не мог. Тут ему никогда не заснуть как следует. И эта мысль оказалась решающей: улыбнувшись про себя, он поднялся, и, опираясь на все, что попадалось под руку — на кровать, стенку, дверь,— он вышел, даже не кивнув Бюргелю, словно давно уже попрощался с ним.

24

Возможно, что он с таким же равнодушием прошел бы и мимо комнаты Эрлангера, если бы Эрлангер, стоя в открытых дверях, не поманил бы его к себе. Поманил коротко, одним движением указательного пальца. Эрлангер уже совсем собрался уходить, на нем была черная шуба с тесным, наглухо застегнутым воротником. Слуга, держа наготове шапку, как раз подавал ему перчатки. «Вам давно следовало бы явиться»,— сказал Эрлангер. К. хотел было извиниться, но Эрлангер, устало прикрыв глаза, показал, что это лишнее. «Дело в следующем,— сказал он.— В буфете еще недавно прислуживала некая Фрида, я знаю ее только по имени, с ней лично незнаком, да она меня и не интересует. Эта самая Фрида иногда подавала пиво Кламму. Теперь там как будто прислуживает другая девушка. Разумеется, эта замена, вероятно, никакого значения ни для кого не имеет, а уж для Кламма и подавно. Но чем ответственнее работа — а у Кламма работа, конечно, наиболее ответственная,— тем меньше сил остается для сопротивления внешним обстоятельствам, вследствие чего самое незначительное нарушение самых незначительных привычек может серьезно помешать делу: малейшая перестановка на письменном столе, устранение какого-нибудь давнишнего пятна, все это может очень помешать, и тем более новая служанка. Разумеется, все это способно стать помехой для кого-нибудь другого, но только не для Кламма, об этом и речи быть не может. Однако мы обязаны настолько охранять покой Кламма, что даже те помехи, которые для него таковыми не являются — да и вообще для него, вероятно, никаких помех не существует,— мы должны устранять, если только нам покажется, что они могли бы помешать. Не ради него, не ради его работы устраняем мы эти помехи, но исключительно ради нас самих, ради очистки нашей совести, ради нашего покоя. А потому эта самая Фрида должна немедленно вернуться в буфет, хотя, вполне возможно, что как раз возвращение и создаст помехи, что ж, тогда мы ее опять отошлем, но пока что она должна вернуться. Вы, как мне сказали, живете с ней, так что немедленно обеспечьте ее возвращение. Само собой разумеется, что из-за ваших личных чувств тут никаких поблажек быть не может, а потому я не стану вдаваться ни в какие дальнейшие рассуждения. Я уж и так сделаю для вас больше, чем надо, если скажу, что при случае для вашей карьеры в дальнейшем будет весьма полезно, если вы оправдаете доверие в этом небольшом деле. Это все, что я имел вам сообщить». Он кивнул на прощание, надел поданную слугой меховую шапку и пошел в сопровождении слуги по коридору быстрым шагом, но слегка прихрамывая.

Иногда распоряжения здешних властей очень легко выполнить, но сейчас эта легкость не радовала К. И не только оттого, что распоряжение, касавшееся Фриды, походило на приказ и вместе с тем звучало издевкой над К., а главным образом оттого, что К. увидел в нем полную бесполезность всех своих стараний. Помимо него делались распоряжения, и благоприятные и неблагоприятные, и даже в самых благоприятных таилась неблагоприятная сердцевина, во всяком случае, все шло мимо него, и сам он находился на слишком низкой ступени, чтобы вмешаться в дело, заставить других замолкнуть, а себя услышать. Что делать, если Эрлангер от тебя отмахивается, а если бы и не отмахнулся — что ты ему скажешь? Правда, К. сознавал, что его усталость повредила ему сегодня больше, чем все неблагоприятные обстоятельства, но тогда почему же он, который так верил, что может положиться на свою физическую силу, а без этой убежденности вообще не пустился бы в путь, почему же он не мог перенести несколько скверных ночей и одну бессонную, почему он так неодолимо уставал именно здесь, где никто или,

вернее, где все непрестанно чувствовали усталость, которая не только не мешала работе, а наоборот, способствовала ей. Значит, напрашивался вывод, что их усталость была совсем иного рода, чем усталость К. Очевидно, тут усталость приходила после радостной работы, и то, что внешне казалось усталостью, было, в сущности, нерушимым покоем, нерушимым миром. Когда к середине дня немножко устаешь, это неизбежно, естественное следствие утра. Видно, у здешних господ всегда полдень, сказал себе К.

И это вполне совпадало с тем, что сейчас, в пять утра, везде, по обе стороны коридора, началось большое оживление. Шумные голоса в комнатах звучали как-то особенно радостно. То они походили на восторженные крики ребят, собирающихся на загородную прогулку, то на пробуждение в птичнике, на радость слияния с наступающим утром. Кто-то из господ даже закукарекал, подражая петуху. И хотя в коридоре еще было пусто, но двери уже ожили: то одна, то другая приоткрывалась и сразу захлопывалась, весь коридор жужжал от этих открываний и захлопываний. К. то и дело видел, как в щелку над недостающей до потолка стенкой высовывались по-утреннему растрепанные головы и сразу исчезали. Издалека показался служитель, он вез маленькую тележку, нагруженную документами. Второй служитель шел рядом, со списком в руках и, очевидно, сравнивал номер комнаты с номером в этом списке. У большинства дверей тележка останавливалась, дверь обычно открывалась, и соответствующие документы передавались в комнату — иногда это был только один листочек, и тогда начиналось препирательство между комнатой и коридором: должно быть, упрекали слугу. Если же дверь оставалась закрытой, то документы аккуратной стопкой складывались на полу. Но К. показалось, что при этом открывание и закрывание других дверей не только не прекращалось, но еще более усиливалось, даже там, куда все документы уже были поданы. Может быть, оттуда с жадностью смотрели на лежащие у дверей и непонятно почему еще не взятые документы, не понимая, отчего человек, которому стоит только открыть дверь и взять свои бумаги, этого не делает, возможно даже, что, если документы остаются невзятыми, их потом распределяют между другими господами и те, непрестанно выглядывая из своих дверей, просто хотят убедиться, лежат ли бумаги все еще на полу и есть ли надежда заполучить их для себя. При этом оставленные на полу документы обычно представляли собой особенно толстые связки, и К. подумал, что их оставляли у дверей на время из некоторого хвастовства или злорадства, а может быть, и из вполне оправданной, законной гордости, чтобы подзадорить своих коллег. Это его предположение подтверждалось тем, что вдруг именно в ту минуту, когда он отвлекался, какой-нибудь мешок, уже достаточно долго стоявший на виду, вдруг торопливо втаскивали в комнату и дверь в нее плотно закрывалась, причем и соседние двери как бы успокаивались, словно разочарованные или удовлетворенные тем, что наконец устранен предмет, вызывавший непрестанный интерес, хотя потом двери снова приходили в движение.

К. смотрел на все это не только с любопытством, но и с сочувствием. Ему даже стало как-то уютно среди всей этой суеты, он оглядывался по сторонам и шел — правда на почтительном расстоянии — за служителями, и хоть те все чаще оборачивались и, поджав губы, исподлобья строго посматривали на него, он все же следил за распределением документов. А дело шло чем дальше, тем запутаннее: то списки не совсем совпадали, то служитель не мог сразу разобраться в документах, то господа чиновники возражали по какому-нибудь поводу; во всяком случае, некоторые документы иногда приходилось перераспределять снова, тогда тележка возвращалась обратно и через щелку в двери начинались переговоры о возвращении документов. Эти переговоры сами по себе создавали большие затруднения, но часто бывало и так, что когда речь заходила о возвращении, то именно те двери, которыми перед тем оживленно хлопали, теперь оставались закрытыми намертво, словно там и знать ни о чем не желали. Тут-то и начинались самые главные трудности. Тот, кто претендовал на документы, выражал крайнее нетерпение, подымал страшный шум в своей комнате, хлопал в ладоши и топал ногами, выкрикивая через дверную щель в коридор номер требуемого документа. Тележка при этом оставалась без присмотра. Один служитель был занят тем, что успокаивал нетерпеливого чиновника, другой домогался у закрытой двери возвращения документов. Обоим приходилось нелегко. Нетерпеливый становился еще нетерпеливее от успокоительных увещеваний, он просто не мог слышать болтовню служителя, ему не нужны были

утешения, ему нужны были документы; один из таких господ вылил в дверную щель на служителя целый таз воды, но другому служителю более высокого ранга было еще труднее. Если чиновник вообще снисходил до разговора с ним, то происходил деловой обмен мнениями, при котором служитель ссылался на свой список, а чиновник — на свои заметки, причем те документы, которые подлежали возврату, он пока что держал в руке, так что служитель вожделеющим взором едва ли мог разглядеть хотя бы уголочек. Кроме того, служителю приходилось либо бегать за новыми доказательствами к тележке, которая все время откатывалась своим ходом по наклонному полу коридора, либо обращаться к чиновнику, претендовавшему на документы, докладывать ему о возражениях теперешнего их обладателя и выслушивать в ответ его контрвозражения. Такие переговоры тянулись долго, иногда заканчивались соглашением, чиновник отдавал какую-то часть документов или получал в качестве компенсаций другие бумаги, когда оказывалось, что их обменяли случайно; но бывало и так, что кому-нибудь приходилось отказываться от полученных документов вообще, то ли из-за того, что доводы служителя загоняли человека в тупик, то ли оттого, что он уставал от бесконечных пререкательств, но и тогда он не просто отдавал служителю документы, а внезапно с силой швырял их в коридор, так что шнурки лопались, листки разлетались и служители с трудом приводили их в порядок. Но эти случаи были сравнительно проще, чем те когда служитель на свою просьбу отдать документы вообще не получал никакого ответа, тогда он, стоя перед запертой дверью, просил, заклинал, читал вслух свои списки, ссылался на предписания, но все понапрасну: из комнаты не доносилось ни звука, а войти без спросу служитель, очевидно, не имел права. Но иногда даже такой примерный служитель выходил из себя, он возвращался к своей тележке, садился на папки с документами, вытирал пот со лба и какое-то время ничего не делал, только беспомощно болтал ногами. Тут все вокруг начинали проявлять большой интерес, везде слышалось перешептывание, ни одна дверь не оставалась в покое, а сверху над перегородками то и дело выскакивали странные, обмотанные платками физиономии и беспокойно следили за происходящим. К. обратил внимание, что среди всех этих волнений дверь Бюргеля осталась закрытой и что, хотя служители уже прошли этот конец коридора, Бюргелю никаких документов выдано не было. Может быть, он еще спал при таком шуме, значит, сон у него вполне здоровый, но почему же он не получил никаких документов? Только немногие комнаты, и притом явно необитаемые, были пропущены. В комнате Эрлангера уже находился новый и весьма беспокойный жилец; должно быть, он формальным образом выжил оттуда Эрлангера еще с ночи, и хотя это никак не соответствовало выдержанному и уверенному поведению Эрлангера, но то, что он должен был поджидать К. на пороге комнаты, явно подтверждало такое предположение.

От всех этих сторонних наблюдений К. постепенно возвращался к наблюдению за служителем. К этому служителю никак не относилось то что К. слыхал о служителях вообще, о том, что они бездельники, ведут легкую жизнь, высокомерны; очевидно, бывали среди них исключения, или, что вероятнее, они принадлежали к разным категориям, и, как заметил К., тут было немало разграничений, с которыми ему до сих пор не приходилось сталкиваться. Особенно ему понравилась неуступчивость этого служителя. В борьбе с этими маленькими, упрямыми комнатами — а для К. это была борьба именно с комнатами, так как их обитателей он почти не видел,— этот служитель нипочем не сдавался. Правда, он уставал,— а кто не устал бы? — но, быстро отдохнув, соскакивал с тележки и снова, выпрямившись, стиснув зубы, наступал на упрямые двери. Случалось, что его наступление отбивали и дважды и трижды, причем весьма простым способом — одним только дьявольским молчанием,— но он и тут не сдавался. И так как он видел, что открытой атакой ему ничего не добиться, он пробовал действовать по-другому: если К. правильно понял, прибегал к хитрости. Для виду он оставлял дверь в покое, давая ей возможность, так сказать, отмолчаться до конца, направлялся к другим дверям, через некоторое время снова возвращался, подчеркнуто громко звал второго служителя и начинал навалливать у порога запертой двери груду документов, словно изменил свое намерение и не намеревается более лишать данного чиновника документов, а, напротив, готов снабдить его новыми. Потом он проходил дальше не спуская, однако, глаз с той двери, и когда вскоре чиновник, по обыкновению, осторожно открывал дверь, чтобы забрать бумаги, служитель двумя прыжками подлетал туда и, сунув ногу в

дверную щель, заставлял чиновника вступать с ним в переговоры лицом к лицу, что обычно вело к более или менее удовлетворительному соглашению. А если этот прием не удавался или казался ему неправильным по отношению к какой-нибудь двери, то он пробовал действовать иначе. Например, он переключал внимание на чиновника, домогавшегося документов. При этом он отодвигал в сторону второго служителя, довольно бесполезного помощника, работавшего чисто автоматически, и сам начинал уговаривать чиновника таинственным шепотом, глубоко просунув голову в его комнату, наверно, он давал ему какие-то обещания и уверял, что при следующем распределении тот, другой чиновник, будет соответственно наказан, во всяком случае он часто показывал на дверь соперника и даже смеялся, насколько позволяла ему усталость. Но бывали — раз или два — и такие случаи, когда служитель отказывался от всяких попыток бороться, хотя К. полагал, что это было только притворство, имевшее, по-видимому, свои основания, служитель спокойно проходил дальше, не оборачиваясь, терпеливо сносил шум, поднятый обиженным чиновником, и только его манера время от времени надолго прикрывать глаза показывала, как он страдает от шума. Постепенно обиженный чиновник успокаивался, и как заливистый детский плач постепенно переходит в редкие всхлипывания, так и его выкрики становились реже, но даже когда наступала тишина, вдруг снова раздавался одинокий вскрик, неожиданно коротко хлопала дверь. Во всяком случае, все показывало, что и тут служитель поступал совершенно правильно. В конце концов остался только один чиновник, который никак не желал успокоиться, он умолкал, но только чтобы перевести дух, а потом снова начинал орать пуще прежнего. И было не совсем понятно, чего он так кричит и жалуется, может быть вовсе не из-за распределения документов. За это время служители уже окончили свою работу, и на тележке, по недосмотру помощника, остался один-единственный документ, в сущности, просто бумажка, листок из блокнота, и теперь они не знали, кому же его выдать. «Вполне возможно, что это мой документ»,— мелькнуло в мыслях у К. Ведь староста Деревни все время говорил, что дело у К. ничтожнейшее. И хотя К. сам понимал всю смехотворность и необоснованность своего предположения, он попытался как бы невзначай подойти к служителю, который задумчиво просматривал бумажку; это было не так-то просто, потому что служитель никак не отвечал взаимностью на приязнь К. и даже в самом разгаре своей трудной работы всегда находил время в сердцах или с нетерпением оборачиваться на К., нервно дергая головой. И только сейчас, после окончания раздачи документов, он как будто немного забыл о К. да и вообще стал как-то равнодушнее, что было понятно при таком сильном утомлении, и с этой бумажкой он тоже долго возиться не стал, может быть, он ее и не прочел, только сделал вид, и хотя тут, в коридоре, он, вероятно, каждому обитателю комнаты доставил бы удовольствие, вручив ему эту бумажку, он решил по-другому: видно, ему надоело раздавать документы, и, приложив палец к губам, он сделал знак своему помощнику — молчи! — и, не успел К. к нему подойти, разорвал бумажку на мелкие клочки и сунул их в карман. Пожалуй, это было первое нарушение, которое К. заметил в служебных делах, хотя, возможно, он и это понял неправильно. Даже если имелось нарушение, оно казалось вполне простительным: при порядках, царивших тут, служитель не мог работать безукоризненно, и все накопившееся раздражение, нервная усталость должны были однажды проявиться, и если это выразилось только в уничтожении маленькой бумажки, то было еще вполне невинной выходкой. Ведь в коридоре все еще раздавался визгливый крик господина, который никак не мог успокоиться, а его коллеги, до сих пор не проявлявшие особой солидарности, теперь единодушно поддерживали эти выкрики; постепенно стало казаться, будто этот господин взял на себя задачу — шуметь за всех, а остальные подбодряли его возгласами и кивками, чтобы он не умолкал. Но служитель уже никакого внимания на них не обращал, свою работу он закончил, глазами показал второму служителю, чтобы тот взялся за поручни тележки, и оба ушли, как и пришли, только веселее и быстрее, так что тележка даже подпрыгивала перед ними. Только раз они вздрогнули и оглянулись, когда непрестанно вопящий господин, у дверей которого толкался К.— ему очень хотелось понять, чего тот, в сущности, хочет,— вдруг, не добившись ничего криком, очевидно, нащупал кнопку электрического звонка и в восторге от такой подмоги перестал кричать и начал непрерывно звонить. Тут и в остальных комнатах все загалдели, явно выражая одобрение, очевидно, этот господин сделал что-то такое, что все давно хотели сделать, но воздерживались по

неизвестной причине. Быть может, этот господин вызывал прислугу, может быть, даже Фриду? Ну, тут ему придется долго дозваниваться. Сейчас Фрида была занята тем, что делала Иеремии компрессы, а если он выздоровел, то времени у нее все равно не было, потому что она лежала в его объятиях. Но звонок сразу возымел свое действие. Издали по коридору уже бежал сам хозяин гостиницы, как всегда в черном, наглухо застегнутом костюме, но казалось, он забыл все свое достоинство, так быстро он бежал, раскинув руки, словно случилась большая беда и он бежит схватить ее и задушить у себя на груди, и как только звонок на миг умолкал, хозяин высоко подскакивал и начинал бежать еще быстрее. За ним вдали появилась и его жена, она тоже бежала, раскинув руки, но небольшими, жеманными шажками, и К. подумал, что она опоздает и хозяин сам успеет сделать все, что надо. Чтобы пропустить хозяина, К. прижался к стене. Но хозяин остановился именно перед ним, будто и прибежал сюда из-за него, тут же подошла и хозяйка, и оба стали осыпать его упреками, причем он от неожиданности и удивления ничего не мог разобрать, тем более что их непрестанно перебивал звонок того господина, а тут еще начали звонить в другие звонки, уже не по необходимости, а просто из баловства, от избытка веселья. И так как для К. было очень важно как следует понять, в чем же его вина, он не стал сопротивляться, когда хозяин взял его под руку и ушел с ним подальше от все возрастающего шума: теперь за ними — К. даже не обернулся — все двери распахнулись настежь, коридор оживился, началось движение, как в бойком, тесном переулочке, все двери впереди явно ждали в нетерпении, пока не пройдет К., чтобы сразу выпустить из комнат их обитателей, а надо всем, как бы празднуя победу, заливались звонки, нажатые изо всех сил. И только выйдя на тихий заснеженный двор, где ждало несколько саней, К. наконец стал разбираться, в чем дело. Ни хозяин, ни хозяйка не могли понять, как это К. осмелился на такой поступок. «Да что же я такого сделал?» — непрестанно спрашивал К., но никак не мог получить ответа — им обоим его вина казалась настолько очевидной, что они никак не могли поверить в его искренность. И только постепенно К. все понял. Оказывается, он не имел права находиться в коридоре, в лучшем случае, из особой милости, впредь до запрета ему разрешалось быть в буфете. Конечно, если его вызвал кто-то из господ чиновников, он должен был явиться в назначенное место, но при этом постоянно сознавать,— неужели ему не хватало здравого смысла? — что он находится там, где ему быть не положено, куда его в высшей степени неохотно, и то лишь по необходимости, по служебной обязанности, вызвал один из господ чиновников. Поэтому он должен был немедленно явиться, подвергнуться допросу и потом как можно скорее исчезнуть. Да неужели же он там, в коридоре, не чувствовал всей непристойности своего поведения? Но если чувствовал, то как он мог разгуливать там, как скотина на выпасе? Разве он не был вызван для ночного допроса и разве он не знает, зачем учреждены эти ночные вызовы? Цель ночных вызовов — и тут К. услышал новое объяснение их смысла — в том, чтобы как можно быстрее выслушать просителей, чей вид днем господам чиновникам невыносим, выслушать их ночью при искусственном свете, пользуясь возможностью после опроса забыть во сне всю эту гадость. Но К. своим поведением преступил все правила предосторожности. Даже привидения утром исчезают, однако К. остался там, руки в карманах, будто выжидая, что если не исчезнет он, то исчезнет весь коридор, со всеми комнатами и господами. И так бы оно наверняка и случилось — он может в этом не сомневаться,— если бы такая возможность существовала, потому что эти господа обладают беспредельной деликатностью. Никто из них никогда не прогнал бы К., никогда бы не сказал — хотя это можно было понять,— чтобы К. наконец ушел. Никто бы так не поступил, хотя присутствие К., наверно, бросало их в дрожь и все утро — любимое их время — было для них отравлено. Но вместо того, чтобы действовать против К., они предпочитали страдать, причем тут, разумеется, играла роль и надежда, что К. наконец увидит то, что бьет прямо в глаза и постепенно, глядя на страдания этих господ, тоже начнет невыносимо страдать оттого, что так ужасающе неуместно, на виду у всех, стоит тут, в коридоре, да еще среди бела дня. Напрасные надежды. Эти господа не знают или не хотят знать по своей любезности и снисходительности, что есть бесчувственные, жестокие, никаким уважением не смягчаемые сердца. Ведь даже ночной мотылек, бедное насекомое, ищет при наступлении дня тихий уголок, распластывается там, больше всего желая исчезнуть и страдая оттого, что это недостижимо. А К., напротив, встал там, у всех

на виду, и если бы он мог помешать наступлению дня, он, конечно, так бы и сделал. Но помешать он никак не может, зато замедлить дневную жизнь, затруднить ее он, к сожалению, в силах. Разве он не стал свидетелем раздачи документов? Свидетелем того, что никому, кроме участников, видеть не разрешается. Того, на что никогда не смели смотреть ни хозяин, ни хозяйка в собственном своем доме. Того, о чем они только слышали намеками, как, например, сегодня, от слуг. Разве он не заметил, с какими трудностями происходило распределение документов, что само по себе совершенно непонятно, так как каждый из этих господ верно служит делу, никогда не думая о личной выгоде, и потому изо всех сил должен содействовать тому, чтобы распределение документов, эта важнейшая, основная работа, происходило быстро, легко и безошибочно? И неужели К. даже отдаленно не смог себе представить, что главной причиной всех затруднений было то, что распределение пришлось проводить почти при закрытых дверях, а это лишало господ непосредственного общения, при котором они смогли бы сразу договориться друг с другом, тогда как посредничество служителей затягивало дело на долгие часы, вызывало много жалоб, вконец измучило господ и служителей и, вероятно, еще сильно повредит дальнейшей работе. А почему господа не могли общаться друг с другом. Да неужели К. до сих пор этого не понимает? Ничего похожего — и хозяин подтвердил, что его жена того же мнения,— ничего похожего ни он, ни она до сих пор не встречали, а ведь им приходилось иметь дело со многими весьма упрямыми людьми. Теперь приходится откровенно говорить К. то, чего они никогда не осмеливались произносить вслух, иначе он не поймет самого существенного. Так вот, раз уж надо ему все высказать: только из-за него, исключительно из-за него, господа не могли выйти из своих комнат, так как они по утрам, сразу после сна, слишком стеснительны, слишком ранимы, чтобы попадаться на глаза посторонним, они чувствуют себя форменным образом, даже в полной одежде, слишком раздетыми, чтобы показываться чужому. Трудно сказать — чего они так стыдятся, может быть, они, эти неутомимые труженики, стыдятся только того, что спали? Но быть может, еще больше, чем самим показываться людям, они стыдятся видеть чужих людей; они не желают, чтобы те просители, чьего невыносимого вида они счастливо избежали путем ночного допроса, вдруг теперь, с самого утра, явились перед ними неожиданно, в непосредственной близости, в натуральную величину. Это им трудно перенести. И каким же должен быть человек, в котором нет к этому уважения? Именно таким человеком, как К. Человеком, который ставит себя выше всего, не только выше закона, но и выше самого обыкновенного человеческого внимания к другим, да еще с таким тупым равнодушием и бесчувственностью; ему безразлично, что из-за него распределение документов почти что срывается и репутация гостиницы страдает, и, чего еще никогда не случалось, он доводит этих господ до такого отчаяния, что они начинают от него обороняться и, переломив себя с немыслимым для обыкновенного человека усилием, хватаются за звонок, призывая на помощь, чтобы изгнать К., не поддающегося никаким увещеваниям! Они, господа, и вдруг зовут на помощь! Хозяин и хозяйка вместе со своей прислугой давно прибежали бы сюда, если бы только посмели спозаранку без зова появиться перед господами, хотя бы только для того, чтобы им помочь и тотчас же исчезнуть. Дрожа от негодования из-за К., в отчаянии от своего бессилия, они стояли в конце коридора, и звонок, которого они никак не ожидали, был для них сущим избавлением. Ну, теперь самое страшное позади! О, если бы им было разрешено хоть на миг взглянуть, как радостно засуетились эти господа, наконец-то избавившись от К.! Но разумеется, для К. не все еще миновало! Ему, несомненно, придется отвечать за то, что он натворил.

Между тем они пришли в буфет; было не совсем понятно, почему хозяин, несмотря на весь свой гнев, привел К. сюда; очевидно, он все же сообразил, что при такой усталости К. все равно не может покинуть его дом. Не дожидаясь приглашения сесть, К. буквально свалился на одну из пивных бочек. Тут, в полумраке, ему стало легче. В большом помещении над кранами пивных бочек горела лишь одна слабая электрическая лампочка. И на дворе стояла глубокая тьма, там как будто мела метель; хорошо оказаться тут, в тепле, надо было только постараться, чтобы не выгнали. Хозяин с хозяйкой по-прежнему стояли перед К., словно в нем все еще таилась какая-то опасность и при такой полной его неблагонадежности никак нельзя было исключить, что он может вдруг вскочить и попытаться снова проникнуть в тот коридор. Оба они устали от ночного переполоха и раннего вставания, особенно хо-

зяйка — на ней было шелковистое шуршащее коричневое платье, застегнутое и подпоясанное не совсем аккуратно,— она, словно надломленный стебель, приникла головой к плечу мужа и, поднося к глазам тонкий платочек, бросала на К. по-детски сердитые взгляды. Чтобы успокоить супругов, К. проговорил, что все сказанное ими для него совершенная новость, но что он, несмотря на свое поведение, все же никогда не застрял бы надолго в том коридоре, где ему действительно делать было нечего и что он, конечно же, никого мучить не хотел, а все произошло только из-за его чрезвычайной усталости. Он поблагодарил их за то, что они положили конец этому неприятному положению, но если его привлекут к ответственности, он будет этому очень рад, потому что только так ему удастся помешать кривотолкам насчет его поведения. Только усталость, только она одна тому виной. А усталость происходит оттого, что он еще не привык к допросам. Ведь он тут совсем недавно. Когда у него накопится некоторый опыт, ничего подобного больше не произойдет. Может быть, он эти допросы принимает слишком всерьез, но ведь это само по себе не изъян. Ему пришлось выдержать два допроса: один за другим, сначала у Бюргеля, потом — у Эрлангера, и особенно его измучила первая встреча, вторая, правда, продолжалась недолго, Эрлангер только попросил его об одном одолжении, но все это вместе было больше, чем он мог вынести за один раз, может быть, такая нагрузка для другого человека, скажем для самого хозяина, тоже была бы слишком тяжелой. После второй встречи он, по правде говоря, уже еле держался на ногах. Он был в каком-то тумане, ведь ему впервые пришлось встретиться с этими господами, впервые услышать их, а ведь надо было как-то отвечать им. Насколько ему известно, все сошло прекрасно, а потом случилась эта беда, но вряд ли после всего предыдущего ему можно поставить ее в вину. К сожалению, только Эрлангер и Бюргель могли бы понять его состояние, и, уж разумеется, они вступились бы за него, предотвратили бы все, что потом произошло, но Эрлангеру пришлось сразу после их свидания уехать, очевидно, он отправился в Замок, а Бюргель, тоже утомленный разговором — а тогда как же могло хватить сил у К. вынести это? — уснул и даже проспал распределение документов. И если бы у К. была такая возможность, он с радостью воспользовался бы ею и охотно пренебрег бы случаем посмотреть на то, что запрещено видеть, тем более что он вообще был не в состоянии хоть что-нибудь разглядеть, а потому самые щепетильные господа могли, не стесняясь, показаться ему на глаза.

Упоминание о двух допросах, особенно о встрече с Эрлангером, и уважение, с которым К. говорил об этих господах, расположили хозяина в его пользу. Он как будто уже склонялся на просьбу К.— положить доску на пивные бочки и разрешить ему поспать тут хоть до рассвета,— но хозяйка была явно против; непрестанно без надобности оправляя платье, только сейчас сообразив, что у нее что-то не в порядке, она вновь и вновь качала головой, и старый спор о чистоте в доме вот-вот готов был разразиться. Для К., при его усталости, разговор супругов имел огромнейшее значение. Быть сейчас выгнанным отсюда казалось ему такой бедой, с которой все пережитое до сих пор не шло и в сравнение. Этого нельзя было допустить, даже если бы и хозяин и хозяйка вдруг заодно пошли против него. Скорчившись на бочке, он выжидающе смотрел на них, как вдруг хозяйка, с той невозможной обидчивостью, которую уже подметил в ней К., отступила в сторону и, хотя она уже говорила с хозяином о чем-то другом, крикнула. «Но как он на меня смотрит! Выгони же его наконец!» Но К., воспользовавшись случаем и уже уверенный, что он тут останется, сказал: «Да я не на тебя смотрю, а на твое платье».

«Почему на мое платье?» — взволнованно спросила хозяйка. К. только пожал плечами. «Пойдем!— сказала хозяйка хозяину.— Он же пьян, этот оболтус! Пусть проспится!» И она тут же приказала Пепи, которая вынырнула на зов из темноты, растрепанная, усталая, волоча за собой метлу, чтобы та бросила К. какую-нибудь подушку.

25

Проснувшись, К. сначала подумал, что он почти и не спал; в комнате было по-прежнему тепло, но пусто, у стен сгустилась темнота, единственная лампочка потухла, и за окном тоже стояла ночь. Он потянулся, подушка упала, а его ложе и бочки затрещали, в зал сразу вошла Пепи, и тут он узнал, что уже вечер и проспал он более две-

надцати часов. Несколько раз о нем справлялась хозяйка, да и Герстекер, который утром, во время разговора К. с хозяйкой, сидел тут, в темноте, за пивом, и не осмелился помешать К., тоже заходил сюда — посмотреть, что с К., и, наконец, как будто заходила и Фрида, минутку постояла над К., но вряд ли она приходила из-за К., а скорее из-за того, что ей надо было тут кое-что подготовить — она же должна была вечером снова заступить на свою прежнюю службу. «Видно, она тебя больше не любит?» — спросила Пепи, подавая ему кофе с печеньем. Но спросила она об этом не зло, как прежде, а скорее грустно, словно с тех пор узнала злобность мира, перед которой собственная злоба пасует, становится бессмысленной; как с товарищем по несчастью говорила она с К., и когда он попробовал кофе и ей показалось, что ему недостаточно сладко, она побежала и принесла полную сахарницу. Правда, грустное настроение не помешало ей приукраситься больше прежнего: бантиков и ленточек, вплетенных в косы, было предостаточно, на лбу и на висках волосы были тщательно завиты, а на шее висела цепочка, спускавшаяся в низкий вырез блузки. Но когда К., довольный, что наконец удалось выспаться и выпить хорошего кофе, тайком потянул за бантик, пробуя его развязать, Пепи устало сказала: «Не надо» — и присела рядом с ним на бочку. И К. даже не пришлось расспрашивать ее, что у нее за беда, она сама стала ему рассказывать, уставившись на кофейник, как будто даже во время рассказа ей надо было отвлечься и она не может, даже говоря о своих бедах, всецело отдаться мысли о них, так как на это сил у нее не хватит. Прежде всего К. узнал, что в несчастьях Пепи виноват он, хотя она за это на него не в обиде. И она решительно помотала головой, как бы отводя всякие возражения К. Сначала он увел Фриду из буфета, и Пепи смогла получить повышение. Невозможно было придумать что-нибудь другое, из-за чего Фрида бросила бы свое место, она же сидела в буфете, как паучиха в паутине, во все стороны от нее тянулись нити, про которые только ей и было известно; убрать ее отсюда против воли было бы невозможно, и только любовь к низшему существу, то есть то, что никак не соответствовало ее положению, могла согнать ее с места. А Пепи? Разве она когда-нибудь собиралась заполучить это место для себя? Она была горничной, занимала незначительное место, не сулившее ничего особенного, но, как всякая девушка, мечтала о лучшем будущем, мечтать никому не заказано, но всерьез она о повышении не думала, она была довольна достигнутым. И вдруг Фрида внезапно исчезла, так внезапно, что у хозяина под рукой не оказалось подходящей замены, он стал искать, и его взгляд остановился на Пепи; правда, она сама в соответствующую минуту постаралась попасться ему на глаза. В то время она любила К., как никогда еще никого не любила; до того она месяцами сидела внизу, в своей темной каморке, и была готова просидеть там много лет, а в случае невезенья и всю жизнь, никем не замеченная, и вот вдруг появился К., герой, освободитель девушек, и открыл перед ней дорогу наверх. Конечно же, он о ней ничего не знал и сделал это не ради нее, но ее благодарность от этого не уменьшилась, в ночь перед ее повышением — а повышение было еще неопределенным, но уже вполне вероятным — она часами мысленно разговаривала с ним, шепча ему на ухо слова благодарности. В ее глазах поступок К. возвысился еще больше тем, что он взял на себя такой тяжкий груз, то есть Фриду, какая-то непонятная самоотверженность была в том, что он ради возвышения Пепи взял себе в любовницы Фриду — некрасивую, старообразную, худую девушку, с короткими жиденькими волосами, да к тому же двуличную: всегда у нее какие-то секреты; наверно, это зависит от ее наружности; если любому с первого взгляда видно, как она дурна и лицом и фигурой, значит, надо придумать тайну, которую никто проверить не может,— например, что она якобы в связи с Кламмом. У Пепи тогда даже появлялись такие мысли: неужели возможно, что К. и в самом деле любит Фриду, уж не обманывается ли он или, может быть, только обманывает Фриду, и это, возможно, приведет только к возвышению Пепи, и тогда К. увидит свою ошибку или не захочет дольше ее скрывать и обратит внимание уже не на Фриду, а только на Пепи, и это вовсе не безумное воображение Пепи, потому что как девушка с девушкой она вполне может потягаться с Фридой, этого никто отрицать не станет, и ведь, в сущности, К. был ослеплен прежде всего служебным положением Фриды, которому она умела придать блеск. И Пепи в мечтах уже видела, что, когда она займет место Фриды, К. придет к ней просителем, и тут у нее будет выбор: либо ответить на мольбы К. и потерять место, либо оттолкнуть его и подняться еще выше. И она про себя решила отказаться от всех благ и снизойти до К., научить его настоящей любви, какой ему никогда не узнать от Фриды, любви, не зависящей ни от каких почетных должностей на свете. Но потом все вышло по-другому. А кто виноват? Прежде всего, конечно, сам К., ну а потом

и Фридино бесстыдство, но главное — сам К. Ну что ему надо, что он за странный человек? К чему он стремится, какие это важные дела его так занимают, что он забывает самое близкое, самое лучшее, самое прекрасное? Вот Пепи и стала жертвой, и все вышло глупо, и все пропало, и если бы у кого-нибудь хватило смелости подпалить и сжечь всю гостиницу, да так сжечь, чтобы ни следа не осталось, сжечь, как бумажку в печке, вот такого человека Пепи и назвала бы своим избранником. Итак, Пепи пришла сюда, в буфет, четыре дня тому назад, перед обедом. Работа тут нелегкая, работа, можно сказать, человекоубийственная, но то, чего тут можно добиться, тоже не пустяк. Пепи и раньше жила не просто от одного дня до другого, и если даже в самых смелых мечтах она никогда не осмеливалась рассчитывать на это место, то наблюдений у нее было предостаточно, она знала все, что связано с этим местом, без подготовки она за такую работу не взялась бы. Без подготовки сюда не пойдешь, иначе потеряешь службу в первые же часы. А уж особенно если станешь тут вести себя как горничная! Когда работаешь горничной, то начинаешь со временем чувствовать себя совсем заброшенной и забытой, работаешь, как в шахте, по крайней мере, в том коридоре, где помещаются секретари; кроме нескольких дневных посетителей, которые шмыгают мимо и глаз боятся поднять, там за весь день ни души не увидишь, разве что других горничных, а они обозлены не меньше тебя. Утром вообще нельзя и выглянуть из комнаты, секретари не хотят видеть посторонних, еду им носят слуги из кухни, тут горничным делать нечего, во время еды тоже нельзя туда ходить. Только когда господа работают, горничным разрешено убирать, но, конечно, не в жилых комнатах, а в тех, что пока пустуют, и убирать надо тихо, чтобы не помешать работе господ. Но разве уберешь, когда господа занимают комнаты по многу дней, да еще там орудуют слуги, этот грязный сброд, и когда наконец горничной разрешается зайти в помещение, оно оказывается в таком виде, что и всемирный потоп грязь не отмоет. Конечно, они господа важные, но приходится изо всех сил преодолевать отвращение, чтобы за ними убирать. Работы у горничных не слишком много, но зато работа тяжелая. И никогда доброго слова не услышишь, одни попреки, и самый частый, самый мучительный упрек, будто во время уборки пропали документы. На самом деле ничего не пропадает, каждую бумажку отдаешь хозяину, а уж если документы пропадают, то, конечно, не из-за девушек. А потом приходит комиссия, девушек выставляют из их комнаты, и комиссия перерывает их постели, у девушек ведь никаких своих вещей нет, все их вещички помещаются в ручной корзинке, но комиссия часами все обыскивает. Разумеется, они ничего не находят, да и как туда могут попасть документы? К чему девушкам документы? А кончается тем, что комиссия с досады ругается и угрожает, а хозяин все передает девушкам. И никогда покою нет, ни днем, ни ночью, до полуночи шум и с раннего утра шум. Если бы только можно было не жить при гостинице, но жить приходится, потому что и в промежутках приходится носить по вызову из кухни всякую всячину, это тоже обязанность горничных, особенно по ночам. Вдруг неожиданно стучат кулаком в комнату горничной, выкрикивают заказ, и бежишь на кухню, трясешь сонного поваренка, выставляешь поднос с заказанным у своих дверей, откуда его забирают слуги — как все это уныло. Но и это не самое худшее. Самое худшее, если заказов нет, но глубокой ночью, когда всем время спать, да и большинство действительно спит, к комнате горничных кто-то начинает подкрадываться. Тут девушки встают с постели — их кровати расположены друг над другом, ведь места в комнате мало, да, в сущности, это и не комнаты, а большой шкаф с тремя полками,— и девушки прислушиваются у дверей, становятся на колени, в испуге жмутся друг к другу. И все время слышно, как кто-то крадется к дверям. Пусть бы он уже вошел, все обрадовались бы, но никто не входит, ничего не случается. Приходится себя уговаривать, что им не грозит никакая опасность; может, кто-нибудь просто ходит взад и вперед у дверей, обдумывает, не заказать ли ему что-нибудь, а потом не решается. Может быть и так, а может быть и совсем иначе. В сущности, ведь совсем не знаешь этих господ, их почти и не видишь. Во всяком случае, девушки в своей комнате совсем пропадают от страха, а когда снаружи все затихает, они ложатся на пол у стенки оттого, что нет сил снова забраться в постели. И такая жизнь опять ожидает Пепи, сегодня же вечером она должна вернуться на свое место в комнате горничных. А из-за чего? Из-за К. и Фриды. Снова вернуться к той жизни, от которой она едва избавилась, правда, избавилась с помощью К., но все же она и сама приложила огромные усилия. Ведь на той службе девушки совершенно запускают себя, даже самые аккуратные. Да и для кого им там наряжаться? Никто их не видит, в лучшем случае челядь на кухне, а кому этого достаточно, те пусть и наряжаются. А то всегда торчишь в своей комнате или в комнатах господ, куда

даже просто зайти в чистом платье было бы глупым легкомыслием и расточительностью. И вечно живешь при искусственном свете, в духоте — топят там беспрерывно — и вечно устаешь. Единственный свободный вечер в неделю лучше всего провести где-нибудь в кладовке, при кухне, и хорошенько выспаться, без всяких страхов. Зачем же тогда наряжаться? Да тут и одеваешься кое-как. И вдруг Пепи назначили в буфет, и если только хочешь тут закрепиться, надо стать совсем другой, тут ты всегда на глазах у балованных и наблюдательных господ, поэтому тебе надо выглядеть как можно привлекательнее и милее. А тут все иначе, и Пепи может сказать про себя, что она ничего не упустила. Ей было все равно, как сложатся дела дальше; то, что у нее хватит способностей для такого места,— она знала, она была в этом уверена, и никто у нее этой уверенности не отнимет даже сегодня, в день полного провала. Трудно было в первый же день оказаться на должном уровне, ведь она только бедная горничная, нет у нее ни платьев, ни украшений, а у господ не хватает терпения ждать, пока ты переменишься, они хотят сразу, без всяких подготовок, получить такую буфетчицу, как полагается, иначе они от нее отвернутся. Можно подумать, что у них запросы вовсе уж не такие большие, раз их могла удовлетворить Фрида. Но это неверно. Пепи часто задумывалась над этим, да и с Фридой часто сталкивалась, даже какое-то время спала с ней рядом. Раскусить Фриду нелегко, и кто не очень внимателен,— а какие из этих господ достаточно внимательны? — того она сразу собьет с толку. Никто лучше самой Фриды не знает, до чего у нее жалкий вид, если, например, увидишь впервые, как она распускает волосы, так от жалости только всплеснешь руками, такую девушку, по правде говоря, нельзя допускать даже к должности горничной; да она и сама это чувствует, сколько раз она плакала, прижималась к Пепи, прикладывала косу Пепи к своим волосам. Но стоит ей только встать на рабочее место, и все сомнения как рукой снимает, она чувствует себя самой красивой из всех и притом умеет любого человека в этом убедить. Людей она хорошо понимает, в этом ее главное искусство. И врет она без удержу, сразу обманывает, чтобы люди не успевали ее как следует разглядеть. Конечно, надолго ее не хватает, есть же у людей глаза, и в конце концов они всю правду увидят. Но как только она заметит такую опасность, у нее в ту же минуту наготове новое средство борьбы, в последнее время, например,— ее связь с Кламмом. Связь с Кламмом! Если сомневаешься — можешь сам проверить: пойди к Кламму и спроси его. До чего же хитра, до чего же хитра! Но может быть, ты почему-либо не посмеешь с таким вопросом идти к Кламму, может быть, тебя и по гораздо более важным вопросам к нему не пустят, может быть, вообще Кламм для тебя вовсе не доступен — именно для тебя и таких, как ты, потому что Фрида, например, влетает к нему когда хочет,— так вот, даже если это так, все равно можно это дело проверить, надо только выждать! Не станет же Кламм долго терпеть такие ложные слухи, наверно он из кожи вон лезет, чтобы узнать, что о нем говорят и в буфете и в номерах, для него это чрезвычайно важно, и стоит ему услышать все эти выдумки, как он тут же их опровергнет. Однако он ничего не опровергает, вот и выходит: опровергать нечего, все — истинная правда. Конечно, все видят только, что Фрида носит пиво в комнату Кламма и выходит оттуда с деньгами, а то, чего не видят, рассказывает сама Фрида, и приходится ей верить. Но она ничего такого не рассказывает, не станет же она выбалтывать всякие тайны, нет, эти тайны сами собой выбалтываются вокруг нее, а раз они уже выболтаны, она и не стесняется о них упоминать, правда, очень сдержанно, ничего не утверждая, она только ссылается на то, что и без нее всем известно. Но говорит она не про все, например, насчет того, что с тех пор, как она появилась в буфете, Кламм стал пить меньше пива, чем раньше, она и вовсе не говорит, ведь тому могут быть самые разные причины, просто время подошло такое, что пиво кажется Кламму невкусным или он даже забывает о пиве из-за Фриды. Во всяком случае, как это ни удивительно, что Фрида и вправду возлюбленная Кламма. А если она хороша для Кламма, так как же другим ею не любоваться; и не успели все опомниться, как Фрида попала в красавицы, все стали считать ее словно специально созданной для должности буфетчицы; больше того, она стала чересчур хороша, чересчур важна для такого места, как наш буфет, ей теперь этого мало. И действительно людям уже казалось странным, что она все еще сидит тут, в буфете, конечно, быть буфетчицей — дело немалое при этом знакомство с Кламмом кажется вполне правдоподобным но уже если буфетчица стала любовницей Кламма, то почему он позволяет ей, да еще так долго, оставаться при буфете? Почему не подымает ее выше? Людям можно сто раз долбить, что тут никаких противоречий нет, что у Кламма есть определенные причины поступать так и что неожиданно, быть может в самом ближайшем будущем, Фрида получит повыше-

ние, но ни на кого эти слова впечатления не производят; у людей есть привычные представления, и никакими уловками их не разрушить. Ведь уже никто не сомневался, что Фрида — любовница Кламма, даже тому, кто все понимал, и то сомневаться надоело. Черт с тобой, будь любовницей Кламма, думают люди, но уж раз это так, то пусть мы будем свидетелями твоего повышения. Однако они ничего не увидели, Фрида по-прежнему сидела в буфете и втайне очень радовалась, что все оставалось по-прежнему. Но люди стали терять к ней уважение, и, конечно, она не могла этого не заметить, она же все замечает еще до того, как оно случается. Ведь девушке, по-настоящему приветливой, не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, если только она прижилась в буфете; пока она хорошенькая, она и останется буфетчицей, если только не произойдет какой-нибудь несчастный случай. Но такой девушке, как Фрида, все время приходится беспокоиться за свое место, конечно, она не подает виду, скорее она будет жаловаться и клясть эту должность. Но втайне она все время следит за настроением вокруг. И вот Фрида увидела, как люди стали к ней равнодушнее, уже при ее появлении они и глаз не подымали, даже слуги ею не интересовались, они, понятное дело, больше льнули к Ольге и к девицам вроде нее; даже по поведению хозяина было видно, что Фрида все меньше и меньше становилась необходимой, выдумывать новые истории про Кламма уже было трудно, все имеет свои границы, и тут наша дорогая Фрида решилась на новую выходку. Кто же мог сразу ее раскусить? Пепи что-то подозревала, но раскусить до конца, к сожалению, не могла. Фрида решила устроить скандал: она, любовница Кламма, бросается в объятья первому встречному, по возможности человеку самому ничтожному. Это произведет на всех большое впечатление, начнутся долгие пересуды, и наконец, наконец-то опять вспомнят, что значит быть любовницей Кламма и что значит презреть эту честь в опьянении новой любовью. Трудно было только найти подходящего человека, с которым можно было бы затеять эту хитрую игру. Он не должен был быть из знакомых Фриды, даже не из слуг, потому что такой человек лишь удивленно посмотрел бы на нее и прошел мимо, а главное, не сумел бы отнестись к ней серьезно, да и при самом большом красноречии ей никого не удалось бы убедить, что он стал домогаться ее, Фриды, и она не смогла ему сопротивляться, и в какой-то безумный миг сдалась — надо было найти такого человека, чтобы про него можно было бы поверить, будто он, такое ничтожество, при всей своей тупости и неотесанности, все же потянулся не к кому-то, а именно к Фриде и что у него не было желания сильнее чем — о господи боже! — жениться на Фриде. Но даже если бы попался самый последний человек, по возможности куда ниже любого холопа, то он все-таки должен был оказаться таким, чтобы из-за него тебя не засмеяли, таким, чтобы и какая-то другая, понимающая девушка могла бы найти в нем что-то привлекательное. Но где же отыскать такого? Другая девушка несомненно искала бы его понапрасну всю жизнь. Но, на счастье Фриды, к ней в буфет попал землемер, и попал, может быть, именно в тот вечер, когда ей впервые пришел на ум этот план. В сущности, о чем думал К.? Какие особенные мысли были у него в голове? Чего выдающегося он хотел добиться? Хорошего места, наград? Вот чего он хотел, да? Ну, тогда он с самого начала должен был взяться за дело по-другому. Но ведь он ничто, жалко смотреть на его положение. Да, он землемер, это, может быть, что-нибудь да значит, выходит, что он чему-то учился, но если эти знания никак применить нельзя, значит, он все же ничто. Однако он ставит требования без всякого стеснения, и хоть ставит он эти требования не прямо, но сразу видно, что у него есть какие-то требования, а это всех раздражает. Да знает ли он, что даже горничная унижает себя, если она с ним разговаривает дольше, чем надо? И со всеми своими особенными требованиями он попадает в самую грубую ловушку. Неужели ему не стыдно? Чем это Фрида его подкупила? Теперь он уже может сознаться. Неужели она могла ему понравиться, это тощее изжелта-бледное существо? Ах, вот оно что, он на нее даже и не взглянул, она только сказала ему, что она возлюбленная Кламма; его, конечно, это поразило, и тут он окончательно влип! Ей-то пришлось отсюда убраться, таким в гостинице места нет. Пепи видела ее в то утро, перед уходом, вся прислуга сбежалась, всем было любопытно взглянуть на нее. И такая у нее была еще власть, что ее жалели; все, даже враги, ее жалели, вот до чего ее расчет оказался правильным, никто понять не мог, зачем она себя губит из-за такого человека, всем казалось, что это удар судьбы; маленькие судомойки, которым каждая буфетчица кажется высшим существом, были просто безутешны. Даже Пепи была тронута, даже она не могла себя пересилить, хотя ее внимание было направлено на другое. Ей бросилось в глаза, что Фрида совсем не выглядела такой уж грустной. Ведь, в сущности, ее постигло огромное несчастье,

впрочем, она и делала вид, будто очень несчастна, но этого мало, разве такая комедия могла обмануть Пепи? Так что же ее поддерживало? Неужто счастье новой любви? Нет, это исключалось. Но в чем же причина? Что давало ей силу быть по-прежнему сдержанно-любезной, даже с Пепи, которая уже тогда намечалась ей в заместительницы? Впрочем, Пепи было некогда в это вникнуть, слишком она была занята подготовкой к новой должности. Уже часа через два-три надо было приступать к работе, а у нее еще не было ни красивой прически, ни нарядного платья, ни тонкого белья, ни приличной обуви. И все это надо было достать за несколько часов, а если за это время не привести себя в порядок, так лучше вообще отказаться от такого места, все равно потеряешь его в первые же полчаса. Однако же ей как-то удалось все выполнить. Причесываться как следует она хорошо умела, однажды даже хозяйка попрбсила сделать ей прическу, у Пепи на это рука легкая, правда, и волосы у нее самой густые, послушные, можно их уложить как угодно. И с платьем ей помогли. Обе ее верные подружки постарались. Правда, для них это тоже честь, когда буфетчицей становится именно девушка из их компании, да к тому же Пепи, войдя в силу, могла бы оказать им значительную помощь. У одной из девушек давно лежал отрез дорогой материи, ее сокровище, часто она давала подругам любоваться им и, наверно, мечтала, какое роскошное платье сошьет себе, но теперь — и это было прекрасным поступком с ее стороны — она пожертвовала отрез для Пепи. Обе девушки с готовностью помогали ей шить и не могли бы шить усерднее, даже если бы шили на самих себя. И работали весело, с удовольствием. Сидя на своих койках, друг над дружкой, они шили и пели, передавая друг другу то вниз, то вверх готовые части и отделку. Стоит Пепи теперь об этом вспомнить, как у нее еще тяжелее становится на душе, оттого что все было напрасно и ей теперь придется с пустыми руками возвращаться к своим подругам. Какое несчастье и какое легкомыслие тому виной, особенно со стороны К.! Как они тогда радовались платью, оно казалось им залогом удачи, а когда под конец находилось еще местечко для какого-нибудь бантика, у них исчезали последние сомнения в успехе. И разве оно не прекрасно, это платье! Правда, сейчас оно уже измято и немножко в пятнах, другого платья у Пепи нет, пришлось носить одно и то же день и ночь, но все еще видно, какое оно красивое, даже проклятая варнавовская девка не сшила бы лучше. И у платья есть еще особое преимущество: его можно затягивать и распускать и снизу и сверху, так что хоть платье одно и то же, но выглядит по-разному, это она сама придумала. Впрочем, на нее и шить легко, но Пепи хвастать не собирается; молодой здоровой девушке все к лицу. Труднее было с бельем и с обувью, тут-то и начались неудачи. Подруги и в этом ей помогли как могли, но могли-то они сделать очень мало. Удалось собрать и перештопать только самое грубое бельишко, и вместо сапожек на каблуках пришлось обойтись домашними туфлями, которые лучше совсем не показывать. Все старались утешить Пепи: ведь Фрида тоже не слишком хорошо одевалась, часто она ходила такой растрепой, что гости предпочитали, чтобы вместо нее им прислуживали парни из погребка. Все это верно, но Фриде многое разрешалось, она уже была на виду, в чести, а если настоящая дама и покажется в грязноватом и неаккуратном виде, это еще соблазнительней, но разве такому новичку, как Пепи, это сойдет? Да кроме того, Фрида и не умела хорошо одеваться, вкуса у нее и в помине нет; если у тебя кожа с желтизной, ее, конечно, не сбросишь, но уж нельзя надевать, как Фрида, кремовую кофточку с огромным вырезом, так что у людей в глазах становится желто. Но пусть бы даже и этого не было, все равно она слишком скупа, чтобы хорошо одеваться, все, что зарабатывала, она копила, никто не знал зачем. На этой работе ей деньги не нужны, она себе все добывала враньем и плутнями, но Пепи и не может и не хочет брать с нее пример, потому ей и надо было нарядиться, чтобы показать себя в выгодном свете, особенно с самого начала. Если бы только она могла пустить в ход более сильные средства, то, несмотря на все Фридины хитрости, на всю глупость К., она осталась бы победительницей. Да и началось все очень хорошо. Все необходимые навыки, все нужное умение она уже приобрела заранее. За буфетной стойкой она сразу почувствовала себя как дома. Никто и не заметил, что Фрида больше не работает. Только на второй день некоторые посетители стали справляться: куда девалась Фрида? Но Пепи ошибок не делала, хозяин был доволен, в первый день он еще беспокоился, все время сидел в буфете, потом уже стал заходить только изредка, и наконец — так как касса была в порядке и выручка даже стала в среднем больше, чем при Фриде,— он всецело предоставил работу Пепи. А она ввела кое-какие новшества. Фрида, не от усердия, а скорее от скупости, от властолюбия, от страха, что кому-то надо уступить какие-то свои пра-

ва, всегда обслуживала слуг сама, особенно когда никто не видел, но Пепи, напротив, целиком поручила это дело парням из погреба, они ведь куда пригоднее для такой работы. Таким образом, она оставляла себе больше времени для господских комнат, постояльцы обслуживались быстрее, кроме того, она могла перекинуться с каждым несколькими словами, не то что Фрида — та себя, по-видимому, берегла для одного Кламма, и любое слово, любую попытку подойти к ней воспринимала как личное оскорбление Кламму. Впрочем, это было довольно умно, потому что, когда она потом подпускала кого-то к себе поближе, это считалось неслыханной милостью. Но Пепи ненавидит такие уловки, да ей и не годилось начинать с них. Пепи со всеми была любезна, и ей отвечали любезностью. Видно, всех радовала перемена, а когда эти господа, натрудившись, наконец, улучают минутку, чтобы посидеть за кружкой пива, они форменным образом перерождаются, если только сказать им словечко, улыбнуться, повести плечиком. И все наперебой до того часто ерошили кудри Пепи, что ей раз десять на дню приходилось подправлять прическу, а не поддаться соблазну этих локончиков и бантиков никто не мог, даже такой рассеянный человек, как сам К. Так проходили дни, в напряжении, в постоянной работе, но и с большим успехом. Если бы они только не так скоро пролетели, если бы их было хоть немного больше! Четыре дня — это очень мало, даже если напрягаешься до изнеможения; может быть, пятый день принес бы больше, но четыре дня слишком мало! Правда, Пепи и за четыре дня приобрела многих покровителей и друзей, и если бы верить всем взглядам, то, когда она проплывала по залу с пивными кружками, ее просто омывали волны дружелюбия, а один писарь по имени Бартмейер в нее втюрился, подарил ей вот эту цепочку с медальоном, а в медальон вставил свою карточку, хотя это, конечно, дерзость; да мало ли что случилось, но ведь прошло всего четыре дня, за четыре дня Пепи, постаравшись как следует, могла бы заставить всех позабыть Фриду, пусть даже не совсем, да ее позабыли бы и раньше, если бы она перед тем не устроила настолько большой скандал, что ее имя не сходило с уст; оттого она опять и стала людям в новинку, они с удовольствием повидали бы ее снова, уже из чистого любопытства; то, что им надоело до отвращения, теперь благодаря появлению в общем ничего не стоящего человека снова манило их, правда, они не отказались бы из-за этого от Пепи, пока она действовала на них своим присутствием, но по большей части это были люди пожилые, с устоявшимися привычками, проходит не день, не два, пока они привыкнут к новой буфетчице, даже если эта перемена к лучшему, эти господа поневоле привыкают дольше, скажем дней пять, а четырех дней мало, пока что для них Пепи все еще чья-то заместительница. А потом случилось, пожалуй, самое большое несчастье: за эти четыре дня Кламм ни разу не вышел в буфет, хотя все время находился в Деревне. Если бы он пришел, то это было бы главным и решительным испытанием для Пепи, которого она, впрочем, не боялась, а скорее ему радовалась. Она — хотя о таких вещах лучше вслух не говорить — не стала бы любовницей Кламма и лживо не присвоила бы себе такое высокое звание, но она сумела бы ничуть не хуже Фриды мило подать кружку пива, приветливо поздороваться без Фридиной назойливости и приветливо попрощаться, а если Кламм вообще чего-то ищет во взгляде девушки, то во взгляде Пепи он досыта нашел бы все, чего хотел. Но почему же он не пришел? Случайно ли? Тогда Пепи так и думала. Два дня она ждала его с минуты на минуту, даже ночью ждала. Вот сейчас придет Кламм, непрестанно думала она и бегала взад и вперед, без всякой причины, от одного только беспокойного ожидания, от стремления увидеть его первой, сразу, как только он войдет. Ее измотало постоянное разочарование, может быть, она из-за этого и выполняла свои обязанности хуже, чем могла. А когда выдавалась свободная минутка, она прокрадывалась в верхний коридор, куда прислуге входить строго воспрещалось, и ждала там, забившись в уголок. Хоть бы сейчас вышел Кламм, я могла бы взять этого господина на руки и снести в буфет из его комнаты. Под таким грузом я бы даже не споткнулась, каким бы тяжелым он ни оказался. Но Кламм не шел. В том коридоре, наверху, до того тихо, что и представить себе нельзя, если там не побывал. Так тихо, что долго вынести невозможно, тишина гонит оттуда прочь. Но все начиналось сначала: десять раз ее гнала тишина, и десять раз Пепи снова и снова подымалась туда. Это было бессмысленно. Захочет Кламм прийти — он и придет, а не захочет, так Пепи его и не выманит, хоть бы она задохнулась от сердцебиения в своем уголке. Ждать было бессмысленно, но если он не придет, тогда почти все станет бессмысленным. Однако он не пришел. И теперь Пепи знает, почему Кламм не пришел. Фрида была бы в восторге, если бы могла увидеть, как Пепи стоит наверху в коридоре, прижав

обе руки к сердцу. Кламм не сходил вниз, потому что Фрида этого не допускала. И не просьбами она добивалась своего, никакие ее просьбы до Кламма не доходили. Но у нее, у этой паучихи, есть связи, о которых никому не известно. Когда Пепи что-нибудь говорит гостю, она говорит вслух, открыто, ее и за соседним столом слышно. А Фриде сказать нечего, поставит пиво на стол и отойдет, только ее нижняя шелковая юбка — единственное, на что она тратит деньги,— прошуршит на ходу. Но уж если она что-то скажет, так не вслух, а шепотом, на ухо посетителю, так что за соседним столом все навострят уши. Вероятно, то, что она говорит, никакого значения не имеет, хоть и не всегда, связей у нее много, а она еще укрепляет их, одну с помощью другой, и если что-то не удается,— кто же станет долго интересоваться Фридой?— то какую-нибудь из этих связей она все же удержит. И эти связи она постаралась сейчас использовать. К. дал ей для этого полную возможность: вместо того чтобы сидеть при ней и стеречь ее, он почти не бывает дома, бродит по Деревне, ведет переговоры, то там, то сям, ко всем он внимателен, только не к Фриде, и чтобы дать ей еще больше воли, он переселяется из трактира «У моста» в пустую школу. Хорошее же это начало для медового месяца! Конечно, Пепи — последний человек, который станет попрекать К. за то, что он не выдержал общества Фриды, никто не мог бы выдержать. Но почему же он тогда не бросил ее окончательно, почему он все время возвращается к ней, почему он своими хлопотами у всех создал впечатление, будто он борется за Фриду? Ведь выглядело так, будто он только после встречи с Фридой понял свое теперешнее ничтожество и хочет стать достойным Фриды, хочет как-то вскарабкаться повыше, а потому пока что не проводит с ней все время, чтобы потом без помехи наверстать упущенное. А пока что Фрида не теряет времени, сидя в школе, куда она, как видно, заманила К. и следит за гостиницей, следит за К. А под рукой у нее отличные посыльные, помощники К., и совершенно непонятно, почему—даже если знаешь К., и то не поймешь,— почему он их всецело предоставил Фриде? Она посылает их к старым своим знакомым, напоминает о себе, жалуется, что такой человек, как К., держит ее взаперти, натравливает людей на Пепи, сообщает о своем скором возвращении, просит о помощи, заклинает не выдавать ее Кламму, притворяется, что Кламма надо оберегать и потому ни в коем случае не пускать в буфет. И то, что она перед одними выставляет как желание беречь Кламма, перед хозяином она использует как доказательство своих успехов, обращает внимание на то, что Кламм больше в буфет не ходит. Да и как же ему ходить, если там посетителей обслуживает какая-то Пепи? Правда, хозяин не виноват, все же эта самая Пепи—лучшая замена, какую можно было найти, но и эта замена не годится даже временно. Про всю эту Фридину деятельность К. ничего не знает; когда он не шатается где попало, он лежит у ног Фриды, а она тем временем считает часы, когда наконец удастся вернуться в буфет. Но помощники выполняют не только обязанности посыльных, они служат ей и для того, чтобы вызвать ревность К., подогревать его пыл. С самого детства Фрида знает этих помощников, никаких тайн у них, конечно, друг от друга нет, но назло К. они начинают тянуться друг к другу, и для К. создается опасность, что тут возникнет настоящая любовь. А К. идет на любые нелепости в угоду Фриде, он видит, что помощники заставляют его ревновать, но все же терпит, чтобы они, все трое, были вместе, пока он уходит в свои странствия. Получается так, будто он сам — третий помощник Фриды. И тут Фрида, сделав вывод из всех своих наблюдений, собралась нанести большой удар: она решает вернуться. И сейчас действительно для этого подошло время, диву даешься, как Фрида, эта хитрая Фрида, все учла и использовала; но острая наблюдательность и решительность — неподражаемый талант Фриды, был бы такой талант у Пепи, насколько иначе сложилась бы ее жизнь! А если бы Фрида еще дня два пробыла в школе, тогда уж Пепи не прогнать, она окончательно утвердилась бы на месте буфетчицы, все любили бы ее, уважали, и денег она заработала бы достаточно, чтобы сменить свою скудную одежду на блестящий туалет, еще бы день-другой — и никакими кознями нельзя было бы удержать Кламма от посещения буфета, он пришел бы, выпил, почувствовал себя уютно и был бы вполне доволен заменой, если только он вообще заметил бы отсутствие Фриды, а еще через день-два и Фриду со всеми ее скандалами, ее связями, с этими помощниками и со всем, что ее касается, забыли бы окончательно, и никогда о ней никто не вспомнил бы. Может быть, тогда она крепче ухватилась бы за К. и, если только она на это способна, полюбила бы его по-настоящему? Нет, и этого быть не могло. Ведь достаточно было бы одного дня, никак не больше, чтобы она надоела и К., чтобы он понял, как гнусно она его обманывает во всем — и своей выдуманной красотой, и своей выдуманной верностью, и больше всего выдуманной любовью

Кламма. Одного дня, не больше было бы достаточно, чтобы выгнать ее из дому со всей этой грязной компанией, с этими помощниками; думается, что даже для К. больше времени не потребовалось бы. Но между этими двумя опасностями, когда перед ней уже форменным образом зияет могила, К. по своей наивности все еще держит для нее открытой узкую тропку,— вдруг она удирает, а уж этого никто не ждал, это противоестественно, и теперь уже она выгоняет К., все еще в нее влюбленного, все еще преследующего ее, и под давлением поддерживающих ее помощников и приятелей предстает перед хозяином как спасительница, ставшая после того скандала еще соблазнительней, чем раньше, еще желаннее как для самых низших, так и для самых высших, хотя самому низшему из всех она предалась только на миг, оттолкнув его вскоре, как и положено, и став недоступной и для него, и для всех других, как прежде, только прежде ко всему этому относились с сомнением, а теперь во всем уверились. И вот она возвращается, хозяин, покосившись на Пепи, начинает сомневаться — принести ли в жертву ее, которая так старалась?— но его легко переубеждают: слишком многое говорит в пользу Фриды, а главное, она вернет Кламма в гостиницу. Вот как обстоят дела на сегодняшний вечер. Но теперь Пепи не станет дожидаться, пока явится Фрида и устроит себе триумф при передаче должности. Касса уже давно передана хозяйке, теперь можно уходить. Койка внизу, в комнате девушек, уже ожидает. Пепи придет, подруги в слезах обнимут ее, а она сорвет с себя платье, вырвет ленты из волос и все засунет в угол, хорошенько спрячет, чтобы не напоминало о временах, которые лучше позабыть. А потом она возьмет тяжелое ведро и щетку, стиснет зубы и примется за работу. Но перед этим она все должна рассказать К., чтобы он, ничего не понимавший до сих пор без ее помощи, теперь ясно увидел бы, до чего некрасиво он поступил по отношению к Пепи и как она из-за него несчастна.

Пепи умолкла. Вздохнув, она вытерла слезинки с глаз и щек и, качая головой, посмотрела на К., словно хотела сказать, что, в сущности, речь идет вовсе не о ее несчастье, она все выдержит, и никакой помощи, никаких утешений ей ни от кого — и уж меньше всего от К.— не надобно. «До чего же у тебя дикая фантазия, Пепи,— сказал К.— Неправда, что ты только сейчас разобралась во всех этих делах, это только вымыслы, родившиеся в вашей тесной темной девичьей каморке, там, внизу, и там они уместны, а здесь, в просторном буфете, кажутся чудачеством. С такими мыслями тебе тут было не удержаться, это само собой понятно. Да и твое платье, твоя прическа — все, чем ты так хвасталась, все это рождено в темноте и тесноте вашей комнаты, ваших постелей, там твой наряд, конечно, кажется прекрасным, но тут над ним все смеются, кто исподтишка, а кто открыто. А что ты еще тут наговорила? Значит, выходит, что меня обидели, обманули? Нет, милая Пепи, и меня никто не обижал и не обманывал, как и тебя. Правда, Фрида в данный момент бросила меня, или, как ты выразилась, удрала с одним из помощников, тут ты увидала какой-то проблеск правды, и теперь действительно можно усомниться, что она все же станет моей женой, но то, что она мне надоела и что я ее все равно прогнал бы на следующий день или что она мне изменила, как изменяет жена мужу, вот это уже совершенная неправда. Вы, горничные, привыкли шпионить у замочной скважины, отсюда у вас и склонность из какой-нибудь мелочи, которую вы и вправду увидели, делать грандиозные и совершенно неверные выводы. Потому и выходит, что я, например, в данном случае знаю гораздо меньше, чем ты. Я никак не могу объяснить с такой же уверенностью, как ты, почему Фрида меня бросила. Самое правдоподобное объяснение — и ты тоже коснулась его мимоходом, но не подтвердила — это то, что я оставлял ее без внимания. Да, я был к ней невнимателен, но к этому меня понуждали особые обстоятельства, которые сюда не относятся; вернись она сейчас ко мне, я был бы счастлив, но тут же снова стал бы оставлять ее без внимания. Да, это так. Когда она была со мной, я постоянно уходил в осмеянные тобой странствия, теперь, когда она ушла, мне почти нечем заниматься, я устал, мне все больше хочется бросить эти дела. Можешь ли ты дать мне совет, Пепи?» «Могу,— сказала Пепи, вдруг оживившись и схватив К. за плечи.— Мы оба обмануты, давай будем вместе. Пойдем со мной вниз, к девушкам». «Нет, пока ты жалуешься на обман, мы с тобой друг друга не поймем. Ты все время хочешь считать себя обманутой, потому что это лестно, это трогательно. Но правда в том, что ты для этой должности непригодная. И эта непригодность до того очевидна, что ее заметил даже я, самый, как ты считаешь, неосведомленный из всех. Ты славная девочка, Пепи, но не так легко тебя понять, я, например, сначала считал тебя злой и высокомерной, но ты вовсе не такая, тебя просто сбила с толку должность буфетчицы, потому что ты для нее не го-

дишься. Я не хочу сказать, что место для тебя слишком высоко, это вовсе не какое-нибудь особенное место, может быть, оно, если присмотреться, несколько почетнее твоей прежней службы, но, в общем, разница невелика, скорее обе должности похожи как две капли воды; впрочем, можно, пожалуй, и предпочесть должность горничной должности буфетчицы, потому что горничная всегда имеет дело только с секретарями, а тут, при буфете, хоть ты и обслуживаешь по господским комнатам начальство, секретарей, но тебе приходится сталкиваться и с самым ничтожным людом, вроде меня, ведь я имею право быть только тут, в буфете, а не в других местах, и разве общение со мной такая уж великая честь? Тебе, конечно, все кажется по-другому, и, быть может, у тебя на это есть какие-то основания. Но именно потому ты на это место и не годишься. Место как место, а для тебя оно царствие небесное, потому ты с таким жаром и берешься за все, наряжаешься, как, по твоему мнению, должны рядиться ангелы — хотя они совсем не такие,— дрожишь от страха потерять службу, вечно воображаешь, что тебя преследуют, всех, кто, по твоему мнению, может тебя поддержать, ты пытаешься завоевать преувеличенной любезностью и только им мешаешь, отталкиваешь их, потому что они в гостинице идут покоя и вовсе не желают ко всей окружающей их суете добавлять и суету буфетчицы. Может статься, что кто-нибудь из высоких гостей и не заметил перемены после ухода Фриды, но теперь-то они все об этом знают и действительно скучают по Фриде, потому что Фрида, по-видимому, вела себя иначе. Какая бы она ни была в остальном, как бы она ни относилась к своему месту, но на службе она была опытной, сдержанной, владела собой, ты же сама это отмечала, хотя и не сумела извлечь из этого пользу для себя. А ты когда-нибудь следила за ее взглядом? Это же был взгляд не простой буфетчицы, а почти хозяйки. Все она охватывала, и каждого в отдельности тоже, и взгляд, предназначенный каждому в отдельности, был настолько силен, что ему сразу подчинялись. Разве важно, что она, возможно, была немного худощава, немного старообразна, что бывают волосы и гуще, все это мелочи по сравнению с тем, что в ней было настоящего, и те, кому эти ее недостатки мешали, только доказывали, что им не хватает понимания более важных вещей. Разумеется, Кламма в этом упрекнуть нельзя, и только молодая, неопытная девушка из-за неправильной точки зрения не может поверить в любовь Кламма к Фриде. Кламм тебе кажется — и по справедливости — недосягаемым, и потому ты считаешь, что Фрида никак не могла подняться до Кламма. Ты ошибаешься. Тут я бы поверил и одним Фридиным словам, даже если бы у меня не было неопровержимых доказательств. Каким бы невероятным это тебе ни казалось, как бы ни расходилось с твоим представлением о жизни, о чиновничестве, о благородстве и о влиянии женской красоты, ты все же не можешь отрицать их отношения, и как мы тут сидим с тобой рядом и я держу твою руку, так наверняка сидели и Кламм с Фридой, как будто это самая естественная вещь на свете, и Кламм добровольно спускался сюда, в буфет, он даже торопился сойти, и никто его в коридоре не подкарауливал, никто из-за него работу не запускал, Кламм должен был сам потрудиться и сойти вниз, а изъяны в одежде Фриды, от которых ты пришла бы в ужас, его совсем не трогали. Ты не желаешь ей верить и сама не видишь, как ты этим доказываешь свою неопытность! Даже тот, кто ничего не знал бы об отношениях Фриды с Кламмом, должен был по ее облику догадаться, что этот облик сложился под влиянием кого-то, кто стоит выше тебя, и меня, и всех людей в Деревне, и что их беседы выходят далеко за пределы обычных подшучиваний между посетителями и официантками, составляющих как будто цель твоей жизни. Но я к тебе несправедлив. Ты и сама отлично видишь все преимущества Фриды, ты заметила ее наблюдательность, ее решительность, ее влияние на людей, однако ты толкуешь все неправильно, считая, что она из эгоизма старается все повернуть себе в пользу, или во зло другим, или даже как оружие против тебя. Нет, Пепи, даже если бы у нее были в запасе такие стрелы, она никак не смогла бы выпустить их с такого малого расстояния. Она эгоистка? Нет, скорее можно было бы сказать, что она, пожертвовав тем, что у нее было, и тем, чего она могла ожидать, дала нам с тобой возможность как-то проявить себя на более высоких позициях, но мы оба разочаровали ее и принудили вернуться сюда. Не знаю — так ли это, да и моя собственная вина мне не совсем ясна, и лишь когда я сравниваю себя с тобой, мне что-то мерещится, словно мы оба слишком настойчиво, слишком шумно, слишком ребячливо и неуклюже старались добиться того, чего, например, при Фридином спокойствии, при ее деловитости можно было бы достичь без труда, а мы и плакали, и царапались, и дергали — так ребенок дергает скатерть и ничего не получает, только сбрасывает роскошное угощение на пол

и лишается его навсегда. Не знаю, верно ли я говорю, но, что скорее все именно так, а не так, как ты рассказываешь, это я знаю твердо». «Ну, конечно,— сказала Пепи,— ты влюблен в Фриду, потому что она от тебя сбежала; нетрудно влюбиться в нее, когда она далеко. Но пусть будет по-твоему, пусть ты во всем прав, даже в том, что ты меня осмеиваешь, но что же ты теперь будешь делать? Фрида тебя бросила, и хоть объясняй по-твоему, хоть по-моему, надежды на то, что она вернется, у тебя нет, и даже если бы она вернулась, тебе на время надо где-то устроиться, стоят холода, ни работы, ни пристанища у тебя нет, пойдем к нам, мои подружки тебе понравятся, у нас тебе будет уютно, поможешь нам в работе — она и в самом деле трудна для девушек, а мы, девушки, не будем предоставлены сами себе, и по ночам уже страху не натерпимся. Пойдем же к нам! Подружки мои тоже знают Фриду, мы тебе будем рассказывать про нее всякие истории, пока тебе не надоест. Ну идем же! У нас и фотографий Фриды много, мы тебе все покажем. Тогда Фрида была скромнее, чем сейчас, ты ее и не узнаешь, разве что по глазам — они и тогда были хитрые. Ну, как, пойдешь?» «А разве это разрешается? Вчера весь скандал из-за того и разгорелся, что меня поймали в вашем коридоре». «Вот именно оттого, что тебя поймали, а если будешь у нас, тебя никогда не поймают. Никто о тебе и знать не будет, только мы трое. Ах, как будет весело! Теперь жизнь там уже кажется мне гораздо более сносной, чем раньше. Может быть, я и не так много теряю, оттого что приходится уходить отсюда. Слушай, мы ведь и втроем не скучали, надо же как-то скрашивать горькую жизнь, а нам ее отравили с самой юности, ну, а теперь мы трое держимся друг за дружку, стараемся жить красиво, насколько это там возможно, тебе особенно понравится Генриетта, да и Эмилия тоже, я им уже про тебя рассказывала, там все эти истории слушают с недоверием, будто вне нашей комнаты ничего случиться не может, там тепло и тесно, и мы все больше жмемся друг к дружке, но хоть мы и постоянно вместе, друг другу мы не надоели, напротив, когда я подумаю о своих подружках, мне почти что приятно, что я отсюда ухожу, зачем мне подыматься выше их? Ведь нас так сблизило именно то, что для всех трех будущее было одинаково закрыто, но я все же пробилась, и это нас разлучило. Разумеется, я их не забыла, и первой моей заботой было: не могу ли я что-нибудь для них сделать? Мое собственное положение еще не упрочилось — хоть я и не знала, насколько оно было непрочным,— а я уже поговорила с хозяином насчет Генриетты и Эмилии. Насчет Генриетты хозяина еще можно было уговорить, а вот насчет Эмилии — она много старше нас, ей примерно столько лет, сколько Фриде,— он мне никакой надежды не подал. Но ты только подумай — они вовсе не хотят оттуда уходить, знают, что жизнь они ведут там жалкую, но они уже с ней смирились, добрые души, и, по-моему, они лили слезы, прощаясь со мной, главным образом из-за того, что мне пришлось уйти из общей комнаты на холод — нам оттуда все, что вне нашей комнаты, кажется холодным — и что мне придется мучиться в больших чужих комнатах, с чужими людьми, лишь бы только заработать на жизнь, а это мне при нашем общем хозяйстве и так до сих пор удавалось. Наверно, они ничуть не удивятся, если я теперь вернусь, и только в угоду мне поплачут немного и пожалеют меня за мои злоключения. Но потом они увидят тебя и сообразят, как все-таки вышло хорошо, что я уходила. Они обрадуются, что теперь мужчина будет нам помощью и защитой, и придут в восторг от того, что все должно остаться тайной и что тайна эта свяжет нас еще крепче, чем до сих пор. Пойдем же, ну, пожалуйста, пойдем к нам! Ты себя ничем не обяжешь и не будешь привязан к нашей комнате навсегда, как мы. Когда настанет весна, и ты найдешь пристанище где-нибудь в другом месте, и тебе у нас не понравится, ты сможешь уйти; конечно, ты и тогда обязан сохранить тайну и не выдавать нас, иначе для нас это будет последний час в гостинице; разумеется, когда ты будешь у нас, ты должен быть очень осторожен, нигде не показываться, если мы сочтем это небезопасным, и вообще ты должен будешь слушаться наших указаний; вот единственное, что тебя свяжет, но ты в этом так же заинтересован, как и мы, а в других отношениях ты совершенно свободен, работу мы тебе дадим не трудную, не бойся. Ну как, пойдем?» «А до весны еще далеко?»— спросил К. «До весны?— повторила Пепи.— Зима у нас длинная, очень длинная и однообразная. Но мы там, внизу, не жалуемся, мы хорошо защищены от холодов. Ну, а потом придет и весна и лето, всему свое время, но когда вспоминаешь, и весна и лето кажутся такими коротенькими, будто длились два дня, не больше, да и то в эти дни, даже в самую распрекрасную погоду, вдруг начинает падать снег».

Тут отворилась дверь. Пепи вздрогнула, в мыслях она уже была далеко отсюда,

но вошла не Фрида, вошла хозяйка. Она сделала удивленное лицо, застав К. еще здесь. К. извинился, сказав, что ждал хозяйку и тут же поблагодарил ее за то, что ему разрешили тут переночевать. У него создалось впечатление, сказал К., будто хозяйка хочет еще раз с ним поговорить, он просит прощения, если вышла ошибка, кроме того, ему сейчас непременно надо уходить, слишком надолго он оставил без присмотра школу, где работает сторожем, но всему виной вчерашний вызов, он еще плохо разбирается в таких делах, больше никогда он не доставит госпоже хозяйке столько неприятностей, как вчера. И он поклонился, собираясь уйти. Хозяйка посмотрела на него странным взглядом, словно во сне. Этим взглядом она удержала К. на месте дольше, чем он хотел. А тут она еще слабо улыбнулась, и только удивленный вид К. как будто привел ее немного в себя. Казалось, она ждала ответа на свою улыбку и, не получив его, только тут пришла в себя. «Кажется, вчера ты имел дерзость что-то сказать о моем платье?» Нет, К. ничего не помнил. «Как, ты не помнишь? Значит, к дерзости добавляется еще и трусость». К. извинился, сославшись на вчерашнюю усталость, вполне возможно, что он что-то наболтал, во всяком случае он ничего не помнил. Да и что он мог сказать о платье госпожи хозяйки? Только что таких красивых платьев он никогда не видел. По крайней мере, он никогда не видел хозяек гостиниц на работе в таком платье. «Замолчи,— быстро сказала хозяйка.— Я не желаю слышать от тебя ни слова про мои платья. Не смей думать о моих платьях. Запрещаю это тебе раз навсегда». К. еще раз поклонился и пошел к дверям. «А что это значит? — крикнула ему хозяйка вслед.— Никогда не видал хозяек гостиниц за работой в таком платье? Что за бессмысленные слова. Это же полная бессмыслица! Что ты этим хочешь сказать?» К. обернулся и попросил хозяйку не волноваться. Конечно, замечание бессмысленно. Он же ничего в платьях не понимает. Ему в его положении всякое незаплатанное и чистое платье уже кажется дорогим. Он только удивился, когда увидел хозяйку ночью там, в коридоре, среди всех этих полуодетых мужчин в таком красивом вечернем платье, вот и все. «Ага,— сказала хозяйка,— кажется, ты, наконец, вспомнил свое вчерашнее замечание. Да еще дополняешь его новой чепухой. Правильно, что ты в платьях ничего не понимаешь. Но тогда воздержись, пожалуйста,— и я серьезно тебя об этом прошу — судить о том, дорогое ли это платье, неподходящее оно или вечернее, словом, про все такое... И вообще...— тут она передернулась, словно от озноба,— перестань интересоваться моими платьями, слышишь?— И когда К. хотел молча повернуться к выходу, она спросила: — Да и что ты понимаешь в платьях? — К. пожал плечами, нет, он в них ничего не понимает.— Ах, не понимаешь,— сказала хозяйка,— так не бери на себя смелость судить об этом. Пойдем со мной в контору, я тебе что-то покажу, тогда, надеюсь, ты навсегда прекратишь свои дерзости». Она первой вышла из дверей, и Пепи подскочила к К. под предлогом — получить с него деньги, и они торопливо договорились, это было просто: К. уже знал двор, откуда вели ворота в проулок, а подле ворот была маленькая дверь, примерно через час Пепи будет ждать за ней и на троекратный стук откроет К.

Контора хозяина находилась напротив буфета, надо было только пересечь прихожую, и хозяйка уже стояла в освещенной конторе и нетерпеливо ждала К. Но тут им помешали. Герстекер ждал в прихожей и хотел поговорить с К. Было не так легко отвязаться от него, но тут помогла хозяйка, запретив Герстекеру приставать к К. «Да куда же ты? Куда?» — закричал Герстекер, когда уже захлопнулись двери, и его голос противно прервался кашлем и охами.

Контора была тесная, жарко натопленная. По узкой стене стояли пюпитр и несгораемый шкаф, по длинным стенам — гардероб и оттоманка. Гардероб занимал больше всего места, он не только заполнял всю стену в длину, но и сужал комнату, выдаваясь в ширину, и чтобы полностью его открыть, надо было раздвинуть все три створки дверей. Хозяйка указала К. на оттоманку, а сама уселась на вертящийся табурет у конторки. «Ты никогда не учился портняжному делу?»— спросила хозяйка. «Нет, никогда»,— ответил К. «А кто же ты, собственно говоря?»—«Землемер».—«А что это значит?» К. стал объяснять, это объяснение вызвало у нее зевоту: «Ты не говоришь мне правды. Почему ты не говоришь правды?» — «Но ведь и ты не говоришь правды».— «Я?»—«Ты опять начинаешь дерзить? А если я и не говорю правды, так мне отвечать перед тобой, что ли? В чем же это я не говорю правды?»—«Ты не простая хозяйка, какой ты стараешься казаться».—«Скажи, пожалуйста! Сколько открытий ты сделал! А кто же я еще? Твоя дерзость и вправду переходит все границы».— «Не знаю, кто ты такая. Я вижу, что ты хозяйка, но к тому же ты носишь платья, которые простой хозяйке не

подходят и каких, по моему разумению, никто тут, в Деревне, не носит».—«Ну вот, теперь мы дошли до самой сути. Просто ты не можешь промолчать, возможно, что ты и не хочешь дерзить, ты просто похож на ребенка, который узнал какую-то чепуху и никак промолчать не может. Ну что особенного ты нашел в моих платьях?»—«Ты рассердишься, если я скажу».—«Не рассержусь, а рассмеюсь, это же детская болтовня. Ну, так какие же у меня платья?»—«Хорошо, раз ты хочешь знать. Да, они из хорошего материала, очень дорогие, но они старомодны, вычурны, слишком затейливы, поношены, и вообще они тебе не по годам, не по фигуре, не по твоей должности. Это мне бросилось в глаза, как только я тебя увидел в первый раз, с неделю назад, тут, в прихожей».—«Ах, вот оно что! Значит, они старомодны, вычурны и что там еще? А ты откуда все это знаешь?»—«Просто вижу, этому учиться не надо».—«Значит, так сразу и видишь? Никого тебе спрашивать не надо, сам прекрасно понимаешь, чего требует мода. Да ты станешь для меня незаменимым, ведь красивые платья — моя слабость. Смотри, у меня гардероб полон платьев — что ты на это скажешь?— Она раздвинула створчатые дверцы, во всю ширину шкафа тесно висели платья одно за другим, по большей части это были темные платья, серые, коричневые, черные, тщательно развешанные и разглаженные.— Вот мои платья, по-твоему, они все старомодны, вычурны. Но тут только те, для которых не нашлось места в моей комнате, наверху, а там у меня еще два полных шкафа, да, два шкафа, каждый почти величиной с этот. Что, удивляешься?»

«Нет, я так примерно и думал, потому и сказал, что ты не только хозяйка, ты нацелилась на что-то другое».

«Я только на то и целюсь, чтобы красиво одеваться, а ты, как видно, не то дурак, не то ребенок или же очень злой человек, опасный человек. Уходи, уходи же скорее!»

К. вышел в прихожую, и Герстекер уже ухватил его за рукав, когда хозяйка крикнула ему вслед: «А завтра мне принесут новое платье, может быть я тогда пошлю за тобой».

Сердито махая рукой, словно пытаясь заставить замолчать надоедливую хозяйку, ничего объяснять он пока не хотел. Герстекер предложил К. пойти вместе с ним. Сначала он не обратил никакого внимания, когда К. возразил, что ему теперь надо вернуться в школу. И только когда К. по-настоящему уперся, Герстекер ему сказал, чтобы он не беспокоился, все, что ему надо, он найдет у Герстекера, место школьного сторожа он может бросить, а теперь пора наконец идти, целый день Герстекер его ждет, и его мать даже не знает, куда он делся. Постепенно уступая ему, К. спросил, за что он собирается давать ему стол и квартиру? Герстекер мимоходом сказал, что К. ему нужен как помощник на конюшне, у него самого есть другие дела, и пусть К. перестанет упираться и создавать лишние затруднения. Хочет получить плату — ему будут платить. Но тут К. окончательно уперся, как тот его ни тащил. Да ведь он ничего не понимает в лошадях. Это и не нужно, нетерпеливо сказал Герстекер и с досадой сжал руки, словно упрашивая К. следовать за ним. «Знаю я, зачем ты меня хочешь взять с собой,— сказал К., но Герстекеру дела не было до того, знает К. или нет.— Ты, видно, решил, что я могу чего-то добиться для тебя у Эрлангера». «Конечно»,— сказал Герстекер. К. расхохотался, взял Герстекера под руку и дал ему увести себя в темноту.

Горница в комнате Герстекера была смутно освещена одним огарком свечи, и при этом свете кто-то, низко согнувшись под выступающими над углом косыми потолочными балками, читал книгу. Это была мать Герстекера. Она подала К. дрожащую руку и усадила его рядом с собой; говорила она с трудом, и понимать ее было трудно, но то, что она говорила... (на этом рукопись обрывается).

■

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

ГУНДУЛА И ЕЕ БРАТЬЯ

И вот он под нами, этот край — наибольшая по территории и численности населения часть бывшей Германии.

Наш самолет снижается над Мюнхеном. Мы с женой впервые вступаем на землю, которая ныне называется ФРГ. Три буквы, по-своему знаменательные в новейшей истории Европы, за которыми кроется многое из того, что принято называть послевоенной эпохой...

Приехав по приглашению ГКП принять участие в дискуссиях о реальном социализме, выступить на многочисленных встречах с читателями, побеседовать с издателями, писателями, журналистами, я имел возможность пробыть в Западной Германии, в ее городах и селах почти две недели. Когда «Штерн» предложил мне выступить на его страницах и рассказать о сегодняшней ФРГ, я счел это возможным. И хотя мои субъективные суждения ни в коей мере не претендуют на исчерпывающую оценку, они в то же время, думаю, могут представлять для западногерманского читателя определенный интерес, поскольку «Штерн» буржуазный журнал, а я советский писатель[1].

Однако начну с ранних воспоминаний, казалось бы, не имеющих прямого отношения к делу, но для меня лично заключающих в себе некую изначальную предпосылку того, о чем я теперь собираюсь сказать.

Пожалуй, мне было лет пять в ту пору; стало быть, это начало 30-х годов. Я помню, как однажды, летним вечером, мой дядя, старший брат отца — Алымкул, тогдашний председатель аилсовета, привел к нашей юрте крупную черно-пеструю корову и привязал ее у коновязи. Это было неслыханно — чтобы корову ставили на место коня. Но то была «немис сыйыр», то есть немецкая корова. Председатель аилсовета Алымкул объяснил любопытствующим, что корову он купил у немцев, в немецком селении, у одного своего старого знакомого. Событие, как я теперь понимаю, заключалось в том, что в ту пору исконные номады-киргизы, веками до этого занимавшиеся экстенсивным кочевым скотоводством, воочию увидели возможность культурного животноводства. Поэтому на них произвел большое впечатление рассказ Алымкула, уверявшего, что немецкая корова дает за один день столько молока, сколько десять местных коров, вместе взятых.

Это было мое первое соприкосновение с инородными — в тогдашнем моем детском сознании — людьми, называемыми у нас «немис». Позднее я узнаю, что это были немцы-переселенцы, или, вернее, немцы-колонисты, прибывшие в нашу Таласскую долину еще задолго до Октябрь-

[1] Очерк «Гундула и ее братья» был (с сокращениями) опубликован в № 19 журнала «Штерн» за 1987 год *(прим. ред.)*.

ской революции на земли, предоставленные им царской Россией, основавшие в Таласске свои крупные поселения и завоевавшие у коренных жителей уважение, как исключительно трудолюбивые люди, умелые земледельцы и садоводы.

В немалой степени это уважение таласские немцы завоевали и тем, что освоили киргизский язык и свободно говорили на нем. Потомки этих немцев и поныне живут в Таласской долине, в Ленинопольском районе, передовом во всей области, да, пожалуй, и в республике в целом.

Но все это предстояло мне узнать позднее, так же как и то, что черно-пестрая корова «немис сыйыр» была остфризской породы, давшей начало местной высокомолочной породе крупного рогатого скота, называемой аулиеатинской.

Не предполагал я тогда и того, что со временем буду учиться в сельскохозяйственном институте, где одним из изучаемых предметов окажется аулиеатинская порода рогатого скота, и что мне суждено будет работать в совхозе как специалисту-аулиеатиноводу. Но все это было впереди. Я, тогда мальчишка, крутился возле взрослых, обсуждавших достоинства черно-пестрой коровы. Этим людям предстояло в самое близкое время, в годы бурной коллективизации сельского хозяйства, создавать и развивать колхозные фермы, размножать наиболее продуктивную молочную аулиеатинскую породу, выведенную в Киргизии трудолюбивыми немецкими животноводами.

Не знал я и того, что в школе в пятом классе я буду изучать немецкий язык, а затем грянет война с фашистской Германией и все, связанное со словом «немец», «Германия», приобретет совсем иной характер и принесет нашему народу самые тяжкие испытания.

И уж совсем никто не мог предполагать в тот летний вечер у юрты, когда велись разговоры о немецкой корове, что в будущем мои книги станут переводиться на немецкий язык, издаваться и переиздаваться массовыми тиражами в Восточной и Западной Германии. И что в Европе моими самыми многочисленными читателями будут читатели ГДР и ФРГ. И что факт этот будет иметь особое значение в моей писательской биографии, в моих отношениях с немецкими деятелями культуры.

Именно эти обстоятельства дают мне, как я полагаю, некоторое право предложить читателям «Штерна» мои личные впечатления и размышления, касающиеся в какой-то мере сегодняшней действительности Западной Германии.

В тот первый вечер в Мюнхене нам посчастливилось слушать немецкую музыку и немецкий хор в одном из самых крупных концертных залов ФРГ, в зале конгрессов Немецкого музея Мюнхена. Исполнялась Месса си-минор Иоганна Себастьяна Баха. Это было удивительное, непривычное зрелище. Мне и прежде приходилось бывать в концертных залах, но когда я увидел, какое многолюдье в зале конгрессов, я не поверил собственным глазам. Зал был непомерно огромен, огромен, как аэровокзал, где не разглядеть человека в другом конце, но в нем не было ни одного пустого места. Море голов. Но главное, мне редко доводилось видеть столь истовое просветление на лицах, столь истовое внимание к музыке и голосам, являвшим собой одну из вершин мировой классической музыки и вокала. Я пытался понять, что происходит в этот момент в душах, в сознании многочисленных слушателей, сидящих затаив дыхание. Возможно, мыслями они были далеко, витали в других пространствах. И я знал наверняка: многим нашим современникам, переполняющим в разных концах планеты площади и стадионы на электронно-оглушительных представлениях рок- и поп-музыки, все это было бы «до лампочки». Я понимаю, это разные стихии, и все же, мне думалось, то, что я имел возможность наблюдать в Мюнхене, было проявлением истинно немецкой культуры и истинно немецкого духа.

Ошеломляющее впечатление не только от исполнявшейся мессы Баха, но еще больше, пожалуй, от проникновенного и возвышенного соучастия слушателей. И мне доставляло удовольствие, что в этом зале среди многих сотен людей я мог спокойно предаваться размышлениям, словно я пребывал в совершенном уединении. А ведь есть еще Бетховен, Вагнер и еще целая плеяда великанов немецкой музыки! Тот вечер стал для меня визитной карточкой традиционной немецкой культуры.

Мы уезжали за город к себе в отель ночью, под дождем, и чудилось мне, что музыка Баха и поющие голоса все еще наполняют окружающие пространства утопающих во мраке ночных лесов и полей. Музыка Баха, как мне думается,— это музыка великих пространств и великих страстей.

Но измерять действительность одной лишь музыкой оказалось весьма уязвимой

поэтической идиллией. На другой день в том же самом Мюнхене я увидел какие-то странные сооружения на пустырях — гигантские ангароподобные тенты, в которых свободно мог поместиться любой авиалайнер и откуда за версту разило мочевинно-пивным духом. Это были ярмарочные павильоны, место, где бесчисленное количество людей поглощает в огромных количествах пиво. Нам сказали, что это было завершением костюмированного народного праздника. Но даже если оно и так, это бесконечное пивопитие показалось мне непомерным, чудовищным занятием. Особенно когда с пивом смешивался шнапс и необозримое число людей, преимущественно мужского пола, становились багровыми, разгоряченными, когда спиртной дух витал над головами тяжелыми клубами и говор людей, не отдающих себе отчета в том, что они пьяны, сливался в сплошной гам. Они часами толклись в этом пивном круговороте среди автомашин, реклам, всевозможных радиофицированных зазывал — все это ничем не напоминало картину, которой я накануне восторгался на концерте. И хотя безобразно пьяных не было, такая массовость меня испугала. Конечно, слушание классической музыки и поглощение пива — несопоставимые вещи, и тем не менее закрадывается мысль: неужели это один и тот же народ, западные немцы 80-х годов?

Мне думалось, что такого рода коллективизм может служить, пожалуй, прелюдией к злу, требующему своей реализации в той или иной форме. Сдается, что такая массовость является характерной чертой немцев; более того, не послужил ли этот инстинкт толпы роковой причиной,— по крайней мере одной из причин в истории немецкой нации — того, что Гитлеру удалось магнетизировать в духе нацизма подобные народные скопления на чудовищно огромных стадионах. Один из них я увидел пару дней спустя под Нюрнбергом. Я стоял на плац-стадионе, ужасающем своей слепой громоздкостью, своими грубо сложенными циклопическими камнями и серым бетоном, уже поросшими травой забвенья. Злой ветер нацизма, казалось, и сейчас пронизывал душу, мне захотелось побыстрее покинуть эту площадь, принимавшую парады агрессий. Теперь тут устраивают, как мне сказали, большие автогонки. Пусть лучше автогонки, только бы не то, что царило здесь накануне войны. Я не мог отделаться от мысли, что здесь, именно здесь, являя себя, как на цирковой арене, Гитлер вырывал из десятков и сотен тысяч глоток единый стон и рев. Тогда, утрачивая собственный облик, все превращались в единую, безликую, слепую силу в руках зловещего политика-гипнотизера. Какое счатье, что уже не витийствует здесь более гитлеровский шаманизм, принесший миру и немецкому народу столько бедствий.

Хотя я был сторонним наблюдателем, но, начиная со знаменитого Нюрнбергского процесса, потрясшего в свое время мое полудетское воображение тем, что стало, наконец, возможным посадить нацистских главарей — Геринга и ему подобных — на скамью подсудимых как обычных преступников, для меня самым захватывающим было то, как немцы все эти годы выдавливали из себя раба фашизма. На мой взгляд, в послевоенной истории Западной Германии чудом национального воскресения был не экономический бум, не рост жизненного уровня и повсеместного потребительского «завались», но высвобождение душ и сознания людей из змеиной шкуры гитлеризма. Мне думается, этот процесс был не только политическим противоборством, но в значительной степени освобождением духа от гнета мракобесия прошлого. Само по себе стремление и способность целой нации перебороть, переплавить себя в новом тигле мировой истории, очищаясь и возрождаясь из руин всеобщей катастрофы, по-моему, являет собой необыкновенный социологический феномен, внушающий большой оптимизм. Народ, поколения могут оздоровить себя, самоизлечиться под влиянием прогрессивных идей и демократизма от любых форм антиисторических заблуждений.

Как-то в ходе нашей поездки разговор зашел о том, какие темы преобладают в современной западногерманской литературе и искусстве, в ее, разумеется, подлинно демократической, социально значимой части, не подверженной всеобесценивающему американскому «псевдо». К литературе как нельзя лучше подходит формула-изречение: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты есть. Иначе говоря, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты есть...

Так вот, по поводу того, что читают... Когда я вижу на городских улицах книжные витрины — изобилие имен, названий, обложек, сначала это радует. Но вот что страшит: литература, предназначенная для массового читателя, обречена на участь жалкого приставалы-развлекателя, упраши-

вающего обратить на себя внимание, опускаясь ради этого до откровенной порнографии. Такого рода продукцией забиты вокзалы, аэропорты, универмаги и прочие общественные места.

На гамбургской улице Большая Свобода мне стало не по себе. Я вовсе не хочу прослыть ханжой и фанатичным пуританином. Однако дело в том, что в человеке изначально борются две страсти: одна — эротическая, от сотворения мира, нашедшая свое выражение в индустанских изваяниях и гимнах, живописи Возрождения, и та, что низводит эту первую до скотского ее подобия. Человечество всегда пыталось обуздать себя, чтобы секс не стал публичным зрелищем,— с этим невозможно примириться, особенно когда речь идет о родителях и детях, о старых и малых. Невозможно подчинить нравственность человека господству разнузданной порнографии, спекулирующей на том, что человек искони пытался удержать в сфере сугубо интимной.

Несмотря на подобные впечатления, душа моя все больше оттаивала и вера в приоритет разума и истинной культуры, в зрелость социального мышления современного западногерманца все больше укреплялась во мне. Нет, думал я, вглядываясь в лица и вслушиваясь в речи приходивших на литературные вечера людей, видя забитые до отказа городские залы в том же Гамбурге, Мюнхене, Бремене, Нюрнберге, Штутгарте и Кёльне, где за неимением мест приходилось размещаться в проходах прямо на полу, часами стоять вдоль стен,— нет, наши страны не должны, не будут воевать друг с другом, если мы так хорошо понимаем, что у нас столь много общего в мировосприятии, что мы одинаково ценим традиционные и новые культурные ценности. Разве это ничего не значит перед лицом всеобщей опасности на земле, когда война грозит уничтожить вместе с нами все духовные накопления и открытия?

Такие мысли приходили в голову вовсе не потому, что я чересчур наивен и благодушен. А потому, что на литературных вечерах, где собиралось множество самых различных людей, не ощущалось напряженности и враждебного неприятия. Все протекало так, как если бы я находился среди самых благосклонных и родных по духу людей. Не скрою, душа ликовала от соприкосновения с людьми на этих больших встречах. И я вновь и вновь задавал себе вопрос, хотя и знаю на него ответы: «Как могла случиться лютая истребительная война, война, пришедшая из этих краев, причинившая величайшее зло и самой Германии?»

Но я снова возвращаюсь в сегодняшний день, в то, что для меня наиболее важно и значимо. Повторяю — эта категория западногерманских читателей меня покорила. И я отдаю должное таким читателям, вижу в них наиболее существенный элемент интеллектуального и социального созвучия между нами...

На пути из Кёльна в Гамбург на сельском кладбище Мертен нам довелось посетить могилу недавно скончавшегося крупнейшего немецкого писателя Генриха Бёлля. Мы побывали в доме Бёлля, где все сохраняется как при его жизни, беседовали с его литературным помощником Хельмке Чиарелло и с тридцатипятилетним сыном Бёлля Рене, продолжающим в известном смысле дело отца,— он руководит небольшим издательством. Все это навело меня на мысль, что Генрих Бёлль выражал в своем творчестве духовный мир послевоенной немецкой интеллигенции, познавшей через потрясения горечь, боль и ответственность за прошлое. Это дается ценой огромной трагедии. Это судьба. Генрих Бёлль был художником судьбы, принадлежащей только Германии. Бёлль — это ответственность перед самим собой, Бёлль — это исповедь, и это для меня то сокровенное и заключительное, что влечет к нему как к художественной величине.

От Энгельмана до Бёлля — целый диапазон современной художественной мысли, способной открыть миру многое из многострадального опыта возрождения, из заблуждений и крушений в минувшей войне.

Война ушла в воспоминания, а послевоенная жизнь существует, она обозрима, пестра и сложна. Многое откровенно радует меня как достижение человеческого ума, труда и культуры.

Для странствующего путника она наиболее наглядна в захватывающих дух автомагистралях, являющих собой образец и модель коммуникаций XX века. Какое удовольствие наблюдать и быть включенным в один из бесчисленных потоков движения по автобанам, дающим ощущение стремительности, сообразности перемещений человека в пространстве и времени. Это не только отлично забетонированные дороги, это не только разрешение транспортных проблем, это — мышление в темпах научно-технической революции, ибо всему этому предшествует изначально

мысль человека, организующая и вдохновляющая самое себя. Подобно кровеносным сосудам, автобаны охватывают всю страну, по всем направлениям, но самое волнующее зрелище возникает с наступлением темноты, когда реки автомобильных огней мчатся: ярко-желтые в одну сторону и багрово-красные в другую,— кажется, что они опоясывают весь земной лик. Как хотелось бы мне таких дорог и для своей родной страны, пространства и ресурсы которой столь велики!

Я восхищаюсь красотой этого зрелища, скоростью, удобством, но не могу отделаться от вопроса: что несут огромные массы бетона, высочайшие скорости и неизбежные выхлопные газы природе и самому человеку, наконец? Если бы счастье было только в дорогах — все-таки наибольшую часть жизни человек проживает в относительно постоянном коллективе людей, и вот тут обнаруживается глубинная взаимосвязь между недугами общества и несчастьем отдельных людей.

Я не хотел бы затрагивать уже набившую оскомину тему безработицы на Западе, возможно, к ней привыкают, как к хронической болезни. Об этом уже немало сказано на свете. Но с особого рода безработицей — «запретом на профессию» я столкнулся в Мюнхене впервые и был потрясен, поскольку это касалось конкретной человеческой личности. А сколько может быть таких людей в Западной Германии, и какое это по сути унижающее личность состояние. Еще дома, в Москве, мы планировали побывать в знаменитой Мюнхенской пинакотеке, баварской сокровищнице живописи от раннего средневековья до наших дней. Это, пожалуй, одна из немногих мировых коллекций сугубо национального свойства, в которой, однако, живет изначально мощная струя европейского Возрождения.

Габриела Шпригат — сероглазая, небольшого роста, хрупкая, живая мюнхенка с открытым взором, ее глаза словно читают твои мысли.

Я с большой благодарностью вспоминаю своих мюнхенских друзей, сделавших так, что Габриела Шпригат стала нашим добровольным гидом по Мюнхенской пинакотеке. Казалось бы, многое здесь было знакомо по предыдущему опыту и познаниям, но какой глубокий мир открывался в каждом полотне экспозиции благодаря истолкованию Габриелы. Мюнхенская пинакотека для нее, то есть для ее размышлений, была просто трамплином — предлогом для большого разговора о мире искусства. Подчас я не решался сказать себе, что более ценным представлялось в ту минуту — сама картина или комментарий, который я слышу из уст Габриелы. Восхищаясь ее познаниями, умением чувствовать живопись, переносить зрителя-слушателя в минувшие исторические эпохи, делая его соучастником и аналитиком того времени, и снова возвратить в действительность, обогатив его опыт и возвысив его понимание человеческой сущности — через бессмертные творения искусства, через страсти и образы, запечатленные в полотнах, я представил себе, какой должна быть эстетическая культура человека в идеале. И тем более поразился, что такой специалист, как Габриела, не имеет работы в своей стране. Несколько дней тому назад она, хорошо владеющая французским языком, метнулась было на свой страх и риск в Париж, где надеялась найти себе работу если не в Лувре, то еще где-нибудь, но там, в Париже, оказалось, что и свои-то специалисты сплошь и рядом безработные.

В случае с Габриелой меня больше всего огорчило то, что она лишилась работы и тем самым возможности быть полезной своим современникам прежде всего в силу закона о запрете на профессии. Чудовищно, ей-богу! Хотя, откровенно говоря, я подумал, что с ее образом мыслей в свое время и у нас, в сталинистской искусствоведческой среде, она не нашла бы понимания и была бы нежеланной белой вороной. Дело в том, что бюрократизм везде и повсюду — порождение одной породы, везде и повсюду продукт бюрократизма — стереотип и догматизм сознания, что в свою очередь, унавоживая почву социалистического или капиталистического мещанства, плодит и умножает дух и плоть бюрократизма. Это — самозарождающаяся гигантская сила. Разумеется, в каждом обществе — свой накат шаблона на стене. Но суть дела от этого не меняется.

Мы на минутку заглянули на квартиру к Габриеле в один из старых холодных мюнхенских домов, потом распрощались на полутемной улице... Уезжая, я думал: както сложится дальнейшая судьба Габриелы?..

Да, были в нашей поездке и тяжелые впечатления. В Нюрнберге, не таком уж огромном городе, более пятисот малоимущих семей стоят перед лицом жилищной катастрофы, потому что владельцы жилых домов требуют, чтобы квартиросъемщики выкупили теперь квартиры в свою

собственность. Так им, владельцам, выгоднее. Больше прибыли. Хорошо придумано, но где взять такие непосильные деньги? Не банки же грабить! А если малоимущие семьи не в силах купить навязываемые им в собственность квартиры, то в судебном порядке обязаны освободить их. А куда им идти — на улицу? И это происходит в богатом обществе? Так уж лучше жить в стране победнее, но где никто не станет вышибать тебя финансовым пинком из дому лишь потому, что кто-то хочет еще больше поднажиться! О судьбах этих пятисот нюрнбергских семей я не вычитал в газетах, об этом говорилось на моих читательских встречах...

А что сказать о «гастарбайтерах» — иностранных рабочих в ФРГ? Поскольку турецкий язык мне достаточно близок и понятен, была возможность беседовать с турками без перевода. Печальная повесть. Вот она, зверская эксплуатация низов! Вот оно, подавление человеческой личности! Раньше я читал об этом в газетах, но не представлял, насколько это безысходно. Притеснение турок-рабочих на Западе мне особенно больно. Видимо, во мне говорит то, что называется этническим сознанием. Судя по нашумевшей книжке Гюнтера Вальрафа, и сами немцы тоже хотят разобраться в этом историческом явлении — одной из сложных реальностей современной Западной Германии.

Тем более отрадно, когда на этой же земле попадаешь в оазис поэзии и высокого немецкого духа. Наивысшая точка нашего путешествия по западногерманским землям была в Марбахе, в шиллеровских местах. Так случилось, что в Марбахе мы попали сначала на маленькую кривую улочку на пригорке и увидели старинный домик, где родился Шиллер, и отсюда отправились к литературному музею, превратившемуся ныне в национальный архивный центр немецкоязычной классической и современной литературы — от Шиллера до Манна и Гессе.

Самая интересная и главная встреча моя как писателя с читателями ждала, оказывается, здесь, в шиллеровском мире, в Марбахе. Я применяю слово «мир» в его широком культурологическом значении как совокупность истории и современности. И когда говорю, что для меня эта встреча оказалась главной, то имею в виду не количественную сторону. Нет, по сравнению с другими городами, где встречи носили многолюдный пресс-конференционный характер с сотнями, а подчас и тысячами любителей литературы, что о многом говорит,— стало быть, книга, эта интимная наперсница, с тех пор как человек научился изображать слово письменными знаками, не утратила своего значения средоточия мысли и духа в эпоху аудиовизуальной и электронной культуры,— встреча в Марбахе была из тех, что бывают в доме очень близких людей.

Создалось впечатление, словно в доме-музее жила старинная большая семья, весьма благородная, чтящая из поколения в поколение сложившиеся традиции.

День выдался чистый, прозрачный, по-осеннему прохладный. Небо, земля, дали — все покоилось в гармонии спокойствия и красоты предзимней поры. С крутого марбахского берега, где под черепичной кровлей стоит белый старинный особняк Шиллеровского музея, хорошо просматривалась противоположная сторона — швабский город на швабских виноградных холмах, выглядевший как прелестный европейский видовой лубок. Чем-то пасторальным веяло от этого пейзажа. Здесь возникла шиллеровская поэзия — романтизм, горечь, песенность и грусть, драматичность и мятежность духа,— теперь уже ставшая мировой классикой XVIII века. И хотя я прекрасно понимаю, что нет и не может быть идеально счастливых городов, что там, под крышами, за стеклами, на улицах, счастье ходит в обнимку с несчастьем, добро — со злом, а красота духа уживается с его безобразием, что мое умиление — умиление гостя, тем не менее хотелось думать, что этот город — обитель счастья и поэзии. И как бы в подтверждение этого на каменных ступенях у входа в литературный музей нас встретила молодая, высокая, спортивно сложенная и по-настоящему красивая, современная женщина с тонкими чертами лица, с сияющими глазами, приветливо улыбающаяся. Это и была Гундула. С ней — малые дети. Девочка лет семи-восьми, очень похожая на Гундулу, с веночком из цветов на русой головке, начала читать стихи. Нетрудно догадаться, что это были шиллеровские стихи. В устах ребенка стихи приобретали особую трогательную чистоту. Возможно, эти стихи имели историческое предназначение именно для этой немецкой девочки, ибо нет сомнения, что поэзия, узнанная и вкушенная в таком возрасте, будет сопровождать ее всю жизнь. В душе желаю ей счастливой судьбы и чтобы она никогда не расставалась с великой поэзией отечества, как у себя мы желаем своим детям впитать в свое сердце многонациональную по значимости поэзию Пушкина, Шевчен-

ко, Шота Руставели, Навои, Шираза и других поэтов, составляющую общее культурное наследие советских народов.

Так произошло наше знакомство с Гундулой. На встрече в музее кроме нее были и другие люди: литературоведы, историки, писатели, научные работники национального архива, и они, знатоки классики, делали интересные пояснения, экскурсы в литературное прошлое, но речь идет о Гундуле Цирок и ее братьях потому, что Гундула была душой Шиллеровского общества — содержателя музея, и в моем восприятии являлась олицетворением современного подвижничества в просветительстве в большом и высоком значении этого слова. Гундула Цирок вовсе не литератор, а врач-акушер, мать двоих детей, с которыми она, кстати, была на этой встрече, мальчику ее — лет пять. Я понял, что она сознательно приобщает детей к шиллеровскому миру. Надо было видеть личики детей, чтобы понять, как значительна и благотворна для них эта среда и участие во встрече зарубежного писателя.

И вообще стоит рассказать об этой удивительной семье Цироков. Их было пятеро детей в семье скромного штутгартского учителя гимназии. Жили бедно, как сами вспоминают, их детство прошло на послевоенных руинах города. Мы видели фотографию их отца-учителя, в душу запали слова, которые он говорил своим детям. Должно быть, это была цельная натура, если он внушал им: «Помните, что в жизни есть много лишних вещей, которые человеку не надобны». Тем самым он предостерегал детей от излишней суеты, потребительства, нацеливая на нечто более содержательное и ценное. Думается, что его труды и внушения не были напрасными.

Гундула — интереснейший человек, она вовлечена в шиллеровский мир совершенно естественно и закономерно. В этом ее культурная и национальная суть. То, как она мыслит и выражает себя через немецкий литературный опыт, делает ее глубоким собеседником, не случайно именно она собрала всех нас на обед в холле литературного музея, она была общепризнанным центром притяжения. В разговоре Гундула высказала очень верную и выразительную мысль. Она уловила связь своей работы акушера с мировыми проблемами. Воистину это тронуло мое сердце. Они, врачи-акушеры, присутствуют при первом вдохе жизни, часто она думает о том, что́ последует за первым человеческим вдохом, какие судьбы ожидают в мир входящих, что предстоит им в жизни. Разве это не самый жгучий вопрос современности? Каждое новое поколение людей вступает в нашу действительность, как бы вопрошая: «Что будет с грядущим миром, начиненным арсеналами разрушительных средств ядерной войны?» Разве это не всеобщий вопрос, касающийся любого и каждого сейчас и в будущем? Разве это не повод для человечества искать спасения в новом планетарном мышлении, противопоставляющем единство мировосприятия социальному эгоизму и политическому противостоянию.

Под стать Гундуле ее братья, покоряющие глубокой искренностью и благородством натур.

Старший из братьев, тридцатипятилетний Райнер Цирок — агроном по профессии, чувствуется, он знает цену земле-кормилице. Мы с ним как-то легко и хорошо разговорились. Меня сразу подкупили его слова: «В каждом кусочке земли есть нечто общее со всей землей». Мне стало понятно, что он думает о земле и в глобальном и локальном масштабах. Я почел за высокую оценку сказанное о моем творчестве,— что его привлекает описание земли, пейзажей, настроения природы, что я действительно люблю изображать. Я согласен с ним, что судьба земли и судьбы людей — неразрывный исторический процесс. Так мыслит агроном, преподаватель Миланского университета, кафедры виноградарства. И меня нисколько не удивило, когда после большой читательской встречи в Штутгарте он пришел попрощаться с огромной корзиной фруктов, хлебов и вина собственного изготовления в руках и стал извиняться, что утром не сможет нас проводить — он улетает в Западную Африку. Оказалось, он летит в Абиджан, столицу Кот-д'Ивуар, по призыву добровольного общества по сохранению природной целостности. В Африке идет хищническое истребление девственных лесов, что угрожает стать экологическим бедствием.

В Абиджане Райнер Цирок и его единомышленники намерены бороться не только словами экологической проповеди, они собираются разбить лесной экспериментальный участок, чтобы показать, как можно искусственно восстанавливать лес, пропорционально вырубке. Разве это не говорит о возникновении духа всеобщей заботы обо всей земле, разве это не размывает так называемую суверенность внутренних интересов ради более значимых — общечеловеческих интересов? Кому какое

дело было прежде, что происходит в природе Африки или Австралии. Меня поразили слова, которые Райнер произнес негромко, глядя мне в лицо, у одной из могил маленького русского кладбища в Пляйдельхаймском лесу между Штутгартом и Марбахом. Мы приехали сюда с Цироками во второй половине дня. Было еще светло, осенний золотистый лес весь засыпан свежеопавшей листвой. Если когда-нибудь мне придется описать ощущение леса, я постараюсь воссоздать образ именно этого леса. Осенняя печаль, горечь листвы, покой, легкий сумрак и шуршащее под ногами лиственное разноцветье очень соответствовали настроению, с которым мы прибыли сюда,— поклониться советским воинам, похороненным здесь в годы войны. Это крошечное кладбище: двенадцать именных и одна могила неизвестного солдата. Здесь нет каменных изваяний, внушительных памятников. Небольшое пространство, огороженное поленьями, но сколько мыслей и чувств навевает оно, ведь кладбище это могло быть начисто забыто и заброшено, никто бы не знал о нем, если бы не учительница одной из марбахских школ. Она сумела внушить своим ученикам сознание душевной потребности смотреть за этими солдатскими могилами. Каждый новый выпуск школы передает следующим классам заботу об этом кладбище. Мне кажется, Райнер Цирок высказал, что́ движет этой заботой. Он сказал негромко: «Хотя я родился после войны, но я чувствую долю вины перед нашей общей историей». Это горькое понятие включает в себя огромный пласт противоречий, попыток сближения, чтобы никогда не повторилась вражда и война между нашими странами. Это особая тема, требующая отдельного разговора, и не о том я хочу сейчас говорить, но в самом этом поступке видятся ростки все более крепнущего планетарного сознания человечества. Мы долго стояли в высоком осеннем лесу, каждый погрузился в свои мысли, казалось, это есть одно из моих ощущений вечности. Мы с женой вспомнили ее отца-солдата, погибшего на фронте в годы войны...

Самый младший — Хенинг Цирок, удивительный парень, молодой учитель, безработный, но неунывающий. В нем бурлят молодость и темперамент. Натура явно творческая. Он пишет стихи, поет песни под гитару. Для штутгартской встречи Хенинг составил небольшую концертную программу, чем очень ее оживил. Мечтает петь на больших международных молодежных эстрадах, он — дитя своего времени. Желает учить детей пониманию новых исторических реальностей — мир и культура народов прежде всего...

На марбахской встрече было одно событие, можно сказать, эпическое по своему значению, я имею в виду швабский хор. Нам дали перевод стихов Шиллера и других немецких классиков. Мы услышали, как они звучат в безыскусном народном исполнении. То была группа уже пожилых людей, но когда они пели на площадке возле Шиллеровского музея, мне казалось, они достигают высшей сути своего миропонимания и мировосприятия.

АРМАНД ХАММЕР
при участии Нейла Линдона

ХАММЕР

Главы из книги

Авторизованный перевод с английского ГАЛИНЫ САЛЛИВАН

Бизнес при нэпе. Генри Форд

Мы поместили в газетах объявление о том, что нам требуется конторская мебель, так как нанятое нами помещение было почти пустым. Три-четыре человека явились и предложили письменные столы, а потом пришла чисто, но бедно одетая девушка. Она сразу же объяснила, что мебели у нее нет, но, увидев наше объявление, она решила, что нам, может быть, требуются также и служащие. Вот она и пришла в поисках работы. Это было почти в американском стиле, а не в том русском, к которому я привык. Я тут же взял ее, и несколько лет она прекрасно работала у нас, пока не вышла замуж.

У этой девушки, Анны Ивановны, была необычная судьба. Когда ей было восемнадцать лет, ее родителей убили белые. Так как братьев у нее не было, она сама переоделась в мужскую одежду и вступила в Красную Армию. В армии она прослужила всю гражданскую войну, и никто так и не догадался, что она женщина

Однажды в самый разгар хлопот накануне открытия конторы наш новый швейцар (между прочим, бывший аристократ, весьма представительный господин с длинной седой бородой) испуганно сообщил, что прибыл отряд солдат, требующих немедленно освободить помещение.

— Вы что-то путаете,— сказал я.— Этого не может быть.

Но он стоял на своем и через минуту привел ко мне в кабинет двух военных. Они объявили, что помещение должно быть немедленно освобождено, поскольку мы не получили патента на открытие конторы от Московского Совета. Разговаривали они вполне вежливо, но категорично: всех придется арестовать, а помещение опечатать.

Я попытался возражать, но они ничего не желали слушать. Тогда я предъявил дополнение к нашему концессионному соглашению, и они несколько сбавили тон, хотя, видимо, усомнились в подлинности этого документа. Но тут никогда не терявшийся Мишелл снял трубку телефона на моем письменном столе и сказал телефонистке:

— Пожалуйста, Кремль. Я хочу говорить с товарищем Лениным.

При упоминании этого имени военные побледнели. Ответила секретарь Ленина Фотиева и, узнав в чем дело, попросила подозвать одного из них к телефону.

О том, что она ему говорила, мы могли догадываться только по его голосу. «Да... да...» — только и мог промямлить он.

— Ну, тогда другое дело. Правда, вы кое-что недооформили, но это можно в два счета уладить.

Он обещал сам быстро все организовать, и действительно, на следующее же утро я получил патент. Эта история послужила для нас ценным уроком. Я распорядился поместить нашу докладную, утвержденную СНК, в большую раму и повесить ее на видном месте в конторе. В дальнейшем этот документ не раз выручал нас в затруднительных положениях. Мы с Мишеллом всегда носили с собой его фотокопии и предъявляли их, когда встречались с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями — они немедленно исчезали как по мановению волшебной палочки.

В начале декабря 1921 года пришел первый пароход с американским зерном по контракту, заключенному мной с Екатеринбургским Советом. Отправлен он был с некоторой задержкой, потому что нам впервые пришлось иметь дело с подобным грузом и из-за необычности всей сделки. Петроградский порт уже замерз, и поэтому судно было направлено в эстонский порт Ревель (теперь Таллин) на Балтийском море.

Мне уже показали товары, присланные из Екатеринбурга для отправки обратным рейсом в Америку в уплату за наше зерно. Из-за затруднений с транс-

Окончание. Начало см. № 2.

портом они прибыли в Москву только в начале ноября. В основном это были меха и кожи, но не только они. В разговоре с сотрудником Наркомата внешней торговли, ответственным за выдачу экспортных лицензий, я как-то шутя спросил: «А почему бы вам не послать еще и икры? У нас в стране ее уже давно нет, и она должна быть нарасхват».

Он принял мои слова всерьез, и теперь на складе было приготовлено около тонны икры в пятидесятифунтовых бочонках. В Нью-Йорке она действительно пошла по фантастической цене — по десяти долларов за фунт и дороже. Конечно, сегодня за такие деньги не купишь и тридцати граммов русской икры.

Мы получили разрешение перевезти все товары в Ревель, и я отправился туда наблюдать за разгрузкой и погрузкой парохода.

В то время Ревель был одним из перевалочных пунктов в торговле западных стран с Россией. Большая часть поступавших сюда из России товаров представляла собой контрабанду: произведения искусства, бриллианты, платина и бог знает что еще. Все это нелегально переправлялось через границу для обмена на продовольствие. Кроме того, в 1921 году в Ревеле работало отделение Наркомвнешторга, которое закупало за рубежом необходимые Советской республике товары, оплачивая их золотыми слитками.

Сотрудники Наркомвнешторга в Ревеле были в большой обиде на Америку. Как выяснилось, они закупили около миллиона пар американской обуви из армейских запасов, проданных в Европе после заключения перемирия. Вид у этих ботинок был неплохой, но оказалось, что их подошвы сделаны не из кожи, а из прессованного картона. Цена на кожу во время войны была очень высока, и, вероятно, армейское начальство устраивала такая замена. Возможно, на пыльных дорогах Франции летом такие подошвы и выдерживали, но в русскую осеннюю слякоть они просто расползались.

Советские представители в Ревеле были в ярости и жаловались, что их ограбили. Кажется, деньги, заплаченные за эту обувь, были им возвращены, но как бы то ни было, случай этот не способствовал упрочению их доверия к американскому бизнесу и, безусловно, усугубил мои трудности.

В то время вообще вести дела с Россией было занятием отнюдь не легким. Отделение Наркомвнешторга в Петрограде относилось к нашей деятельности с подозрением, чинило всевозможные препятствия и тормозило осуществление нашей программы. Дошло до того, что я вынужден был написать жалобу, которую Рейнштейн показал самому Ленину. Ленин немедленно послал председателю Петроградского Совета Зиновьеву письмо, в котором говорилось:

«Т. Зиновьев!

Сегодня Рейнштейн показал мне письмо *Арманда Хаммера,* о коем я Вам писал

Портрет, подаренный В. И. Лениным А. Хаммеру, с дарственной надписью на английском языке: «Товарищу Арманду Хаммеру от Вл. Ульянова (Ленина) 10.XI.1921»

(американец, сын миллионера, из первых взявший у нас концессию — *архивыгодную* для нас). Пишет, что вопреки моему письму его коллега *Мишелл* (коллега Хаммера) горько жалуется на *«невежливость и бюрократичность Бегге,* который его принял в Питере».

Я буду обжаловать поведение Бегге в Цека. Это черт знает что! Несмотря на мое специальное письмо к Вам и *Вашему заму,* сделали *наоборот!!*

А меня не известили ни о чем, ни об их несогласии со мной, *ни о чем.*

Прошу Вас проверить и расследовать специально этот случай.

Довели до Бегге мое письмо (мою телефонограмму) к Вам и Вашему заму?

Если да, виноват Бегге.

Если нет, виноват секретарь Ваш какой-либо?

Кто виноват? Надо разыскать. Можете ли Вы *повлиять* на Бегге и *выяснить* дело?

Ленин[1]»

В этой записке отразились все характерные черты Ленина: кипучая энергия, беспощадная требовательность, ярая ненависть к хитросплетениям бюрократов и крючкотворов, стопорившим развитие советской экономики. Не знаю, почему у него создалось впечатление, что мой отец, а не я, был американским миллионером — возможно, он слышал это от Рейнштейна, уехавшего в Россию до того, как отец подарил мне акции нашей фармацевтической фирмы,— но это запало ему в память, и он упомянул это еще в одном письме.

Как и все, что делал Ленин, записка немедленно принесла желаемые резуль-

[1] Текст письма опубликован. См. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 270—271.

таты — препятствия, тормозившие нашу работу в Петрограде, исчезли словно по мановению волшебной палочки.

Когда русские товары прибыли в Нью-Йорк, мой брат Гарри и наши деловые партнеры были приятно удивлены. Стоимость этих товаров не только покрыла затраты на отправленное зерно, но оказалась почти в два с половиной раза больше. Вырученная американскими поставщиками дополнительная сумма восстановила их утраченный было интерес к торговле с Россией, и следующие партии американского зерна также посылались без задержек.

События развивались в таком темпе, что мне, по-видимому, имело смысл вернуться в Америку, чтобы подробно обсудить детали нашего будущего делового сотрудничества с русскими. Приехав в Нью-Йорк, я начал подумывать об организации в Москве посреднической конторы по продаже американских машин и оборудования. Я знал, что Советское правительство оказывает всяческую поддержку кампании по механизации сельского хозяйства. Потребность в тракторах была в стране очень велика.

До войны мой дядя Александр Гомберг возглавлял агентство Форда на юге России. Я решил посоветоваться с ним — не заинтересует ли Форда возобновление связей с русским рынком. Он откровенно сказал, что Форд настроен по отношению к большевикам отнюдь не дружески, однако предложил организовать с ним встречу.

Я поехал в Детройт, где меня встретил один из руководящих сотрудников фирмы Чарльз Соренсон и отвез на машине в Дирборн, в редакцию газеты Форда «Дирборн индепендент». Меня представили главному редактору Камерону, а через несколько минут в кабинет вошел сам Генри Форд. Это был человек очень высокого роста, худой и нескладный, одетый чрезвычайно просто — в рубашку с отложным воротничком и фланелевые брюки.

Он начал разговор с резкой фразы о том, что, хотя русский рынок, безусловно, весьма перспективен, он предпочел бы подождать, пока в России не сменится власть. Я был еще очень молод — только-только окончил колледж — и, как большинство моих сверстников, считал Генри Форда замечательной фигурой в американской промышленности. Однако у меня хватило мужества ответить:

— Ну что ж, мистер Форд, если вы ждете смены режима в России, то вам еще долго не придется с ней торговать.

Форд бросил на меня проницательный взгляд.

— Почему вы так уверены в этом?

Я объяснил как мог, и хотя он, по-видимому, со мной не согласился, но, казалось, слушал с интересом и пригласил меня отобедать.

Во время обеда Форд рассказал забавную историю, связанную с довоенной Россией. Оказывается, он много читал о русских нигилистах и их бомбах. И вот однажды из России по почте пришла адресованная ему лично большая круглая коробка. Он собирался сразу же вскрыть ее, но жена и сын посоветовали быть осторожным и обратиться в полицию. Так он и сделал. Специалист по взрывным устройствам подозрительно оглядел посылку.

— Вы поступили очень разумно, что обратились ко мне! — объявил он.— Вид у этой посылки весьма зловещий!

Он прижал к ней ухо.

— Не тикает, но, может быть, механизм остановился.

Он снова осмотрел посылку, потом, повернувшись к Форду, спросил:

— Есть у вас бетонный подвал с крепкими стенами?

Затем этот мужественный человек отнес посылку в подвал и постепенно, слой за слоем, действуя с максимальной осторожностью, снял бумажную обертку.

Форд сидел наверху, с тревогой ожидая, что его дом, того и гляди, взлетит на воздух. Через некоторое время полицейский появился в дверях со смущенной улыбкой.

— Все в порядке, мистер Форд, это всего лишь кекс,— сказал он и показал присутствующим «кулич», какие пекут в русских семьях на пасху. «Адская машина» оказалась маленьким подарком от моего дяди, которому и в голову не приходило, что он вызовет такой переполох.

— Кекс этот оказался великолепным,— добавил в заключение Форд.— Я его весь съел сам: каждое утро брал с собой на работу по большому ломтю.

Мы обедали в маленьком белом коттедже около экспериментальных мастерских, где Форд тогда проводил большую часть времени, работая над усовершенствованием трактора «фордзон». Когда я упомянул, что русские больше интересуются тракторами, чем автомобилями, Форд нахмурился.

— Тракторы — вещь хорошая,— сказал он,— и я не успокоюсь, пока не докажу миру, что использование живой тягловой силы на фермах устарело. Но подлинный прогресс — это автомобиль. Если Россия хочет развиваться, ей необходимы механические транспортные средства.

Я ответил, что у русских ужасные дороги.

— Это одно из величайших заблуждений.— сказал Форд и сделал быстрый жест рукой, как ни странно, напомнивший мне Ленина.— Должно быть так: сначала автомобиль, потом дорога. Если у них будут автомобили, дороги появятся сами собой. То же самое произошло в Америке.

— Вы должны убедить своих русских друзей в том, что автомобиль — это не роскошь, а транспорт сегодняшнего дня.

Улыбаясь, он повернулся к Соренсону:

— Как вы думаете, считают американцы наши автомобили предметом роскоши?

Соренсон усмехнулся:

— Конечно нет, не предметом роскоши, а необходимостью. Есть, конечно, и роскошные автомобили, но их покупают только богатые.

Форд снова повернулся ко мне.

— Понимаете? Вот это вам и следует сказать русским. Ну, ладно, а сколько им нужно тракторов?

— Миллионы,— ответил я,— если только они будут им по карману.

— В том-то вся и беда,— ответил Форд.— Знаете, доктор Хаммер, на тракторах мы несем убытки. Когда мы планировали объем производства по тракторам, финансовый отдел предупредил, что я буду терпеть убытки до тех пор, пока не начну продавать их по тысяче в день. Мы еще не достигли этой цифры, но достигнем. А пока я могу позволить себе работать в убыток,— улыбнулся он.

После обеда Форд показал мне свою полностью механизированную образцовую ферму.

— Вот что им следовало бы иметь в России,— сказал он.— Если советское государство так прочно и могущественно, как вы утверждаете, почему бы ему не завести такие фермы? Ведь, судя по вашим словам, они собираются перепрыгнуть из средневековья в двадцатое столетие.

Он задумчиво почесал в затылке.

— Что же, если они такие, какими вы их описываете, я думаю, им ничто не может помешать.

Я ответил, что подобный скачок — это как раз то, чего пытаются добиться большевики, но им страшно мешает отсутствие технической подготовки и нехватка квалифицированных инженеров.

— Вы не поверите, мистер Форд, но в России вас считают одним из самых замечательных людей в Америке — вас и Эдисона. Большевики знают, что вы произвели настоящий переворот в индустрии, и хотя капитализм им не по душе, не прочь были бы у вас поучиться. Что, если несколько молодых русских инженеров приедут сюда, ознакомятся с вашими методами работы, устройством тракторов, автомобилей, а вернувшись на родину, будут обучать других? Если вы согласны, я могу это устроить.

— Что ж, пожалуй,— сказал Форд.— Мы будем рады их принять.

Вернувшись через четыре месяца в Россию, я действительно послал несколько молодых русских, служащих нашей фирмы, в Детройт работать и учиться на фордовском заводе и ферме.

Мне удалось захватить с собой в Москву несколько моделей автомашин Форда и тракторов «фордзон». Мне также дали с собой несколько сот метров пленки с фильмом о фордовских заводах, и, что всего важнее, я получил исключительное право продажи всех изделий Форда в Советской России.

Окрыленный успехом, я договорился еще с тридцатью семью американскими фирмами, что буду представлять их в России и, как с Фордом, заручился их согласием на приглашение русских инженеров.

Затем я стал готовиться к возвращению в Москву весной 1922 года.

Я решил сконцентрировать все усилия на русском бизнесе и продал фирму «Эллайд Драг энд Кемикл» своим компаньонам. Брат Гарри тоже ушел из фирмы и стал членом правления, секретарем и казначеем новой корпорации, организованной мной исключительно для торговли с русскими. Она стала называться «Эллайд американ корпорейшн».

По дороге в Москву я в Лондоне зашел в антикварный магазин Леонарда Партриджа, чей брат поставлял антикварные изделия королевской семье. Увидев на витрине оригинальную статуэтку, я решил подарить ее Ленину.

Она изображала обезьянку, рассматривающую человеческий череп. Обезьянка

Трактор американского производства на демонстрационном поле. Стрелкой указан А. Хаммер. Четвертый слева — Б. Мищелл, пятый — К. Ворошилов, седьмой — А. Микоян.

сидела на стопке книг, одной из которых была «Происхождение видов» Чарльза Дарвина. Я подарил этот маленький сувенир Ленину, когда мы с Рейнштейном ненадолго встретились с ним в мае 1922 года. Ленин заинтересовался символикой статуэтки и сказал пророческие слова: в век, когда орудия войны становятся все более разрушительными, цивилизации грозит уничтожение, если человечество не научится жить в мире. Может наступить время, продолжал он, когда обезьяна поднимет с земли человеческий череп, удивляясь, откуда он взялся.

Это было сказано за двадцать три года до того, как взрыв первой атомной бомбы перенес нас в век, когда его пророчество может сбыться. Ленин распорядился, чтобы статуэтку оставили у него на столе, и она до сих пор стоит в его кремлевском кабинете, превращенном теперь в национальный музей [1].

После возвращения я прежде всего занялся отправкой оборудования и продовольствия на рудники под Алапаевском, городком, расположенным приблизительно в ста пятидесяти километрах к северу от Екатеринбурга. В июне 1922 года я решил сам съездить туда с Борисом Мишеллом, чтобы убедиться, что все в порядке.

На станции нас встретил Лев Вольф, назначенный мной директором. Он был бледен и взволнован. Когда я спросил, в чем дело, Вольф ответил напрямик: «Мы обещали их накормить, а они все еще голодают. Продукты не прибыли, и рабочие считают, что мы их дурачим. Положение опасное. Мне угрожают расправой. На днях толпа голодных рабочих окружила мой дом, и, чтобы заставить их разойтись, мне пришлось вытащить револьвер. Я отправил добрый десяток телеграмм в Петроград, чтобы выяснить причины задержки, но ответа все нет. Если продукты не прибудут в ближайшее время, люди начнут умирать с голода, и тогда я не отвечаю за последствия».

Я был потрясен. Опломбированные вагоны с зерном были отправлены под охраной из Петрограда прямо в Алапаевск и должны были прибыть по крайней мере две недели тому назад. Мы немедленно вернулись в Екатеринбург. Вагоны действительно прибыли туда в полном порядке несколько дней назад и были отправлены дальше на север. Вместе с одним из железнодорожных служащих мы отправились по маршруту груза в сторону Алапаевска и нашли наш первый эшелон, двадцать пять вагонов, на запасных путях в ожидании отправки. Пломбы были целы, и охрана доложила, что в пути не произошло ничего необычного. Вскоре выяснилось, что эшелон задерживает начальник станции, утверждая, что расположенный немного севернее мост не выдержит веса состава.

— А почему вы не разделите состав на части? — спросили мы.

Ответ был неубедительным. В конце концов, улучив момент, он отозвал Вольфа в сторону и зашептал:

— Вы человек деловой. Дайте мне пятьсот пудов зерна (приблизительно полвагона), и ваш эшелон будет отправлен.

Вольф телеграфировал в Екатеринбург, и уже через два часа вагоны были в пути. Начальник станции был немедленно отозван и после короткого следствия и суда расстрелян.

Вернувшись в Москву, я решил съездить на юг для организации там продажи тракторов Форда.

Я побывал в Харькове и других местах на Украине, в Ростове-на-Дону и на богатом зерном Северном Кавказе, в крупном нефтяном центре Баку, в древней столице Грузии Тифлисе.

Восстановление экономики шло уже полным ходом, и я получал довольно крупные заказы, иногда на сто — двести тракторов сразу. Особенно большим спросом пользовались тракторы «фордзон» из-за их относительной дешевизны. В нескольких городах мы начали спешное обучение механиков, чтобы к прибытию тракторов полностью обеспечить их водителями.

После долгого ожидания я наконец получил извещение, что в Новороссийский порт прибывают первые пятьдесят тракторов.

Распаковав в порту контейнеры, мы осмотрели машины, заправили их горючим и маслом и колонной отправились в центр города: я — на первом тракторе, Борис — за рулем второго. Наше появление вызвало панику: население приняло тракторы за американские или английские танки. Ударили в набат, был приведен в боевую готовность гарнизон города, срочно созвали местный Совет. Но вскоре все выяснилось. Вместо разработки планов обороны Совет занялся организацией великолепного приема.

Через несколько дней тракторная колонна двинулась в показательную поездку из Новороссийска в Ростов-на-Дону. Большинство крестьян никогда не видели тракторов, и поскольку слухи о наших машинах к этому времени распространились довольно широко, тысячи людей собирались у дороги посмотреть на новое американское диво.

В Ростове-на-Дону нам приготовили большое демонстрационное поле, где мы показывали возможности применения трактора для пахоты и других работ — его мотор мог служить для приведения в действие насосов, механических пил, электроосветительных установок и т. д. Успех был огромный. Мы получили новые заказы на сотни тракторов.

Крупные сделки в СССР

Девять лет, проведенных в России в 20-е годы, были насыщены напряженной работой, связанной с заключением и реа-

[1] Факт второй встречи В. И. Ленина с А. Хаммером не имеет документального подтверждения. Что же касается подарка А. Хаммера — статуэтки обезьяны,— он был передан В. И. Ленину, согласно советским публикациям, в 1921 году.

лизацией многочисленных сделок. Как во всяком деле, некоторые из них были успешными, а некоторые нет. Но в любом случае в эти годы мне было не до скуки.

Зимой 1922 года я второй раз побывал на Алапаевских рудниках. Частью нашей концессии были несколько сот гектаров лесов и лугов. В лесах было много дичи, а реки и озера кишели рыбой. Асбестовый рудник представлял собой большой открытый котлован диаметром около трехсот метров, спускавшийся террасами вниз на глубину приблизительно тридцати метров.

Никогда в жизни не видел я более примитивного способа добычи. Рабочие пользовались громоздкими ручными бурами, обычно на бурение шпура для динамитной шашки уходило два-три дня. После взрыва рабочие собирали осколки в корзины и вручную поднимали их на верхнюю площадку, где асбест отделяли от пустой породы с помощью молотков. Очищенную руду перевозили в крестьянских телегах на железнодорожную станцию в пятнадцати километрах от рудника. При плохой погоде дороги становились непроезжими, и руду не вывозили, а просто сваливали в кучу.

До революции условия труда были исключительно тяжелыми. Горняки ютились в грязных бараках, работали они по двенадцать часов в сутки шесть дней в неделю, а получали в среднем пятнадцать рублей в месяц. Мастера применяли плети, нередкими были драки и даже убийства. По воскресеньям все напивались — это было единственным развлечением.

Перед войной рудник принадлежал царскому правительству и при существовавших в то время ценах должен был приносить огромные прибыли. Однако владелец расположенного поблизости конкурирующего частного предприятия с помощью взятки добился того, что самые богатые жилы не разрабатывались. Одна из них была закрыта построенными сверху бараками, другая завалена сотнями тонн пустой породы и мусора.

Введенная нами механизация и электроосвещение произвели сенсацию: никто из местных жителей никогда до этого не видел электрической лампочки. Крестьяне приходили за десятки километров посмотреть на работу наших пневматических буров, но наибольшим успехом пользовалась механизированная лесопилка. Раньше, чтобы выпилить вручную одну доску, два человека тратили целый рабочий день. Наша четырехдисковая механическая пила разрезала бревно на доски за несколько минут. Эта лесопилка была для всей округи даром божьим. Крестьяне волокли к ней бревна за десятки километров, только чтобы полюбоваться на работу машины, разрезающей бревно, «как нож масло», хотя они могли бы покупать у нас готовые доски по самой низкой цене.

Мы быстро заменили старую систему ручной очистки руды механической дробилкой и провели узкоколейку. По условиям контракта мы должны были построить для рабочих дома, обеспечить их школами, больницей, поликлиникой и некоторыми другими удобствами.

Подвоз продовольствия был налажен, но существовала и еще одна не менее важная проблема — одежда. Мы закупили в Нью-Йорке и привезли в Алапаевск большое количество оставшегося после первой мировой войны американского военного обмундирования. Это привело к самым комическим результатам. Здесь, в глубине Советской России, можно было встретить человека в полной форме американского морского пехотинца, другие носили американские военные кители поверх мешковатых русских брюк и валенок или армейские фуражки в причудливом сочетании с овчинным полушубком. Матери перешивали шинели в детские пальтишки. И хотя в Соединенных Штатах эти вещи не считались бы первосортными, в Алапаевске они производили огромное впечатление. Кое-кто даже пришел к заключению, что американская армия состоит исключительно из миллионеров.

Вначале асбестовая концессия не оправдывала наших надежд из-за падения цен на мировом рынке, вызванного перепроизводством асбеста в Канаде во время первой мировой войны. Однако по мере увеличения спроса внутри России к 1925 году мы стали наконец получать прибыль.

Летом 1923 года в Москве открылась сельскохозяйственная выставка. Наша фирма хорошо к ней подготовилась, и я с гордостью вспоминаю развевавшийся над нашим павильоном американский флаг. К этому времени мы представляли в Советском Союзе уже значительное число американских фирм, поэтому нашими экспонатами были отнюдь не только тракторы «фордзон» и автомашины Форда, но и другое оборудование американского производства.

Мы задумали превратить наше растущее коммерческое предприятие в корпорацию, действующую на концессионной основе. Нарком внешней торговли Красин дал согласие заключить с нами контракт только при условии, что годовой импорт из Америки не превысит экспорта из Советского Союза. Мы гарантировали минимальную сумму экспорта и импорта в один миллион двести тысяч долларов, то есть годовой товарооборот в два миллиона четыреста тысяч долларов. Контракт был заключен на год, и в него была включена статья, предусматривавшая ежегодное возобновление.

За два года, с 1923 по 1925-й, наш общий товарооборот составил двенадцать с половиной миллионов долларов. Импорт в основном состоял из оборудования, автомашин, тракторов и другой продукции машиностроения. Вывозили мы самые разнообразные товары, но главным образом — пушнину. Для этого по всей Сибири и на Урале были открыты скупочные пункты, как когда-то на американском Западе. Поздней осенью охот-

ники приходили туда за авансом — продуктами питания, одеждой, ружьями и снаряжением. Весной они возвращались со шкурками норки, соболя и бобра, которые в конце концов оказывались на плечах элегантных дам Парижа, Лондона и Нью-Йорка.

Однако в 1925 году положение изменилось. Перед окончанием второго года действия нашего экспортно-импортного торгового соглашения я снова пошел на прием к Леониду Красину.

Вежливо, но достаточно твердо он объяснил мне, что теперь внешняя торговля будет вестись через советские организации, такие как «Аркос» и недавно организованный «Амторг». Однако он добавил, что Советская власть ценит огромную помощь, оказанную нами в трудный организационный период для налаживания русско-американской торговли, и выразил надежду, что нам удастся найти в Советском Союзе другие, не менее прибыльные области деятельности.

Я рассказал ему о предложении английской судостроительной корпорации продавать через нас Советскому Союзу суда.

Красин нахмурился.

— Нет,— сказал он,— мы надеемся наладить собственное судостроение. Сейчас, доктор Хаммер, нашей стране необходимо развивать промышленность. Почему бы вам не заняться этим? Нам приходится ввозить из-за границы многие товары, которые следовало бы производить на месте.

Я обещал подумать и как можно быстрее дать ему ответ.

Взвешивая предложение Красина, я никак не мог принять окончательного решения. Помог случай. Я зашел в магазин канцтоваров купить химический карандаш. Продавец показал мне простой карандаш, который в Америке стоил бы два-три цента. К моему величайшему удивлению, его цена была пятьдесят копеек, то есть двадцать шесть центов.

— Простите, но мне нужен химический карандаш! — сказал я.

Продавец сначала отрицательно покачал головой, но затем смягчился.

— Так и быть, продам вам один, как иностранцу. У нас их так мало, что, как правило, мы их оставляем для постоянных покупателей, которые берут в придачу бумагу и тетради.

Он пошел на склад и вернулся с самым обыкновенным химическим карандашом. Стоил этот карандаш рубль, то есть пятьдесят два цента.

Я навел справки и выяснил, что карандаши в Советском Союзе — невероятный дефицит, поскольку их приходится ввозить из Германии. До войны в Москве работала небольшая карандашная фабрика, принадлежавшая каким-то немцам, но она давно закрылась. Ее собирались переоборудовать и расширить, превратив в государственное предприятие, однако к лету 1925 года дело дальше проектов не продвинулось.

Я решил попытать счастья, занявшись производством карандашей. Мы объявили, что если Концессионный комитет примет наши условия, мы дадим ему залог — пятьдесят тысяч долларов наличными — в качестве гарантии, что начнем производство карандашей в течение двенадцати месяцев после подписания контракта и в первый же год работы выпустим их на миллион долларов.

Концессионное соглашение было разработано в рекордно короткий по тогдашним временам срок — три с половиной месяца (на подготовку концессии на приленские золотые прииски ушло около двух лет, и почти столько же времени потребовалось на заключение японцами концессии на рыболовство в советских дальневосточных водах). И это несмотря на серьезную оппозицию государственной организации, ответственной за пуск бывшей немецкой карандашной фабрики. Она организовала в печати кампанию против «иностранных капиталистов, стремящихся прикарманить русское добро».

В октябре 1925 года соглашение было подписано от имени Наркомата иностранных дел Литвиновым и от имени Концессионного комитета Пятаковым, который впоследствии стал председателем правления Госбанка. Вскоре я выехал в Германию.

Мне удалось заключить важное и, как показали последующие события, весьма прибыльное концессионное соглашение. Но я не имел ни малейшего представления о производстве карандашей и поэтому отправился в сердце немецкой карандашной промышленности, Нюрнберг, для приобретения необходимых знаний.

Нюрнберг был похож на картинку из старинной книги: средневековый город с остроконечными крышами и узкими извилистыми улочками. На старомодных гостиницах висели красочные вывески времен открытия Америки. Центр города, окруженный древними зубчатыми стенами, был полон умиротворенного покоя и окутан тишиной глубокой старости. Но одновременно Нюрнберг был центром современной карандашной промышленности, созданной семейством Фаберов, до сих пор удерживавшим ее в своих руках.

Более двухсот пятидесяти лет тому назад Иоганн Фабер сделал в Нюрнберге первый карандаш. К 1925 году этот старинный городок был окружен карандашными фабриками, принадлежавшими семье Фаберов или ее родственникам. Самая крупная из них принадлежала А. В. Фаберу, прямому потомку Иоганна. Она была расположена в небольшом городке Фюрт, в нескольких километрах от Нюрнберга.

Ни один князь или феодальный барон никогда не правил своими владениями так самовластно, как фирма «А. В. Фабер» — Фюртом. Ее слово было законом, и все в городе находилось под ее контролем: муниципалитет, полиция, общественные учреждения.

Много лет назад фирма решила, что железная дорога или даже трамвайная линия могут способствовать появлению в городе нежелательных элементов, посеять недовольство среди рабочих и нарушить их размеренную жизнь, посвящен-

ную служению династии Фаберов. В результате железная дорога обошла Фюрт стороной, и гости города вынуждены были въезжать в его ворота в экипаже или на автомашине, а то и просто входить пешком.

Остальные карандашные фабрики были такими же крепостями. Большинство рабочих получало здесь место по наследству — оно переходило от отца сыну по нескольку поколений кряду. В результате фирма располагала настоящими мастерами, искусными и терпеливыми, в совершенстве знающими свое дело и не способными почти ни на что другое. Ревниво оберегая свою карандашную монополию, Фаберы издавна заботились о том, чтобы каждый их подчиненный знал положение дел только на своем узком участке производства. Представление о технологическом процессе в целом было привилегией членов семьи и немногих верных служащих.

Проведя неделю в Нюрнберге, я знал о карандашном деле не больше, чем в день приезда. Ясно было только одно — трудности мне предстоят неимоверные. Думаю, если бы в тот момент я мог аннулировать полученную концессию, то с готовностью пошел бы на это. Но именно в тот момент, когда положение казалось совершенно безнадежным, мне на помощь пришел счастливый случай.

Благодаря рекомендательному письму к одному из местных банкиров я познакомился с инженером по имени Георг Бейер, занимавшим важный пост на одной из главных карандашных фабрик. Оказалось, в молодости он изучал карандашное дело на одном из нюрнбергских предприятий, но затем, будучи по натуре немного авантюристом, принял предложение построить карандашную фабрику в России. Война помешала осуществить его планы; в России он сначала был интернирован, потом освобожден, но без права выехать в Германию. Он женился на русской девушке и нашел в России какую-то работу. Домой Бейер смог вернуться только после окончания войны.

Бывшие хозяева встретили его холодно, ведь, уволившись из фирмы, он «обманул их доверие». В течение многих лет Бейер не мог найти никакой работы. Только когда Фаберы наконец решили, что он получил хороший урок, бойкот был снят и ему снова дали возможность трудиться. В наш век такое обращение с людьми может показаться невероятным, но для Нюрнберга это было обычным делом. Я слышал рассказ об одном мастере, который, прослужив двадцать пять лет у Фабера, принял предложение работать на вновь открывшейся карандашной фабрике в Южной Африке. Он получил паспорт для выезда из Германии, но нюрнбергская полиция запретила ему покидать город. Десять долгих лет проболтался он в Нюрнберге, не находя работы по своей единственной специальности.

Такая тирания в определенном смысле обернулась против тех, кто ее насаждал, и помогла мне добиться успеха. Я выяснил, что многие рабочие и служащие были готовы променять традиционную верность фирме на более свободную жизнь. В течение двух месяцев мне удалось набрать весь нужный штат — я предлагал гораздо более высокую зарплату, чем эти люди когда-либо могли получить в Фюрте. Георгу Бейеру я положил десять тысяч долларов в год плюс премиальные в размере нескольких центов за каждую сотню изготовленных карандашей. Вскоре после пуска фабрики премиальные стали в несколько раз превышать его зарплату. Рабочим была предложена сдельная оплата труда.

Но набрать сотрудников — это еще было полдела. Паспорта для них пришлось заказывать в Берлине, где Фаберы не пользовались достаточным влиянием, чтобы чинить мне препятствия. Затем пришлось проявить максимум изобретательности, чтобы получить русские визы: если бы их выдали в Берлине, Фабер наверняка узнал бы об этом. Мы отправили рабочих с семьями в Финляндию, объявив, что они едут в отпуск, а там в Хельсинки их ждали визы для поездки прямо в Москву.

Тем временем я разместил заказы на необходимое оборудование и подготовил планы будущей фабрики. Среди нанятых мною рабочих многие были семейными людьми, и мне пришлось пообещать им домики с садами, к каким они привыкли в Нюрнберге, школы для детей и все удобства немецкой жизни, которых, как они опасались, им будет не хватать в Москве.

Я даже согласился обеспечить их добрым немецким пивом, но, к счастью, русское пиво пришлось им по вкусу.

Покончив с этим делом, я отправился в Англию, в Бирмингем, чтобы подобным же образом обеспечить необходимым наш будущий цех стальных перьев. Вначале мы его не планировали, но Концессионный комитет так настаивал на включении перьев в производственный план, что мы в конце концов согласились.

К моему удивлению, дело в Бирмингеме было поставлено во многом так же, как в Нюрнберге, — большинство рабочих обучались мастерству с детства в полуфеодальных условиях. Мои предложения заинтересовали в основном молодых людей, побывавших на войне и более легких на подъем, готовых попытать счастья за границей.

Наученный опытом, я прежде всего поместил в местной газете объявление: «Ищу инженера». Найдя его, я сумел с его помощью быстро набрать квалифицированных рабочих. Заказав оборудование, я вернулся в Москву в начале 1926 года, меньше чем через три месяца после подписания концессионного соглашения, считая, что делу по крайней мере положено хорошее начало.

Следующая трудность заключалась в том, чтобы найти для нашей фабрики подходящее место. Еще два-три года тому назад я легко мог бы подыскать в Москве приличное фабричное помещение, и за ничтожную цену. Однако новая экономическая политика и стабилизация советской валюты стимулировали разви-

тие промышленности, и положение коренным образом изменилось. После долгих поисков я узнал о заброшенном мыловаренном заводе на окраине города у Москвы-реки. Участок был превосходным, площадью более двух с половиной квадратных километров, так что вполне хватало места и для жилых домов с садиками, и для школ, которые я обещал рабочим, и для возможного расширения производства в будущем. Все было хорошо. Но от заводских строений не осталось ничего, кроме стен — это были настоящие развалины.

В течение недели я заключил арендный договор на десять лет (таким был срок нашей концессии), и тысяча рабочих взялись за дело. Здания быстро отремонтировали, установили в них заказанную в Германии систему парового отопления, и в апреле уже можно было приступать к размещению оборудования, которое к этому времени начало прибывать из-за границы. Одновременно строились коттеджи с садиками для немецких и английских рабочих.

Мы построили клуб, школу, столовую и пункт первой помощи, который планировали впоследствии превратить в больницу — настоящий маленький городок. Здание школы используется по сей день. Теперь в нем находится учреждение со сложным названием: «Детский сад и ясли № 647 Московского завода писчебумажных принадлежностей».

Я настоял на том, чтобы для установки оборудования фабрики каждая фирма командировала своих собственных специалистов. Все узлы оборудования были заранее пронумерованы, а общий план монтажа разработан заранее до мельчайших подробностей. Я знал, что в России, где инженеры и рабочие не знакомы с передовой зарубежной техникой, эти предосторожности абсолютно необходимы. Советское правительство терпело убытки в сотни тысяч и даже миллионы долларов, пытаясь внедрить импортное оборудование без привлечения иностранных специалистов и надеясь добиться его максимальной производительности собственными силами.

К первому мая, через шесть месяцев после подписания контракта, карандашная фабрика вступила в строй. Большой советский праздник мы отметили выпуском первых карандашей.

По условиям контракта мы должны были начать производство в течение двенадцати месяцев и гарантировали выполнение этого обязательства залогом в пятьдесят тысяч долларов. К удивлению Концессионного комитета, а также советской организации, которая выступала против предоставления нам концессии на том основании, что она скоро сама начнет производство карандашей, мы проделали всю работу за шесть месяцев. Прошло немало времени, прежде чем наши конкуренты смогли подтвердить свои хвастливые обещания делом. Между тем залог был возвращен нам с благодарностью и поздравлениями, и мы заняли господствующее положение на советском рынке.

Очень скоро мне стало ясно, что основной проблемой для изготовителя промышленной продукции в Советской России является не сбыт, как в Америке, а само производство. Со времени революции дефицит промышленных товаров был столь велик, что любой предмет ширпотреба, на который устанавливали сколько-нибудь разумную цену, покупался, так сказать, на корню. Без преувеличения можно сказать, что в Советском Союзе в двадцатые годы вообще не существовало проблемы сбыта.

С другой стороны, организация производства была связана с большими трудностями. Всегда было трудно достать сырье, особенно импортное — а мы вначале работали преимущественно на нем. Трудно было найти квалифицированных рабочих, часто хромала дисциплина. А ведь передо мной с самого начала стояла задача постоянно увеличивать производительность для удовлетворения спроса. Начав с работы в одну смену, я вскоре был вынужден перейти на двухсменную, а на некоторых участках и трехсменную работу.

Нередко немецкие мастера жаловались на медлительность и расхлябанность рабочих. И тогда меня осенила счастливая мысль ввести сдельную оплату труда. Положение изменилось как по мановению волшебной палочки. Рабочие стали нередко приходить в цех за полчаса до начала смены, чтобы подготовить станки и начать работать на полную мощность «с первым звонком».

Теперь мастера рапортовали, что русские рабочие не только не отстают по производительности труда от немецких, но, как правило, перекрывают немецкие рекорды. Естественно, пропорционально повысились и заработки, но поскольку возросли прибыли, мы не имели оснований жалеть о введении сдельной оплаты.

Скоро по городу разнеслась весть, что на фабрике Хаммера можно хорошо заработать, и нас буквально завалили заявлениями о приеме на работу. В течение многих месяцев почта доставляла их со всей страны мешками. В конце концов, чтобы избавиться от лишних хлопот, мы договорились, что всю необходимую рабочую силу будем нанимать через государственную биржу труда, куда будем обращаться по мере необходимости, точно указывая, кто нам нужен. Биржа будет направлять нам кандидатов в том порядке, в каком они были зарегистрированы в ее списках, но если по какой-либо причине кандидат нам не подойдет, мы будем иметь право отказать ему и взять на работу второго или третьего. В этой связи мне припоминается один любопытный эпизод.

Вскоре после заключения договора с биржей труда ко мне пришла молодая женщина и рассказала весьма печальную историю. Ее муж внезапно умер, оставив ее с двумя маленькими детьми почти без средств к существованию. Может быть, я сжалюсь над ней и дам ей работу? Мне ничего не оставалось, как объяснить, что мы подписали соглашение о найме рабочей силы исключительно че-

рез биржу труда, и посоветовать ей немедленно туда обратиться. Я обещал, что, если она принесет направление биржи труда, я обеспечу ей место.

Когда женщина пришла на биржу, оказалось, что здесь уже существует длинная очередь и ей придется занять место в конце. Тогда, набравшись храбрости, она написала Калинину — крестьянину, ставшему Президентом Советского Союза[1] — о своем отчаянном положении и попросила помочь. Калинин каждый день получал тысячи таких писем, но он гордился тем, что ни одно из них не оставалось без ответа. У него был специальный аппарат для рассмотрения подобных дел. Через неделю вдове сообщили, что Калинин поддержал просьбу и биржа труда перенесла ее имя в начало очереди. А еще через несколько дней ее прислали к нам на фабрику, и мы дали ей работу.

Советское трудовое законодательство — исключительно сложное, что, к своему огорчению, обнаруживают многие иностранцы, ведущие дела в Советском Союзе. У нас, например, в штате был юрисконсульт, единственной задачей которого было разбираться в трудовых вопросах.

Разумеется, мы заключали коллективный договор с профсоюзом, в котором состояли наши рабочие, для чего приходилось проводить длительные переговоры. Однако работодатель в Советском Союзе определенным образом выигрывал от значительного влияния, которым пользуются профсоюзы. Обе стороны были в равной степени связаны письменным соглашением, и профсоюз обладал достаточной властью, чтобы обеспечить его выполнение рабочими.

Соглашение включало свод разработанных до мельчайших подробностей правил, которым по закону были обязаны следовать как рабочие, так и работодатели. Оно, таким образом, становилось гарантией для работодателя не в меньшей степени, чем для его рабочих. Например, если работа выполнялась неудовлетворительно или нарушалась дисциплина, рабочему делалось предупреждение. Второй проступок влек за собой второе предупреждение, после чего рабочий мог быть уволен. При этом он имел право обжаловать решение об увольнении в особом суде по трудовым конфликтам, который обычно решал такие дела справедливо и по существу.

За год мы из пятидесяти дел проиграли только три. Двадцать семь дел мы выиграли полностью, а двадцать — частично. Уволенный за нарушения рабочий попадал в конец очереди на бирже труда, и устроиться на другую работу ему было очень трудно.

Разумеется, серьезный проступок или кража не только являлись основанием для возбуждения уголовного дела, но и давали право работодателю уволить виновного без предупреждения. Однако обычно это не относилось к мелкой краже, когда стоимость украденного была меньше двух с половиной долларов. Так, например, вскоре после пуска нашей фабрики мне сообщили, что наши карандаши, очевидно краденые, стали появляться на московских рынках. Я обратился в милицию, которая прислала на фабрику под видом рабочих двух сыщиков. После нескольких дней расследования они привели ко мне в контору одного из своих «коллег» и приказали ему снять сапоги. За голенищами оказалось немалое количество карандашей.

По договоренности с Центральным комитетом профсоюза борьба с мелкими кражами была поручена завкому, который выделил для этого группу рабочих. Такая мера оказалась весьма эффективной, и в течение двух последующих лет подобные истории у нас не повторялись.

Работать приходилось с большим напряжением, но мы неуклонно наращивали объем производства. В первый год нам удалось выпустить продукции на два с половиной миллиона долларов вместо миллиона, как было предусмотрено концессионным соглашением. На второй год мы увеличили эту цифру до четырех миллионов. В первый же год мы снизили розничную цену карандашей с пятидесяти до пяти центов. После этого их импорт был запрещен, и мы фактически заняли монопольное положение. Большая часть продукции шла государственным организациям и кооперативам, но нам не запрещалось заключать сделки и с частными лицами.

Производительность фабрики в 1925 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом с пятидесяти одного миллиона карандашей до семидесяти двух, а стальных перьев — с десяти миллионов до девяноста пяти. Число рабочих и служащих выросло с четырехсот пятидесяти до восьмисот, а средняя месячная зарплата — со 122 рублей до 154. Мы не только полностью удовлетворяли спрос в Советском Союзе, но и экспортировали около двадцати процентов продукции в Англию, Турцию, Персию, Китай и на Дальний Восток.

До сих пор я получаю письма от пожилых людей со всех концов Советского Союза, которые рассказывают, что получили карандаш Хаммера в первый школьный день шестьдесят лет тому назад.

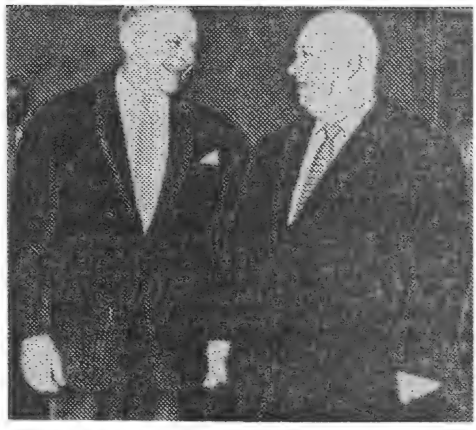
Неожиданно нас стали хвалить в советской печати: за два года мы превратили Советский Союз в экспортера одного из промышленных товаров, который даже до войны ввозился из-за границы за миллионы золотых рублей. Ежедневно фабрику посещали делегации рабочих, группы студентов технических вузов и правительственные комиссии, и каждый посетитель, уходя, восхищался эффективностью американских методов.

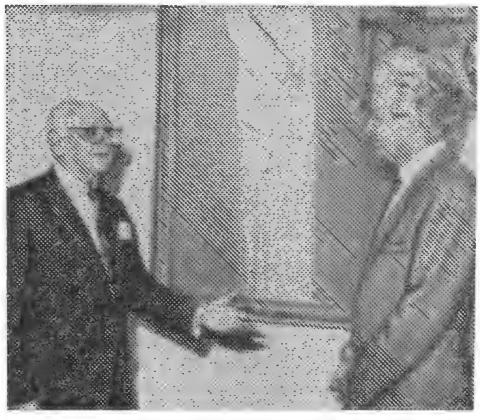
Однако помимо похвал мы получали также свою порцию критики и даже брани. Когда газеты опубликовали наш финансовый отчет, из которого явство-

[1] М. И. Калинин являлся в то время Председателем ЦИК СССР.

вало, что наша прибыль за первый год составила более двух миллионов рублей (миллион долларов), в местной печати появились статьи с утверждениями, что наши цены слишком высоки. Высказывались мнения о том, что правительству следует принять меры для развития собственной карандашной промышленности и не позволять иностранным капиталистам выкачивать из страны такое количество золота. Эти нападки огорчали меня, пока один случай не показал, что к ним следует относиться более философски.

В 1928 году Советский Союз посетила делегация преподавателей американских колледжей, возглавляемая профессором Джоном Дьюи. Многие ее члены побывали у меня в гостях. Вечером за дружеским ужином министр просвещения Луначарский наклонился ко мне и прошептал мне на ухо: «Я слежу за нападками на вас в газетах. Не обращайте внимания. Понимаете, некоторым товарищам нужно время от времени давать выход своим чувствам, а поскольку у нас нет своих капиталистов, по которым можно было бы вести огонь, козлом отпущения приходится быть вам. Да что там говорить,— добавил Луначарский,— мне тоже достается от газет! Видите, даже нам, наркомам-большевикам, попадает от собственной прессы».





А. Хаммер и Н. С. Хрущев, Москва, 1961 год. На снимке надпись: «Господину А. Хаммеру. Первому концессионеру, беседовавшему с В. И. Лениным. С наилучшими пожеланиями Н. Хрущев 18.II. 1961 г.»

А. Хаммер и советский посол Ю. Дубинин на открытии выставки произведений французских импрессионистов из советских собраний в музее Метрополитен в Нью-Йорке 21 августа 1986 г.

Встреча с Индирой Ганди в Москве.

Тем не менее мы приняли упрек во внимание и снизили цены. Однако благодаря увеличению объема производства и росту производительности труда наши прибыли не уменьшились, а в последующие годы и возросли.

К концу 1929 года кроме карандашной фабрики у нас было еще четыре предприятия, производивших металлические изделия, целлулоид и некоторые другие товары. Мы все больше нуждались в кредитах, однако обстановка была неблагоприятной для их получения. В сложившихся условиях наилучшим решением вопроса была продажа наших предприятий советскому правительству. Оно, в свою очередь, выразило готовность выкупить нашу концессию до окончания срока ее действия. В результате длительных переговоров была установлена справедливая цена. Советское правительство полностью и точно выполнило свои обязательства, выплатив последнюю часть причитавшейся нам суммы в августе 1931 года.

Говоря «обстановка была неблагоприятной», я имею в виду попытки Сталина насадить социализм силовыми методами. Как раз в то время он создавал свой аппарат террора и репрессий, и Советский Союз стоял на пороге самых мрачных десятилетий своей истории. Истинное лицо Сталина и его намерения проявились в полной мере уже после моего отъезда из Москвы. Однако еще в России я слышал о нем (да и сам угадывал между строк газетных сообщений) много такого, что внушало самое серьезное беспокойство и наводило на мысль о том, что не худо бы убраться подобру-поздорову подальше от этого человека.

Я никогда не встречался со Сталиным — никогда не испытывал такого желания — и никогда не имел с ним никаких дел. Однако к 1930 году мне было совершенно ясно, что он не тот человек, с которым я смог бы работать. Сталин считал, что государство может управлять любым предприятием и не нуждается в помощи иностранных концессионеров и частных предпринимателей. Это и было основной причиной моего отъезда из Москвы. Я понимал, что скоро не смогу заниматься здесь бизнесом, а поскольку бизнес был единственной причиной моего пребывания в Советском Союзе, я решил уехать.

Чернобыль

Каким-то неведомым образом злополучный взрыв советского ядерного реактора в Чернобыле замкнул мой жизненный круг. Я вновь оказался в роли поставщика медикаментов попавшей в беду России, точно так же, как в июле 1921 года, когда впервые приехал в эту страну. На этот раз я организовал визит в СССР четырех лучших специалистов Запада по борьбе с последствиями облучения и отправку на миллион долларов медикаментов. Сходство этих ситуаций поразительно.

Все началось в понедельник 28 апреля 1986 года. Я был в Вашингтоне, где занимался подготовкой к открытию в Национальной галерее выставки советских картин импрессионистов и постимпрессионистов. Это был первый крупный культурный обмен после встречи на высшем уровне в Женеве Рейгана и Горбачева в ноябре 1985 года, организованный при моем участии.

В тот день в американскую прессу, сначала медленно, а потом мощным потоком прорвались новости из Европы о ядерной катастрофе на Украине. Поступавшие сведения были противоречивыми и неполными. Пресса заговорила о том, что в одном из атомных реакторов, возможно, произошло расплавление стержня, и скоро стало ясно, что случилась крупная катастрофа.

Во вторник утром 29 апреля мне сообщили по телефону, что со мной пытается связаться доктор Роберт Гейл.

Я был знаком с Бобом Гейлом лично и знал о его выдающихся достижениях в области пересадки костного мозга для лечения лейкемии. Мне, как председателю Президентской комиссии по борьбе с раковыми заболеваниями, было известно, что доктор Гейл возглавляет отделение по пересадке костного мозга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и является председателем правления Международного центра информации по проблемам пересадки костного мозга в Милуоки — организации, которая имеет в своем компьютере списки потенциальных доноров костного мозга. Я немедленно связался с ним по телефону.

Боб Гейл не тратит времени понапрасну. Он быстро объяснил, что пересадка костного мозга — это единственный шанс спасти жизнь жертвам радиации в Чернобыле. Международный центр информации как раз и создан для оказания быстрой помощи в случае подобных катастроф. Здесь хранятся списки от пятидесяти до ста тысяч доноров-добровольцев, живущих в основном в Соединенных Штатах и Западной Европе.

— Если человек подвергается облучению большими дозами радиации,— объяснил Гейл,— его костный мозг теряет способность вырабатывать кровяные тельца. Те, кто получил большие дозы радиации и остались в живых, обречены на смерть в течение двух-четырех недель. Единственный способ их спасти — это определить степень облучения и произвести пересадку костного мозга.

Боб был готов предоставить картотеку центра и свой опыт в распоряжение русских. Он знал, что правительство Соединенных Штатов уже предлагало Советскому Союзу помощь, однако это предложение было отклонено, так же как и аналогичные инициативы других правительств. При моих контактах в СССР не могу ли я помочь?

Я обещал сделать все возможное. Я уже встречался с Горбачевым и решил передать предложение Гейла лично ему.

Немедленно составив письмо, я отправил его Олегу Соколову, исполнявшему

обязанности посла СССР в Вашингтоне. Кроме того, я послал текст этого письма телексом Анатолию Добрынину, бывшему послу в США, ставшему теперь Секретарем ЦК КПСС, с просьбой как можно быстрее передать его Горбачеву. Объяснив сущность предложения доктора Гейла, я писал:

«Доктор Гейл готов немедленно приехать в Советский Союз для встречи с советскими специалистами по лечению жертв радиации и гематологами для оценки положения и принятия решения об оптимальных мерах, с помощью которых можно надеяться на спасение жизней людей, пострадавших во время аварии. Он может вылететь из Лос-Анджелеса завтра в три часа дня (в среду 30 апреля) и прибыть в Москву в шесть часов вечера в четверг первого мая. Беру на себя все расходы, связанные с попыткой доктора Гейла спасти жизнь подвергшихся радиации граждан».

Прежде чем отправить письмо, я позвонил нескольким влиятельным друзьям в госдепартаменте, чтобы рассказать о своем предложении и убедиться, что мои действия не противоречат их планам. Они восприняли мое сообщение с энтузиазмом и посоветовали как можно быстрее приступить к делу.

Первый ответ пришел очень быстро. В тот же вечер мне из Нью-Йорка позвонил Юрий Дубинин, представитель СССР в ООН, который вскоре был назначен советским послом в США, и выразил поддержку нашего предложения. Я рассказал о наших усилиях четырем сенаторам: Тэду Стивенсу, Ричарду Лугару, Клэйборну Пэллу и Альберту Горумладшему — членам Группы наблюдателей на Женевских переговорах по разоружению,— и они не только от всего сердца поддержали наш план, но на следующее же утро послали письмо от своего собственного имени исполняющему обязанности государственного секретаря Джону Уайтхеду с просьбой оказать нам содействие.

Оставалось только ждать. Вечером 30 апреля я сидел рядом с Уайтхедом на открытии советской выставки в Национальной галерее. Он сказал, что одобряет мои усилия. К нам подходили представители советского посольства и тепло выражали свою благодарность. Однако ответа из СССР все не было.

Церемония открытия была омрачена вестями из Чернобыля: все в Вашингтоне со страхом ждали следующих сообщений, чувствуя себя беспомощными перед лицом этой катастрофы, такой далекой и одновременно так непосредственно касающейся всего мира.

Наконец, утром первого мая, через 48 часов после отправки письма, пришел ответ. Олег Соколов позвонил мне домой в Лос-Анджелес: Советское правительство принимает мое предложение и просит немедленно приступить к его реализации.

— Разумеется, мы возместим вам все затраты,— сказал он.

— Мы поговорим об этом позже,— ответил я.

Аналогичный звонок последовал и доктору Гейлу.

— Что мне нужно делать, чтобы получить визу? — обратился он ко мне.

— О визе не беспокойтесь,— ответил я.— Она будет ждать вас в аэропорту.

Те, кто знаком с русскими порядками, поймет, какая оперативность была проявлена в этом случае.

Чтобы ускорить отъезд Гейла, мои сотрудники связались с представителями авиакомпании «Люфтганза». Из Лос-Анджелеса он должен был лететь во Франкфурт, а там пересесть на самолет до Москвы. Я дал Гейлу все свои телефоны, включая неопубликованные домашние номера, и попросил при необходимости звонить в любое время дня и ночи.

— Я с удовольствием воспользовался бы вашим разрешением,— сказал он,— но меня предупредили, что на связь из Москвы с Америкой уходит до двенадцати часов.

— Звоните из нашей московской конторы,— посоветовал я,— оттуда вы сможете прямо набирать номер, а я предупрежу сотрудников, чтобы они предоставляли вам телефон в любое время суток и помогли с транспортом и переводчиками.

Боб получил также все номера Ричарда Джейкобса — вице-президента фирмы «Оксидентл петролеум» и моего личного помощника. Коммутатор фирмы получил инструкции соединять нас с доктором Гейлом, где бы мы ни были. В последующие недели хозяйки некоторых лос-анджелесских гостиных очень удивлялись, когда по вечерам у них звонил телефон и вежливый голос просил передать трубку мне или Ричарду для разговора с Москвой.

Боб не знал, чего ожидать в России, и боялся, что его встретят сдержанно или с подозрением. Опасался он также трудностей с языком и связью. Но все страхи оказались напрасными. Представители Министерства здравоохранения встретили его с распростертыми объятиями и немедленно доставили в московскую больницу № 6, где имеется крупное отделение для лечения лейкемии — сюда и привезли людей, подвергшихся облучению в Чернобыле. Трудностей при общении с русскими врачами у Боба не возникло. Многие говорили по-английски, да и специальная терминология на обоих языках звучит примерно одинаково.

Ко времени первого разговора со мной Боб смог оценить обстановку и наметить план действий. Всего в больницу № 6 было помещено триста человек, страдавших от первых симптомов лучевой болезни. Тридцать пять были в критическом состоянии. Тринадцать из них нуждались в пересадке костного мозга, а остальных не смогла бы спасти даже немедленная операция. Словом, предстояла огромная работа, нельзя было терять ни минуты.

— Мне здесь необходима помощь лучших специалистов,— заявил Боб.

— Дайте их имена, и мы их пришлем,— ответил я.

Мы немедленно связались с доктором Полом Тэрасаки (известным в мире специалистом по определению типа ткани) из

Лос-Анджелесского университета, ближайшим коллегой Гейла доктором Ричардом Чамплином и доктором Яиром Рейснером, израильским ученым из Института Вайсмана в Реховота, который как раз был в командировке в Нью-Йорке. Они согласились немедленно отправиться в Москву.

— По поводу виз не беспокойтесь,— сказал я.— Они будут ожидать вас в аэропорту в Москве.

Беспокойство доктора Рейснера было вполне объяснимым. Наверное, он был первым в истории израильтянином, совершавшим поездку в Москву без визы. Однако все страхи рассеялись, когда русские коллеги тепло встретили его в Москве.

Гейл передал мне длинный список необходимых ему медикаментов и оборудования, которые мы отправили в Москву, организовав их закупку в пятнадцати различных странах. Авиакомпания «Люфтганза» оказала неоценимую помощь в организации быстрой доставки этих грузов, отправляя их на первых же рейсовых самолетах. Вскоре врачи приступили к работе.

Четыре американца и их русские коллеги трудились день и ночь в течение двух недель, пытаясь спасти больных, которым была показана пересадка костного мозга. Никогда раньше подобные операции не выполнялись в таком количестве. Гейл собственноручно сделал все тринадцать пересадок — своего рода рекорд, если учесть, что в нормальную рабочую неделю ему редко приходится делать больше двух-четырех. На операциях ему ассистировали доктор Чамплин и русские специалисты.

Поскольку в СССР не было достаточно хорошо оборудованной лаборатории для определения типа тканей, доктору Тэрасаки пришлось создать ее на месте из присланного мной оборудования и обучить русских на нем работать. В московских больницах он нашел своих бывших студентов из Лос-Анджелесского университета и также привлек их к работе.

Каждый день Гейл звонил мне и Рику Джейкобсу и передавал новые списки. Зачастую его звонки раздавались среди ночи или перед рассветом. Одновременно мы старались не запускать обычную работу, поэтому в эти дни нам с Риком приходилось работать втрое больше обычного, и если удавалось поспать три-четыре часа за ночь, мы считали, что нам повезло

Некоторые просьбы доктора Гейла были личными. Он попросил прислать в Москву его жену Тамар, у которой был израильский паспорт. Госпожа Гейл выехала в Москву в тот же день, когда Боб выразил это пожелание. Он также просил выслать некоторые вещи домашнего обихода. Американские доктора расстраивались оттого, что у их советских коллег была привычка тратить много времени на обед, поэтому они скоро перешли на бутерброды, которые брали с собой в госпиталь. Скучали по американским продуктам и пиву. Рик организовал доставку им корзины провизии через нашу лондонскую контору.

12 мая я отправился в Москву. Коллекция моих картин «Шедевры пяти веков» была отправлена в Советский Союз в марте и демонстрировалась в ленинградском Эрмитаже одновременно с показом советских картин в Национальной галерее в Вашингтоне. В мае выставка моей коллекции открывалась в новом зданий Всесоюзного музейного объединения Государственная Третьяковская галерея. Я давно обещал присутствовать на открытии выставки в Москве. Кроме того, это был отличный повод повидать Боба и узнать, не могу ли я еще чем-нибудь помочь самоотверженно работавшей группе врачей.

Ящики с медикаментами и оборудованием были погружены в мой личный самолет «ОКСИ-I» — «Боинг-727», сделанный по специальному заказу и оборудованный дополнительными топливными баками для дальних перелетов. Десятки репортеров радио и телевидения пришли провожать нас в Лос-Анджелесский аэропорт

Журналисты хотели услышать новости о катастрофе, о которой из Советского Союза просочились лишь немногие подробности. Я знал не намного больше, чем они, и мог только выразить надежду, что наши усилия помочь жертвам аварии будут способствовать улучшению отношений между США и СССР. Чернобыльская трагедия ярко продемонстрировала необходимость углубления сотрудничества и взаимопонимания между нашими странами. Я подчеркнул целесообразность новой встречи президента Рейгана с Горбачевым с целью возродить «дух Женевы» и выразил надежду, что помощь американских врачей жертвам Чернобыля поможет смягчить некоторую напряженность в отношениях между нашими странами, возникшую в 1986 году.

Но главным для меня все же оставалось стремление выручить людей, попавших в беду. Я чувствовал, что, если в моих силах хоть чем-нибудь помочь в борьбе с последствиями аварии, я просто обязан это сделать.

В Москве я хотел сразу ехать в больницу № 6, чтобы встретиться с американскими врачами и больными, но советские представители отнеслись к моей идее весьма негативно. Они хмурились и отрицательно качали головами. Казалось, они боялись что я могу подхватить какую-нибудь болезнь или получить дозу радиации от облученных, что иногда случается

— Вы должны понять, доктор Хаммер, это абсолютно невозможно,— говорили они

Ни один чиновник в мире не может сравниться с советским, когда тот полон решимости противодействовать вашей воле К счастью, у меня есть большой опыт по этой части: в течение почти десятилетней работы в Москве в 20-е годы я научился бороться с советской бюрократической системой за десятки лет до рождения сегодняшних чиновников. Я знаю все стратегические приемы, начи-

ная с уговоров и лести и кончая угрозами и скандалом. Иногда единственный путь борьбы с советской бюрократией — это скрестить шпаги и бороться до победы. Это был как раз такой случай.

— Если вы не хотите добром,— сказал я,— я приеду и буду сидеть у порога до тех пор, пока меня не впустят.

Сломав таким образом лед, я прибег еще к одному приему. Один из самых эффективных способов борьбы с советской бюрократией заключается в обращении к вышестоящему начальству через головы мелких чиновников. Я попросил о помощи моего друга Анатолия Добрынина. И проблема была решена. Когда меня привезли в больницу № 6, у входа нас ожидал сам заместитель министра здравоохранения Олег Щепин.

Директор больницы, доктор Ангелина Гуськова, подошла и обняла меня. И между нами моментально установилось полное взаимопонимание. Профессор гематологии доктор Баранов одел на меня стерильную одежду — маску, колпак, халат и тапочки — и провел по палатам. Больница была идеально чистой и удивительно хорошо оборудованной, но мое внимание было сосредоточено главным образом на больных.

Большинство были мужчины: охрана и сотрудники чернобыльского атомного реактора. Здесь были и пожарники — те, кто бросились тушить огонь, чтобы предотвратить катастрофу. Я видел и врача, который, рискуя жизнью, вызвался оказывать помощь жертвам на месте аварии, как только она произошла.

Некоторые выглядели совсем неплохо, однако вид других был ужасающим. Говоря по-русски, я старался подбодрить и поддержать их. Я сказал, что мы из Соединенных Штатов и что они получают самую лучшую медицинскую помощь в мире. Некоторые умоляли спасти их, пытались поймать мою руку. Я призывал этих людей к мужеству: все, что только можно сделать, чтобы помочь им, уже делается. Зная, что, несмотря на героические усилия врачей, многие из них не выживут, я с трудом сдерживал слезы.

15 мая мы с Гейлом выступили в пресс-центре Министерства иностранных дел перед 400 представителями прессы всех стран мира. Для Боба это было первое публичное выступление после приезда в Москву.

Во время пресс-конференции меня попросили подойти к телефону. Я покинул трибуну и взял трубку. Горбачев выразил пожелание встретиться со мной в пять часов и просит привезти с собой доктора Гейла Вернувшись на сцену, я передал записку Гейлу, который объявил о приглашении прессе.

Перед отъездом из Москвы утром 16 мая Боб Гейл посетил больницу № 6, чтобы попрощаться. Русские доктора обнимали его со всей теплотой коллег, вместе борющихся за жизнь человека.

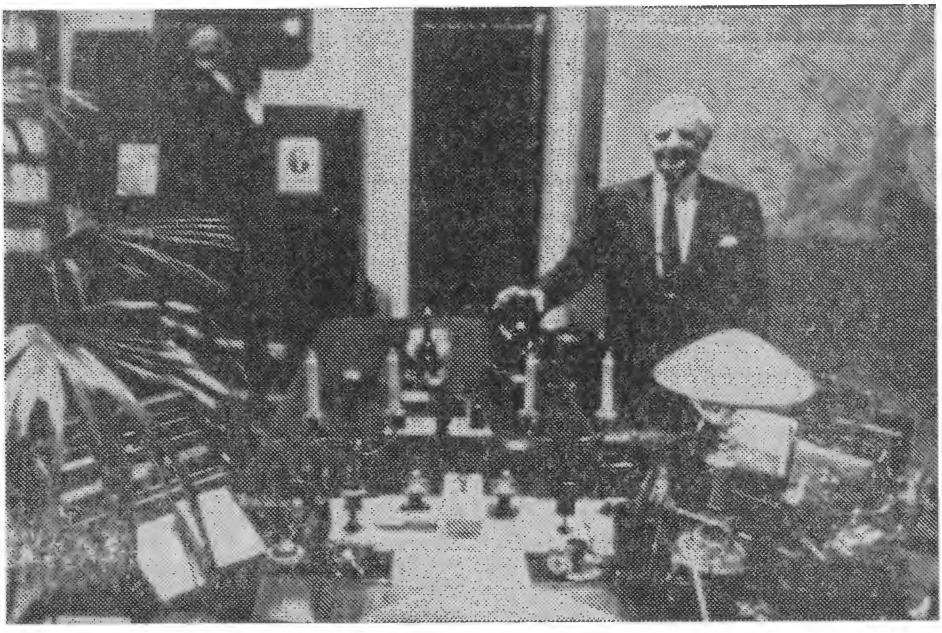
В салоне «ОКСИ-I» мы все в изнеможении плюхнулись в кресла: моя жена Франсис и я, Боб и Тамар Гейл, Яир Рейснер и мои сотрудники. Дик Чамплин остался в Москве, чтобы закончить работу. По дороге в Лондон мы отпраздновали мое 88-летие икрой, столичной водкой и традиционным пирогом.

Наше появление в Лос-Анджелесе вызвало огромный интерес прессы. Местные телевизионные станции организовали прямую передачу из аэропорта. Боб Гейл, который к этому времени научился заправски обращаться с журналистами, не уставал подчеркивать, что важнейшим уроком Чернобыля является необходимость для всех людей мира объединить усилия, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем.

В общей картине отношений между СССР и США работа группы Гейла в московской больнице № 6 была, наверное, лишь одним небольшим шагом в сторону мира. Но этот шаг был сделан, были сохранены жизни нескольких людей, которые иначе погибли бы. Русские и американцы работали бок о бок, что привело к взаимному уважению и симпатии. Был заложен фундамент для обмена научной и медицинской информацией, который, надеюсь, поможет избежать повторения подобных катастроф в будущем.

В июне 1986 года Гейл вернулся в Москву, чтобы проведать своих пациентов, четверо из которых в момент написания этих строк живы. Это составляет около тридцати пяти процентов выживания, что Боб считает хорошим результатом, особенно принимая во внимание задержку с операциями, трудности с выбором подходящих доноров в столь короткий срок и тот факт, что русские сами решали, кого оперировать. Кроме того, он съездил в Чернобыль и Киев и подписал договор об учреждении частного «Центра Арманда Хаммера по изучению атомной энергии и здоровья», который будет работать под его и моим руководством. В работе Центра примут участие ведущие специалисты в области эпидемиологии и изучения последствий облучения. Они будут вести учет случаев заболевания раком и другими болезнями в течение всей жизни сотен тысяч людей, подвергшихся воздействию радиации во время чернобыльской катастрофы. Мы пригласили правительственные организации и Академию наук США принять участие в работе Центра. Первая встреча консультативной группы ученых из различных стран мира была проведена в моей штаб-квартире 8 июля 1986 года. Она прошла с большим успехом.

В середине июля я тоже посетил Чернобыль. Две картины всегда будут жить в моей памяти. Одна — вид с вертолета при приближении к чернобыльскому реактору, который больше всего напоминал место, где разорвалась бомба. Вторая открылась нам, когда мы продолжили полет к расположенному неподалеку городу Припять. Огромные жилые массивы стояли как стражи в обезлюдевшем городе. Кругом не было никаких признаков жизни На веревках сушилось белье, копны сена стояли в полях, автомобили — на улицах, и ни единой живой души. Ни кошек, ни собак Министр здравоохранения Украины Анатолий Романенко, соп-

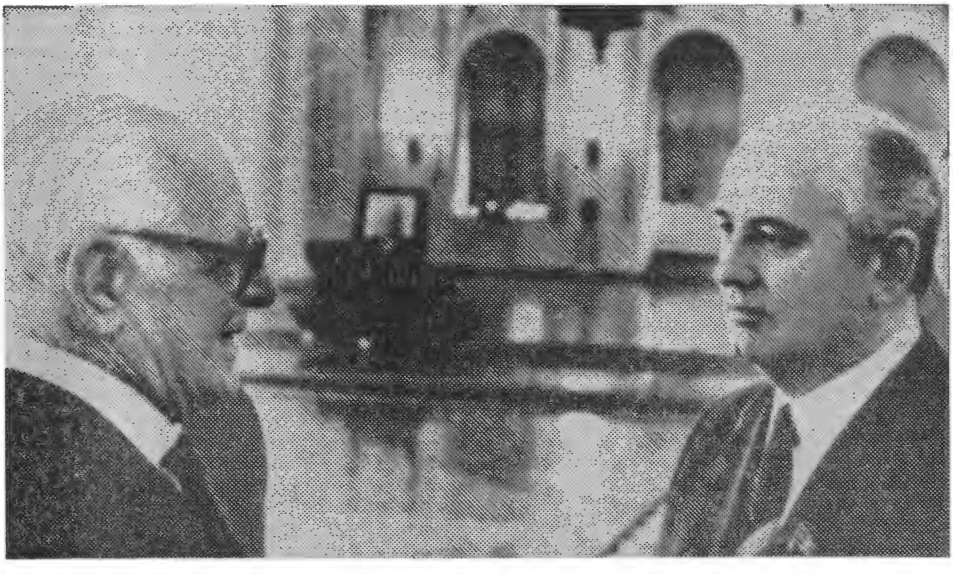


В Музее-квартире В. И. Ленина в Кремле. Бронзовая статуэтка на столе — подарок А. Хаммера В. И. Ленину.

ровождавший нас с Бобом, рассказал, что раньше здесь были богатые животноводческие фермы. А теперь под нами простиралась зловещая безжизненная равнина.

Мне на ум пришло сравнение: ведь это напоминает последствия взрыва нейтронной бомбы, «чудо-оружия», предназначенного для уничтожения жизни и сохранения архитектурных памятников. Для меня сама идея такого оружия — олицетворение величайшей человеческой глупости, и я могу только надеяться, что Припять близ Чернобыля останется памятником тому, что никогда не должно произойти.

Первая встреча М. С. Горбачева с А. Хаммером. Москва, март 1985 года.



Критика

В. ЗЕМСКОВ

ИСКУССТВО ВЕКА ВЕЛИКОЙ МЕТАМОРФОЗЫ

Актуальные заметки о Габриэле Гарсиа Маркесе и о нас самих

Гарсиа Маркесу — 60 лет, не повод ли это лишний раз помериться силами на турнире духа вечным партиям Моцарта и Сальери? Таково уж свойство больших художников, чье творчество бьет в самую сердцевину больных вопросов современности, что уже одним своим именем они поляризуют духовные силы, бурлящие под корой общественной повседневности. Искусство проявляет, материализует эти невидимые сущности в образы и тем самым дает диагноз состояния общества с полнотой, недоступной никакой социологии. В этом смысле можно сказать: искусство — вот высшая реальность, политика и футурология человечества.

«Сальери и Моцарт» — написал я и подумал: наверное, всякая антиномия упрощает реальную сложность и жизни, и искусства, и жизни в искусстве, но, как бы то ни было, мы мыслим все антиномичнее, все резче. Что же, наверное, таков XX век, таково наше время: или — или...

В чем, собственно, была суть спора Сальери и Моцарта? Алгебра и гармония? Злодейство и гений? И то, и другое, и третье... Все обнимает собой, я думаю, спор мертвящего Догматизма и жизнетворной Воли, он охватывает все внутренние смыслы этого противостояния: неорганичность, неполнота, механистичность, неспособность подняться над стандартом, покорность Инструкции... и — естественность, полнота, принципиальный отказ от стандарта, поиск вопреки Инструкции. Сальери создает то, чего ждут от него, он не способен к изменению или меняется только внутри заданных параметров, Моцарт — это гений Великой Метаморфозы.

Быть может, искусство более всего сродни органической, естественной жизни. Если полю говорят: роди по Инструкции, пожинают сорняки. Человек творит мир, который его окружает, и что он с ним сделает, то с ним и будет. Сегодня главный вопрос — способно ли человечество к Великой Метаморфозе своего мира, к такой, какая не предусмотрена никакими Инструкциями. Или — или...

В искусстве XX века, как в ядерном чреве Земли, как в топках атомных котлов, бушуют сальериевский Догматизм и моцартовская Свобода, угрюмая «алгебра» бескрылого повтора, вялой эволюции на краю пропасти и вольная стихия качественного прорыва. Все это до нас еще предвидел Достоевский: или «дважды два — четыре» — и тогда ядерная зима, или «дважды два — пять», а может быть, еще больше или совсем по-другому...

Пилатам и Сальери искусства и искусствоведческой и литературоведческой «сферы услуг» предшественник Гарсиа Маркеса Михаил Булгаков (это о нем говорил Гарсиа Маркес в Москве, в редакции «Латинской Америки»: «Клянусь родной матерью, я прочитал «Мастера и Маргариту», уже написав «Сто лет одиночества»!) своим необдуманным и вольным искусством нанес обдуманный и точно рассчитанный удар. Но в силу того, что роман не вышел тогда, когда Мастер его создал, он не стал аргументом в нужный момент, каким мог стать не только в пределах литературной жизни. Это к вопросу о том, как быстро должны печататься книги: главная беда в том, что рукопись, вовремя не прошедшая типографский процесс, не способна изменить умы и дух современников, а значит, культуру, и тут уж потеря невосполнима, считай, что рукопись «сгорела». Если бы в свой положенный срок был напечатан «Котлован» Платонова, сегодня и

литература и мы были бы другими. Если бы, если бы... слишком их много.

Меня занимает идея: каким мог бы быть разговор между Мастером, написавшим «Сто лет одиночества», и Берлиозом, тем самым хранителем Инструкции из «Мастера и Маргариты»? «Дважды два — четыре» и сумасшествие Полета. Вспомните летающих героев Шагала, Булгакова и Гарсиа Маркеса!

Гарсиа Маркес тоже нанес невольный и точно рассчитанный удар сразу по всем разновидностям сальериевского Догматизма, и потому, как только его прочитали, он сразу стал нашим писателем. В нем нашли то, что утрачивала культура, — творческую волю.

В понимании того, что произошло с нами в XX веке, нам остро недостает всемирного угла зрения, всемирного отсчета для реальной оценки по самым высоким эстетическим критериям. Хранители Инструкции для литературы и литературоведения, присяжные заседатели, наделенные полномочием «выносить мнение», повторяли из года в год слова о «могучем воздействии», «авангардной роли» и тому подобном, в хлестаковском порыве все более витиевато разукрашивая «основную идею». Они строили такую картину мира, какую им хотелось видеть, какой, им казалось,— по формуле «дважды два» — она должна быть. К чему приводит такой способ познания, мы уже знаем. Было могучее воздействие, только не присяжных заседателей и хранителей Инструкции, а самой могучей и опасной стихии Великой Метаморфозы XX века — той революции, что пообещала изменить мир и изменила его. Искусство XX века — часть Великой Метаморфозы XX века, и оно пережило с ней все радостные и трагические изменения. Кафка — тоже ее порождение, потому что его антигерой, фашизм, родился в ответ на страстную надежду социализма расковать человека и пустить его в Полет [1].

Кажется, сегодня нам уже ясно, что границы оценки искусства XX века вовсе не проходят по «главным героям», что понимание искусства в рамках сакральной оппозиции «реализм — модернизм» искажает представления о путях его развития, оставляя за бортом тех, кто качественно и бесповоротно менял искусство XX века и нас самих. Намеренно наступаю на эту покрывшуюся теоретической коростой, но теперь открывающуюся вновь болячку нашего литературоведения. Чтобы одомашнить «их», чего только у нас не выдумывали и так раздвигали границы «открытой системы», что формула реализма стала, кажется, безразмерной. А может, дело в том, что моцартовская Воля всегда больше «дважды два»? Но это, кстати, по пути, чтобы напомнить, что сегодня Инструкция не поможет. Мне вспоминается, как один почтенный горьковед, когда нас призвали перестраиваться, в тот первоначальный момент сокрушенно задавал в зал Института мировой литературы недоуменный вопрос: «Перестраиваться? Надо — так будем, но каким образом это делать, если книги Горького остаются теми же самыми?» Книги-то те же, но головы нужны другие.

Предлагаю ли что-то? Нет, ничего не предлагаю. Но мне ясно: если мы не взглянем на искусство XX века с позиций общедемократических и общегуманистических, «картина мира» останется искаженной. Знаю только одно: и в зарубежной и в нашей культуре шла и идет борьба между искусством сальериевским и моцартовским, между искусством «дважды два» и искусством Великой Метаморфозы. Давно мы знаем, что не конкретным политическим причастием в конечном счете ценится художник, а способностью понять мир как он есть. Но «воз и ныне там». Почему Маркс ценил Бальзака, а Ленин — Тютчева и Толстого больше пролетарских поэтов? Задумаемся над этим. «Что же хочешь? — слышу я знакомый голос.— Вселенская смазь?» Нет у меня готового критерия, и тем не менее воплотил Кафка общегуманистические и общедемократические ценности или не воплотил? Или это «абстрактный гуманизм»? «Вот в чем вопрос»! Вы ничего не слышите в истошном вопле его искусства? Тем хуже для вас...

Великое искусство проявляется в отталкивании от мизерного, стандартизированного до «дважды два», производства, но рождается только в споре с равновеликим, но враждебным искусством. Кафка был моцартовским художником или он из партии Сальери? Кафка открыл одну из страшных сторон, но не всю Великую Метаморфозу XX века, лишь часть ее: превращение человека в насекомое, которое можно раздавить сапогом; другие продолжили: в колесико, винтик, который можно заменить и выбросить, робота, в который можно вставлять разные программы... В любом варианте — расчеловечивание человека, превращение его в «дважды два», лишение его творческого начала, способности к Полету. Хорошо поняло это искусство века концлагерей! Смертная тень над человеком — это открыл Кафка, великий поэт XX века, поэт больной, извращенной, едва ли не смертельно больной действительности. Поэт, научивший Гарсиа Маркеса, как он говорил, понимать, что такое искусство, то есть искусство Великой Метаморфозы. То, что происходит с Грегором Замзой, который, проснувшись, обнаруживает, что стал насекомым, — это и есть постижение искусством метаморфоз социальных, экономических, политических.

В принципе искусство и отличается от неискусства тем, что в первом случае метаморфоза происходит, во втором ее нет, даже если перед нами разворачивается картина бурной деятельности. Вот от этого-то и отучали искусство хранители Инструкции, напоминая нам, что «человек рожден для счастья, как птица для полета». Дорого стоит борьба за полет. Помните Сальери, подсыпающего яд в бокал Моцарту?.. От этого стандартизированного искусства и отталкивался Гарсиа Маркес, но спорил он не с ним — с Кафкой.

То, что борьба между сальериевским и моцартовским началами извечна, подтверждают и прошлые эпохи. Так, скажем, лишить ангела крыльев и представить его человеком, а Деву Марию с младенцем изобразить домашней хозяйкой с ребенком в средние века было «антиреализмом», средневековым «модернизмом». А в наше время произошла

[1] Подробнее с творчеством Ф. Кафки читатель может познакомиться, обратившись к статье А. Гулыги «В призрачном мире бюрократии» в этом номере. *(Здесь и далее прим. ред.)*

другая история: наделение человека крыльями стало подозрительным. XX век начался с падения врубелевского «Демона» — он разбился о скалы противоречий и, спутав крылья, ноги, кости, немигающим взором смотрит в наши души. Такая пришла пора — упасть Демону, но взлететь Человеку. И человек взлетел у Шагала, и не так, как летали боги, а в ботинках, в кургузом пиджачке, вместе с невестой, словно вырвался из каморки, где происходило превращение Грегора Замзы в насекомое. Боги сломали крылья, а человек их отрастил, боги упали, а человек взлетел, претерпев качественную метаморфозу вместе с революцией 1917-го, чтобы потом падать, и вновь подниматься, и всячески сопротивляться тем, кто отрывал ему крылья, делал его насекомым, винтиком, роботом, не поддаваться никакому виду Догматизма.

Только в таком контексте, на мой взгляд, раскрывается великий смысл спора и открытий Гарсиа Маркеса, поэта XX века, который, отталкиваясь от всех Инструкций, вступил в спор с кафкианской метаморфозой.

Антидогматизм — это принципиальная личностная и творческая позиция Гарсиа Маркеса, без понимания чего нет объяснения и его художественному миру. Реабилитация вольной поэзии — вот что привлекло к колумбийцу нашего читателя, уставшего жить без чуда искусства. Спасибо Кафке, он показал нам, что может быть с человеком. Спасибо Гарсиа Маркесу вдвойне: он одолел Кафку и снова пустил человека, искусство в Полет. Актуальность Гарсиа Маркеса — именно в возвращении искусству XX века моцартовского вольного гения, шагаловской свободы поэзии.

Я думаю, ничем иным не объясняется универсальность поэзии Гарсиа Маркеса, как ничем иным не объясняется и универсальность Шагала. Эта поэзия от полноты восприятия Великой Метаморфозы XX века, всех ее сторон. Их поэзия концентрирует всю диалектику бытия и истории, а потому спорит с другой поэзией, порожденной неполным постижением метаморфозы. Гарсиа Маркес противостоит Кафке, а Шагал — Сальвадору Дали. У одних поэзия воли, у других — поэзия неволи, но и там и там — поэзия, в отличие от всего, где «дважды два — четыре».

В свое время, когда один издательский деятель увидел фотографию Гарсиа Маркеса, которую я предложил для книги о нем, он был смущен: без галстука и смеется. Над кем? Над чем? Наверное, когда Гарсиа Маркеса снимали здесь, у нас в Москве, он смеялся просто, как смеются, когда радостно. Но в тот момент, пусть не сомневается этот хранитель Инструкции, он смеялся над ним.

В определенном смысле можно считать восприятие Гарсиа Маркеса своего рода лакмусовой бумажкой способности современного читателя к восприятию поэзии. Конечно, могут быть помехи связанные с неготовностью ко встрече с чужой культурой — так бывает,— однако дело в принципе: если мы не воспринимаем Полет у Шагала, не воспримем и Гарсиа Маркеса. И наоборот. Поразительно соприкосновение русской культуры и культуры латиноамериканской в творчестве этих мастеров Метаморфозы.

Ведь, в сущности, всю жизнь Шагал, даже живя в Париже, писал свое Макондо; и Эйфелевы башни, напоминающие покосившиеся водокачки среди витебских халуп, ничуть не меняют культурно-географических, цивилизационных координат его художественного мира. И точно так же Гарсиа Маркес всю жизнь описывает свой Витебск с его хижинами, а его герои, уезжающие в Париж, все равно остаются в Макондо. Сходство в мирах художественных возникло прежде всего потому, что есть сходство действительности, той, что знал Шагал в начале века, и той, что родила Гарсиа Маркеса. И там и там — невыносимый догматизм неменяющейся повседневности; и там и там — предельное накопление мятежной силы против этой повседневности, прилепляющей ноги человека к земле, не дающей ему превзойти самого себя, взлететь. И там и там — страсть к Полету, к тому, в который нас, первых, Циолковский послал в космос из глухой Калуги. И там и там — сгущенная поэзия народной провинции, соединяющей эпоху Полета богов и эпоху Полета человека.

Это родство двух миров хорошо почувствовал Гарсиа Маркес, когда тридцать один год тому назад впервые приехал в нашу страну. Сегодня, читая его репортаж о Москве 1957 года, когда она кипела фестивалем молодежи, словно смотришь фильм в стиле ретро, словно возвращаешься в ту Москву, «большую деревню» 40—50-х годов, будто напрягшуюся перед рывком из эпохи провинциальных двориков, где на веревках сушится белье, и «кондитерской архитектуры» — в эпоху блочного строительства.

Гарсиа Маркеса поразила страна и народ, для понимания которых, писал он, надо изменить представления о пропорциях и мерах касательно всего: расстояния, дел, людей. И в этом «сумасшедшем народе, который даже в своем энтузиазме и щедрости потерял чувство меры», он увидел ту же поэзию, что родила и его творчество, и написал: «Земной шар на самом деле более круглый, чем мы предполагаем, и достаточно отъехать на 15 тысяч километров от Боготы, чтобы вновь оказаться в поселках Толимы», то есть в тех краях, откуда родом герои «Ста лет одиночества».

Он увидел и похожие полюса народной жизни, только-только очнувшейся после смерти Сталина, лучшим биографом которого, как писал Гарсиа Маркес, мог бы стать Франц Кафка. Москва тех лет, когда, по его свидетельству, самым оскорбительным ругательством, какое можно было услышать на улицах, было «бюрократ»! Как и сегодня, добавим мы. «Это народ, который отчаянно жаждет иметь друзей», — написал Гарсиа Маркес о народе, с восторгом рвущемся в Полет, бедно одетом, неухоженном, только что прошедшем через кровавые Метаморфозы XX века через трагедии которые напомнили ему те, что познали жители Макондо, вопиющие о человеческой солидарности. Потом, в «Осени патриарха» мы почувствуем это не один раз. Но надо прочитать репортаж, ту его часть, где речь идет о Сталине, «спящем без угрызений совести» чтобы понять, откуда эта женственная изящная ручка, которой Гарсиа Маркес наделил своего никак не умирающего тирана. Нет,

недаром много лет спустя Гарсиа Маркес сказал, что лучшие его читатели живут в Советском Союзе.

Наш «витебский» народ начал свой Полет в начале века, а макондяне — в 60-х годах, когда латиноамериканский континент пропах потом и кровью народных движений. История подняла в небо героев Шагала и Гарсиа Маркеса, наделила их провинциальные городки вселенскими смыслами и масштабами. За летающими героями Шагала и Гарсиа Маркеса — воспользуемся словами колумбийского писателя, несколько переиначив их, — «тысяча лет культуры». Это только на первый взгляд кажется, что Демоны, сломавшие крылья, исчезли. Нет, они здесь, они живут, как та «нечисть небесная» у Михаила Булгакова, рядом с нами, среди нас, и смотрят, что будет с человеком. XX век перенаселен всемирной историей и всемирной культурой, он напрягся от ярости противоречий, словно перед взрывом, качественным скачком — но куда?! Шагаловский Полет не имеет аналогов лишь в том смысле, что в искусстве каждый моцартовский порыв — всегда впервые, но за ним, конечно же, полеты богов. Только в своих поздних картинах, смешав ангелов и людей, Шагал пояснил нам источники и поэтику своего искусства, те же источники и ту же поэтику, что лежат в основе мира Гарсиа Маркеса. Библия, античность, средние века, Ренессанс, барокко... Помните полуангела-полукозла, явившегося в Макондо? Кто у кого в гостях? Павшие ангелы у людей или наоборот?

Шагаловская «витебщиана» кончается примерно тем же, чем и гарсиамаркесовская «макондиана», — апокалипсисом. Помните последние картины Шагала, Моисеевы скрижали — и взрыв Макондо?

Апокалипсическая тема всегда была ответом искусства на страхи времени перед Великой Метаморфозой. Вспомним Босха, актуальнейшего сегодня художника, разве мы не узнаем в нем Дали? В финале «Ста лет одиночества», перед рождением ребенка-свиненка, мы попадаем в публичный дом для животных — сама опоганенная развращенная природа. Как тут не вспомнить Босха, его причудливых полулюдей-полунасекомых? Та же извращенная природа предстает перед нами в финале последнего романа Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы» — вырубленные леса, истребленные животные, отравленные воды...

Предупреждение? Конечно. Большинство крупных произведений Гарсиа Маркеса имеет предупредительный финал: «Сто лет одиночества», «История одной смерти, о которой знали заранее» [1]. «Осень патриарха» (несмотря на праздничную концовку), «Любовь во время чумы». Лев Аннинский [1], который столь остро прочувствовал родство Гарсиа Маркеса и нашей жизни, посчитал его пессимистом. Я думаю, моцартовское искусство не может быть пессимистичным, так как оно от самой завязи жизни, а пессимизм — разновидность догматического мировосприятия. «Сто лет одиночества» закончились взрывом, иначе и не могло быть. А дальше? Немота? Небытие? Нет, там видение: на месте Макондо город с «прозрачными стенами», Град Человеческий, как говорил Алехо Карпентьер. Синонимичные идеи-образы (храм, собор, достоевский «хрустальный дворец») — это сердцевина культуры и истории человечества. Только на пути к этому Граду и остается человечество человечеством. «Какая улица ведет к Храму?» — спросил нас всех недавно с экранов кинотеатров режиссер Тенгиз Абуладзе, автор фильма «Покаяние». Быть может, мы еще не знаем, какая к нему ведет, но мы уже точно знаем, какая к нему не ведет. Платонов нам уже показал в «Котловане», каким окажется качество его строительства, если фундамент будущего будет скреплен составом «слезинки ребенка». Помните Достоевского? В рассказе Гарсиа Маркеса «Там, за любовью — неизбывная смерть» действует Политик-фокусник, который, соблазняя наивный народ голосовать за него, показывает ему мазанные пестрыми красками по фанере проекты будущего «города счастья». Фанерный и хрустальный города. И в политике, и в искусстве есть свои Моцарты и свои Сальери.

Нет, Гарсиа Маркес стал в 70-е годы у нас своим писателем не потому, что в нем учуяли «родной пессимизм», а потому, что в нем учуяли «родную волю». О нехватке творческой свободы, воли как главной беде нашей литературы писал Владимир Гусев в «Литературной газете». Не может быть Воля пессимистичной, она может быть трагичной, как «Реквием» Моцарта.

Или Моцарт, или Сальери. Сегодня опасность номер один и для нашей жизни, и жизни всемирной, когда все смыслы собираются в единый Смысл, когда весь мир собирается в единый Мир,— это Догматизм, способный перекрыть путь к Великой Метаморфозе. Творческая Воля жизни — это поливариантность, многообразие; догматизм — это стесывание всего сущего под единую мерку, под единообразие. Сегодня Догматизм опасен смертельно, за ним — Яма.

История дала нам шанс. Не мы ли сами взяли у нее аванс для Полета? Как мы им распорядимся? Вспомним Сальери — и он еще страдает при этом! — насыпающего яд в бокал с вином. Пушкин нас предупреждает.

---

[1] В «ИЛ» (1981, № 12) печаталась под названием «Хроника объявленной смерти».

[1] Имеется в виду статья Л. Аннинского «Феномен Гарсиа Маркеса» («Латинская Америка», 1987, № 8). См. о ней подробнее в рецензии Н. Груздевой и Е. Злобиной на с. 241—242 этого номера «ИЛ».

◆

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ*

Вопрос: Когда вас спрашивали, какая книга принесла вам наибольшее удовлетворение, вы всегда называли «Полковнику никто не пишет». Придерживаетесь ли вы теперь прежнего мнения?

Ответ: Дело в том, что мы всегда испытываем слабость к последней книге, как и к последнему ребенку. Действительно, я всегда считал своей лучшей книгой «Полковнику никто не пишет»: именно в ней я пришел к тому, к чему хотел прийти, именно в ней точно воплощен мой замысел, а ведь известно, как это важно для писателя. К тому же, после «Ста лет одиночества» у меня появилось что-то вроде обиды, некая ревность из-за той книги, которую я всегда любил и которая была оттеснена на задний план лавиной читательского интереса к «Ста годам одиночества». Это, кстати, весьма любопытное явление, заслуживающее изучения. Думаю, что легкость для чтения и соблазнительность тем «Ста лет одиночества» повлияли на отношение к роману. Но как бы то ни было, я считаю, что «Полковнику никто не пишет» продолжает оставаться очень крепко сделанной литературной работой, а это то, к чему мы, писатели, всегда стремимся.

Ну так вот, после выхода в свет «Истории одной смерти, о которой знали заранее» в некоторых интервью я говорил, что именно она — моя лучшая книга. Не надо забывать, что этот роман написан через двадцать с лишним лет после «Полковнику никто не пишет». Кое-чему можно научиться, когда долго пишешь, можно научиться писать. Мне кажется, что «История» в какой-то мере подводит итог всему, что найдено в предыдущих книгах.

Вопрос: А чего больше в этой книге: реальности или фантазии?

Ответ: Процентное соотношение установить довольно трудно. В любом случае незыблемой основой всех моих книг является реальность, ни в одной моей книге нет строчки, которая не уходила бы корнями в реальность. Что касается «Истории одной смерти», то она построена не из элементов действительности, собранных в разных местах или в разных ситуациях. Это цельный эпизод, взятый из жизни: то, о чем рассказывается в «Истории одной смерти», случилось на самом деле. Единственное, что добавил я,— это литературная обработка.

Я всегда чередовал занятия литературой и журналистикой и всегда меня занимала проблема различий между ними. Они существуют, они совершенно очевидны и вместе с тем, на мой взгляд, они неоправданны, потому что их, этих различий, быть не должно. Как журналистика, так и литература — когда я говорю о литературе, я имею в виду прежде всего романы — питаются из одних источников. Различаются методы изображения, но, по сути, они должны быть одинаковыми. Ведь цель одна и та же: передать, рассказать, убедить. Поскольку я всегда занимался одновременно и литературой и журналистикой, я мечтал о слиянии этих двух профессий. Кажется, это мне удалось в «Истории одной смерти». Я сказал бы, что с точки зрения журналистики — это репортаж, но репортаж «олитературенный», или, если хотите, литературный репортаж. Не потому что в нем содержится большой процент реальности, а потому что это сама реальность, подвергнутая литературной обработке.

Вопрос: Бытуют два мнения относительно вашего романа «Осень патриарха». Первое: роман был написан на одном дыхании; второе: писался он труднее, чем другие ваши произведения. Какое из них справедливо?

Ответ: Единственная из моих книг, действительно написанная на одном дыхании,— «Сто лет одиночества», работал я над ней восемнадцать месяцев. При этом у меня не было никаких заминок, никаких колебаний. Иными словами, если бы существовала физическая возможность восемнадцать месяцев просидеть за машинкой, книга была бы написана в один присест. Не было ни поправок, ни сомнений — вся книга уже целиком сложилась, когда я сел ее писать.

С «Осенью патриарха» получилось как раз наоборот, и я не хотел бы, чтобы когда-нибудь со мной повторилось нечто подобное, эту книгу пришлось «выдавливать» по букве. Сначала надо было изобрести особую манеру письма — ставить одну букву вслед за другой. А найти следующую букву в «Осени патриарха» всегда было ужасно трудно. И я знал, что так будет: это была книга которую мне очень хотелось написать, книга, на мой взгляд, целиком экспериментальная.

Если в «Истории одной смерти» я сделал некую попытку найти среднее между литературой и журналистикой, то в «Осени патриарха» главное — эксперимент поэтический стремление показать самому себе, до какой степени роман может стать сродни поэзии. В голове и в набросках у меня был готов весь материал, все то, что я хотел рассказать. Но найти тональность, повествовательную систему для «Осени патриарха» стоило мне поистине тяжелейшего труда. В дни когда дело шло хорошо, я писал по четыре-пять строчек, которые, как правило, на следующий день перечеркивались. Надо было выдерживать заданную тональность, ритм; кроме того, я не сразу нашел композиционное решение, которое соответствовало бы замыслу. При линейной композиции роман стал бы бесконечным, гораздо более скучным, чем то, что получилось. Тогда я подумал, что подходящей фигурой была бы спираль, опрокинутая вершиной вниз и с каждым витком все глубже проникающая в действительность. Вышла экспериментальная книга, относительно которой критики здорово запутали читателей. Они часто приписывают моим книгам нечто свое и этим только препятствуют непосредственному читательскому восприятию. Многие прочитали кри-

* Интервью опубликовано в «Гасета де Куба», 1987, январь.

тические статьи раньше, чем книгу, и это помешало им найти верный подход к ней. Но прошел первый испуг — и оказалось, что читать книгу очень легко; глаза читателя должны привыкнуть к темноте, и тогда все станет видно очень явственно. У меня выработана «система защиты» для каждой из моих книг, ведь они — мои дети, и я готов сражаться за них.

Вопрос: Вы согласны с Хемингуэем, что вдохновение приходит во время работы?

Ответ: Да, вдохновение приходит, на мой взгляд, только во время работы. Существует романтическая концепция: вдохновение — нечто вроде божественной благодати, с ним работается лучше, чем когда его нет. Моя концепция вдохновения гораздо более «рабочая». Думаю, нас действительно посещает особое состояние воодушевления, когда все вдруг начинает получаться, как будто на самом деле существует магическая благодать, как будто кто-то тебе диктует. Но это состояние не может прийти к тебе ни на улице, ни в постели, это случается, лишь когда работаешь. Наступает мгновение, когда слияние с темой становится таким, что и в самом деле владеешь темой больше, чем она владеет тобой. В такие мгновения мысли рождаются в голове так свободно, что меняется даже душевный настрой, чувствуешь себя словно парящим в каком-то сверхъестественном состоянии. Это и есть вдохновение, попросту — настоящее вживание в работу. В этом, я думаю, Хемингуэй был совершенно прав. Но стоит вспомнить и слова, приписываемые Прусту: книги — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота.

Вопрос: Легенды, окружающие имя Гарсиа Маркеса, утверждали, что после «Ста лет одиночества» ему уже не написать новой книги. Вы это опровергли, опубликовав другие свои романы. Будете ли вы продолжать разрушать этот миф?

Ответ: Идея, которая у меня сейчас зреет — уже очень скоро я начну ее разрабатывать,— как раз и является ответом на этот вопрос. Я буду делать книгу, где расскажу, как написал свои книги. Постараюсь совершенно чистосердечно открыть читателю, какова реальность, стоящая за реальностью моих книг, какова реальность, стоящая за вымыслом, каково происхождение каждого эпизода, каждого персонажа. Во-первых, я понял, что литературные проблемы волнуют людей гораздо больше, чем принято считать. Обычно думают, что проблемы эти интересуют лишь профессионалов, писателей преподавателей, то есть читателей особого рода, а выходит, что нет. Я сталкиваюсь с тем, что каждый раз, как я в любом кругу, на любом уровне принимаюсь рассказывать, что стоит за моими книгами, откуда они идут, каковы их связи с реальной жизнью,— людям это интересно. Вот я и начал (уже много лет назад) делать об этом заметки; чувствую, что внутри каждого романа есть еще один роман. И этот-то «роман внутри романа» я и хочу написать. Я долго ходил вокруг да около, зная, что дело это — по-настоящему серьезный анализ собственных книг и очень добросовестная работа о собственной жизни — очень долгое и сложное. Можно, пожалуй, назвать его научно-исследовательским трудом. Но результат должен быть литературным. Это ни в коем случае не будет эссе или критической статьей — должен получиться роман о романе. Думаю, что писать такой роман будет очень занятно. И надеюсь, что будет очень занятно и читать его. Работа предстоит довольно трудная, так как мне рисуются многие тома.

Вопрос: Фолкнер всегда писал на голубой бумаге. Гёте — сидя на деревянной лошадке. Достоевский — шагая по комнате. А как пишет Гарсиа Маркес?

Ответ: Вот Хемингуэй, например, писал стоя. У каждого писателя, наверное, всегда есть свои причуды. Но по-моему, все это лишь предлоги, чтобы не писать. Иными словами, человек ставит перед собой всякого рода препятствия, лишь бы не садиться писать. Мне, по крайней мере, внушает ужас мысль о том, что надо сесть за пишущую машинку. Я поглядываю на нее, кружу вокруг, говорю по телефону, хватаюсь за газету — тяну время, чтобы не остаться с машинкой один на один, но в конце концов это случается. Между пишущей машинкой и собой человек воздвигает поистине бесконечное множество препятствий. Сначала, и довольно долго, я мог писать лишь в комнате, которую называл «горячей», всегда при одной и той же температуре. Дело в том, что начал я писать в тропиках, у Карибского моря, при температуре в тридцать градусов, и мне стоит больших трудов писать при другой. Когда я приезжаю в страны, где чередуются времена года, я поддерживаю в комнате на протяжении всего года эту температуру... Кроме того, должна быть белая бумага почтового формата... Должна быть электрическая пишущая машинка с черной лентой. Исправления должны делаться только черными чернилами. Вот целый набор маленьких причуд, которые, конечно же, относятся к разряду препятствий, возводимых перед самим собой. Однажды ты говоришь себе: «Не могу писать, потому что кончилась нужная бумага, не могу писать, потому что остались только синие чернила». Идет постоянная внутренняя борьба, изобретаются все новые причуды. Я отношусь к ним со вниманием, потому что они, в конце концов, тоже часть нашей жизни, хотя борюсь с ними постоянно. Есть, однако, нечто такое, что заставляет о них забыть,— это журналистика. Журналистика обязывает тебя прибежать, сесть за машинку и писать, потому что к назначенному часу все должно быть готово, писать в гостиницах, где угодно, при любой температуре, в любых условиях.

Главной моей бедой было то, что между одной и другой моей книгой образовывался большой временной разрыв. Случалось, что закончив одну книгу, я долго не мог приняться за другую. И рука у меня совершенно остывала, но зато накапливались новые причуды, «помогавшие» снова и снова откладывать работу. Есть вещи, за которые я мог бы взяться двумя годами раньше, а у меня эти два года уходили на изобретение поводов для отсрочек. Тогда я придумал способ, к которому теперь и прибегаю,— еженедельная, каждую пятницу, колонка для

выходящей в Боготе газеты «Эспектадор». Колонка должна появляться неизменно каждую пятницу — это для меня настоящая пытка, никто не просил меня делать над собой такое усилие. Но это вынуждает меня писать...

Журналистика помогает писателю не только тем, что поддерживает живую искру в работе, она обеспечивает постоянный контакт со словом, а главное — постоянный контакт с жизнью. В тот день, когда писатель утратит связь с действительностью, он перестанет быть таковым. Занимаясь журналистикой, этот контакт сохраняешь, а вот литературная работа, напротив, все дальше и дальше уводит нас от жизни. Слава же вообще рвет последние нити, и если упустишь момент, окажешься под непроницаемым колпаком, навсегда лишившись способности понимать, что происходит вокруг. В подобных случаях журналистика — лучшее средство, она заставляет покинуть башню из слоновой кости и взглянуть на мир, в котором живешь. Именно поэтому я большой приверженец журналистики. Хотя, возможно, такое решение верно лишь для меня. Ведь в свое время я оставил журналистику — когда она отнимала у литературного творчества лучшие часы, отвлекая меня от основных литературных тем. Но как только с литературой все пошло на лад, я вернулся к журналистике и занимаюсь тем, что называю «идеальной журналистикой»: пишу когда хочется, выбирая по своему усмотрению темы и форму. Если что-то не печатают, мне это совершенно безразлично. Да к тому же — и печатают ведь...

Вопрос: Наше интервью, видимо, подходит к концу?

Ответ: Большинство интервью обладает одним недостатком. Как правило, все они хороши до определенного момента. И спрашивающий и отвечающий увлекаются и не могут закончить беседу вовремя. Интервью получается слишком длинным. Наше, по-моему, вышло сжатым, и мы коснулись действительно новых тем.

Перевод с испанского Н. БОГОМОЛОВОЙ

◆

Зарубежная литература в СССР

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Вести дождя. Стихи поэтов ФРГ и Западного Берлина. Перевод с немецкого. Составление В. Вебера. 431 с.

Йокаи М. **Черные алмазы.** Роман. Перевод с венгерского Е. Тумаркиной, Т. Воронкиной. 399 с.

Пим Б. **Несколько зеленых листьев.** Роман. Перевод с английского Н. Емельянниковой, Е. Осеневой. 318 с.

Современная датская новелла. Перевод с датского. Составление Э. Переслегиной, С. Тархановой. 478 с.

«РАДУГА»

Английский политический детектив. Э. Бивор. **В интересах государства.** Р. Хоуки. **Побочный эффект.** Б. Клив. **Жестокое убийство разочарованного англичанина.** Перевод с английского. 592 с.

Белькампо. **Избранное.** Новеллы. Перевод с нидерландского. Составитель А. Орлов. 392 с.

аль-Куни И. **Глоток крови.** Рассказы. Перевод с арабского. Составитель И. Ермаков. 214 с.

Кьяра П. **Увижу ли я Сингапур?** Роман, рассказы. Перевод с итальянского. Составление, послесловие Е. Сапрыкиной. 256 с.

Люди земли. Современная проза Ориссы. Перевод с языка ория, составление Б. Карпушкина. 391 с.

Обладатель кубка. Современная алжирская проза. Перевод с французского. Составитель С. Прожогина. 446 с.

Соло для оркестра. Чехословацкий рассказ. 70—80-е годы. Перевод с чешского, словацкого. Составитель О. Малевич. 525 с.

Тараки Н. М. **Повести.** Перевод с пушту. 256 с.

Факину Э. **Астрадени.** Роман. Перевод с греческого Н. Подземской. 231 с.

Шойинка В. **Интерпретаторы.** Роман. **Аке, годы детства.** Повесть. **Смерть и конюший короля.** Пьеса. Перевод с английского. Составление А. Словесного. 539 с. (Мастера современной прозы. Нигерия)

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Корни баньяна. Поэтический сборник. Перевод с хинди. Составитель А. Кумарджайн. 95 с.

Суббота, которая никак не приходит. Новеллы Латинской Америки. Перевод с испанского, португальского. Составитель М. Былинкина. 367 с.

Фрид Э. Избранное. Перевод с немецкого В. Куприянова. 63 с. (Современная зарубежная лирика)

Критика

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

В ПРИЗРАЧНОМ МИРЕ БЮРОКРАТИИ

Франц Кафка и его роман «Замок»[1]

Оковы страдающего человечества сделаны из канцелярской бумаги.

Франц Кафка

В рассказе Анны Зегерс «Встреча в пути» описано удивительное событие: в одном из пражских кафе встретились Э. Т. А. Гофман, Гоголь и... Кафка. Историческая перспектива сдвинута, прошлый век наложен на начало нынешнего — литературный прием тем более оправданный, что речь идет о писателях, охотно прибегавших к аналогичным приемам. Герои, естественно, ведут разговор о литературе. Гофман упрекает Кафку в схематизме: «У Вас, опасаюсь я, нет людей из плоти и крови, с плохими или хорошими качествами. Вашим созданиям ведомо только одно определенное чувство, которое время от времени может возникнуть у каждого... Ваши люди выдуманы, чтобы быть носителями этих чувств». А вот более серьезное замечание, касающееся уже не формы, а содержания творчества, своего рода исповедь Кафки: «Я закостенел в смертельном страхе. Распалась монархия Габсбургов, а я думал только о себе. Масарик занял Градчаны. А я думал только о себе. Революция неслась по странам. А я думал только о себе». Читатель, только что перевернувший последнюю страницу «Замка», находящийся под свежим впечатлением от романа, не может не согласиться с тем, что здесь схвачены существенные моменты, хотя самобичевание Кафки выглядит утрированным Разговор писателей идет на равных. Зегерс видит в Кафке преемника Гофмана и Гоголя, который «расплачивается по их счетам». Эта метафора реализована вполне в духе Кафки: в заключительной сцене, когда кельнер приносит счет. Царские рубли Гоголя потеряли цену, прусские талеры Гофмана тоже не в ходу, за угощение платит Франц Кафка. Упоминается в рассказе и «Замок». Кафка как раз работает над романом, когда в кафе приходят его собеседники. Он рассказывает о своем замысле, и Гофман интересуется, не имеет ли автор в виду пражский Град, где разместилось правительство Масарика. Кафка отвечает: «Нет, об этом я не думал».

Ответ примечателен. Первое, что следует усвоить читателю «Замка»,— действие романа происходит в Австро-Венгрии до ноябрьской революции 1918 года. Кафка родился и вырос в Праге при Габсбургах, здесь сформировалось его мировоззрение, здесь прошла большая часть его жизни. И о чем бы ни писал Кафка, как бы абстрактны ни были ситуации в его произведениях, в них всегда в той или иной степени угадываются реальные черты жизни габсбургской монархии. Другое дело, что распад одного империалистического государства помог ему подметить, почувствовать, пережить некоторые явления, характерные для гибнущего империализма, которые проявились в полной мере лишь в последующую эпоху. Но такова уж судьба художника.

На политической карте Европы «двуединая» австро-венгерская монархия являла собой уродливый и уникальный анахронизм Это был не союз двух государств и не две части одного государства. Австрийский кайзер одновременно выступал в роли венгерского короля. Иностранные державы имели дело с Австро-Венгрией, но подданство было либо австрийским, либо венгерским, во внутренних делах сохранялась полная са-

[1] О творчестве Кафки см.: Е. Книпович. Франц Кафка. «Иностранная литература», 1964, № 1; Б. Сучков. Лики времени. М., 1969; Д. В. Затонский. Франц Кафка и проблемы модернизма. Изд. 2-е. М., 1972. *(Здесь и далее прим. автора статьи.)*

мостоятельность. Существовало два парламента, каждый из них выделял «делегацию» для контроля за общими министерствами (внешние сношения и вооруженные силы). Делегации заседали попеременно в Вене и Пеште, но никогда совместно — общались друг с другом только с помощью переписки.

В качестве венгерских королей Габсбурги носили титул «апостолических величеств» и видели в католицизме одну из главных опор своего благоденствия. Но главный культ, обязательный для подданных многоконфессиональной монархии, где были представлены все европейские верования вплоть до мусульманства, выглядел иначе. Имя ему — чиновничество. В бесчисленных департаментах, ведомствах, канцеляриях священнодействовали подлинные вершители судеб огромной державы. Здесь был свой ритуал, свой намертво заведенный порядок, свой язык. Этот призрачный мир канцелярских бумаг редко соприкасался с реальной действительностью, главным образом тогда, когда на горизонте мерещилась угроза параграфам закона или предписаниям начальства, когда надо было применять насилие. Законов в Австро-Венгрии издавалось великое множество — трудно было найти законника, знавшего их все.

Кафке рано пришлось столкнуться с социальными коллизиями. В детстве он часто бывал в деревне Воссек, откуда родом был его отец, где жил его дед, видел нужду чешских крестьян под гнетом немца-помещика. Ситуация, воспроизведенная в романе «Замок», где, по-видимому, и описан замок Воссек. По другой версии — это замок Фридлянд; по меньшей мере полдюжины чешских деревень — бывших немецких поместий, где когда-либо оказывался Кафка,— претендуют на то, чтобы считаться прообразом селения, описанного в романе, по этому поводу возникла даже специальная дискуссия; но главное, конечно, состоит в том, что в романе воссоздана характерная картина: помещичья административная камарилья, с одной стороны, и бесправные чехи-крестьяне — с другой.

В торговом предприятии отца-деспота, третировавшего своих служащих, Кафка видел, как складываются отношения между людьми в буржуазном мире. «Вещи, которые вначале мне казались естественными, мучили меня и внушали стыд, особенно твое обращение с персоналом...— писал он впоследствии отцу.— Ты называл служащих «оплачиваемыми врагами».

В 1906 году Кафка заканчивает университет и защищает диссертацию. Доктор права Франц Кафка работает в суде, страховом обществе, а в 1908 году становится чиновником ведомства по страхованию рабочих от несчастных случаев на производстве. Его обязанности состояли в контроле за техникой безопасности, он добросовестно их выполнял и сравнительно быстро продвигался по службе; к выходу на пенсию (1922) Кафка уже занимал высокий пост.

Работа в страховом ведомстве раскрыла писателю глаза на язвы капиталистического производства. Как и на предприятии отца, симпатии Кафки — на стороне угнетенных. «Как скромны эти люди,— говорил он своему другу,— они приходят к нам с просьбами. Вместо того чтобы штурмовать нашу контору и разнести ее вдребезги, они приходят с просьбами» [2]. А вот запись из дневника с характерной для Кафки острой реакцией на происходящее: «Расплакался, читая отчет о суде над двадцатитрехлетней Марией Абрахам, которая из-за нужды и голода задушила мужским галстуком, служившим ей подвязкой, своего девятимесячного ребенка Барбару. Весьма типичная история» [3].

Кафка, разумеется, был способен и на другие проявления чувств. Нравы австрийского чиновничества вызывали у него издевательский смех. Однажды, рассказывает Кафка в письме к невесте, на торжественном приеме у главы учреждения, его стал разбирать хохот. Три сотрудника, в том числе и писатель, получили повышение и явились в черных костюмах благодарить начальство. Старший из них произнес речь. «Президент слушал в своей обычной, невероятно смешной позе, которую он принимает в торжественных случаях и которая немного напоминает нашего императора во время аудиенций. Ноги скрещены, левая рука сжата в кулак и опирается о край стола, голова слегка наклонена, так что седая борода упирается в грудь, при этом он слегка покачивает хотя и не очень большим, но все же достаточно выдающимся животом. Я был тогда, наверно, в веселом настроении, так как поза директора, мне хорошо известная, сама по себе не могла вызвать приступы смеха, которые стали меня одолевать и которые я пытался маскировать покашливанием, тем более что директор не подымал глаз. Когда речь кончилась, президент поднял голову, тут меня на мгновение охватил ужас, так как теперь он мог видеть мои гримасы и сообразить, что издаваемые мной звуки не были кашлем. Затем он заговорил; это была ответная речь, обычная, всем известная, типично императорская, абсолютно нелогичная и бессмысленная. Мои коллеги искоса бросали на меня тревожные взгляды, и хотя я пытался себя успокоить, но все это меня опять так рассмешило, что я уже не мог больше сдерживаться. Сначала пытался хохотать только по поводу мелких содержащихся в речи шуток, которые у нас принято встречать выражением почтения на лице, но затем уже ржал без остановки... Наступила всеобщая растерянность, только президент сохранял еще относительное спокойствие. Большой человек, он привык ко многому на свете, но не мог допустить даже возможности неуважительного отношения к себе». Однако в конце концов сановный чиновник смешался. «С присущей подобного рода людям способностью сглаживать острые углы, он произнес какую-то фразу, которая кое-как объясняла мои пароксизмы сказанной им шуткой. Затем он поспешно отпустил нас. Непобежденный, содрогаясь от хохота, до смерти несчастный, я первым выле-

[2] M. Brod. Franz Kafka. Frankfurt/Main, 1963, S. 87.

[3] F. Kafka. Tagebücher. N. Y., 1949, S. 307.

тел из кабинета»[4]. Отголоски этого смеха слышны во многих произведениях Кафки, где речь идет о бюрократии, в первую очередь в «Замке».

В предвоенные годы Кафка — частый гость в доме Берты Фанта, где собиралась пражская интеллигенция, где бывали А. Эйнштейн, Ф. Франк. Здесь изучали «Феноменологию духа» Гегеля, «Критику чистого разума» Канта, спорили о психоанализе и теософии, слушали лекции по теории относительности. Кафка посещает и социалистические кружки, которые позднее вошли в состав КПЧ. Писатель знакомится с Ярославом Гашеком и Станиславом Косткой Нейманом — одним из будущих основателей компартии. Произведения Кафки привлекают внимание Неймана, который публикует их в переводе на чешский.

Когда началась первая мировая война, Кафка не был призван на военную службу как чиновник, занимавший ответственный пост. Впоследствии у него возникла мысль отправиться на фронт, но не по патриотическим соображениям, а чтобы вырваться из жизненных неурядиц. К войне и милитаризму он питал нескрываемое отвращение. С неприязнью наблюдал писатель за взрывом националистических страстей, охвативших австрийскую буржуазию. Среди записей военных лет можно найти иронические зарисовки надутых прусских офицеров, заметки об австрийских поражениях, рассказы очевидцев об ужасах войны, но нет ни следа русофобства; более того, увлеченный русской культурой, Гоголем, Достоевским, Толстым, Кафка с исключительной симпатией отзывается о нашей стране.

Писать Кафка начал еще на университетской скамье. Его первые произведения увидели свет в 1909 году. С тех пор почти все свободное время он уделяет литературному творчеству. После службы, которая заканчивалась в два часа дня, он приходил домой и ложился спать, а вечером для него начинался новый «рабочий день» — он садился за письменный стол, из-за которого вставал лишь поздно ночью, а иногда под утро. Переутомление и бессонница были естественным следствием подобного образа жизни.

Литература стала его призванием, но Кафка долго не находил в себе сил порвать с опостылевшей службой. Родители хотели, чтобы свободное время он уделял торговому предприятию отца. Мысль о необходимости заниматься коммерцией чуть не доводит писателя до самоубийства. Кафка в отчаянии от «ужасной, двойной жизни, из которой, по-видимому, есть только один выход — сумасшествие»[5]. Ясности рассудка он, правда, никогда не терял, но к тридцати четырем годам уже был болен туберкулезом.

Формально Кафку можно отнести к плеяде немецких писателей Праги (Рильке, Мейринк, Верфель, Киш, Брод), но они имели между собой мало общего, а Кафка в отношениях с ними (кроме Брода, частично Верфеля) держался особняком. Вообще духовное одиночество с годами все больше становилось его уделом. Об этом красноречиво пишет Г. Андерс: еврей Кафка был чужим в христианском мире; еврей-атеист, он не был вполне своим среди евреев. «Уроженец Чехии, он не был своим в Австрии. Чиновник страхового ведомства, он не был вполне буржуа. Сын буржуа, он не был вполне трудящимся. И службе он принадлежал не полностью, так как чувствовал себя писателем... А дома, сообщал он отцу своей невесты: «я более чужой, чем любой посторонний»[6]. Здесь, конечно, многое преувеличено, но все же суть схвачена верно, и это дает возможность понять некоторые психологические мотивы, заставлявшие писателя смотреть на жизнь как бы со стороны, глазами чужака, остро подмечать ее противоречия и нелепости.

Заветной мечтой Кафки было создать свою семью, воспитывать детей. Он дважды был помолвлен с Фелицей Бауэр, но женитьба так и не состоялась. «Главным, что удержало меня, были соображения относительно моей литературной работы, так как я думал, что брак ей помешает». Но гораздо убедительнее звучит другое место из дневника, где писатель жалуется на то, что никто из близких по-настоящему не может его понять и его невеста «не понимает, пожалуй, ровным счетом ничего»[7].

Помолвка с Юлией Вохрызек была также расторгнута. Вскоре после того как она состоялась, Кафка познакомился с Миленой Есенской — журналисткой и переводчицей его произведений на чешский язык. Этой женщине суждено было сыграть значительную роль в его жизни. Их отношения не завершились браком потому, что Милена не нашла в себе сил оставить мужа.

(Сюжетная линия романа «Замок», К.— Фрида, в известной мере отражает историю взаимоотношений писателя и Милены Есенской; сюда врываются также явные реминисценции помолвки с Фелицей Бауэр. В образе Кламма биографы усматривают некоторые черты мужа Милены, каким он представлялся Кафке. Юлия Вохрызек — прототип Ольги.)

Только за год до смерти он встретил девушку, которая фактически стала его женой. Официальной регистрации брака помешало противодействие отца Доры Димант, для которого Кафка не был достаточно благочестивым евреем[8]. Дора Димант оставалась с Кафкой вплоть до его последних минут. Они прожили вместе около года, ко времени их знакомства Кафка был уже

---

[4] F. Kafka. Briefe an Felice, Frankfurt/Main, 1967, S. 240.

[5] F. Kafka. Tagebücher, S. 41.

[6] G. Anders. Franz Kafka. Pro et contra. München, 1963, S. 18.

[7] F. Kafka. Tagebücher, S. 365, 475.

[8] О том, что Кафка и Дора Димант считали себя супругами, автору этих строк сообщил второй муж Доры, Людвиг Ласк. Вплоть до нового замужества Дора подписывалась двойной фамилией Димант-Кафка. В 1929 году она вступила в Коммунистическую партию Германии, после прихода фашистов к власти принимала активное участие в подпольной работе /в частности, переводила для нелегальной коммунистической газеты статьи из «Правды»/. С 1936 по 1939 год жила в Советском Союзе, затем уехала в Англию, где скончалась в 1952 году.

обречен. Он умер 3 июня 1924 года в санатории Кирлинг (Австрия); похоронили его в Праге.

На смерть Кафки орган КПЧ «Руде право» откликнулся некрологом: «Скончался немецкий поэт, чуткий и чистый мыслитель, который, ненавидя этот мир, рассекал его острым скальпелем разума. Кафка раскрывает механизм общества, он видит нищету одних, власть и богатство других. В своих произведениях в сатирической художественной форме он атакует сильных мира сего»...

Томас Манн писал о романе «Замок»: «Я уже давно считаю, что это произведение... принадлежит к самым захватывающим явлениям в области художественной прозы. Фактически его нельзя ни с чем сравнивать» [9].

Манн прав в том смысле, что нельзя найти в предшествующей литературе ничего подобного ни по творческой манере, ни по идейному содержанию; «Замок» — плоть от плоти своей эпохи. И вместе с тем этот роман определенным образом вписывается в чешскую литературную традицию. В частности, его можно сопоставить с «Бабушкой» Божены Немцовой.

По книге Немцовой в немецких гимназиях Праги изучали чешский язык, Кафка хорошо знал и любил творчество писательницы, несмотря на все различия их литературной манеры и взглядов на жизнь. В истории искусства нередки случаи, когда художник ценит больше всего мастера, составляющего его полную противоположность, он любит в другом то, к чему стремится, но не может достигнуть. Таково отношение Кафки к Немцовой.

В повести Немцовой, как и потом в романе Кафки, деревня и замок —два различных мира. Деревенским жителям, если они попадают в господские покои, трудно разобраться, что к чему: «Там не было никакого порядку. То бежит слуга в ливрее, то горничная вся в шелку, то идет разряженный пан — один, другой, третий... И все высоко задирают нос, и выступают, словно паны, которые одни имеют право гулять на лужайке. Если кто из них здоровался с бабушкой, бросив небрежно «гутен морген» или «бонжур», бабушка конфузилась и не знала, следует ли ей ответить «Во веки веков» или «Дай-то господи». Долго потом вспоминала она дома: «Ну, в этом замке сущий содом!»

Но как легко устанавливаются связи между этими двумя мирами! Бабушка, приехавшая в деревню, при первой же встрече с помещицей-княгиней очаровывает ее; на следующий день она уже гостья замка, и до конца книги остается нерасторжимым этот союз двух добрых сердец. Как быстро наказывается здесь порок и торжествует добродетель! Некий итальянец (прообраз Сортини в «Замке»?) пристает к деревенской девушке, но парни быстро отваживают его, вымазав в дегте. Правда, в результате этой истории жених красотки попадает в солдаты, но княгиня, узнав подробности, немедленно соединяет влюбленных. У Кафки подобные прямые ходы исключены.

[9] Th. Mann. Briefe. Berlin, 1965, S. 178.

И дело тут не только в различии мировоззрения и творческой манеры, но также и в различии исторических условий. Чехия 1855 года, когда была написана «Бабушка», и Чехия начала XX века, когда возникал «Замок»,— тоже два различных мира. За эти десятилетия вся Европа сделала скачок в эпоху империализма, что означало для Чехии, для Австро-Венгрии в целом, обострение социальных противоречий, усиление административного гнета. В причудливой, предельно условной форме это нашло отражение в романе Кафки: Замок — символ подавляющей человека, разросшейся до гигантских размеров чиновничьей машины. Разветвленная сеть замковых канцелярий опутала Деревню. Жители Деревни подавлены, угрюмы, они боятся друг друга, с опаской смотрят на пришельцев. «Нам гостей не надо»,— говорят здесь вновь прибывшему и стараются не иметь с ним дела. Все живут в страхе перед Замком и его обитателями. А там день и ночь кипит бумажная работа: учиняются расследования, составляются протоколы, фабрикуются циркуляры, ведется бесконечная переписка.

В романе есть примечательный эпизод. Дочь сапожника Ольга рассказывает о несчастье, свалившемся на ее семью. Сестра Ольги, Амалия, приглянулась одному из чиновников, Сортини,— лицу весьма важному. И вот его курьер принес письмо, составленное в непристойных выражениях, с требованием к Амалии немедленно явиться в деревенскую гостиницу. Возмущенная девушка тут же порвала письмо на мелкие клочки и бросила их, о ужас, в лицо посыльному — персоне официальной, находящейся при исполнении служебных обязанностей. Для Амалии и ее близких это стало началом конца. Вокруг семьи образовался вакуум — все отшатнулись от нее. Отец Амалии — процветавший ремесленник — остался без заказов, подмастерье покинул его, даже пожарная команда, образцовым членом которой он являлся, исключила беднягу из своих рядов. Несчастный в отчаянии обивает пороги приемных, дает взятки, молит о прощении. Однако перед ним стена; его не хотят слушать и выпроваживают вон с непонимающим видом.

Если верить чиновникам Замка, семейство Ольги само себе враг: никто его не собирался наказывать. Но в том-то все дело, что в обстановке произвола простой человек терроризирован атмосферой всеобщего подавления, дрожит, даже непосредственно не сталкиваясь с насилием. Замку не нужно ничего специально предпринимать: созданная им система срабатывает безукоризненно.

Сильнее всего действие этой системы сказалось в сознании самих пострадавших. Окружающие, первоначально в страхе отшатнувшиеся от семьи Ольги, в дальнейшем были готовы пойти навстречу. «И если бы мы,— рассказывает Ольга,— снова вышли на свет, оставили прошлое в покое, показали всем нашим видом, что мы замяли это дело, не важно, каким именно способом, и убедили бы общественное мнение, что обо всей этой истории, в чем бы она ни заключалась, больше никогда не будет и речи, тогда все могло бы уладиться, люди поспешили бы навстречу с прежней готовностью,

и даже, если бы та история и не была окончательно забыта, люди поняли бы и это, помогли бы нам ее забыть. А вместо этого мы все сидели дома. Не знаю, чего мы дожидались». Самое опасное — это растление сознания, уничтожение человеческого «я», превращение личности в обезличенную козявку, процесс столь выразительно описанный Кафкой в истории, которая произошла с Грегором Замзой («Превращение»).

Растление не избирательно, оно охватывает буквально все сферы жизни, проникая даже в самое сокровенное — в отношения между полами. Надо сказать, что в мире, нарисованном фантазией Кафки, женщине отведено большое место. Кафкианский чиновник не бесчувственный механизм, это существо из плоти и крови, любви, правда, не ведающее, но обуреваемое похотью, которая мешает ему спокойно сидеть за письменным столом. Только так можно объяснить поведение Сортини, потребовавшего Амалию к себе в гостиницу. О всемогущем Кламме говорится, что он командир над женщинами, он зовет к себе то одну, то другую и ни одну не терпит долго. Женщина — раба (при желании стать госпожой она должна перестать быть женщиной, это мы увидим далее), она не способна к борьбе.

Пытается поднять бунт буфетчица Фрида, очередная любовница «командира над женщинами» — Кламма. Едва познакомившись с землемером К., она отдается ему на пороге комнаты своего могущественного любовника, и когда Кламм зовет ее, она стучит кулаком в его дверь и кричит, что она «с землемером». Но Фрида не может перестроить свои мысли и чувства. Она всюду по-прежнему видит Кламма и чувствует свою зависимость от него. Она не в состоянии понять К., его борьбу с Замком, ее цель — создать «очаг», в лучшем случае — куда-либо уехать. Убогими выглядят старания Фриды найти успокоение в браке и семье. Жизнь общества вторгается в ее личную жизнь. Как всегда у Кафки, эта метафора реализуется в гротескной ситуации: К. и его будущей жене негде жить, и землемер вынужден взять на себя обязанности школьного сторожа с правом использовать классное помещение для жилья после окончания занятий. Сцена утреннего пробуждения, когда спящих на полу влюбленных подымают пришедшие в школу дети, когда разъяренная учительница линейкой сбрасывает с кафедры остатки ужина,— одна из наиболее остросатирических в романе. В конце концов, уставшая от мытарств, измученная ревностью, Фрида возвращается к прежней жизни.

Если Фриде нужна семья, чтобы оторваться от Кламма, забыть его, то хозяйка постоялого двора Гардена выходит замуж, чтобы помнить о Кламме (она три раза «была у Кламма»). В течение всей супружеской жизни Гардена обсуждает с мужем эти встречи, и брачное свидетельство ей дорого прежде всего тем, что на нем стоит подпись Кламма. Чиновник вызвал Гардену к себе через посыльного (Сортини пытался поступить аналогичным образом с Амалией, здесь так принято), и она хранит как самый дорогой сувенир фотографию — не Кламма, об этом она не мечтает,— а его курьера.

Гардена живет воспоминаниями, а вот горничной Пепи и вспомнить нечего. Она — неудачница; когда освободилось место Фриды в буфете, она с радостью спешит ее заменить, всюду, даже в постели Кламма; но, увы, чего-то в ней не хватает, и он остается к ней безучастным. И Гардена и Пепи — абсолютные жертвы «сексуального отчуждения», принадлежать высокопоставленному чинуше для них высшее блаженство. «Вы думаете, что мы любим его как частное лицо?..— объясняет Гардена характер своего чувства.— Мы любим именно чиновника Кламма, и никого другого. Только чиновника, важного, самого важного чиновника Кламма».

Фрида пыталась вырваться, но безуспешно, столь же безуспешен и бунт Амалии — фактически просто безрассудная вспышка, о которой она сама даже три года спустя не может вспомнить без содрогания. Духовный мир Амалии в основе своей не отличается от того, чем живут другие женщины Деревни, а «женщины не могут не любить чиновников, когда те вдруг обратят на них внимание, более того, они уже любят чиновников заранее, хоть и пытаются отнекиваться». Да и домочадцы, хотя и находились словно в тумане, все же «углядели в Амалии какую-то влюбленность». И весь конфликт, следовательно, — почти что результат недоразумения. Во всяком случае так считает Ольга — сестра Амалии, самая умная из женщин, которые встречаются нам на страницах «Замка»; Ольга все понимает, понимает, что сопротивление Замку невозможно, что нужно ловчить. Она «пошла бы» к Сортини или по крайней мере сделала бы вид, что не смеет ослушаться, уклонилась бы от встречи, а потом с помощью «умнейших адвокатов» доказывала бы свою невиновность. Чтобы помочь семье, она не брезгует даже слугами чиновников и «по крайней мере дважды в неделю» спит с ними на конюшне. Секс здесь — разменная монета, которой оплачиваются услуги. Как полагается в мире отчуждения, плата взимается вперед. Ольга идет и на это, хотя ясно видит тщетность своих усилий: никто из любовников не пошевелит даже пальцем, чтобы сделать что-либо в Замке для нее.

И наконец, последний вариант «сексуального отчуждения» — учительница Гиза. Здесь все наоборот. Это тот случай когда женщина может стать не рабой, а госпожой. Гиза любит кошек, а не людей — и парадокс: лишенная женского обаяния, черствая Гиза покоряет сердце обитателя Замка Шварцера. Сын видного чиновника смиренно сидит у ее ног во время классных занятий, проверяет вместе с ней ученические тетради, вздыхает перед ее закрытой дверью.

Деперсонализацию сексуальных отношений, предсказанную Кафкой, реализовал фашизм, а вслед за ним и современная «цивилизация потребления». В третьей империи женщине была отведена чисто функциональная роль — быть средством развлечения солдат, партийных бонз и чиновников фюрера, средством продолжения рода и «улучшения расы». После войны

Запад пережил «сексуальную революцию». Ее характерные проявления в общих чертах были предугаданы Кафкой.

Двадцатый век породил противоречивые тенденции в художественном творчестве. С одной стороны, появился повышенный интерес к внутреннему миру человека, к уникальным структурам и движениям души. Марсель Пруст особенно характерен в этом отношении. Его романы — нескончаемый «поток сознания», они переводят на язык рациональных формул тончайшие нюансы психики. Лишь в конечном итоге внимательный читатель Пруста может обнаружить, что авторский «поток сознания» течет в берегах, определяемых не только личностью, но и обществом. Кафка преследует иные цели, использует иные средства. Он обрушивает на читателя не «поток сознания», а «поток обстоятельств». Его внимание приковано не столько к внутреннему миру, сколько к тем условиям, которые этот мир формируют. В «Замке» мы не обнаружим детально выписанных, целостных картин человеческого поведения, но это не мешает автору сосредоточить внимание на отдельных сторонах человеческой психики, показать их как бы в «чистом виде». И эти абстрактные модели человеческого поведения раскрывают душу человека, утратившего в условиях бюрократизации свою целостность, превратившегося в функциональную единицу и растерявшегося перед лицом чуждой ему действительности.

Беда Кафки в том, что он, повторим слова Анны Зегерс, «закостенел в смертельном страхе». Но произошло это не потому, что он «думал только о себе» (писатель всегда думает о других), а потому, что не видел ничего, кроме уродующих условий бытия. Когда сравнивают Кафку с Достоевским, совершают большую ошибку; дело не в масштабах, а в характере дарования: русский классик никогда не терял веры в человека и его будущее, у пражского писателя такая вера отсутствует, перед его глазами мрак и пустота: «Мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца столь слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным... «Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» — не спрашивают в этих местах». Ответов на эти вопросы у Кафки не найти.

Неполнота, «абстрактность» образов Кафки открывают широкий простор для истолкований романа, обладающих той или иной степенью достоверности. Выше мы изложили собственную трактовку. Прислушаемся к другим. По мнению М. Брода, в основе «Замка» лежит иудаистская религиозная идея. «Что такое Замок с его странными делами, таинственной иерархией чиновников, их выходками и кознями, требованием (вполне оправданным требованием) безусловного уважения, безусловного повиновения?.. Этот Замок, в который К. не имеет доступа, к которому он непостижимым образом не может даже приблизиться, представляет собой то, что богословы называют «благодатью», божественное управление человеческой судьбой (Деревней)».

В мытарствах героя Брод видит олицетворение еврейской судьбы: «Это особое чувство еврея, который хочет пустить корни в чужой среде, который всеми силами своей души стремится к тому, чтобы сблизиться с чужими, полностью сравняться с ними, но безуспешно» [10]. С. Аверинцев явно имел в виду Брода, когда писал: «Травестия иудаистского мифа, без сомнения, образует эмоциональный фон творчества Кафки, но как сделать ее предметом строгого анализа?» [11]. Броду такой анализ не удался.

В. Эмрих подвергает концепцию Брода (в том числе — и его суждения о влиянии философии Кьеркегора на Кафку) еще более решительной критике Он напоминает, что Кафка относился к Кьеркегору весьма критически, называл его книги «противными и отвратительными». Кафка действительно не кьеркегорианец. Он читал Кьеркегора, много размышлял над ним, но не разделял некоторых исходных позиций его философии. «Меня,— признавался Кафка,— не вела по жизни поникшая рука христианства, как Кьеркегора. И я не ловил разлетающиеся полы еврейского молитвенного плаща, подобно сионистам» [12]. Стремление Брода истолковать роман в религиозном духе Эмрих называет «богохульством, оскорблением религии». Действительно, интерпретация Брода превращает «Замок» в антирелигиозную сатиру: чиновника при желании можно рассматривать как бога, но превратить бога в чиновника — до этого никто не додумался!

Взамен религиозного Эмрих предлагает свое, «метафизическое», истолкование романа. «Права на жизнь не существует, пока человек подчинен жизни... Право на жизнь открывает только смерть». По мнению Эмриха, своим романом Кафка хотел сказать именно это.

Каждый персонаж романа для Эмриха — аллегория, имеющая один определенный смысл. Так Кламм олицетворяет собой «индивидуальную силу любви», с которой К. ищет контакта, «стремясь превратить безличную любовь в индивидуальную». Коньяк Кламма, которого отведал К., дожидаясь чиновника у его саней,— это сказочное любовное зелье. Даже замковая бюрократия в глазах Эмриха обретает особый, «метафизический» смысл: «Бюрократический аппарат отражает бесконечные модификации земного бытия, находящегося в непрерывном движении. Его структура непрерывно меняется. Поэтому чиновники заняты бешеной работой, даже когда они устали или спят» [13].

Если для Брода К.— законопослушный приспособленец, то для Эмриха он — бунтарь; «в основе землемерных работ лежит революционная деятельность». В романе действительно с первых же страниц по-своему звучит тема борьбы. Взять хотя

[10] M. Brod. Franz Kafka, S. 197.

[11] «О современной буржуазной эстетике». Выпуск 3-й. М., 1972, с. 116.

[12] F. Kafka. Hochzeitsvorbereitungen auf dem Zande, S. 121.

[13] W. Emrich. Kafka. Frankfurt/Main, 1965, S. 410.

бы следующий отрывок: «Значит, Замок утвердил за ним звание землемера. С одной стороны, это было ему невыгодно, так как означало, что в Замке о нем известно все, что надо, и, учитывая соотношение сил, шутя принимают вызов к борьбе. Но с другой стороны, в этом была и своя выгода: по его мнению, это доказывало, что его недооценивают и что он будет пользоваться большей свободой, чем он предполагал». К. не собирается капитулировать перед Замком и не испытывает перед ним никакого страха. «У меня отвращение к любому допросу»,—заявляет он и отказывается отвечать чиновнику, пытавшемуся составить протокол по поводу его поведения. И все же нельзя согласиться с Эмрихом. Борьба К. не деятельность революционера. Цель землемера сугубо личная — вырваться из одиночества, приобщиться к жизни других людей, стать полноправным членом общины, а вовсе не преобразовать ее.

Беда приведенных выше интерпретаций романа состоит в том, что их авторы подходят к «Замку» слишком умозрительно, стараясь усмотреть чуть ли не в каждой фразе скрытый однозначный смысл. Весьма нелепыми выглядят старания Н. Фюрста. По его мнению, постоялый двор «У моста» — это олицетворение протестантизма, а гостиница «Двор господ» — католицизма; Амалия — олицетворение восточного еврейства, Ольга — западного[14].

Между тем «Замок» не аллегория. Его персонажи, хотя и не претендуют на роль типических образов, отнюдь не предназначены служить шифром для обозначения каких-либо понятий. При чтении романа встает перед нами весьма условная, «очужденная», но по-своему выразительная картина бюрократизированного общества, вернее, некоторых его аспектов — подавления и растления личности.

Можно подумать, что роман написан в наши дни. Во всяком случае сегодня он звучит весьма злободневно: в нашем обществе развернулась борьба с бюрократизмом, и мы можем лишь приветствовать художественное обличение этой язвы современного человечества.

И нет нужды сетовать на то, что роман остался незаконченным. Отсутствие развязки не мешает восприятию книги — в своей незавершенности она предстает как своеобразный слепок действительности. Жизнь не имеет конца, и недописанный роман выглядит как сама жизнь.

---

[14] N. Fürst. Die offenen Geheimtüre. Franz Kafka. Heidelberg, 1956, S. 23.

◆

Наша почта

Из ответов на анкету «ИЛ»

В одиннадцатом номере журнала за прошлый год мы обратились к читателям с анкетой, содержащей вопросы:

1. Какие произведения художественной прозы за 1986 и 1987 годы привлекли ваше внимание? Почему? Какие публикации не вызвали у вас интереса?

2. Какого вы мнения о наших поэтических публикациях? Стихи каких зарубежных поэтов хотели бы вы прочесть на страницах журнала?

3. Какие публикации в разделах публицистики и документальной прозы вы сочли наиболее (или наименее) удачными? Почему? Какого рода выступления по проблемам идеологии и культуры вы хотели бы видеть на страницах «ИЛ»?

4. Как часто читаете вы литературную критику? Что вас больше (или меньше) всего заинтересовало в критических публикациях последних двух лет? Чего недостает, с вашей точки зрения, этому разделу журнала?

5. Устраивают ли вас традиционные рубрики журнала и расположение материалов?

Рады отметить: отклики не заставили себя ждать; они поступают до сих пор. Мы благодарим читателей и обещаем продолжить разговор по существу поднятых проблем. Начинаем мы с публикации откликов, которые, на наш взгляд, знакомят с некоторыми характерными суждениями.

Уважаемая редакция!

Анкета, предложенная в № 11 за этот год,— повод для разговора о журнале. А положительные изменения — в частности, в культурной обстановке — безусловно, повод для улучшения «ИЛ».

Сначала вкратце — анкета.

1. Из прозаич. публикаций за 86-й год нужными и полезными считаю: Кобо Абэ, Ван Мэн, Веллерсхоф, Воннегут, Ивашкевич, Кант, Саррот, сильный роман В. Мысливского. За 87-й год: Д'Агата, Фриш. Намора, Сартр. Пожалуй все. Этот год получился беднее 86-го в «ИЛ».

Остальные публикации — в массе материал проходной, зачастую серый, иногда — просто никакой. По большому счету вы наверняка будете со мной согласны.

2. Поэзия за 86-й год: Гинсберг, Йейтс, аргентинцы и югославы За 87-й год: может быть. Якобсен и, конечно Сеферис. Как видите, по большому опять же счету первоклассного материала совсем немного. Остальное — прочитывается, и не более того. Будьте добры, не 2—5 стихотворений отдельного автора, а 10—15, иначе не проникнуться!

3. Публицистика и документальная проза: конечно же, Вальраф, Феллини. Только не надо печатать отрывки из книг, печатайте лучше целиком, с продолжением; Лоуренс Питер, Ивашкевич, Шнайдер, Кемпинский. С этим отделом все в порядке.

4. Часто читаем критику, только желательно давать больше обзоров и более лапидарно, а то материал часто расплывается. Молодец Виктор Ерофеев!

5. Рубрику «Литературное наследие» можно переименовать в более уважительное «Классика» и печатать регулярней, лучше из номера в номер. «Литературные иллюстрации» упраздните за ненадобностью и не публикуйте, пожалуйста, чепуху вроде «Челюстей» — это обыкновенная, довольно скучная бульварная литература, серьезному журналу не пристало баловаться подобной безделицей. Тем более она занимает слишком много места.

«Степной волк» у вас случайно не в «Литературных иллюстрациях» вышел? Я не

помню. Слишком многое в этой рубрике пахнет разделом «Их нравы», лучше не позориться и упразднить. «Степного волка» можно было и в основном разделе!

«Антирубрика» велась скучно, скудно — повеселей, пожалуйста; в 86-м году вроде бы неплохо, в этом году бледнее. «Из месяца в месяц» — читаю от корки до корки уже 10 лет. Это — без оговорок... Из 255 стр. собственно художественные тексты занимают всего 160. Сократите все остальное хотя бы на 30 — 40 страниц, ей-богу, 90% читателей все остальное жалуют нечасто.

Увеличивать объем дальше невозможно. Вот бы появился конкурирующий журнал «Литература за рубежом»... Тогда бы ваш журнал живо приступил к спешной публикации классиков XX века, соревнуясь с конкурентом, кто быстрее: повторяться, видимо, придется: Кафка, Г. Мейринк, Сартр, Камю, Беккет, А. Башевис Зингер, Агнон, Сол Беллоу, Роб-Грийе, Симон, список вы сами продолжите, без меня, десятки имен. Не бойтесь, пожалуйста, обладателей Нобелевской премии! Это не контра, а часто отличные писатели!

Даже в странах «третьего мира» торгуют полным Кафкой, Сартром и Камю. У нас же «Тошнота», «Дороги свободы», «Миф о Сизифе» и т. д. и т. п. пока что существуют в виде мифа. Развейте же его поскорей, на это, уверяю, не жалко места.

Кстати, тем самым и поставите себе очень даже нерукотворный памятник на вечные времена.

Из дельных предложений — рекомендую из номера в номер рубрику «Из истории литературного авангарда»: поле безбрежное — и художественные тексты, и критика по отдельным вопросам — тут вам и Деснос, и Арагон, и Барт, и Ниаже, и все что угодно на усмотрение.

Вот воздвигнете себе еще один памятник, совсем уж нерукотворный. Не зарастет, не зарастет.

Журнал «ИЛ» читаю более 10 лет (может, и все 14!), люблю и желаю ему добра на благо читателей, перестройка вам в помощь.

Заканчиваю.

Мне 23 года, преподаватель, образование — высшее, филологическое, пол — мужск. Имя: К. Китуп.

г. Вильнюс

* * *

Анкету не вырезала, так как надеюсь «спихнуть» годовую подписку в букинистику, хотя маловероятно, что такое барахло, каким стала теперь «Иностранка», где-нибудь возьмут.

За весь год — ни одной вещи!

Если когда-то мы сидели в читалке, чтобы прочесть «Тени в раю» Ремарка, «Острова в океане» Хемингуэя, И. Шоу, то теперь только высокая цена не позволяет, не читая сдавать в макулатуру.

Какое-то старье, или «классовая борьба», или «негритянские» проблемы. И это в то время, когда другие журналы — «властители дум». Я без жалости продала часть своих книг, только чтобы иметь возможность выписать и читать от «корки до корки» «Новый мир», «Знамя», «Огонек» и др.

Ну, а вашим журналом я за этот год сыта на много лет.

Денег жалко — ужасно!

Мне 38 лет, образов. — высшее + защищенная диссертация, пол — женский, замужем дочь 12 лет, экономист, преподаватель вуза.

Алексеева М. Б.

P. S. Адрес не пишу, т. к. ответ мне не нужен. Простите за невольную грубость, но каждый номер приводит в бешенство.

* * *

1. Интересны Р. Стоун (№ 1 — 2, 1986), К. Абэ (№ 10—12, 1986), Гор Видал, Душан Митана. Великолепен С. Лем, открытие — Том Шарп (хороши переводы). Остальные вещи большей частью скучны. Хотелось бы побольше открытий, эксплуатация Грэма Грина утомляет.

2. Поменьше мэтров поэзии, пошире географию и побольше молодых поэтов из Африки, Азии, Латинской Америки. Поэзия расцветает там, где в истории народов идут сложные процессы, имеют место потрясения.

3. Здесь больше удач, редакция взяла хорошее направление. Почти все материалы читаются с интересом (А. Аллег, Т. Кайко, Г. Грин, Р. Капусцинский etc.). Интересны публикации «публицистического наследия». Побольше бы проблемно-исторического материала, поменьше апологетики. Лучшая вещь — Фарли Моуэт. В последних номерах 1987 года — правильный тон в отношении идеологии и культуры.

4. Время от времени. Удач, по-моему, немного (А. Гулыга, Ю. Кагарманов в 1986 г.). Может быть, за счет авторского объема показывать столкновение точек зрения, поменьше описательности — больше поле-

мики. Еще лучше — за счет критических материалов увеличить объем для художественной прозы. Читать критику, не зная текста произведения,— скучно.

5. В основном да. Может быть, стоит ввести рубрику «Лит. иллюстрации» (или что-то подобное), где показывать наиболее «выдающиеся» литературные гримасы западной культуры. Читатель прекрасно разберется в подлинной сущности, но спекуляций будет меньше.

Хотелось бы активизировать рубрику «Литературное наследие», прочесть вещи 20—30-х, 40—50-х годов, не переведенные до сих пор. Латиноамериканская проза заслуживает более пристального внимания редакции. Увидеть бы неизвестные нам произведения Нормана Мейлера, Бориса Виана, Сартра (в дополнение к уже имеющимся), Дж. Керуака...

Игорь Харченко: 25 лет, преподаватель вуза. Понятно, что анкетируемые — люди все разные и мнения у всех особые, но желание у них одно — видеть журнал более интересным.

С уважением И. Харченко
г. Киев

* * *

1. Ясуси Иноуэ, Д. Веллерсхоф, Г. Грин, Н. Саррот, М. Фриш и доставивший истинное наслаждение Кобо Абэ. Талантливые произведения, мастерски написанные, волнующие наши чувства или заставляющие думать, рождающие новые неожиданные мысли,— вот основные черты, вызывающие законный интерес к вещам этих авторов. Мало открытий, мне кажется, принесла проза 1987 года.

2. Некоторых современных поэтов можно было не печатать, они слабы, часто подражательны. Хотелось бы видеть именно лучших поэтов мира — и современных, и классиков.

3. «Мое знакомство с генералом», «Золотой треугольник», «Кто есть кто», «На самом дне» — прекрасные политические произведения о малоизвестных нам социальных конфликтах, людях, событиях. И главное, написанные очень правдиво. А блестящая работа Л. Питера актуальна не только на Западе Желательно преобладание выступлений по этим вопросам самих зарубежных ученых, критиков, писателей с комментарием редакции или специалистов.

4. Почти всегда. Много интересного, но недостает наглядности. Надо больше цитировать, приводить отрывки — ведь читатель незнаком с большинством критикуемых произведений. Стоит, наверное, чаще разбирать произведения, популярные в данный момент за рубежом, быть мобильнее.

5. Расположение мало что решает. Рубрика «Литературные иллюстрации» должна быть представлена шире, может, даже в каждом номере.

6. Больше печатать теоретических работ зарубежных авторов. По возможности меньше сокращать тексты и полностью перейти на мелкий шрифт с одновременным увеличением количества страниц. Печатать спорные вещи — чтоб что-то критиковать, мы должны это прочитать.

21 год, студент-историк 1-го курса, Анкету используйте по вашему усмотрению.

г. Омск

* * *

1. Интересны Том Шарп «Дальний умысел», Станислав Лем «Футурологический конгресс», Грэм Грин «Сила и слава». Остальное не уместилось.

2. Небольшие поэтические вставки в журнале сами по себе интересны. Хотелось бы побольше поэзии Китая.

3. Из публицистики больше всего запомнилось «Мое знакомство с генералом» Грэма Грина, «Золотой треугольник» Б. Шнайдера, Р. Капусцинский.

4. Литературная критика интересна не всегда. Произведения, о которых идет речь, хотелось бы прочитать сначала самому. Увы...

5. По-моему, компановка материала журнала удачна. К сожалению, «Антирубрика» мала и редка. Хотелось бы побольше.

Хотелось бы сказать Вам пару слов письменно, вне анкеты. Пару слов в хорошем смысле.

Ваш журнал я выписываю очень давно. Правда, с перерывами до 1976 года. По сравнению с другими журналами «Иностранная литература» дороговата, но стоит того. За все эти годы почти не бывало скучных журналов, неинтересных подборок. Я не буду касаться конкретных номеров.

Конечно же, я сначала журнал прочитываю весь, а потом возвращаюсь через

некоторое время к особенно запомнившимся вещам. Целиком номера «ИЛ» не хранятся, но ведь есть возможность переплести интересные публикации. В среднем за год прибавляется в домашнюю библиотеку по 3 — 4 интересных книги. У меня с удовольствием читают их друзья. Где-то на руках сейчас «Целители», «Опрокинутый мир», «Только позови». И знаете, это очень удобно — переплести интересное в книгу. Например, «Целители» у меня уже были, и лишь через некоторое время в магазине (правда, в Волгодонске) я увидел эту книгу. Читая журнал, дожидаясь нового номера, заранее надеешься на что-то новое, незнакомое.

Я начал читать вообще в то время, когда в магазинах можно было купить действительно интересные книги. К сожалению, сейчас там много такого, что и в руки брать не хочется. Тем более художественная литература. Постоянно испытываю какой-то «голод». И если бы не ваш журнал, наверняка было бы н е и н т е р е с н е е.

Если вы разрешите, я скажу свое мнение о том, что бы могло пополнить «ИЛ».

Например, фантастика. Худо-бедно мы знаем отечественную. Именно худо-бедно. А зарубежную тем паче. Слышим: «Франкенштейн» — представляем что-то непонятное, собранное из собранных понемногу, повсюду слов. Если книга Шелли еще с прошлого века интересна, почему бы не предложить ее перевод? Вряд ли она хуже «Челюстей» П. Бенчли. Да наверняка есть что-то новое, современное.

Телевидение заинтересовало зрителей телемостами с США. С удивлением мы узнаем о таких различиях в жизни и понимании другого континента, о которых и подумать не могли. По-моему, можно расширить раздел публицистики журнала.

И последнее. Хотелось бы с иностранной литературой знакомиться не со слов собеседника, который читал перевод «чего-то такого!», а с оригиналом. Вероятно, есть возможность включать в журнал произведения, которые критикуют за глаза и о которых говорят понаслышке люди, которые и сами не читали, и исказили то, о чем написано, часто не в лучшую сторону. За 70 лет мы смогли выработать свою государственную мораль, свой социалистический принцип восприятия правды, а не полуправды.

А. Маслов

Возраст 33 года. Профессия — радиотехника. Пол — мужской. Образование высшее.

г. Москва

* * *

1. Том Шарп «Дальний умысел», Ст. Лем «Футурологический конгресс», Рид «Женатый мужчина».

Хотелось бы современную драматургию, а также хотя бы еще один фантастический роман.

2. Прочесть хотелось бы стихи современных и средневековых японских авторов. Пусть в стихах будет поменьше политики и больше жизни.

3. Б. Шнайдер «Золотой треугольник», М. Герзон «Герои, которых мы выбираем». Не понравилось «Чэлленджер: видеолента» — жевательная резина; наверное, на эту тему есть более содержательные статьи.

4. Всегда. Анастасьев «Феномен Владимира Набокова».

5. Устраивают.

Очень нравится раздел «Среди книг», хотя бы косвенно узнаешь о проблемах современной литературы. Почаще печатайте обзорные статьи о современных авторах.

Хотелось бы в рубрике «Литературное наследие» увидеть прозу Вл. Набокова, А. Стриндберга.

38 лет, инженер, женский, высшее. Ваш журнал читаю не только я, а семья, знакомые. Все обратили внимание на (пока) очень удачный год 1987. Спасибо.

г. Ленинград

10.XII.87 г.

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Пишу вам впервые, хотя читаю ваш журнал давно. Первый раз я его прочитал в 1975 году, когда мне было 18 лет, и с тех пор не пропустил ни одного номера, даже более того, нашел все журналы до 64-го года и прочитал. В этом году в журнале за ноябрь месяц вышла анкета, и вы просите на нее ответить. Но я не понимаю, зачем это вам, ведь все равно ваш журнал будет таким, как есть, и сколько людей читает этот журнал, столько и мнений. Не будете же вы подстраиваться под каждого персонально. У вас в анкете даже нет вопроса: «Какие бы романы вы хотели бы прочитать». Я уверен на 100 процентов, что вы не напечатали бы и одной трети того, что попросили бы читатели. Это заигрывание в демократию просто на словах сильно раздражает. Мне ваш журнал нравится, хотя читаю не все, стихи мне не нравятся, но это не значит, что их надо убрать. Журнал ваш рассчитан на широкую аудиторию, и

если что-то изменить — значит, кого-то ущемить. Если вы хотите, чтобы ваш журнал стал демократичным, то не критикуйте того, что не напечатали и никогда не напечатаете. Когда вы критикуете какой-либо роман, который не напечатан у нас и никогда не будет напечатан, создается такое впечатление, будто вы издеваетесь над читателем (выходит так: мол, вот мы, кучка избранных, можем прочитать, а вы только читайте наше мнение), но ведь это несправедливо, когда миллионам читателей не дают почитать то, что раскритиковали. Вот пример: в 7-м номере за этот год выступала Литвинец Нина Сергеевна, которая писала о романах и произведениях Гизелы Эльснер. «Запрет на прикосновение» получил вот такую характеристику: «Все здесь удивительно точно, естественно, органично, роман с первых же страниц держит читателя в напряжении» — и так далее и тому подобное. Если этот роман такой хороший, то напечатайте. Но вы ведь в жизни его не напечатаете, хотя вам он понравился, вы его прочитали, просмаковали, кучка избранных, а в результате: роман такой хороший и держит читателя в напряжении — разве это справедливо? Если вам понравился, то дайте и нам прочитать, чтобы не чувствовать себя в чем-то ущербными. Насколько я понял, вы не хотите себя отделять от читателя, но ведь это зависит от вас. Я не знаю, насколько вы прислушиваетесь к читателю и сколько напечатали по просьбам читателей, но если вы прислушиваетесь, то напечатайте роман Гизелы Эльснер «Запрет на прикосновение». Я думаю, что я могу вас об этом попросить, как-никак прочитал все ваши журналы с 64-го года и ни разу не надоедал своими письмами.

Вот что я хотел вам написать. Я понимаю, что письмо немного сердитое, но это наболело.

До свидания.

Мой адрес: Новгородская обл., Чудовский район, д. Придорожное.

Иванов Виктор Степанович.

◆

Наши гости

Пепетела, Жозе Луис Мендонса

Ангола

Встреча с Пепетелой и Жозе Луисом Мендонсой — отнюдь не первый контакт редакции «Иностранной литературы» с ангольскими писателями. Напомним, что еще в 60-х годах в журнале были опубликованы повесть Жозе Луандино Виейры — «Путь Домингуша Шавиера» (1963, № 9), переведенная прямо с рукописи, поскольку салазаровская цензура запретила ее издание в Португалии, и рассказы «Луанда» (1968, № 12); посещали редакцию и молодые ангольские писатели — Жозе де Фрейтас, Фернандо Монтейро и Розарио Марселино (см. «ИЛ», 1980, № 12)[1].

И все же литература Анголы, ставшая в 70—80-х годах признанным лидером среди всех пяти создающихся на португальском языке африканских литератур, заслуживает, на наш взгляд, более пристального внимания. Дело в том, что у нас как-то незаметно, исподволь сложилось стереотипное представление об африканских литературах как о явлении периферийном, чуточку провинциальном, отличающемся однообразием даже скудостью тематики (на первый план-де выдвигается тема национально-освободительной борьбы, поданная к тому же упрощенно, как говорится, «в лоб», без учета всей ее сложности и неоднозначности). Причин для возникновения подобного стереотипа немало: и объективных — малодоступность материалов, а отсюда и невозможность отбора действительно высоких по художественному уровню произведений; и субъективных — вполне понятное и оправданное на первоначальном этапе «узнавания» пристрастие переводчиков к стихам и рассказам, насыщенным гражданским пафосом, обличающим колонизаторскую политику; а порой и не очень высокий уровень переводов.

Теперь, когда бывшие португальские колонии перестали быть «зоной молчания», практически закрытой для разного рода контактов, мы имеем возможность судить о литературах Анголы, Кабо-Верде, Мозамбика, Гвинеи-Бисау, Сан-Томе и Принсипе по первоисточникам, по издающимся в этих странах книгам. Пришла пора показать читателям африканские литературы португалоязычного ареала — и «на практике», через переводы, и с помощью критических статей — более широко и объективно, со всеми особенностями и характерными чертами их национально-специфического облика и в то же время как часть мировой культуры, тесно и неразрывно связанную с единым литературным процессом современности. Тем более что в самих этих литературах, и прежде всего в ангольской, в последнее десятилетие наблюдаются серьезные перемены. Перейдя от описательности, простого воспроизведения действительности к углубленному ее познанию и творческому воссозданию, они вступили теперь в качественно новую стадию развития.

Вот почему встреча с представителями ангольской литературы оказалась не только полезной, но и насущно необходимой.

Представим теперь наших гостей, хотя старший из них, Пепетела (псевдоним Артура Пестаны), возможно, и не нуждается в этом. Крупнейший романист, новеллист и драматург современной Анголы, он хорошо известен у нас. С переводами Пепетеле-Пестане у нас, можно сказать, повезло: на

[1] Проблемам, волнующим ангольскую творческую интеллигенцию, была посвящена статья Е. Ряузовой, заглавием для которой послужили слова Пепетелы: «Роль литературы в том и состоит, чтобы ставить проблемы» (1983, № 5). *(Прим. ред.)*

русском языке вышли обе его пьесы — остроумный сатирический скетч «Канат» и драма на исторический сюжет «Восстание в доме идолов», а повесть «Приключения Нгунги» издавалась четыре раза — явление для африканской литературы пока нечастое.

Второй гость «Иностранной литературы» — Жозе Луис Мендонса — успел опубликовать, несмотря на молодость, два сборника стихов. За первый из них, «Ноябрьский дождь», поэту присудили в 1981 году премию «Священная надежда» (напомним, что так называлась знаменитая книга Агостиньо Нето).

На ставший уже традиционным вопрос о том, каковы их впечатления о нашей действительности, оба гостя, не сговариваясь, отвечают, что не раз бывали в Советском Союзе (это их третий приезд), однако за прошедший за время их отсутствия период (Пепетела, в частности, не был у нас шесть лет) произошли огромные, впечатляющие даже стороннего наблюдателя перемены. «Это заметно сразу же, если вглядеться попристальнее в поток прохожих на улице,— люди не только гораздо лучше одеты, уверенней и оптимистичней стало выражение лиц, больше появилось улыбок,— суммирует свои впечатления Пепетела,— ведь писателю, привыкшему изучать людей, достаточно подметить несколько характерных деталей, жесты и мимику, чтобы составить собственное, пускай и неизбежно поверхностное представление о жизни страны».

От впечатлений о бурно меняющейся советской реальности разговор переходит к Анголе, переживающей сейчас сложный период национальной реконструкции, а о нем нашим гостям есть что рассказать.

Чем можно объяснить радикальные изменения в литературе Анголы за последнее десятилетие? Пепетела считает, что в первую очередь в этом «повинна» сама ангольская действительность. В период Первой освободительной войны (1961—1974) и Второй освободительной войны (1975) у тех, кто сражался с колониализмом, особых разногласий и конфликтов не возникало: борьба против общего врага сплачивала представителей разных народностей, разного уровня культуры и идейно-политической подготовки. После завоевания независимости положение стало иным. В развивающемся обществе, избравшем социалистическую ориентацию, появилось множество проблем, возникли экономические и общественно-политические трудности, неизбежные на первом этапе строительства новой жизни; как следствие этого ангольская интеллигенция оказалась как бы на перепутье.

Примечательно, что ангольские литераторы сейчас сами отчасти представляют политическую власть в стране (напомним, что и Пепетела несколько лет пробыл вице-министром образования), недостаток квалифицированных кадров заставляет их временно отказаться от литературной деятельности.

«На характер творчества профессиональных литераторов не могло не повлиять и появление нового читателя,— вступает в разговор Жозе Луис Мендонса.— В период освободительной борьбы и непосредственно после ее окончания народ, к которому впервые в истории стали непосредственно обращаться писатели, был охвачен энтузиазмом, пафосом высокой гражданственности, и любое произведение, будь то стихи или проза, независимо от художественного качества, лишь бы оно было идеологически выдержанным, патриотичным, принималось, как говорится, «на ура». Но со временем сборники патриотической поэзии, не всегда отличавшиеся литературными достоинствами, перестали пользоваться спросом. И читательский интерес переключился на прозу, причем не романы и даже не рассказы, а на повести, превратившиеся к началу 80-х годов в подлинно национальный жанр».

«После того как в ангольском обществе завершился переход от первой, насыщенной эйфорией фазы освобождения ко второй фазе трезвых оценок, критического осмысления действительности,— развивает затронутую Мендонсой тему Пепетела,— читатели стали гораздо более требовательными к литературной продукции, и причина тому — в изменении самого читательского контингента. Этому способствует относительно быстрый рост числа грамотных людей (с 85% неграмотность снизилась до 60%), а также людей образованных, прежде всего молодежи — лицеистов и студентов, составляющих основную массу читателей. Вот почему так злободневен для ангольской литературы середины 80-х годов призыв генерального секретаря Союза ангольских писателей Луандино Виейры «заставить читателя активно участвовать в организации повествования», а не «подделываться» под него, нарочито упрощая стилистику своих книг, чтобы они стали доступными широким слоям населения.

Творчество самого Пепетелы служит ярким примером именно такого отношения к читателю: он пытается сделать его как бы соучастником происходящего в повести

или романе, заставляя мыслить, подчас додумывать и самому решать лишь затронутые автором проблемы. И рассказ Артура Пестаны о дальнейшей судьбе его романа «Майомбе» (1980), уже переведенного на семь или восемь иностранных языков, подтверждает плодотворность подобного метода. Роман острокритической направленности, рекомендованный к изданию еще Агостиньо Нето, «Майомбе» имел, как известно, огромный успех в Анголе и других португалоговорящих странах, выдержав несколько изданий (в Португалии, Бразилии и Анголе). «Теперь,— рассказывает писатель,— в НРА с помощью мозамбикских и кубинских кинематографистов, к которым вскоре присоединятся бразильцы, ведутся съемки кинофильма на сюжет этого романа».

В заключение Пепетела делится планами на будущее. Опубликовав после «Майомбе» еще две книги — «Йака» (1984), своего рода антиколониальный роман, где дается глубокий анализ «психологического аспекта одиночества, неприкаянности португальцев в Африке», и «Собака и луандцы» (1986), притчу-размышления о послеколониальной действительности, писатель задумал создать новый роман на основе ангольских народных легенд V—VI веков. В нем найдут дальнейшее воплощение излюбленные Пепетелой темы — становление человеческого характера (основная тема «Приключений Нгунги»), роль женщины в развитии нынешнего общества (одна из ведущих тем «Майомбе»). В центре повествования — молодая ангольская балерина Луэжи, стремящаяся воссоздать на сцене образ своей тезки, легендарной царицы земли Лунда. История и современность будут переплетаться в будущем романе: ведь, по словам Пепетелы, «обращение к истории всегда помогает лучше осознать современность, ее основные нравственные и социальные проблемы».

Е. РЯУЗОВА

Ева Харшани

Венгрия

Из книг, переведенных Евой Харшани с русского языка на венгерский, можно составить целую библиотеку: «Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова, рассказы И. С. Тургенева и М. А. Булгакова, «Три толстяка» Ю. Олеши, воспоминания А. Г. Достоевской, дневник А. Никитенко. «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар», все рассказы и очерки из сборника «Век живи — век люби» В. Распутина, «Иней на пороге» Ю. Рытхэу, «Последний из ушедших» Б. Шинкубы, «Джамух — сын оленя» и другие рассказы Ф. Искандера, «На скаковом поле, около бойни», «Глухая пора листопада», «Две связки писем» Ю. Давыдова, «Без всяких полномочий» Б. Мегрели, «Государева почта» С. Дангулова, «Чучело» В. Железникова, «Лестница» А. Житинского.

Весной прошлого года Ева Харшани за свою переводческую работу была удостоена высокой награды — премии Лайоша Априли.

На обычный вопрос, заданный Еве Харшани, *«с чего началось ее увлечение русской литературой»*, ответ был необычный:

— Моя мать полтора года была узницей Освенцима, ее освободили солдаты Красной Армии. Когда мои родители, считавшие друг друга погибшими, вновь встретились, они решили, что у них будет восемь детей. Я родилась первой, в 1946 году. Моя мать весила тогда вместе со мной 32 килограмма. Это был ее человеческий подвиг. Красная Армия, Советский Союз дали мне жизнь, это чувство живо во мне всегда. В детстве я зачитывалась «Повестью о Зое Космодемьянской», романом «Молодая гвардия». Помню, когда я прочитала «Педагогическую поэму» Макаренко, мне очень захотелось пожить в такой же колонии. Потом меня увлекла повесть Марины Расковой «Записки штурмана», я мечтала стать летчицей и даже посещала какое-то время летную школу. Когда мне было 16 лет, меня наградили двухнедельной поездкой в Москву и Ленинград — за победу на школьной олимпиаде по русскому языку. В Москве в книжном магазине я купила роман «Герой нашего времени» и дала себе слово перевести его. Свое слово я сдержала, хотя на венгерский язык этот роман, разумеется, уже был переведен.

— У вас, конечно, есть и любимые писатели?

— Да, это в первую очередь Валентин Распутин. Когда в журнале «Наш современник» я прочла его «Живи и помни» (пока только первую часть), я тут же кинулась в издательство, сказала, что непременно переведу эту книгу. Так о войне, по-моему, еще никто не писал, а уж о том, что озна-

чала война для сибирского крестьянина, мы до Распутина и понятия не имели. Меня взволновало это произведение, я чувствовала, что в книге скрыты ответы и на мои вопросы... Но, подписав договор на перевод, я вдруг поняла, что перевести книгу не смогу. Я выросла в большом европейском городе, где и люди, и вещи, и культура, и просто быт так сильно отличаются от мира героев Распутина, что я вряд ли сумела бы найти языковые эквиваленты... Моя мечта увидеть Сибирь, побывать в сибирской деревне довольно скоро сбылась. Я встретилась с Валентином Распутиным. Он — молчун, о себе говорил мало, зато о Вампилове много и очень интересно.

Распутина у нас в Венгрии хорошо знают, все его книги переведены. По повести «Последний срок» был снят телевизионный фильм, «Живи и помни», «Пожар» читались по радио. Дьёрская группа поставила рок-оперу «Живи и помни». На киностудии «Паннония» только что закончились съемки двенадцатиминутного рисованного фильма по мотивам «Прощания с Матёрой».

С огромным удовольствием переводила я и книги Юрия Давыдова. А перевод романа Баграта Шинкубы «Последний из ушедших» потребовал погружения в абхазский быт, историю и культуру абхазского народа, эта работа подарила мне незабываемые впечатления от встреч с Абхазией.

Теперь я мечтаю перевести вашего гениального Салтыкова-Щедрина, о его гениальности многие в Венгрии даже не догадываются.

— У каждого человека посвятившего себя этому «трудному искусству» — переводу художественной литературы, есть свое, особое видение его задач, есть свои метафоры ремесла. Что бы вы могли сказать по этому поводу?

— Трудно, наверное, было людям, когда они мечтали о полетах, но даже понятия не имели, как им подняться в небо. Трудно людям и сейчас — просто наказание какое-то — оттого, что они говорят на разных языках. С тех пор как рухнула Вавилонская башня, люди не оставляют надежды одолеть разноязычие. Я уверена, что человечество устранит это препятствие, хотя не знаю как и не знаю когда. Не знаю также, мы — в этом вопросе — современники Икара или Леонардо да Винчи? Человечество, конечно, осуществит свою мечту, однако жить нам надо и сейчас, и жив человек не хлебом единым. Пока — за неимением лучшего — цивилизация изобрела это с трудом поддающееся определению ремесло — художественный перевод.

Издавна люди мечтали также и о том, чтобы музыка была доступна всем. И как был изобретен самолет, так изобрели и радио, спутники, транслирующие передачи во все уголки земли, а также карманные магнитофоны. Но ведь совсем еще недавно поклонник музыки, если он любил Моцарта или Верди, должен был выучиться играть на рояле. Рояль явился поистине демократическим изобретением. Как и художественный перевод. Если представить, что произведение на языке оригинала — это всегда произведение для симфонического оркестра, то задача переводчика — осуществить его переложение для рояля, то есть донести его до тех, у кого нет возможности пойти в «Метрополитен-опера», в «Ла Скала», в Большой театр. Переводчик должен следить, чтобы рояль воссоздавал музыку подлинника, чтобы партитура была именно для рояля, а не для губной гармошки или кастаньет, не должен забывать он и о том, что переложение не сочинительство. В стремлении переводчика — даже ценой потерь и компромиссов — сделать произведение доступным для всех, можно усмотреть желание услужить, но в самой его работе услужливости места нет.

Запись беседы Л. ВАСИЛЬЕВОЙ

◆

Среди книг

Издано в СССР

«...САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ПЛОДЫ ВООБРАЖЕНИЯ...»

Ана Бландиана. Стихотворения. Рассказы. Эссе. Предисловие М. Рощина. Перевод с румынского, составление и послесловие Анастасии Старостиной. Москва, «Радуга», 1987.

Мы уже вполне привыкли, усвоили и не удивляемся, что реализм может быть фантастическим, магическим, поэтическим, хотя и несколько затрудняемся сформулировать, чем эти реализмы отличаются один от другого, и дать точное определение каждого. Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что проза Аны Бландианы фантастична, поэтична и реалистична. Организованная по законам лирики, для которой главное не действие, а его восприятие, не объект, а субъект, неизменно выходящая за границы отмеренной нам реальности, она тем не менее прочно закреплена в мире повседневности и движется в его ритме. Живая плоть действительности выстреливает протуберанцами фантазмов, прорастает невероятными видениями, которым свойственна не меньшая — если не большая — материальность, «телесность», пластическая конкретность, нежели «натуре»; чудо являет себя с уверенной наглядностью яви, с неопровержимостью факта. Крошки-херувимы не слетают с небес, как им положено по чину, но вылупляются из яиц, принесенных стариком молочником ученой даме, решившей заняться «куроводством» дабы избавиться от стояния в очередях («Птица потребительская»); актеры, до карикатурности неумело загримированные под ангела и дьявола, на глазах у зрителя превращаются в неподдельных, воистину реальных посланцев рая и ада («Урок театральной игры»); поездка в деревню завершается вознесением вместе с сельской церковью, поднятой птицами и набатом («За городом»).

Что же до лирики, то здесь Бландиана, напротив, почти не пускает фантазию в полет. Сосредоточение, созерцательность, медитативность — вот чем жив ее тихий стих, избирающий себе в предмет и образец нежные голоса травы, осторожный шепот листвы, мягкий перестук падающих оземь спелых слив, хруст палых веток:

Чудо хрустит у меня под ногами,
Небрежно прикинувшись
Влажным валежником.
Над головой разражается
И входит по капле в меня...
В него включены
И плоды, и клубни,
И пчелы, и трутни,
И праздник, и будни,
Добро и зло на земле и на небе,
И даже я, недостойная,
Ни разу не изгнанная из рая
За попытку
Его осквернить,
Постигая.

(«Чудо»)

В этом лирическом пространстве возможны мгновенья гармонии, которых мы тщетно искали бы в смятенной, оторванной от природного «рая» прозе. Однако нельзя сказать, что они вовсе не схожи—Бландиана-поэт и Бландиана-прозаик. Просто одно и то же действие — претворение реальности — производится разными средствами: в рассказах — через искажение, сдвиг в чудо или фантастический кошмар, в поэзии — через нее самое. Ведь поэтическая реальность имеет особую природу. Языку стиха изначально присуща бóльшая условность, нежели жизнеподобному языку прозы, и эта условность может сделать «сюжетное» чудо как бы излишним — коли есть уже чудо пресуществленного слова. Поэт Ана Бландиана предпочитает обходиться им, по видимости отдаляясь таким образом от себя самой — прозаика.

Но внешняя разнонаправленность ее стихов и рассказов на деле оказывается мнимой, ибо цель и там и тут одна — попытка овладения искусством жить. Не житейским,

разумеется, потребительским умением существовать безбедно — этот план если и присутствует, то лишь в отрицательном значении. Ведь свобода, столь необходимая художнику, включает в себя и независимость от бытовых забот, а как прикажете быть от них независимым, когда треть жизни уходит на стояние в очередях? Так возникает унизительная для поэта мечта — «невероятное видение» окраинной лавки, изобилие которой заставляет героиню (не скрывающую тождества с автором) внутренне сжаться в страхе, что «сейчас все исчезнет» и она останется «с протянутыми в пустоту деньгами» («Подделка под кошмар»); так неподименованная ученая дама в надежде на независимость берется за разведение «птицы потребительской»... Но на выходе из лавки незадачливую покупательницу ловит за руку молчаливый громила, и, пытаясь разжать его железную хватку, она бросает вожделенные деликатесы, рвется что есть силы, покуда не обнаруживает вдруг, что освободилась, сама не заметив как,— и, преодолев желание бежать, остается, дабы понять, что же мешало ей уйти; но из раздобытых с превеликим трудом яиц вылупляются ангелы, повергая неудавшуюся птичницу в смятение и страх, заставляя судорожно решать, как же к этому явлению отнестись и что с ним делать... Поэтому даже поиски пищи для тела становятся у Бландианы пищей ума и духа, оборачиваются сложной внутренней работой, которая и ведет к овладению «искусством жить»,— поисками, в стихах, равно как в прозе, единого, основополагающего смысла, того самого, что скрепляет «...все явленья, /Навылет вечный хаос/ Сквозной тропой пронзая».

Соответственно совпадают и темы, хотя не всегда впрямую. Чаще происходит своеобразная перекличка, когда стих словно бы подхватывает там, где завершил рассказ, и, в черед, передает тему дальше — в другое стихотворение, в эссе или обратно в рассказ, и она идет «сквозной тропой», варьируясь, видоизменяясь, обогащаясь новыми звучаниями и смыслами. Тем интереснее бывает найти совпадение буквальное и самоочевидное — оно как бы демонстрирует единство в разности и разность в единстве.

В стихотворении «Камнями побитые ангелы, /Которым хватило твердости/ Не отступить за тучи», просят приюта у поэта и, «На лету засыпая, /Ложатся, несчастные, нежные, между тетрадок/ И только во сне, озябнув/, Натягивают на крылья/ Тетрадочные листы» («Улики»); в рассказе они, запертые по трое в курятнике, наспех обитом атласом, сладко спят, «натянув до подбородка китайские полотенца, выставив только пушистые кончики крыльев, подрагивавших в ответ на сны». В первом случае — емкая метафора, во втором — живая и прелестная картинка «с натуры», но едино ощущение щемящей беззащитности этих «застрявших между мирами» созданий, одинаково стремление обогреть, укрыть, спасти от слишком грубой для них реальности. В эссе «Августовская ночь» полное, абсолютное счастье гармонии с миром, испытанное «в кругу звезд, слив и сверчков», принимается как случайный и, в общем, равнодушный дар вселенной — «самодостаточно живого организма»; в стихотворении «перестук фиолетовых слив» из факта становится символом жизни и смерти, сплетенных «бесстыдно и жадно»: «Больнаслажденье тому виной,/Что спелость — она же и тленье». Простое счастье бытия осложняется рефлексией поэта, но суть природного действа от этого не меняется.

В рассказе «Снящийся» реалистически обставленный кошмар развернут во времени и пространстве: героиня, внезапно обнаружившая себя на пустом зимнем пляже, борясь с метелью, мучительно пытается понять, как она здесь очутилась. Ее путь к осознанию того, что все с ней происходящее лишь снится некоему — существу, божеству ли? — извилист, но четок, как следы на снегу, а путь далее целенаправлен и прям. Ибо понимание полной зависимости от «спящего тирана» не лишает личность свободы и воли: «В таких жестких условиях все же от меня зависит, удастся мне что-то или нет, пока длится мое столь недостоверное, столь эфемерное существование». А в стихах — отвлеченная от времени и пространства мысль, экстракт, квинтэссенция:

...Мы спим
И по крупице
Чей-то мир,
Который в муках спит,
Обозначаем.
Мы — хрупкое звено
В цепи...

(«Генеалогия»)

Почти телеграфическая сжатость, емкость, «формульность» поэтического текста и прихотливая образность наполненного чудесами прозаического идут у Бландианы рука об руку и в одном направлении.

Тут, однако, надлежит остановиться и заметить наконец, что текст, который мы читаем, написан все же не Аной Бландианой: перед нами перевод, причем не просто хороший, а, что называется, конгениальный. Анастасия Старостина, автор послесловия, составитель и переводчик, имеет свою, выверенно стройную концепцию творчества писательницы. Но дело, конечно, не в одной концепции. Перекладывая поэта на язык другой нации, должно притом сохранить его собственный, индивидуальный язык художественной образности— способ жизнечувствия и принцип мировосприятия. Старостиной это удалось: устройство ее зрения сходно с тем, какое свойственно Ане Бландиане. И оттого книга получилась цельной, несмотря на разножанровость, и очень личностной.

Последнее существенно до чрезвычайности, ибо сама писательница уверенно и настойчиво декларирует личностность искусства как такового: «Оно всегда ошеломляет своей вопиющей субъективностью, искусностью лепки своего, ни на чей не похожего мира, ибо мир слишком огромен и разнолик, чтобы требовать чего-либо иного, кроме толкования и еще раз толкования... Писатель, как всякий человек искусства, дает иное, чем в реальности, изображение, но именно в этом, всегда поразительном, искажении и нуждается реальность, чтобы быть понятой» (эссе «Линзы»).

Искусство Аны Бландианы — совсем особые линзы. Но ее поэтико-фантастический мир при всей поразительности не выглядит чужим. Попадая в него, испытываешь радость открытия и одновременно узнавания: кажется, что когда-то — быть может, во сне, быть может, в другой жизни — уже случалось бывать здесь. И теперь остается осваивать заново таинственно знакомые слова и смыслы. Это как с крылатыми существами, в изобилии населяющими страницы книги: «Что может быть знакомее, чем ангел? Встретив его, многие удивятся, но найдется ли хоть один, кто его не узнает?»

Е. КУТЯВИНА

ПРЕВРАТНОСТИ РАВНОПРАВИЯ

Неожиданный визит. Рассказы и повести писательниц ГДР. Перевод с немецкого. Составитель И. Щербакова. Москва, «Радуга», 1988.

В эссе «Тень мечты», раскрывающем духовное родство и различие талантливых женщины и мужчины, Криста Вольф заметила: «Человек сначала живет, а потом уже пишет — это трюизм, равно касающийся обоих полов. Женщины долго жили, не берясь за перо; а потом они писали — если позволено будет так выразиться — своей жизнью, ценою ее. Так оно с тех пор и повелось»[1].

Эти слова можно отнести и к писательницам ГДР — младшим современницам Кристы Вольф, повести и рассказы которых составили сборник «Неожиданный визит». В нем представлено творчество двадцати одной писательницы. Число весьма внушительное для такой небольшой страны, как ГДР, и оно, несомненно, является свидетельством глубоких социальных сдвигов, способствовавших усилению роли женщины во многих сферах современной жизни. Это явление нельзя не связать и с именем Анны Зегерс, чья творческая и общественная деятельность дала сильнейший импульс литературе ГДР.

Опасение, что такая громоздкая антология (около 30 авторских листов) окажется скучной и однообразной, к счастью, не подтверждается. Книга в самом деле интересна. Под одной обложкой собраны писательницы разных поколений, разного жизненного опыта. Это женщины несхожих судеб, пристрастий, профессий. Большинство из них родилось в середине 30-х годов, некоторые — в 40-х, и всего три — в 50-х: Петра Вернер, Ангела Краус, Регина Ренер.

Кристина Вольтер, к примеру, в прошлом редактор, переводчица; Хельге Кёнигсдорф в 1974 году было присвоено звание профессора математики. Бригитта Мартин работала машинисткой-стенографисткой, затем — инженером-электриком на бетонном заводе. Хельга Шуберт по специальности врач-психотерапевт. Список профессий можно было бы продолжить... В настоящее время почти все авторы сборника — профессиональные писатели. Наверное, благодаря их разностороннему знанию жизни книга получилась по-настоящему и по-хорошему социальной и ставит перед читателем множество проблем, с которыми сталкивается не только женская половина рода человеческого.

Героини сборника разного возраста. В «Образах детства» К. Вольф[1] и в повести Кристы Мюллер «Кандида» мир увиден глазами ребенка. В «Неожиданном визите» Хельга Кёнигсдорф создает яркий образ современной школьницы-акселератки. Сложная судьба женщины, обремененной детьми, растущими без отца, описана в рассказах Бригитты Мартин. В уже упомянутой «Кандиде» повествование балансирует на грани трагедии о девочке, родители которой расстались (отец живет в Западном Берлине). Неестественность ситуации усиливается тем, что она дана в восприятии семилетнего ребенка, которому не под силу понять причины происходящего. Рассказы Макси Вандер снабжены подзаголовками: «Кристль, 28 лет, продавщица, замужем, трое детей», «Габи, 16 лет, ученица десятого класса» — это как бы социологические отчеты, довольно сухие по форме, ведущиеся от лица героинь. Следом идут «Карнавальный костюм» и «Чемодан, или Фауст на кухне» Ирмтрауд Моргнер — окрашенные романтикой воспоминания о тяжких послевоенных временах и ее же «Брачная аферистка» — повествование-гротеск, рисующее издержки чрезмерной эксплуатации «ностальгических женских добродетелей». Элементы гротесковости присущи и творчеству Хельги Кёнигсдорф.

Волшебные феи и ангелы, пытающиеся облегчить женскую долю,— довольно частые гости на страницах книги. И это, увы, симптоматично. Например, в «Отказе от карьеры» Шарлотты Ворчицки рассказано о женщине-директоре, депутате с четырьмя детьми, которая с помощью «ангела в синих чулках» обходится без сна. Или у Моники Хельмеке (рассказ «Беги прочь! — Вернись») фея помогает героине раздвоиться («тело твое тут, а душа там»), поэтому у нее хватает времени и на духовную, творческую жизнь, и на семейные хлопоты. Среди «сказочных» сюжетов выделяется своим изяществом «святочная история» Петры Вернер «Испечь себе мужа».

В истории Хельги Шюц («Mandragora officinarum») и Вальдраут Левин («Зов кукушки») также органично вплетены элементы «чертовщины». Заслуживает внимания и новелла в диалогах, написанная скорее на манер пьесы, главный герой которой, непризнанный гений Йонас Александр Дорт,— «феминизированное» и оторванное от жизни существо мужского пола — к сожалению, явление реально существующее.

Глубинные пласты женской психологии поддаются перу Кристины Вольтер в повести «Partisanská cesta»[2]. А рядом ее же «Я вновь человек семейный» — вещь остроумная и парадоксальная: читатель только в конце узнает, что обретенный героиней рассказа спутник, с которым получилась гармоничная семейная жизнь, тоже женщина. Неясные мечты, стремления, полуто-

[1] В сб. «Встреча». М., «Радуга», 1983, с. 331.

[1] В рецензируемой книге название романа «Образцовое детство».

[2] Партизанская тропа (*словацк.*).

на женских эмоций отражены в новеллах Урсулы Хериг, в повести Роземарии Цеплин («Недостаточное гостеприимство»).

Не обойдена молчанием и трагическая тема войны. Это воспоминания писательниц более старшего поколения. их все еще мучает и не дает покоя вопрос: почему фашизм оказался возможен, и именно в Германии. К. Вольф пишет: «Один польский писатель сказал, что фашизм как идеология характерен не только для немцев, но немцы были в нем классиками. И ты — среди своих немцев — не рискнешь, пожалуй, поставить эту фразу эпиграфом к книге...» И далее: «Различают следующие виды памяти: механическую, образную, логическую, словесную, материальную, моторную. Как же недостает здесь еще одного вида — памяти нравственной». Проблема памяти, памяти об участии в неправедном, злом деле,— и сегодня проблема для лучшей и честнейшей части немецкого народа. Эта память — в разных аспектах — отражена на страницах книги: у Хельги Шуберт, например, это память о погибшем отце, которого дочь не помнит, знает лишь по фотографиям и рассказам родных («Отец»). «Женщины из дома за березовыми холмами» Регины Ренер — история деревенской семьи, где остаются лишь женщины, тяжким трудом добывающие себе пропитание: ведь мужчины, как правило, с войн не возвращались.

Истинное освобождение женщины, ее полное равноправие, мы, конечно, не имеем в виду примитивное стремление к овладению мужскими профессиями,— дело будущего. Но заметим, что по сравнению с советской литературой — даже по количеству писательских имен — литература ГДР ушла вперед в художественном осмыслении проблем, которые приходится решать современной женщине в социалистическом обществе. Свидетельство тому — сборник рассказов «Неожиданный визит».

И. КИВЕЛЬ

Издано за рубежом

«НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ...», ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ ЖИЗНИ

Iris Murdoch. The Book and the Brotherhood. Lnd., Chatto and Windus — The Hogarth Press. 1987.

Айрис Мердок. Книга и братство. 1987.

«Братство западных интеллектуалов против книги, посвященной истории»,— так один из персонажей формулирует конфликт нового, двадцать третьего по счету романа маститой английской писательницы, и это определение отчасти поясняет его название. Отчасти, потому что отражает положение, сложившееся к началу действия — оно разворачивается в середине 1980-х годов, однако истоки сюжета отнесены в прошлое. Тогда, в середине 1950-х, возникло своеобразное братство старшекурсников Оксфорда. Главою братства стал Джерард Хирншоу, личность яркая и талантливая, а «душой» — «золотой мальчик» Синклер Картленд, спортсмен, красавец, умница, всеобщий баловень и любимец, чей будущий брак с Джин Ковитц, дочерью банкира, был, можно сказать, делом решенным. Братство сохранилось и по окончании университета. Влюбленный в Джерарда Синклер помогал ему редактировать левый журнал, все держались вместе и исповедовали марксизм или по крайней мере радикализм: таково было время.

В недрах упоенного своим свободомыслием братства и родилась идея, которую первым высказал Синклер,— помочь Дэвиду Кримонду написать книгу.

Сын бедного почтальона-шотландца, Кримонд, попал в Оксфорд, добившись стипендии. Марксист, он приобрел известность как видная фигура левого движения; публичные выступления и серия брошюр снискали ему авторитет среди молодежи и в кругах интеллигенции. Было ясно, что он способен создать нечто очень значительное, если не будет растрачивать себя по мелочам. Так появился на свет проект Crimondgesellschaft» : братство как бы заказывает Кримонду философскую монографию об историческом процессе, а на период работы над ней выплачивает ежемесячное содержание за счет добровольных пожертвований от своих членов, к которым присоединились отцы Джин и Джерарда. Кримонд согласился и отошел от активной политической деятельности, чтобы отдаться работе над книгой.

В середине 80-х годов изрядно поредевшее братство по-прежнему переводит ему деньги. Погиб Синклер, разбившись на планере. Джерард, после смерти Синклера какое-то время любовник его сестры Роз, ушел со службы и старается «опекать» родных, друзей и знакомых. Роз живет на доход от небольшого капитала и все надеется, что Джерард, в которого она безнадежно влюблена, к ней вернется. Джин вышла замуж за Дункана Кэмбсома, бросила его ради Дэвида Кримонда, испортив Дункану дипломатическую карьеру, и хотя потом вернулась к нему, их новообретенное «счастье» зыбко.

Такова расстановка главных действующих лиц, какими они предстают на балу бывших оксфордских выпускников — сценой бала открывается роман, а предыстории персонажей даны «наплывами» по ходу действия На этом балу Джин встречает Кримонда и снова уходит к нему от Дункана. судя по всему навсегда. Этот шаг героини «включает» скрытый, но, как всегда у Мердок, тщательно отлаженный механизм причин и следствий. Его работа приводит к результатам, каких персонажам не дано предугадать. но какие с безжалостной логикой обусловлены именно тем, что

представляют из себя созданные романисткой характеры.

Разыгрывается знакомое по другим книгам Мердок действие: персонажи, как в старинном танце, сближаются и расходятся, меняют партнеров, вступают в союзы и противоборства. В прихотливом чередовании складываются и рушатся судьбы, комедия нравов переходит в трагедию обстоятельств, жизнь и смерть идут рука об руку, постепенно обнажаются нравственные первоосновы существования. Спектр повествования чрезвычайно широк — от откровенной мелодрамы до тончайшего самораскрытия персонажей через интонации их размышлений, оттенки чувствований, повторяющиеся мотивы воспоминаний, ассоциативные ряды.

Со временем в творчестве Мердок все отчетливей проступают две традиции классического английского романа — нравоописательная и нравственная, при том что морализаторство абсолютно чуждо ее манере. У нее были великие предшественницы — Джейн Остин и Джордж Элиот, и закономерно, что эти славные имена появляются на страницах «Книги и братства». Но у Мердок, нашей современницы, трагикомедия бытия подчас оборачивается трагедией рока на античный манер. Человек свободен — и несвободен: тысячью нитей связан он со своим окружением — и в высоком, метафизическом плане, и в сиюминутном, бытовом. Мердок любит вытягивать эти нити из ковра жизни (метафора У. Сомерсета Моэма), чтобы каждую проследить до конца. Как пластически пишет она вещи, сопутствующие человеку на жизненном пути,— одежду, интерьер, дом англичанина, провербиальную крепость, чьи стены ограждают от внешнего мира его самого и его материальное окружение.

Рядом с миром мертвой материи — мир живых созданий, и с ними судьбы героев романа сопряжены не менее тесно. Мастерство проникновения Мердок в смутную область взаимоотношений человека и малой твари давно отмечено как особое свойство ее таланта. «Сколь хрупки эти нежные создания, что делят с нами жизнь, сколь зависят от нас, как легко ранят их наше неведение, наша забывчивость, наши ошибки и невыразимая тайна их собственного смертного бытия»,— сказано в романе, где явлено и то, насколько и мы зависим от них.

Главным во взаимодействии человека и окружения в системе романов Мердок остаются, однако, неоднозначные переменчивые связи, токи, возникающие между людьми и образующие ту самую сеть причин и следствий, выпутаться из которой ее героям не удается, начиная с самой первой книги, так и названной — «Под сетью» (1954). Труднопостижимы, зачастую гротескны узоры этой сети, но ее основа — слова и поступки, продиктованные верностью персонажей своим характерам, миропониманию и ценностям, истинным или обманным, что служат для них осознанным или стихийно принимаемым эталоном.

Обманные, в трактовке писательницы, восходят к эгоцентризму, что, в свою очередь, порождает эгоизм, самодовольство, душевную глухоту и присвоение себе права распоряжаться чужими судьбами — грех, которого в глазах Мердок не оправдывают и самые благие намерения и который приводит к роковым, наименее входившим в расчеты благодетелей последствиям. Несчастный случай — комментируют персонажи. Но что такое «случай» в романной поэтике Мердок? Одежда, в какую рядится неизбежное. По этому поводу вполне определенно высказывался у Булгакова Воланд: «Кирпич ни с того ни с сего... никому и никогда на голову не свалится».

Ложным ценностям Мердок противопоставляет непреложность и самоочевидность ценностей истинных, закрепленных в заповедях общечеловеческой морали, как они изложены в Библии, которую англичане часто именуют попросту Книгой — the Book, так что «книга» в названии романа имеет и эту дополнительную соотнесенность. Приверженность писательницы этическим принципам христианства несомненна, как несомненно и то, что в ее истолковании евангельская мораль лишена жесткой нормативности, питающей религиозное фарисейство.

В новом романе Мердок спор настоящих и фальшивых ценностей помимо чисто нравственной переводится, впервые со времен романа «Алое и зеленое» (1965), в политическую плоскость. Речь идет не о социально-политических реалиях Британии середины 80-х годов, хотя они не обойдены вниманием. И даже не о дебатах вокруг марксизма, на который большинство членов братства, понимающих его каждый на свой лад, ополчаются с праведным негодованием респектабельных буржуа, открещивающихся от грехов юности и возмущенных «безнравственностью» марксиста Кримонда, «умыкнувшего» жену одного из них. Речь не об этом, но об ощущении исчерпанности либерально-буржуазных позитивистских воззрений на человека и исторический процесс, которое пронизывает всю книгу, сообщая ей звучание не просто нравственно-философского, а еще и политического романа.

Философско-политический подтекст «Книги и братства» подытожен в словах Кримонда, с какими он обращается к своим многолетним меценатам, ставя их в известность, что его труд закончен и он более не нуждается в финансовой поддержке: «Самый ваш образ жизни питает нищету и несправедливость, за вашими цивилизованными отношениями кроется ад насилия и страданий. Что происходит с диссидентами, когда они попадают сюда? Они отчаиваются, увядают, им здесь все ненавистно — ведь они видят Запад с о б с т в е н н ы м и глазами. Есть то, что называют историей, я не имею в виду категорию, открытую Гегелем или Марксом, если не Геродотом, я говорю о подспудном, могучем и неумолимом процессе социальных изменений. Вот э т о г о-т о вы просто-напросто не желаете замечать. Вы думаете, что действительность в конечном счете прекрасна, а поскольку самих себя тоже полагаете прекрасными людьми, то и чувствуете себя в безопасности».

Эту иллюзорную безопасность самодовольного внеисторического бытия, источник бед и трагедий, собственно, и трактует Мердок в романе, моральный пафос кото-

рого — так дальше жить нельзя, нужна другая, обновленная жизнь.

Мердок всегда была далека от марксизма, а ее ценностные ориентиры все теснее смыкались с общечеловеческими, пока полностью не совпали с ними в творчестве второй половины 70-х. Тем знаменательнее, что провозвестником нового осмысления истории она сделала марксиста. Подобно многим мердоковским характерам Кримонд неоднозначен и немного странен, со с в о е й тайной, которая остается до конца не проясненной. Безжалостность к себе и другим, аскетизм быта, нетерпимость, целеустремленность и резкость — качества, в известной мере присущие схематичным представлениям о личности коммуниста в среде английской, да и не только английской интеллигенции,— соединяются в его образе с чертами характерного для писательницы типа «рокового» героя, притягивающего к себе людей и подчиняющего их своей гипнотической власти. Только высокое мастерство искусства прозы помогает романистке как-то замазать «швы» от столь противоестественного совмещения и психологически мотивировать, хотя и не без натяжки, проявления в нем демонического начала.

Возможно, Кримонд не самый безупречный образ в романе, но именно он воплощает абсолютные для автора достоинства — верность правде, способность смотреть в лицо фактам, добро действий, а не благих упований: «Я принадлежу н а с т о я щ е м у, делаю то, что нужно делать с е й ч а с, я ж и в у историей нашего времени...» К тому же Кримонд — автор книги, по словам Джерарда, эпохальной, «представляющей все прошлое нашей цивилизации в соотнесенности с настоящим и б у д у щ и м, нацеленной на революцию». Читатель романа сможет составить о труде Кримонда лишь самое общее представление, но уже одно то, что он выбивает Джерарда из наезженной колеи, заставляет очнуться от спячки разума и взяться за перо, чтобы написать свою книгу, приняв за точку отсчета и полемики сочинение Кримонда, говорит само за себя. «Нацеленная на революцию» книга как мощный стимул обновления сознания — таков еще один символ, скрытый в названии романа.

Проникнутое благоговением перед таинством жизни и страстным требованием нового взгляда на ее смысл и предназначение человека в мире, написанное на примечательном даже для Мердок уровне художественных обобщений и утонченного мастерства, новое произведение этой непредсказуемой писательницы стало и бесспорной авторской удачей, и значительным явлением британской прозы нынешнего десятилетия.

В. СКОРОДЕНКО

«...О КРАСОТЕ ИСЧЕЗНУВШЕЙ РАССКАЗ»

C h r i s t i a n e B a r o c h e. L'hiver de beauté. Paris. Gallimard, 1987.

К р и с т и а н Б а р о ш. Зима красоты. 1987.

Как относиться к шедеврам? Почтительно любоваться ими издали, помня о том, что «руками не трогать»; или быть с ними «на дружеской ноге», не боясь «присвоить» и переделать придуманное не тобой? Как относиться к роману Шодерло де Лакло «Опасные связи», если он по сей день тревожит своим классическим совершенством, блестящей иронией и как бы провоцирует на создание интерпретаций?

С момента появления в 1782 году за романом тянется шлейф различных вариаций. В нашем веке Роже Вайян переписал «Опасные связи» для фильма Роже Вадима (1959). Хайнер Мюллер переложил роман на язык драматургии, создав пьесу-размышление «Квартет» (1981). Нельзя обойти молчанием и русского художника Константина Сомова, по признанию которого в объятия XVIII века его бросили «Опасные связи». К сожалению, можно только мечтать о том, какой шедевр книжного искусства получился, если бы издали де Лакло с иллюстрациями К. Сомова.

В романе Кристиан Барош «Зима красоты» блистательная злодейка маркиза де Мертей получает прошлое и будущее, которых у нее не было прежде. Собственно развязка «Опасных связей» оборачивается началом «Зимы красоты». Итак, маркиза де Мертей, обезображенная оспой, разорившаяся после судебного процесса, опозоренная в глазах высшего света, убегает из Франции в Голландию, прихватив серебро и драгоценности. Она бежит в дом своего отца, купца-ростовщика из Роттердама. Восемь лет назад отец продал ее красоту старому французскому маркизу, и имя «Изабелла» на долгие годы исчезло под пышным титулом маркизы де Мертей. Любимого Изабеллы, сына судовладельца Армана-Мари ван Хаагена, насильно женят на ее старшей сестре, дурнушке Мадлен.

Чужая всем, одинокая, обозленная, но вернувшая себе прежнее имя, Изабелла поселится в пустом отцовском доме. Как сказал поэт: «Здесь жизнь мертва, как гобелен старинный, / Здесь радости и здесь печали нет... / Ты клонишься неуловимой тенью, / И со стены взирает твой портрет». И только служанка, добрейшая Хендрикье, разделит ее стылое одиночество среди старых портретов и зеркал.

Зеркало в художественном мире Кристиан Барош предмет, конечно же, не случайный. Спустя два столетия с ужасом Изабеллы глянет на себя в зеркало молодая бразильянка Керия Хагенуш. Эта героиня, обреченная с самого рождения на уродство, по крупицам будет восстанавливать историю жизни своей прародительницы. Так XVIII век становится метафорой настоящего, а XX — вариацией на тему прошлого. В этих двух регистрах разворачивает писательница действие романа. Героиням суждено пройти через бесчисленные, возможно-невозможные приключения, чтобы в результате обрести счастье семьи и Дома...

«Рев толпы и грохот барабана» французской революции вынудят Изабеллу вторично покинуть Голландию и открыть для себя Новый Свет. Бразилию. В непривычных условиях недюжинные способности этой женщины, ее энергия, которые прежде в аристократическом парижском кругу оборачивались смертоносным ядом, помогут Изабел-

ле соединиться с овдовевшим Арманом-Мари ван Хаагеном.

В свою очередь Керия, нырнув в прошлое своей семьи, как в живую воду, найдет в себе силы бороться за исчезнувшую красоту и будет утешена любовью красавца миллионера.

Победившая зиму одиночества, увенчанная счастьем маркиза де Мертей — на такую «измену» роману де Лакло способна, пожалуй, только писатель-женщина. Вся книга Кристиан Барош пронизана любовью — любовью невероятной, какой и должна быть настоящая любовь, без которой умираешь, ради которой можешь все, только бы она не обошла тебя. Невольно вспоминается заклинание «Мучительного сонета» Иннокентия Анненского:

О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне!

Именно жажда сочувствия и любви, единения с теми, кто рядом, победят жестокость и презрение к людям маркизы де Мертей.

«Зима красоты» с точки зрения сюжета — роман-мелодрама, но о стиле его можно сказать словами критика И. Золотусского: «Метафора — оружие поэзии, но она оружие не поэтической техники, а мысли, страдания, великого переживания и великого опыта». Стиль Кристиан Барош музыкален, чувствен, «зрим очами». Писательница находит особые звуковые тона для каждой главы, которые как бы перетекают друг в друга. Ее роман — пример литературы, именуемой у нас «проза поэта».

А Кристиан Барош поэт. И прозаик. И музыкальный критик, замечательно пишущий о музыке. И ученый-биолог, работающий в институте Кюри. И женщина, которая верит: красота жизни не знает зимы.

М. ТЕР-МАРКАРЯН

ОТКРОВЕНИЯ ЗИМЫ

Ann Beattie. Where you'll find me and other stories. New York, Simon & Schuster, 1986.

Энн Битти. Где ты найдешь меня и другие рассказы, 1986.

Анализировать произведения молодого писателя — задача трудная и, откровенно говоря, неблагодарная, ибо для прицельного взгляда критика живущий и деятельный художник подобен неуправляемой мишени, движение которой, как правило, плохо предсказуемо. Это суждение в полной мере относится к творчеству 38-летней американской писательницы Энн Битти; неопровержимым свидетельством того, что направленное на нее критическое ружье стало давать промах, служит ее последний сборник рассказов «Где ты найдешь меня».

С 1974 года, когда в печати появились ее первые рассказы, за писательницей быстро закрепилась репутация «летописца поколения контркультуры», вернее — «главного литературного свидетеля» судьбы «шестидесятников» после заката бесшабашной эпохи молодежного бунта. Первые три сборника рассказов Битти («Перекос», 1976; «Секреты и сюрпризы», 1979; «Горящий дом», 1982) и два романа («Прохладные зимние сцены», 1976 и «Возвращение на свои места», 1980) завоевали единодушное признание критики и читателей, увидевших в них прежде всего собственную драму — психологические и нравственные коллизии юных бунтарей 60-х годов, незаметно для себя оказавшихся в круто изменившемся мире 70-х — начала 80-х.

Легкоранимые и в то же время до удивления равнодушные к чувствам других людей; наблюдательные, ироничные и одновременно беспомощные, неисправимо инфантильные в своих поступках и мировосприятии; таящие в душе неугасимую мечту о всеобъемлющей любви и тем не менее перешагнувшие порог зрелости одинокими и отчужденными — такими предстали в произведениях писательницы вчерашние хиппи и битники, необыкновенная (в смысле романтически-бунтарского накала) юность которых по грустной (и вполне закономерной) иронии судьбы уготовила им последующее заурядное существование. Мир глазами героя, страдающего после «опьянения» романтикой, не может быть не чем иным, как абсурдом, нагромождением бессмысленных предметов и нестерпимых банальностей. Неудивительно, что в рассказах Энн Битти «случайные» начала не имеют «логических» концов, что загадки и проблемы, возникающие перед персонажами, не получают ожидаемого читателем объяснения и разрешения, что жизнь героев Битти (несмотря на ее внешнее благополучие и комфорт, на идиллическую красоту окружающей их природы и фантастическое великолепие американских мегаполисов, столь искусно воссозданных автором) безысходно трагична.

Таким было в общих чертах сложившееся представление о художественном мире Энн Битти, представление, в сущности, вполне адекватное. И то, что писательницу одновременно сравнивали с прозаиками, несопоставимыми друг с другом, такими как Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Дональд Бартельм, тоже казалось не лишенным основания. Рассуждения Битти о собственном творчестве вроде бы подтверждали правоту критических заключений. Так, в интервью корреспонденту журнала «Паблишез уикли» она заявила, что от литературы требует «недоговоренности, неоднозначности». «Я читаю художественную литературу не для того, чтобы получать ответы на вопросы. Я люблю тех писателей, само творчество которых заключает в себе вопрос. Только многогранность жизни дает истинное утешение. Изобрази жизнь как загадку и признай ее загадкой».

Но вот что знаменательно — в 1985 году выходит третий роман Битти «Любовь навеки» и монолитность критической оценки неожиданно дает трещину. Наряду с хвалебными откликами («Если бы можно было скрестить творческую манеру Джейн Остин с Оскаром Уайльдом и заново скрестить с ранним Ивлином Во, и полученное забросить... в Америку конца XX века, то результат, вероятно, очень напоминал бы это произведение»,— так охарактеризовала роман

известная канадская писательница Маргарет Этвуд) появляются отклики весьма прохладные, вроде рецензии Дианы Кэтчем в «Таймс литерари сапплмент»: «Беда в том, что Битти выросла, а ее герои нет. Нигде еще внутреннее противоречие между неординарностью повествовательницы и заурядностью ее героев не достигало такой остроты, как в ее последнем романе. Она следовала за «детьми 60-х» слишком долго, и очевидно, что в «Любви навеки» она исчерпала тему».

Расслоение критического восприятия — прежде всего свидетельство эволюции самого художника, отхода от им же самим созданных канонов. Появление сборника «Где ты найдешь меня», в котором собраны лучшие образцы малой прозы Энн Битти за последние пять лет, подтверждает наше предположение — в творчестве писательницы произошли качественные изменения, выводящие ее на иной уровень художественного освоения действительности. Те новые черты, что так явно проступили в ее нынешнем творчестве, заставляют иными глазами посмотреть и на ее прошлые произведения, на саму направленность ее художественных устремлений.

Если прочесть в хронологической последовательности все созданное до сих пор Энн Битти, то невозможно не заметить одной характерной особенности автора — пристрастия к зимним пейзажам. Зима неизменно является основным фоном (а то и главным действующим лицом) не только в ее первом романе «Прохладные зимние сцены», но и в подавляющем большинстве ее рассказов. В сборнике «Где ты найдешь меня» из 15-ти собранных под одной обложкой рассказов шесть разворачивают свое повествование суровой снежной зимой, среди остальных трудно найти такой, в котором не присутствовало хотя бы упоминание об этом времени года. Любопытно, что откровения и внезапные прозрения героев Битти (коими она их нечасто балует) происходят, как правило, под завывание метели или в безмолвной ясности зимнего дня. Не потому ли она так любит зиму, что в контрастном сосуществовании черного и белого цветов, в первозданном хаосе стихии, требующей высочайшего напряжения всех природных и *человеческих* сил, яснее проступают первоосновы жизни, «фундамент» мироздания, что неустанно ищет и познает истинный художник? Рассказы Энн Битти подтверждают это предположение. То, что не всегда внятно, подчас пунктиром мелькало в предыдущих произведениях, впервые отчетливо проявилось в сборнике — автор сквозь туман жизненных перипетий, абсурда, дисгармонии стремится определить нравственные ориентиры для своего поколения, без которых человеческая жизнь немыслима и невозможна.

Такая художественная задача (вероятно, только теперь с полной ясностью открывшаяся и самой писательнице) внесла существенные коррективы в тональность и структуру рассказов последнего периода. С одной стороны, это как будто типично «биттиевские» рассказы: смысловая насыщенность языка, сочетающего в себе изысканную литературность и шероховатость разговорной речи, тонкий психологический рисунок поведения героев; ироническое обнажение амбивалентной сущности событий; музыкальная наполненность художественного мира (популярная и классическая музыка буквально обволакивает ее героев, она звучит по радио, льется из магнитофонов и проигрывателей, судьбы персонажей сплетаются со шлягером или комментируются им, даже названия для своих произведений автор заимствует из модных песен). Но с другой стороны, живописный рисунок рассказов заметно меняется: краски становятся чище и прозрачнее, контуры определеннее и четче, авторская ирония теряет свойственную ей ранее беспощадность, проникаясь мягкой печалью, «вещная» перегруженность сменяется более тщательным отбором художественных деталей. Дело здесь не только в том, что Энн Битти «выросла» и ее произведения стали приобретать черты классической ясности, что многие максималистские критерии юности сменились мудрой терпимостью творческой и жизненной зрелости, но и в том, что ее герои тоже повзрослели: вернее, она признала за ними право судить и оценивать жизнь с точки зрения их духовного опыта, дала возможность «негероическому», «пасмурному» поколению поведать о его «формах борьбы» за человеческое достоинство.

Открывающий сборник рассказ «В белой ночи» как будто малозначащий эпизод жизни стареющей пары. Возвращение по зимней дороге из гостей, полуавтоматические разговоры, слегка курьезное и нелепое поведение двух хмельных людей. Это терпеливое нанизывание автором будничных банальностей создает ощущение раздражающей заурядности и бессмысленности их существования, пока не выясняется, что супруги несколько лет назад потеряли единственную дочь, умершую от лейкемии. И тогда внешняя абсурдность их поведения пронизывается внутренним трагическим смыслом: все их душевные силы направлены на то, чтобы не сломиться под тяжестью невосполнимой утраты, с достоинством и терпением пройти свой жизненный путь до конца.

Андрия, героиня рассказа «Янус», для окружающих и для собственного мужа — деловая женщина, преуспевающий агент по продаже недвижимости, ее же личная, тайная для всех жизнь сосредоточена вокруг... вазы, ставшей для нее объектом суеверного поклонения, чудесным талисманом. Неестественная, растущая день ото дня привязанность Андрии к вазе, боязнь хоть на миг расстаться с нею доходят почти до гротеска, и здесь Энн Битти сообщает читателю «дополнительную информацию» — эту вазу подарил героине возлюбленный, покинувший ее, когда она (по душевной лености) отказалась пойти на решительный шаг и соединить с ним жизнь. И загадочно-ироническое повествование Битти вдруг явственно обретает интонации рассказов Генри Джеймса о потерянной, неугаданной любви.

Повзрослевшие герои писательницы познали драматическую борьбу чувства и долга (рассказ «Спирит»), «доросли» до терпения и снисходительности, чтобы «устоять в сей жизни трудной» («Времена», «Рай летней ночью»), а главное — научились видеть и ценить красоту и чудеса мира, мира, который ранее они так яростно отвергали («Где ты найдешь меня», «На возвышении»). Нет, они не стали малодушными конформиста-

ми, их одиночество, кстати, отчасти объясняется нежеланием подчиняться филистерским требованиям истеблишмента, но зрелость наградила их уважением к тайне жизни

В последнем и, на наш взгляд, наиболее пленительном рассказе, давшем название всей книге, героиня, выбитая из колеи повседневности «обыкновенным чудом», в реальность которого она никак не может поверить (в нее влюбляется с первого взгляда интересный незнакомец), рождественским вечером подъезжает к дому брата, и неожиданно распахнувшаяся дверь и выплеснувшиеся из нее в ледяные сумерки свет, музыка, дым, тепло, пестрые нарядные одежды поражают ее так, как поразила бы прекрасная неведомая картина на тусклой стене. Этой сценой завершается сборник, оставляя в душе читателя ощущение светлой печали желание мысленно продлить последний «кадр», еще раз полистать страницы этой странной и правдивой литературной «летописи».

И. ПРОХОРОВА

ФЕНОМЕН ГАРСИА МАРКЕСА: ПАРАДОКСЫ ПРОЧТЕНИЯ

Давно известно, что развитие литературы имеет не только свою историю, но и свою географию. И пожалуй, уже ни у кого не вызывает сомнения, что сегодня центр этого развития переместился в Латинскую Америку. А там среди десятка крупных талантов особо выделяется один — Габриэль Гарсиа Маркес.

Мы предлагаем читателю краткий обзор советской и зарубежной «маркесианы» последних двух лет.

В критической литературе о творчестве Гарсиа Маркеса можно выделить две постоянные тенденции. С одной стороны, это желание исследователей приблизить к читателю книги колумбийского писателя, с другой — дать оригинальные, порой не бесспорные толкования его образной системы, его философии, что в конечном итоге обогащает читательское восприятие.

В Лондоне в 1987-м издана книга английского литературоведа *Стивена Минты* «*Габриэль Гарсиа Маркес: писатель Колумбии*». Ее автор поставил перед собой задачу разрушить привычный читательский стереотип, о котором с горечью писал сам Маркес в повести «Полковнику никто не пишет»: «Для европейцев Южная Америка—это мужчина с усами, гитарой и пистолетом». Автор анализирует биографию писателя, прямо или косвенно отразившуюся в его книгах, историю Колумбии, сопоставляет прозу Маркеса с произведениями Беккета и Джойса, задается вопросом об адекватности перевода книг Маркеса на английский язык.

Книгу С. Минты пронизывает мысль о необходимости помнить и осмыслять события прошедших дней, тема памяти, настойчиво повторяющаяся при разборе любого из выбранных им произведений («Полковнику никто не пишет», «Недобрый час», «Осень патриарха», «История одной смерти, о которой знали заранее», «Любовь во время чумы»). В романе «Сто лет одиночества» предвестником грядущих трагедий стала эпидемия забывчивости, обрушившаяся на город Макондо. Ее причины исследователь видит в забвении собственных корней и в забвении тысячелетних индейских традиций. Не случайно единственные, кто понимает опасность постигшего город несчастья, индейцы Виситасьон и Катауре, в прошлом наследники древней династии, а ныне слуги в семье Буэндиа

С. Минта приводит необычное толкование названия города «Макондо», связывая его с культурной и религиозной традицией народа банту. На языке банту «макондо» означает «бананы» («кондо» — банан). Банан — это и лекарство от самых опасных заболеваний, но одновременно и пища злых духов. Так, иронически обыгрывая название города, Маркес предсказывает возвышение и падение Макондо, гибель его обитателей.

Роман «Сто лет одиночества» — постоянно в центре внимания критиков. В журнале «Испаник ревью» (№1, 1987) латиноамериканская исследовательница *Мариа Эулалия Монтенер Феррер* (университет Федерико Момпоу, США) в статье «*Обманчивый Габриэль Гарсиа Маркес: Урсула Игуаран, рассказчица «Ста лет одиночества»*» проводит интересный эксперимент, воссоздавая предполагаемое генеалогическое древо семейств Урсулы Игуаран и Хосе Аркадио Буэндиа, и приходит к выводу, что страх героини перед ужасным проклятием, преследующим род Буэндиа из-за инцестного брака, необоснован, ибо Урсула и Хосе Аркадио не были родственниками по крови, о чем должна была знать и сама Урсула. Имя, данное двум семействам «Буэндиа» — сокращенный вариант обычного привествия «Добрый день»,— означало на континенте: «неудачники», «бесталанные люди», так же называли здесь всех испаноязычных выходцев из Старого Света. И потому подспудный страх окружающих перед семейством иммигрантов, которое не сумеет, достигнув власти и богатства, сохранить необходимые людям гуманность и доброту, страх перед объединением и могуществом чужаков породили эту легенду. Но судьба всех членов рода Буэндиа оказывается гораздо страшнее предполагаемой угрозы рождения игуаны или младенца «с поросячьим хвостиком». Причину падения рода Буэндиа исследовательница видит прежде всего в том, что Урсула, единственная живая свидетельница и хранительница памяти рода, большая выдумщица и фантазерка, явилась по существу главой рода, создав своеобразный матриархат, противоестественный и призрачный, губительный для семьи, несмотря на усилия самой Урсулы, всех ее преемниц, включая и последнюю в роде Амаранту Урсулу, безуспешно пытавшуюся возродить разрушающийся мир Макондо и дома Буэндиа.

Русской культуре всегда была свойственна «всемирная отзывчивость». Колумбийский писатель, которого все чаще называют великим, давно стал для нас «своим». Он говорит о тех же насущных проблемах бытия — природе человека, смысле истории,— кото-

рые всегда были центральными в русской классике; но говорит таким своеобразным языком, что для полного его понимания необходим истолкователь. *В. Земсков*, автор первой вышедшей на русском языке монографии *«Габриэль Гарсиа Маркес»* (М., 1986), прекрасно подходит для этой роли. Вдумчивая скрупулезность анализа сочетается у него со способностью к широким обобщениям и умением поместить исследуемый материал в контекст большой культуры. Произведенное им наложение бахтинской концепции карнавализации на прозу Гарсиа Маркеса и латиноамериканский роман в целом оказывается весьма плодотворным. Ибо карнавал, в широком культуро-философском смысле, возникает «на границах» — социальных, культурных, исторических,— там, где соприкасаются культурные миры. А именно такая ситуация характерна для всего процесса формирования латиноамериканской культуры. И именно на этой основе, как утверждает автор, строятся ее отношения с культурой европейской: на эсхатологические пророчества Запада «пылающий континент» отвечает «взрывом смеха», несущего очищение и освобождение от иллюзий; а его знаменосец Гарсиа Маркес производит «карнавальную ревизию» всей предшествовавшей истории — с тем, чтобы, создав «исчерпывающую поэтически-метафорическую модель» старого мира, навсегда распроститься с ним и выйти на прямую дорогу в будущее. «Не только «прощай» прошлому — мифу, «предыстории человеческого общества», но и «здравствуй» — новому дню, подлинной народной истории мы слышим в повествовании о тех, кого звали Буэндиа, что и означает в переводе «добрый день».

С этим выводом В. Земскова спорит *Л. Аннинский*, поместивший в журнале *«Латинская Америка» (1987, № 8) статью «Феномен Гарсиа Маркеса: соблазн и опыт»*. Мы уже не однажды имели случай заметить, как силен у критика полемический запал; можно даже сказать, что энергия спора — один из движителей его мысли. Вот и на сей раз, похоже, собственная концепция Аннинского возникла при столкновении с другой точкой зрения — столкновении, высекшем полемическую искру. Отдавая должное «чуткой точности» исследователя, непредвзятости и строгой ясности анализа, критик выражает несогласие с итогом исследования — оптимистическим утверждением «всеобщего очищения» в будущем. Сам он не видит оснований для оптимизма. Да и впрямь, откуда бы им взяться? Ведь есть какая-то «горькая фатальность» в подходе писателя к природе человека; мир, им изображенный, исполнен тьмы, пронизан виолентностью — всепроникающим насилием, трагически неизживаемым, ибо оно лежит, кажется, в самой основе человеческого бытия. Этот мрачный мир «недоброго сознания», при всей своей фантасмагоричности, настолько реален и плотен, что нам — вместе с Аннинским — трудно поверить в возможность «вдохновляющего чуда», во внезапный прорыв за «светлую грань», где «начинается всеобщее очищение, и «хвостатые», агрессивные мачо, человеко-животные с виолентностью в крови и химерами в голове научаются любить».

Нельзя, правда, не признать, что концепция Земскова близка к представлениям самого Гарсиа Маркеса. Критик и признает это тем охотнее, что получает таким образом возможность снова высказать одну из любимых своих мыслей — о несоответствии авторских устремлений и творческого воплощения. «Книги великого писателя всегда шире, духовно объемнее и непредсказуемее его намерений».

Иное дело — публицистика, с ее идеологической отчетливостью и пропагандистскими тенденциями. Репортаж *Гарсиа Маркеса «Одиссея Мигеля Литтина, или Тайное возвращение на родину»* — яркое доказательство его веры в человеческое благородство, мужество и силу. «Иностранная литература» уже писала об этом необычном репортаже, отрывки из которого публиковались в нашей периодике; *«Латинская Америка» (1986, № 11, 12, 1987. № 1, 2, 3)* поместила его полностью, предоставив читателю возможность увидеть знаменитого колумбийца с непривычной стороны. Уступая слово Мигелю Литтину, писатель отказывается от своей яркой образности; удивительная «одиссея» режиссера-эмигранта, приехавшего под чужим именем в Чили, чтобы снять документальный фильм, изложена им просто и безыскусно. «Я решил вести повествование от первого лица, так, как слышал его из уст самого Литтина, при этом стараясь сохранить его манеру рассказывать — местами доверительную, без дешевой драматизации и каких-либо притязаний на историческую значимость», — пишет Гарсиа Маркес. Но перед нами не просто «репортаж» — скорее «художественная реконструкция» героического акта, «конечный результат» которого оказался «куда более значительным и волнующим, нежели первоначальное и благоосуществленное намерение»: дело идет об утверждении достоинства человека, противостоящего античеловечной системе фашистской диктатуры.

Так к чему же движется созданный великим колумбийцем универсум — к «черному взрыву» или к «вечному солнцу»? Или в нем заключено и то и другое? Чтобы в полной мере уяснить, «что означает для нас это явление духа» — Габриэль Гарсиа Маркес, — чтобы «с ним соотнестись, понять его, усвоить» (Аннинский), нужно, наверное, осмыслить его в целом, не вынося за скобки читательского восприятия противоречий между намерением и осуществлением, между историческим оптимизмом сторонника социального прогресса и катастрофическим мировосприятием художника. Это ведь тоже входит в «феномен Гарсиа Маркеса».

Н. ГРУЗДЕВА,
Е. ЗЛОБИНА

◆

Из месяца в месяц

Австрия

СКАЗКА ПЕТЕРА ХАНДКЕ

Свою новую книгу «Отсутствие», вышедшую недавно в издательстве «Зуркамп», Петер Хандке назвал «сказкой». Но пожалуй, ее можно было бы даже назвать притчей или аллегорией. Во многих произведениях последних лет Хандке пытается придать новое звучание привычным, стертым словам и понятиям, заставить читателя увидеть мир свежим, обновленным взглядом. В «Отсутствии» немало рассуждений на этот счет. Как полагает рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Франк Ширрмахер, их можно считать «автокомментарием к собственному произведению».

Фабула книги проста: старик, женщина, игрок и солдат отправляются на воскресную экскурсию. Уже в самом начале автор дает понять, что это не обычное путешествие, а некое паломничество, попытка уйти из повседневности в страну, где, как в первый день творения, предметы еще не получили имен, «где нет прошлого и все готово для нового сотворения мифа».

Теперь для остального мира они — «отсутствующие»; впрочем, и их самих мир не очень интересует. «Похоже, что Петер Хандке все больше становится поэтом странных людей», — замечает Ф. Ширрмахер.

Руководство группой берет на себя старик, который все время что-то строчит в своей записной книжке. Спутники не понимают, что он пишет и зачем, они следят за его странной деятельностью с недоумением и чуть ли не испугом. А он, словно повинуясь чьей-то воле, тщательно регистрирует происходящее вокруг.

Есть все основания полагать, считает рецензент, что в образе пишущего старика «Хандке хотел изобразить самого себя». Он обещает тугоухим спутникам привести их в блаженную страну, где можно будет «забыть бесконечный перечень привычных названий и понятий», научиться заново воспринимать реальность. Но когда они действительно попадают в загадочную Аркадию, старик исчезает. Оставшиеся разочарованы, они ругают пропавшего, называют его обманщиком и авантюристом, а потом отправляются его искать — и в этой новой цели находят новый смысл, новую возможность счастья.

Один из любимых тезисов Хандке, нашедший выражение и в этой книге, таков: не воплощенное в слове, не зафиксированное на бумаге — как бы не вполне реально. «Хандке — материалист слова, — пишет Франк Ширрмахер. — Слово для него — та же вещь».

Болгария

МЕСТО ИЗДАНИЯ — ГАБРОВО

В болгарской «столице смеха» — городе Габрово — выходит новый журнал «Апропо», сообщает еженедельник «АБВ». Издает его Дом юмора и сатиры, журнал выходит на болгарском, русском, английском и французском языках, но название у него не такое уж «иностранное», как может показаться на первый взгляд: французское «a propos» (кстати) давно вошло в том же значении в болгарский язык, только пишется в одно слово. В работе «Апропо», по словам его главного редактора Марко Ганчева, примет участие солидный коллектив авторов-юмористов из 18 стран (в том числе и мастеров карикатуры). Правда, обширность «штата сотрудников» создает и ряд сложностей: так, никто, даже главный редактор, не знает, когда выйдет в свет следующий номер журнала. Отвечая на вопрос корреспондента еженедельника «АБВ», нашел ли своего читателя «Апропо» за рубежом, М. Ганчев привел суждение американского профессора из университета штата Аризона Дона Нилсона, который сообщил, что только в одной Аризоне можно продавать по тысяче экземпляров этого веселого издания — так велик к нему интерес.

Говоря о задачах, стоящих перед «Апропо», главный редактор отметил: «Самое главное, чтобы наш читатель познакомился с лучшими произведениями юмористов и сатириков всего земного шара. И пусть зарубежные читатели узнают, что болгарские авторы ничуть не хуже...» В конце беседы Марко Ганчев, уступив настойчивым просьбам журналистов, согласился объявить тему ближайшего номера — «Отцы и дети». Одним из девизов номера станет афоризм, присланный из Франции: «Невроз является наследственным заболеванием. Родители часто получают его от своих детей».

Великобритания

ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Спустя семь лет после выхода первой части опубликована вторая часть трилогии Уильяма Голдинга «В непосредственной близости» (о первой части, романе «Верительная грамота, получившем в 1980 году «Букер прайз», см. «ИЛ», 1981, № 10). Действие происходит в 1813 году на пассажирском пароходе, плывущем к берегам Австралии. Рецензент еженедельника «Таймс литерари сапплмент» Дэвид

Ноукс начинает свою статью словами главного героя Эдмонда Тэлбота, от лица которого ведется повествование: «Корабль — это целый мир! Вселенная!»

Роман «В непосредственной близости» — притча о человеческом сообществе, о поединке добра и зла, анализирующая, как и предыдущая книга, истоки этих двух антагонистических начал, пишет Д. Ноукс. На первый взгляд это — стилизация под викторианский роман нравов, считает рецензент, но педантичное, строгое следование канонам этого жанра наталкивается на «сопротивление материала»: все происходящее передано через искаженное, затуманенное восприятие Тэлбота.

Зыбкость, фантастичность событий подчеркивается и «космическим образом водной стихии», — отмечает Дэвид Ноукс, в результате перед читателем предстает не добротная стилизация, но некое ирреальное действо, персонажи которого — не люди из плоти и крови, а архетипы. Эту трансформацию реального в иллюзорное усугубляет всеобщее безумие: «Тэлбот не одинок в своем душевном нездоровье. На этом «корабле дураков» каждый чуть-чуть не в себе,— замечает Д. Ноукс. — Одни до помрачения разума боятся, что их корабль потерпит крушение, другие потеряли рассудок от винных паров, третьи — от наркотика. Перед нами архетипы, каждый из которых ждет своего выхода на сцену, где разыгрывается какая-то грандиозная драма «борьбы душ».

Роман насыщен литературными реминисценциями, историческими и литературными аллюзиями, возвращающими читателя, по мнению рецензента, к книгам Филдинга, Смоллета, Джейн Остин.

ОПЕРА ПО ПАСТЕРНАКУ

В Лондоне состоялась премьера оперы «Электрификация Советского Союза», созданной композитором Н. Осборном и поэтом К. Рейном по мотивам романа в стихах Б. Пастернака «Спекторский», сообщает газета «Гардиан».

Обозреватель газеты Х. Кэннинг рассказывает, что Осборн, обратившись к Рейну с предложением о совместной работе, спросил, читал ли тот роман Пастернака «Последнее лето» (так называется книга в английском переводе). Поэт ответил, что как раз собирался его перечитать и книга уже лежит на письменном столе. «Осборну это показалось удивительным совпадением, — отмечает Х. Кэннинг,— он тогда еще не знал, что Рейн женат на племяннице Пастернака». Перед авторами оперы, по мнению обозревателя, стояла сложная задача — подобрать верный музыкальный ключ к тексту романа, в котором рассказана во многом автобиографичная романтическая история московского репетитора, а фоном ее служат революционные события в России начала века.

Дело в том, продолжает Х. Кэннинг, что произведение Пастернака музыкально само по себе, поэт мастерски отображал окружающую его действительность не только в образах, но и в звуках. И это не случайно: ведь Пастернак, горячий поклонник А. Н. Скрябина, когда-то сам мечтал стать музыкантом. В тексте либретто автор романа становится одним из главных героев оперы — двойником Сергея Спекторского.

По мнению Х. Кэннинга, это, пожалуй, самое серьезное отступление от текста оригинала, если не считать того, что название оперы — перифраз известного ленинского лозунга.

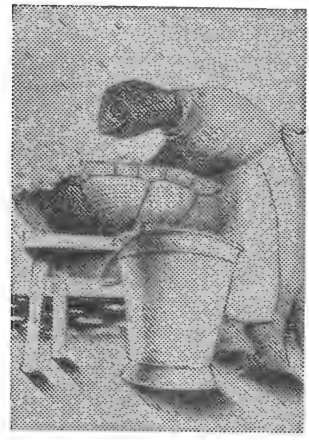
Венгрия

«РЕБЯТА, А У ВАС ЖИВУТ ЗВЕРЯТА?»

Так называется стихотворение Белы Риго, хорошо известное венгерской детворе. Судьба этого стихотворения сложилась счастливо, отмечает рецензент журнала-обозрения «Венгерская литература сегодня» (выпуск 1987 года). Оно положено на музыку и дало название книге, где собраны шутливые и серьезные стихи разных поэтов о зверях и птицах — и диковинных, и тех, что живут рядом. Среди авторов сборника, выпущенного будапештским издательством «Мора»,— Шандор Петёфи, Лёринц Сабо, Шандор Вереш, Дежё Тандори, Шандор Каняди. Есть и переводные стихи — Самуила Маршака, современных французских поэтов Жан-Люка Моро, Жака Гошрона.

«Книга эта музыкальная,— сказано в издательской аннотации.— Дети читают стихи, рассматривают великолепные иллюстрации, выполненные Марией Хорват, и одновременно могут слушать эти стихи, ставшие песнями, в записи, в исполнении популярного ансамбля «Калака», так как к книге приложена магнитофонная кассета».

Содружество молодежного издательства и ансамбля «Калака», создавших эту музыкальную книгу, не случайно. В репертуаре ансамбля, побывавшего с гастролями во многих странах, в том числе и в Советском Союзе,— народная музыка, литературно - музыкальные композиции на стихи венгерских поэтов и поэтов других стран — Ф. Гарсиа Лорки, Ф. Вийона, Б. Брехта, С. Есенина, Е. Евтушенко, программы для детей. Об одном из выступлений ансамбля перед детской аудиторией критик Габриелла Лёчеи писала: «Если бы существовала премия «За создание хорошего настроения», то ее в первую очередь следовало бы присудить ансамблю «Калака».



Иллюстрации из книги «Ребята, а у вас живут зверята?». Художник Мария Хорват.

«ТАК ЖИЛ ЛАЙОШ НАДЬ»

Издательство «Мора» в серии «Так жил...», рассказывающей о жизни замечательных людей прошлых веков и нашего времени, выпустило биографию Лайоша Надя (1883—1954), одного из зачинателей и творцов новой, социалистической литературы Венгрии, лауреата премии Кошута (1948). Автор биографии — Шандор Борбей.

Прозаик и публицист Л. Надь знаком советскому читателю по сборнику прозы, вышедшему в издательстве «Художественная литература» в 1976 году, по публикациям журнала «Иностранная литература» (1979, № 12; 1983, № 5).

Достоинство монографии, считает критик Золтан Ислаи, откликнувшийся на выход книги рецензией в журнале «Уй тюкёр», в том, что автор раскрывает конфликт писателя — борца за правду и справедливость — как с венгерским обществом времен Хорти, так и с бездумными, высокопарными оптимистами в уже послевоенной Венгрии.

Было время (в последние годы жизни писателя), напоминает З. Ислаи, когда творчество Л. Надя обходили молчанием — из-за приверженности писателя суровой достоверности, из-за обличительного характера его произведений.

Автор монографии, отмечает Золтан Ислаи, позаботился и о том, чтобы книга читалась легко. Он рассказывает и о комических случаях в жизни писателя, тогда беспристрастность, строгость изложения сочетаются с иронией, иногда шутливостью тона.

Гваделупа

ПО ЗЕМНЫМ КРУГАМ АДА

Первые же два романа, опубликованные во Франции, принесли популярность уроженке Антильских островов Маризе Конде. Недавно в издательстве «Меркюр де Франс» вышла в свет еще одна ее книга — «Я, Титюба, чернокожая сейлемская ведьма». Рецензент парижского журнала «Кензен литтерер» Клод Вотье отмечает, что в этом произведении «отражены все проблемы, волнующие автора как женщину и представительницу черной расы»

Героиня романа — реальное историческое лицо, это дочь рабыни с антильских плантаций, очутившаяся в Новой Англии. Старуха-соплеменница научила Титюбу врачевать болезни целебными травами, именно это и послужило поводом для обвинения девушки в ведовстве. Титюба стала одной из жертв знаменитых

Мариза Конде.

(Журнал «Кензен литтерер»)

«процессов ведьм», которые, напоминает рецензент, происходили в городе Сейлеме в конце XVII века, когда колонию захлестнула волна пуританского фанатизма. «Чернокожая ведьма» вынесла нечеловеческие пытки, тюремное заключение и чудом спаслась. Спустя несколько лет она вернулась на Антилы, там и погибла во время стихийного, обреченного на неудачу восстания негров-рабов. По словам К. Вотье, Маризе Конде удалось «создать яркое и захватывающее жизнеописание Титюбы, рассказ о ее страшном пути по земным кругам ада». Повествование в романе ведется о событиях трехвековой давности, однако затронутые в нем темы религиозного фанатизма и бесправия негров достаточно актуальны и в современном мире, заключает рецензент, поэтому так страстно звучит голос Маризы Конде — голос, в котором слышна живая боль ее народа.

Индия

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ

В Дели состоялся симпозиум молодых писателей Азии и Африки, сообщает еженедельник «Нью эйдж». Встречи литераторов этих двух континентов уже проводились в индийской столице в 1956 и 1970 годах.

В работе нынешнего симпозиума приняли участие молодые писатели и поэты из Таиланда, Филиппин, Вьетнама, Ливана, Бангладеш и Шри-Ланки, из Южной Африки, Анголы, Мозамбика, Нигерии, Ганы.

Индийскую делегацию представляли около ста молодых литераторов из различных регионов страны, среди них — прозаик Абдул Бисмилла, критик Кальпана Сахни, поэт Арун Камаль. В делегацию входили также писатели старшего поколения — такие выдающиеся мастера современной индийской литературы, как поэтесса Амрита Притам, прозаик и драматург Вишну Прабхакар, поэт Рагхувир Сахай, родоначальник течения «наи кахани» («новый рассказ») новеллист Камалешвар.

Основная тема симпозиума — «Конфликты нашего времени и писатель». Секционные заседания были посвящены обсуждению следующих проблем: ценности подлинные и мнимые в потребительском обществе, литература в эпоху массовой коммуникации, роль литературы как интегрирующего фактора в полиэтнических обществах.

Работа симпозиума, прошедшего в Дели, подчеркивает «Нью эйдж», положительно расценивается общественностью Индии.

Ирак

«ЧЕРНОЕ ЦАРСТВО»

Министерство культуры и информации Ирака выпустило в свет книгу рассказов известного новеллиста Мухаммеда Хиддыра «Черное царство», пишет журнал «Аль-Араби».

Обозреватель журнала отмечает «высокую художественную технику рассказов, присущий автору лаконизм, М. Хиддыр «рисует колоритные картины жизни в Ираке: религиозные праздники, семейные будни, ветхозаветные нравы деревни, невзгоды городских низов».

Автору удалось показать внутренний мир своих героев с их страданиями и радостями, считает обозреватель. Рассказы отличает вдохновенный стиль повествования и зрелая художественная форма.

Ирландия

НЕИЗДАННЫЕ ПЬЕСЫ ПАТРИКА КОЛУМА

В издательстве сиракузского Университета в Нью-Йорке вышел сборник избранных пьес Патрика Колума (1881—1972), ирландского поэта и драматурга, видного деятеля «ирландского возрождения», прославившегося «крестьянскими» пьесами «Земля» и «Томас Мескери».

Сборник подготовил к изданию литературовед и театральный критик Сэндфорд Стернлайт, включивший в

книгу не только известные произведения Колума, но и не публиковавшиеся ранее пьесы.

Отмечая некоторые неточности в обширном предисловии Стернлайта, рецензент газеты «Айриш таймс», писатель и литературный критик Майкл О' Эйода, анализирует также состав сборника. Самый существенный недостаток, по его мнению,— отсутствие пьесы «Томас Мескери», последней из драм Колума, принятых к постановке в дублинском Театре Аббатства. Ценность нынешнего издания, считает О' Эйода, заключается главным образом в публикации двух поздних пьес Колума, где воплощены идеи У. Б. Йейтса о синтезе ритма, цвета и жеста на сцене. Образцом такого слияния Йейтс считал японский театр ноо и сам написал несколько пьес в духе этой традиции. Колум сорок лет спустя продолжил поиски Йейтса.

Место действия обеих пьес обозначено в их названиях: «Глендалу» и «Монастербойс». В первой, по сообщению рецензента, выведены два несхожих персонажа, сыгравших, каждый по-своему, важную роль в истории Ирландии. Это святой Кейвин, покровитель птиц и животных, отшельник, живший в Глендалу в конце VI — начале VII века и основавший там монастырь, второй — Чарльз Стюарт Парнелл, видный политический деятель конца XIX века, борец за самоуправление Ирландии. Если «легендарные», хотя и вполне реальные Парнелл и святой Кейвин не так уж редко становились героями литературных произведений, то персонаж другой пьесы—Джеймс Джойс—на первый взгляд неожиданно историчен. Впрочем, Колуму важен даже не сам Джойс: в пьесе он олицетворяет традицию добровольного изгнанничества, отрицания государства и церкви. Тем самым Джойс противопоставлен Парнеллу и Кейвину, деятельность которых немыслима вне Ирландии.

По мнению О'Эйода, обе эти сложные, насыщенные иносказаниями пьесы заслуживают серьезного изучения, а также ждут постановки на профессиональной сцене, ибо до сих пор они звучали только по радио.

Испания

НА ЭКРАНЕ — ПЬЕСА ВАЛЬЕ-ИНКЛАНА

Газета «Паис» рассказывает читателям об экранизации одной из самых известных пьес Рамона дель Валье-Инклана (1869—1936) — фильме режиссера Хосе Луиса Гарсиа Санчеса «Слова господни».

Сложным оказался путь драматургии Валье-Инклана к зрителю, пишет критик Октави Марти. Лишь немногие из его пьес увидели свет рампы при жизни автора. На долгие годы за ними закрепилась репутация «пьес для чтения», пришлось им пережить и периоды почти полного запрета. Успех пришел к театру Валье-Инклана лишь в 60—70-е годы, и с тех пор его пьесы занимают заметное место в репертуаре многих испанских и зарубежных театральных коллективов. Все чаще обращаются к творчеству великого драматурга и кинематографисты.

Кадр из фильма «Слова господни».

(Газета «Паис»)

Действие фильма «Слова господни» происходит в 1920 году в далекой галисийской деревне. Красавица Мари Гайла, жена старого и скупого пономаря Педро Гайло, ходит по ярмаркам и просит подаяние, показывая людям своего племянника-урода. Выгода «предприятия» заставляет пономаря смириться с долгими отлучками жены. А Мари Гайлу уводит из дома не только корысть. Бродя по дорогам, она увидела иной мир, почувствовала вкус свободы, узнала любовь. Она смело разрывает ставшие для нее тесными путы традиционной морали, отчаянно идет навстречу своему счастью. Но за миг счастья она должна расплатиться дорогой ценой: на телеге с сеном под улюлюканье толпы везут обнаженную Мари Гайлу на площадь, чтобы там покарать грешницу. Пономарь — единственный представитель церковной власти в деревне — встает на защиту жены. Он бросает в лицо разъяренным односельчанам слова, с которыми Христос обратился к иудеям, собиравшимся побить каменьями блудницу. И толпа отступает.

«Работая над фильмом,— рассказывает Гарсиа Санчес, — мы прежде всего хотели остаться верными литературному тексту». Одновременно режиссер ставил перед собой задачу найти чисто кинематографическое решение произведения, перевести его на язык кино, а не переносить на экран, как многие его предшественники, театральную постановку.

Фильм «Слова господни» представлял Испанию на фестивале в Венеции (1987). Итальянская пресса единодушно отметила высокое мастерство занятых в нем актеров — Аны Белен, Франсиско Рабаля, Иманоля Ариаса, Эсперансы Рой.

Заканчивая разговор о новой работе Х. Л. Гарсиа Санчеса, «Паис» отмечает: «Вместе с создателями этого фильма экзамен сегодня держит все испанское кино, перед которым остро встала проблема принципиально нового подхода к шедеврам национальной классической литературы».

Италия

«ДЕСЯТЬ ЛИКОВ ЧЕЛОВЕКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»

Так называется сборник, вышедший в издательстве «Латерца». По мнению рецензента еженедельника «Эспрессо» Роберто Кетронео, в нем впервые осуществлена успешная попытка понять не столько сами средние века, сколько людей той эпохи. Отказавшись от изучения массовых движений и выдающихся личностей, авторы книги поставили своей целью реконструировать мироощущение человека средневековья, создать его собирательный портрет.

Каждая из десяти статей, написанных ведущими европейскими медиевистами (авторский коллектив составили пятеро итальянцев, три француза, поляк и советский ученый А. Я. Гуревич), посвящена определенной социальной категории средневекового общества. Объектами исследования стали монах, рыцарь, крестьянин, горожанин, интеллектуал, купец, женщина, художник (как разновидность ремесленника), изгой и наивысшая, согласно воззрениям той эпохи, «реализация че-

ловеческого существа» — святой.

Возглавивший работу над сборником крупнейший французский медиевист Жак Ле Гофф сказал, что предложение издателей привлекло его возможностью охарактеризовать и особенности каждого социального типа, и общую для всех людей средневековья «картину мира». Она определялась одинаковым восприятием таких понятий, как время и пространство, потусторонний мир, числа, сны, память.

В предисловии к сборнику Ж. Ле Гофф указал на плодотворность сочетания в историографии средневековой и современной типологии. Использование такой «двойной оптики», по мнению ученого, дает возможность, не впадая в анахронизм, попытаться ответить на некоторые вопросы нашего времени: ведь к средневековью восходят не только многие из лежащих в основе современной цивилизации культурных ценностей, в него уходят корнями некоторые актуальные и по сей день проблемы — например, проблема нетерпимости.

На сопоставлении отдельных аспектов жизнедеятельности людей средневековья и наших современников строятся практически все очерки. Особо отмечает Р. Котронео проведенное итальянской исследовательницей М. Т. Фумагалли любопытное сравнение средневекового ученого с типом интеллектуала, складывающимся в наши дни.

В определенном смысле средневековье длилось дольше, чем принято думать, отмечает Ж. Ле Гофф. В широких слоях народа средневековые представления о картине мира просуществовали в основных своих чертах вплоть до промышленной революции XIX века, а в некоторых районах — например на юге Италии — остатки средневековых представлений сохраняются и по сей день.

Кампучия

ПОПУЛЯРНОСТЬ ТЕАТРА

Театральное искусство в Кампучии, пишет газета «Кампучия», имеет древние традиции. Широко известен кхмерский классический балет, возникший, как предполагают историки искусства, еще во времена Ангкорской империи (IX—XIII века). Репертуар его основан на традиционных сюжетах. Большую их часть составляют фрагменты древнекхмерского эпоса «Реамке» («Слава Рамы»), созданного по мотивам индийской «Рамаяны». Для кхмерского балета характерны плавные, медленные движения, а также четкие жесты и позы, имеющие свое значение. Каждый персонаж имеет особый костюм строго определенного цвета и свою маску. Большинство ролей в классическом балете кхмеров исполняется женщинами, на долю мужчин приходятся лишь роли демонов-якхов и комические партии.

Выступление артистов театра «локхаон кхаоль».

(Газета «Кампучия»)

Очень древней формой кампучийского театрального искусства является «локхаон кхаоль» (театр танца обезьян), близкий к национальному классическому балету. Сюжеты его также берутся из «Реамке». В труппе и играют только мужчины в масках обезьян, демонов и других персонажей.

Популярностью в Кампучии издавна пользуется и теневой театр (большой — «нанг сбаек тхом» и малый — «нанг сбаек тоуть»). Силуэты персонажей вырезаны из кусков специально обработанной воловьей кожи. В большом теневом театре актеры танцуют перед светящимся экраном, держа в руках полутораметровые силуэты, в малом — плоские кожаные куклы показываются за экраном.

Режим Пол Пота пытался уничтожить театральное искусство в Кампучии: все театры были закрыты, актеров физически истребляли. Но с первых же дней после освобождения страны началось возрождение кхмерского театра. Создан Ансамбль песни и танца министерства информации и культуры НРК. В его программе — танец «Апсара», исполняемый на фоне декораций с изображением древних храмов Ангкора, комические сценки из «локхаон кхаоль», неизменно вызывающие дружный смех зрителей. Ансамбль песни и танца из НРК с успехом выступал во многих странах, в том числе — в рамках культурной программы XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

В настоящее время в Кампучии действуют и другие труппы народного танца и балета, оркестр современной музыки, многие самодеятельные труппы. По данным газеты «Кампучия», в минувшем году многочисленные театральные представления и концерты в стране посетили около 30 тысяч человек.

Китай

ВСЕКИТАЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

По решению Министерства культуры КНР в стране раз в два года проводится Всекитайский фестиваль искусств. Задача фестиваля — придать новый импульс развитию национального искусства, повысить его авторитет за рубежом. Лучшие программы отмечаются призами и наградами Министерства культуры КНР.

Первый национальный праздник искусств состоялся летом прошлого года в китайской столице. Пекин встретил фестиваль высшей почестью — фейерверком. Более четырех тысяч артистов — исполнителей традиционных танцев и классической музыки, акробатов, актеров Пекинской оперы и театра теней, а также представителей других видов искусства — съехались в столицу, чтобы продемонстрировать свое мастерство ее жителям и иностранным гостям. Почетным гостем из СССР был Академический Центральный театр кукол под руководством С. Образцова. Спектакль театра «Необыкновенный концерт» высоко оценила китайская критика.

Первый фестиваль стал не только смотром богатых традиций китайского искусства. По мнению центральной прессы, он явился ярким свидетельством причастности творческой интеллигенции страны к глубоким и сложным общественным процессам, происходящим в нынешнем Китае. Но чтобы искусство действительно шло

в ногу с жизнью, считает обозреватель газеты «Чжунго жибао», нужна хорошо продуманная реформа системы управления художественными коллективами, необходимо создавать условия для выдвижения способной молодежи, снять ограничения, мешающие актерам переходить из одной труппы в другую, и, может быть, главное — уничтожить «уравниловку», предоставляющую равные права таланту и посредственности. А то, что таланты есть, доказал фестиваль. Он стал еще одним шагом на новом пути китайского искусства, отмечает «Чжунго жибао».

Кувейт

О ПИСАТЕЛЬНИЦАХ АРАВИИ И СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

В Эль-Кувейте вышла вторая, заключительная часть книги кувейтского литературоведа Лейлы Мухаммед Салих «Женская литература на Аравийском полуострове и в странах Персидского залива», сообщает журнал «Аль-Араби».

В предисловии Л. М. Салих пишет, что она не стремилась к критическому анализу литературных произведений, но поставила перед собой иную цель — дать своеобразную летопись культурной и литературной жизни в рассматриваемом регионе.

Первая часть книги была посвящена женщинам-литераторам Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, вторая часть книги рассказывает о поэтессах и писательницах Йемена, как Северного, так и Южного, и султаната Оман. В ней приводятся биографии каждой из писательниц и отрывки из их произведений. Книга Лейлы Мухаммед Салих, считает обозреватель журнала, может послужить важным биобиблиографическим источником для тех, кто пожелает изучать литературу региона.

Ливан

«СИЛЬНЕЙ УБИЙЦ, СИЛЬНЕЙ СМЕРТИ!»

Под таким заголовком журнал «Аль-Джадид», издаваемый Коммунистической партией Израиля на арабском языке, опубликовал редакционную статью, посвященную памяти Хусейна Мурувве — видного ливанского философа-марксиста, критика и общественного деятеля, злодейски убитого в своем доме в Бейруте правыми мусульманскими экстремистами.

Журнал называет убийство 76-летнего Х. Мурувве, совершенное на глазах у жены, «ужасающим преступлением». «Ливан и весь арабский мир, — говорится в статье, — были охвачены глубокой печалью и гневом».

В статье прослеживается жизненный и творческий путь Х. Мурувве — сына мусульманского шейха из южноливанской деревни, избравшего дорогу борца-революционера. В ней рассказывается об участии молодого Мурувве в революционном движении Ирака, куда он был послан отцом изучать мусульманское право, о работе в прогрессивной прессе после его высылки иракскими властями на родину в Ливан (Х. Мурувве издавал в Бейруте журнал «Ас-Сакафа аль-Ватанийя», который в 50-е годы был трибуной передовой революционной культуры арабских стран).

Вершиной творчества Мурувве-философа стал двухтомник «Материалистические течения в арабо-мусульманской философии», вышедший в 1978 году в Бейруте. Благодаря этому энциклопедическому труду ученый занял ведущее место среди марксистских исследователей исламского культурного наследия.

Главная работа Х. Мурувве в области литературной критики — фундаментальный труд «Критические исследования в свете реалистического метода». Эта книга и сотни написанных им критических статей «открыли широкий путь перед марксистским направлением в арабской науке и культуре».

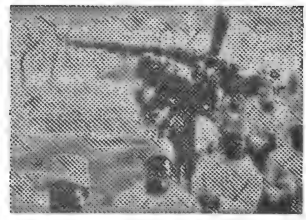
Х. Мурувве был и пламенным публицистом. Во время осады Бейрута израильскими войсками в 1982 году он ежедневно писал статьи для газеты ливанских коммунистов «Ан-Нида», которые распространялись потом в виде листовок среди защитников города. За мужество и стойкость, проявленные во время обороны столицы, Союз ливанских писателей присудил Х. Мурувве премию Бейрута.

Путь Хусейна Мурувве — путь ученого-теоретика и борца-революционера — давно привел его в ряды коммунистов. В течение нескольких десятилетий он был членом руководства Ливанской коммунистической партии и много сделал для сплочения вокруг партии и ее журнала «Ат-Тарик» лучших представителей ливанской интеллигенции.

Мавритания

ОТ ИСТОРИИ К ЛЕГЕНДЕ

Главный приз X Всеафриканского фестиваля кино- и телефильмов присужден картине мавританского режиссера Меда Хондо «Саррауния», созданной им по мотивам одноименного романа Абдулая Мамани в содружестве с кинематографистами Буркина Фасо и Франции. В основу фильма легли реальные события 1898—1899 годов, когда племени азна пришлось отстаивать свою независимость от посягательств французских колонизаторов, двинувшихся из завоеванного ими Мали на восток.



Кадр из фильма «Саррауния».

(Журнал «Ревю дю синема»)

«Воссоздавая в своих лентах эпизоды африканской истории, Хондо не стремится к скрупулезному отображению подробностей. Его картины представляют собой сплав истории и легенды; имевшие реальных прототипов персонажи обретают на экране черты героев преданий, живущих в народной памяти благодаря певцам-сказителям, — пишет в парижском «Ревю дю синема» Жак Шевалье. — Если образы французских офицеров, опьяненных кровью и снедаемых жаждой завоеваний, карикатурны, а сцены с их участием откровенно сатиричны, то возглавившая борьбу племени королева Саррауния предстает именно легендарной, полумифической фигурой». «Живым символом народно-освободительной борьбы» называет главную героиню фильма обозреватель французского журнала «Синема» Жан-Луи Мансо.

«Запечатлевая Саррауниу в гуще народа, показывая ее зрителю крупным планом, в необычных ракурсах, Хондо создает образ женщины незаурядной, величественной, исполненной тайны, — пишет Ж. Шевалье. — Особый лиризм изобилующему эпическими сценами фильму придают также музыка и пение. Они комментируют действие и одновременно служат его развитию, органически входя в художественную ткань повествования».

Марокко

НОВЫЙ ПЕРЕВОД «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ»

Как сообщает газета «Арбаат Ашар Октобер», марокканский писатель Ренье Хавам завершил перевод сказок

«Тысячи и одной ночи» на французский язык. На этот перевод и подготовку к нему у него ушло, по его признанию, около сорока лет, большую часть которых он провел, работая над рукописями и книгами в парижской Национальной библиотеке.

Издание Р. Хавама, вышедшее недавно в четырех томах, отличается от прежних версий «Тысячи и одной ночи» тем, что в него не вошли некоторые общеизвестные сказки (например, «Синдбад-мореход» и «Волшебная лампа Аладдина»), ибо переводчик считает, что изначально они не входили в этот свод знаменитых арабских сказок.

«Тысяча и одна ночь» уже переводилась на французский язык. Первый во Франции и во всей Европе перевод этих сказок, выполненный дипломатом и путешественником Антуаном Галланом, был опубликован в 1704—1717 годах.

Румыния

«ПОЭТИКА ДОСТОЕВСКОГО»

Творчество Ф. М. Достоевского не однажды привлекало внимание румынских литературоведов: великому русскому прозаику посвятили монографии такие известные критики, как Валериу Кристя, Ливиу Петреску. Теперь румынскую библиографию о классике русской литературы пополнил труд видного слависта Альберта Ковача «Поэтика Достоевского». А. Ковач исследует проблему двойника, искусство повествования и «мир предметов» в произведениях русского писателя, останавливается на пресловутом «отсутствии стиля» у Достоевского. «Автор стремился рассматривать форму и структуру не только как конструктивные элементы прозы Достоевского, — пишет во вступлении к книге А. Ковач, — но и как средства выражения эстетических, а значит — гуманистических ценностей».

Эта книга представляет собой объективный и всесторонний анализ идей и образов писателя, основанный на досконального изучении его произведений, отмечает в еженедельнике «Ромыния литерарэ» критик М. Замфир. Многим румынским исследователям творчество Ф. Достоевского служит лишь предлогом для построения собственных теорий. Подход А. Ковача к изучению наследия русского классика можно считать «традиционным», но одновременно он полемичен по отношению ко многим предыдущим концепциям, в частности концепции Л. Шестова. Если раньше о Достоевском в Румынии писали большей частью критики, эссеисты, то теперь перед нами — труд специалиста, историка русской литературы.

Хотя автор «Поэтики Достоевского» пользуется и новейшей литературоведческой терминологией, однако такие традиционные понятия, как «реализм», «типическое», «художественная форма», гораздо органичнее связаны с его научным методом, подчеркивает М. Замфир, — это свидетельствует о том, что истоки критических взглядов А. Ковача — в наследии Н. А. Добролюбова и В. Г. Белинского. О несомненных связях его концепции с русской социологической критикой прошлого столетия говорит и его склонность к психологической интерпретации многочисленных сцен и персонажей в романах Ф. Достоевского.

Благодаря нестандартному подходу монография Альберта Ковача, заключает М. Замфир, заставляет румынского читателя внести коррективы в привычное восприятие произведений великого русского прозаика.

США

НЕИЗВЕСТНАЯ МЭРИЛИН

В 1945 году фоторепортер одного журнала для военнослужащих, рассказывает обозреватель «Пари матч» (Франция) искал стройную, красивую девушку, которая согласилась бы позировать ему в качестве фотомодели. Тогда он и встретил Норму Джин Дохерти. Ей было девятнадцать лет, она была замужем за пожарником и работала на военном заводе. Норма с радостью приняла предложение фоторепортера: плата (пять долларов в час) значительно превышала сумму ее дневного заработка. Некоторые фотографии, сделанные Дэвидом Кэнэвером, были опубликованы тогда же, другие — позднее. «Кто теперь помнит, четверть века спустя после смерти Мэрилин Монро, одной из самых блистательных звезд в истории кино, ее фотографии тех далеких лет?» — восклицает обозреватель «Пари матч». Неудивительно, что на недавнем лондонском аукционе «Сотби» они имели большой успех. Поклонники Мэрилин Монро могли не только познакомиться с ними, но и приобрести эти фотографии, часть которых никогда прежде не публиковалась.

НОВАЯ СКАРЛЕТТ О' ХАРА

Лоуренс Оливье в книге «Признания актера» писал: «Вивьен, как и тысячи других актрис, была просто

Мэрилин Монро. Фото Дэвида Кэнэвера. 40-е годы.
(Журнал «Пари матч»)

Изабель Аджани.

(Журнал «Фильм иллюстрирте»)

одержима желанием сыграть Скарлетт О' Хара в фильме «Унесенные ветром». «Вивьен Ли, как мы знаем, была Вивьен Ли,— комментирует слова Л. Оливье обозреватель швейцарского журнала «Фильм иллюстрирте», — и она в конце концов добилась этой роли и создала действительно незабываемый образ. Но это было в 1939 году».

Сейчас, почти пять десятилетий спустя, возник замысел снять новый фильм по знаменитому роману Маргарет Митчелл. За роль Скарлетт снова началась битва. Джейн Фонда, Мерил Стрип, Фэй Данауэй, Кэтлин Тернер хотели бы воссоздать этот характер на экране. Среди претенденток не только американские актрисы. Возраст, внешность французской актрисы Изабель Аджани, считает обозреватель журнала «Фильм иллюстрирте», как нельзя более подходят для роли Скарлетт, хотя ее американские коллеги и более знамениты.

Тунис

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ТУНИССКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Журнал «ИБЛА» опубликовал рецензию на вышедшую недавно книгу «Пионеры драматургии в Тунисе». В ней собраны десять пьес, написанных тунисскими авторами с 1909 по 1949 год. В предисловии к этой своеобразной антологии ее составители — известный тунисский писатель-драматург Иззэд-Дин аль-Мадани и театровед Мухаммед ас-Сканжи — рассказывают о трудностях, с которыми они встретились при отборе текстов. Раньше в Тунисе, как и в других арабских странах, тексты пьес издавались крайне редко, а их рукописи часто пропадали после того, как пьеса была сыграна на сцене. Арабо-мусульманская традиция едва ли не исключала сочинение пьес, драматургов было очень мало. Как считают составители книги, первая тунисская пьеса была написана в 1909 году.

Авторами первых пьес, отмечает «ИБЛА», были журналисты и литераторы, пропагандировавшие арабский литературный язык. Театр рассматривался ими как школа национального воспитания. Большинство драматургов, многие из которых окончили мусульманский университет Аз-Зейтуна, были настроены оппозиционно по отношению к французским колониальным властям. В противовес колониальной идеологии, они стремились возродить золотой век арабов и показать на сцене классических героев. Для театра был характерен «подлинно боевой дух в сочетании с политической активностью», из-за чего пьесы часто подвергались запрету.

В рецензии приводится полный перечень произведений, включенных в антологию. Первой в ней стоит самая ранняя тунисская пьеса — «Султан в стенах дворца Ялдиз» (1909), написанная театральным режиссером и драматургом Мухаммедом аль-Джаайби (1878—1938). Пьеса посвящена проблемам власти, которую олицетворяет османский халиф. Завершается перечень пьесой Амира ат-Тунси (род. в 1922 г.) «Борьба за золото» (1949). Это бытовая драма, обличающая алчность.

Среди авторов пьес — видные тунисские поэты Абд ар-Раззак Карабака и Ахмад Хайр ад-Дин. Творчество первого представлено драмой о любви «Валлада и Ибн Зейдун» (1944), действие которой происходит в Андалусии во время арабского господства; творчество второго — пьесой «Луна во мраке, или Поход на Египет» (1948) о завоевании Египта эмирами из североафриканской династии Фатимидов.

В книге приводятся биобиблиографические справки об авторах, каждая пьеса кратко анализируется. Антология, считает автор рецензии, представляет собой превосходный источник для изучения тунисского театра и драматургии с начала века до 50-х годов.

Финляндия

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Победительницей поэтического конкурса, организованного Фондом Ю. Х. Эркко, стала 19-летняя Мария Аутио из Рованиеми, сообщает газета «Хельсингин саномат».

В этом году конкурс собрал рекордное количество участников: 433 молодых поэта со всех концов Финляндии представили 10 000 стихотворений.

Мария Аутио — студентка университета в Турку — изучает финскую литературу и историю культуры. Писать стихи начала в пятнадцать лет.

Мария Аутио.

(Газета «Хельсингин саномат»)

В интервью корреспонденту газеты «Хельсингин саномат» Мария сказала, что литературных кумиров у нее нет. «Несколько лет назад я увлекалась поэзией Ниеминена, теперь же почти сознательно стремлюсь «забыть» других поэтов, ищу свой собственный голос».

«Победительница конкурса не представляет себе жизни без поэзии, но в то же время не собирается становиться профессиональным литератором», — отмечает корреспондент газеты.

Франция

«...И ВОЗРОЖДАТЬСЯ ИЗ ПЕПЛА...»

В Париже широко отмечается столетие со дня рождения Блеза Сандрара (1887—1961) — одного из самых значительных реформаторов поэзии XX века. В «эластическом стихотворении» «Контрасты» Сандрар го-

Блез Сандрар. Портрет работы Амедео Модильяни.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Блез Сандрар. Автопортрет.

(Журнал «Магазин литтерер»)

ворил: «Окна моей поэзии настежь распахнуты и на бульвары выходят, где россыпи света сверкают на стеклах витрин...» Велика роль Сандрара в создании «поэтического реализма» в 10-е годы нашего столетия, симптоматично его обращение к лирическому эпосу в поэмах «Пасха в Нью-Йорке» (1912), «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» (1913), «Панама, или Приключения семи моих дядей» (издана в 1918 году), ставших сегодня классическими, пишет журнал «Магазин литтерер».

Как в поэзии, так и в прозе Сандрара, напоминает «Магазин литтерер», сильна «русская тема»: пожалуй, он ближе всех собратьев по ремеслу на Западе стоял в годы молодости к России, к «революции русской». По свидетельству современников, его восхищала близость революционеров из России к народу, их способность «гореть идеей». Недаром Фредерик-Луи Созе (таково настоящее имя писателя) взял себе псевдоним «Сандрар», от слова «пепел»,— а в своей автобиографии высказал прекрасную мысль: «Писать — это не только гореть заживо, но и возрождаться из пепла...»

К юбилейным торжествам, проводимым Центром Помпиду, журнал «СНАК» выпустил специальный номер, посвященный жизни и творчеству Сандрара, куда вошли также интервью с его друзьями — музыкантами, режиссерами, актерами — и «история жизни поэта в рисунках» с комментарием его дочери Мириам. Парижский университет приступил к публикации периодического издания «ETC», которое призвано объединить исследования современных ученых о Сандраре.

Журнал «Ревю де леттр модерн» напечатал как редкие тексты Сандрара, обращенные к бурным событиям 1917 года в России, так и статью Антуана Сидоти о генезисе «Прозы о транссибирском экспрессе...» вместе с полемическими откликами на нее в парижской печати тех лет. Журнал «Поэзи-87» публикует и стихотворения Сандрара, и материалы, посвященные связям его творчества с музыкой.

Издательство «Акт-Сюд» выпустило книгу Жерома Камийи и Робера Дуано «Приветствие Сандрару», богато иллюстрированную фотопортретами поэта. А в Маленьком фойе Центра Помпиду прошла фотовыставка «33 лика Блеза Сандрара», которую посетило множество парижан.

«Я ПИСАЛА О НАСТОЯЩЕМ ВОЛОДЕ...»

В издательстве «Файяр» вышла в свет книга воспоминаний Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет» — рассказ о жизненном и творческом пути ее мужа, замечательного советского актера, поэта, исполнителя собственных песен Владимира Высоцкого (1938—1980), сообщает газета «Юманите».

«В этой чудесной и горькой хронике, разбитой на маленькие главки, поражает все — безыскусный слог, стремление к правде, приметы духовной и повседневной жизни и прежде всего — любовь, способная сдвигать горы», — отмечает рецензент газеты, известный критик Жан-Пьер Леонардини.

«Через полтора года после Володиной смерти, — сказала Марина Влади в интервью журналу «Мари Франс», — я взялась за перо, чтобы снова пережить лучшие минуты моей жизни. Я писала о настоящем Володе... Когда поэт умирает молодым, бывает, что образ его намеренно искажают, чтобы не просвечивало подлинное, трагическое лицо. Поэтому я решила рассказать о нем, о нас, попыталась нарисовать его беспристрастный, правдивый портрет».

В тридцать лет Владимир Высоцкий — подающий надежды актер и певец, автор нескольких хороших песен, в сорок — кумир советской молодежи, создавший более 600 «сложных, исполненных внутренней силы» произведений в жанре авторской песни, пишет литературный обозреватель журнала «Мари Франс» Клод Серван-Шрайбер. Но «популярность у народа» не имела ничего общего с официальным признанием, напоминает в книге «Владимир, или Прерванный полет» М. Влади: при жизни Высоцкого не выпустили ни одного его диска-гиганта, имени «барда» ни разу не упомянули по радио или телевидению, из фильма перед самым выходом на экран могли «вырезать» сочиненные им песни, после блестящей кинопробы — не утвердить на роль.

«Однако пусть читатели не думают, что в нашей с Володей жизни все было мрачно, — завершает Марина Влади интервью журналу «Мари Франс». — Мне хочется, чтобы они полюбили и этого прекрасного человека, и его родину. Я презираю тех, кто злоупотреблял своей властью и вредил моему мужу, но с большой нежностью отношусь к его друзьям».

ФРГ

ВСТРЕЧА ДВУХ КУЛЬТУР

В 1981 году турецкая писательница Аюзель Ёзакин эмигрировала в ФРГ. К этому времени она уже выпустила три романа и два сборника рассказов. В удивительно короткий срок Аюзель Ёзакин овладела немецким языком, стала писать и на нем тоже: вскоре вышли в свет два тома ее рассказов и книга стихов «Здравствуй!».

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Фотография 1978 года.

(Газета «Юманите»)

«Эти сборники, не оставшиеся незамеченными, — пишет западногерманский журнал «Культур унд гезельшафт», — показывают, что язык Аюзель Ёзакин существенно отличается от языка большинства остальных турецко-немецких авторов, в основном натуралистически передающих ломаный жаргон иностранных рабочих, живущих в ФРГ».

Турецкое наследие для поэтессы — не препятствие ее творчеству, а огромное подспорье. В двуязычии она видит удвоение возможностей выразительных средств. Две стилистические традиции дополняют и обогащают друг друга, из сплава элементов восточной и европейской эстетики рождаются стихи, неповторимо прекрасные и своеобразные. «Поэзия Аюзель Ёзакин, — подчеркивает обозреватель журнала, — как и «Кройцбергские поэмы» Араса Ёрена, является существенным вкладом турецких авторов в культуру нашей стрраны».

Аюзель Ёзакин вовсе не похожа на «женщину ислама», — заключает «Культур унд гезельшафт». — Главная особенность ее творчества — попытка сближения двух культур, поиск общности и взаимопонимания, которым еще надо учиться. «Родина» в ее стихах — не географическое понятие, скорее это синоним к таким словам, как «добрососедство» и «доверие».

СЕРИЯ КНИГ О ФИЛЬМАХ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

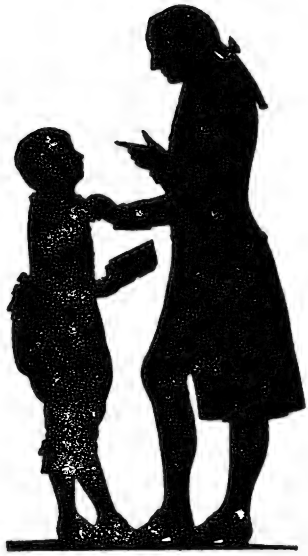
Спустя год после того, как фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» был представлен на экране Каннского кинофестиваля и отмечен его призом, книга об этой киноленте положила начало серии, посвященной творчеству всемирно известного советского кинорежиссера, сообщает западногерманская газета «Франкфуртер альгемайне».

Книги серии, которую мюнхенское издательство «Ширмер унд Мозель» планировало к выпуску еще при жизни А. Тарковского, вместе с ним, расскажут не только о восьми фильмах, снятых режиссером за 26 лет работы в кино, кстати, и о малоизвестной пока 46-минутной дипломной работе «Каток и скрипка» (1960), но также и о тех картинах, которые Тарковскому не суждено было поставить. Так, пишет газета, осенью этого года издательство предполагает выпустить книгу о неосуществленном в 1976 году проекте фильма, где Тарковский «вступает в полемику с Э. Т. А. Гофманом».

Обозреватель газеты пишет о неповторимости творческого видения Тарковского, «расширившего границы кинематографа», о его тонком мастерстве в обращении со светом, атмосферой кадра, шумами, о его любви к едва заметной нюансировке в ракурсе съемки.

Первая книга серии — «Жертвоприношение» — иллюстрирована репродукциями кадров из фильма, снятого кинооператором Свеном Нюквистом (см. «ИЛ», 1987, № 6). Это интерьеры, похожие на сценические декорации, ландшафты острова Готланд, где шли натурные съемки картины, появляющиеся на экране полотна старых мастеров, черно-белые вставки видений-снов, портреты занятых в фильме актеров.

Основу книги составляет текст сценарного диалога «Жертвоприношения», снятого совместно Шведской академией кино и французскими кинофирмами, однако в нее включены также выдержки из сборника эссе и заметок А. Тарковского «Время за семью печатями», немецкий перевод которого недавно вышел в западногерманском издательстве «Ульштайн». Книга новой серии, пишет обозреватель «Франкфуртер альгемайне», раскрывает перед читателем сложный процесс развития идей Тарковского, воплотившихся в его последнем фильме.



Уже много лет франкфуртское издательство «Инзель» («Остров») выпускает серию альбомов карманного формата под названием «Прекрасный остров». Эти издания, пользующиеся большим успехом у ценителей искусства, отличает умелый и тщательный подбор репродукций, высокое качество полиграфического исполнения. Каждый 25-й выпуск серии по традиции посвящается великому немецкому поэту, романисту, драматургу Иоганну Вольфгангу Гёте (1749—1832).

В 1987 году, сообщает журнал «Культурхроник», вышел в свет юбилейный, тысячный, том — «Гёте. Биография в иллюстрациях и текстах», рассказывающий о жизни «князя поэтов», его повседневных занятиях, привычках, встречах и беседах с современниками. Составил сборник искусствовед Кристоф Михель, предисловие к книге написал известный швейцарский прозаик Адольф Мушг, озаглавив его «Гёте — единственный, Гёте — пример».

На снимке: Гёте со своим воспитанником Фрицем фон Штайном. Сделан в 1781—1782).

(Журнал «Культурхроник»)

Чехословакия

В Горацком театре г. Иглава идет новая пьеса известного чешского драматурга и актера Яна Илека «Мне снова хочется жить». Ее герои — современные рабочие — ведут острый разговор о рабочей чести, гордости за свое дело, о своей ответственности перед обществом. Главное же достоинство пьесы, отмечает на страницах газеты «Руде право» критик В. Рзоунек, — это «пролетарский взгляд героев на мир»

«Неизменная популярность пьес Илека объясняется тем, что автор всегда предельно искренен», — пишет в журнале «Сцена» театровед Б. Штепанек. Чешская критика, единодушно приветствуя возвращение героя-рабочего на театральную сцену, с одобрением отзывается о спектакле, поставленном в Иглаве (режиссер Л. Пановец). Коллектив Горацкого театра посвятил эту работу XVII съезду КПЧ и 65-летию основания КПЧ.

На снимке: актеры Вера Форейтова и Ярослав Рава в спектакле по пьесе Я. Илека «Мне снова хочется жить»

(Газета «Руде право»)

Швеция

ЯРМАРКА В ГЁТЕБОРГЕ

В Гётеборге, втором по величине городе Швеции, прошла третья книжная ярмарка под девизом «Книга и библиотека». В ее работе приняли участие 500 орга-

низаций, число посетителей составило 35 тысяч человек (это на 7 тысяч больше, чем в 1986 году).

Книжная ярмарка в Гётеборге привлекла внимание писателей и книгоиздателей США, Великобритании, ФРГ, Польши, Венгрии, Египта и многих других стран, включая и Скандинавские страны. Гостями ярмарки были, в частности, такие известные писатели, как Валентин Распутин, чья повесть «Пожар» скоро выйдет в свет на шведском языке, лауреат Литературной премии Северного совета за 1986 год Хербьерг Вассмо (Норвегия), Туве Янссон (Финляндия), Джон Апдайк (США), Айрис Мердок (Великобритания). Страну хозяйку представляли Леннарт Хелльсинг, Ларс Видинг и Ларс Густафссон.

Гётеборгская ярмарка, по мнению ее устроителей, принципиально отличалась от аналогичных мероприятий во Франкфурте и Болонье. Шведские организаторы ставили своей целью не столько «куплю-продажу авторских прав», сколько «установление контактов между писателями и издателями, с одной стороны, и библиотекарями, учителями, книготорговцами, журналистами и читателями — с другой». Поэтому на гётеборгской ярмарке было много выступлений писателей, где они рассказывали о своем творчестве.

Третья гётеборгская ярмарка имела еще целый ряд особенностей: например, впервые была довольно широко представлена саамская литература; на стендах ярмарки большое место занимали книги, рассказывающие о борьбе за мир, которые, как считает газета шведских коммунистов «Норшенсфламман», можно будет использовать в шведских школах и гимназиях на всех стадиях обучения.

На стенде книготорговой организации «Интербук», импортирующей книги из разных стран, была и советская книжная продукция — учебные пособия, художественная литература, альбомы по искусству издательства «Аврора».

Ярмарка в Гётеборге, подчеркивает скандинавская пресса, стала необходимой для тех, кто работает с книгой.

Югославия

БОРИСЛАВ ПЕКИЧ — ДЕВЯТЫЙ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ НЕГОША

Роман Бориславa Пекича «Золотое руно», удостоенный высшей литературной награды — премии Негоша — единодушно признан критиками «явлением в культурной жизни СФРЮ». «Исключительным по значению для литературы страны» назвала его газета «Политика», а Вук Крневич, главный редактор ведущего литературного журнала «Книжевност», — «самым эксцентричным и в то же время самым целостным произведением писателя». Особую заслугу Пекича В. Крневич видит в том, что автору удалось создать в романе «панораму истории балканских цивилизаций» — от античности до наших дней. И все же, считает критик, «Золотое руно» не может быть названо собственно историческим романом: повествование о реальных событиях в нем причудливо переплетается с сюжетами, заимствованными из мифологии. Именно этот прием литературные обозреватели отмечают как удачную находку автора, которая наряду с «огромной эрудицией историка» стала одной из составляющих успеха книги.

Присуждение премии означает и бесспорное признание многолетнего плодотворного труда писателя. В прошлом ее были удостоены такие мастера слова, как Михайло Лалич, Мирослав Крлежа, Десанка Максимович, Бранко Чопич. Теперь в одном ряду с ними стоит имя Бориславa Пекича.

Коротко об авторах

БЕДРОС ХОРАСАНДЖАН (BEDROS HORASANGIAN; род. в 1945 г.) — румынский писатель. Автор сборников рассказов «Завершение турнира» («Închiderea ediţiei», 1986), «Парк Йоанид» («Parcul Ioanid», 1986). Предлагаемые рассказы взяты из сборника «Радуга в полночь» («Curcubeul de la miezul nopţii», Bucureşti, Editura Albatros, 1984).

СТАРОСТИНА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА — советский переводчик с румынского. В ее переводе публиковались повести и рассказы Д. Р. Попеску, С. Тителa, М. Сынтимбряну, Э. Урикару. В 1987 г. вышла книга Аны Бландианы «Стихотворения. Рассказы. Эссе», перевод, составление и комментарии к которой выполнены А. Старостиной.

АНТЕ ПОПОВСКИЙ (род. в 1931 г.) — югославский (македонский) поэт, лауреат ряда литературных премий. Автор многих поэтических сборников: «Вардар» (1958), «Непокорность» («Непокор», 1964), «Камни» («Камена», 1972), «Тайнопись» («Тайнопис», 1975) и др. Публикуемые стихи взяты из книги «Родословная» («Родопис». Скопье, Мисла, 1981). Они войдут в антологию македонской поэзии «Корни и звезды», готовящуюся к печати издательством «Радуга».

САМОЙЛОВ ДАВИД САМУИЛОВИЧ (род. в 1920 г.) — советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Ближние страны» (1958), «Второй перевал» (1963), «Дни» (1970), «Волна и камень» (1974), «Весть» (1978), «Залив» (1981), «Голоса за холмами» (1985) и др. Ему принадлежит также сборник переводов «Стихи зарубежных поэтов» (1963) и книга «О русской рифме» (1973).

КАРЛОС ФУЭНТЕС (CARLOS FUENTES; род. в 1928 г.) — мексиканский писатель-романист, драматург, эссеист. Удостоен премии имени Мигеля Сервантеса за 1987 г. Начал печататься в 1954 г. Автор романов «Область наипрозрачного воздуха» («La región más transparente», 1958), «Чистая совесть» («Las buenas conciencias», 1959), «Священная зона» («Zona sagrada», 1967), «Смена кожи» («Cambio de piel», 1968), «Земля наша» («Terra nostra», 1975), «Далекая семья» («Una familia lejana», 1980), повестей «Аура» («Aura», 1962), «Эмилиано Сапата» («Emiliano Zapata», 1969), пьес и др. произведений. В «Иностранной литературе» напечатаны роман «Смерть Артемио Круса» (1965, № 7, 8), пьеса «Все кошки серы» (1972, № 1), рассказ «Кукла-королева» (1974, № 3), повествовательный квартет «Сожженная вода» (1984, № 7). Роман «Старый гринго» вышел в Мехико в 1985 г. («Gringo viejo», México, Fondo de Cultura Económica).

БЫЛИНКИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА — советский литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографии «Особенности испанского языка в Аргентине» (1968). В ее переводе опубликованы романы «Смерть Артемио Круса» К. Фуэнтеса («ИЛ», 1965, № 7, 8), «Когда хочется плакать, не плачу» М. Отеро Сильвы, «Сеньор президент» (ч. II) и «Зеленый папа» М. А. Астуриаса, «Превратности метода» А. Карпентьера, повествовательный квартет «Сожженная вода» К. Фуэнтеса («ИЛ», 1984, № 7), а также произведения А. Варелы, Х. Кортасара, Х. Рисаля, Л. Ландинеса и др.

ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ (GIUSEPPE UNGARETTI; 1888—1970) — итальянский поэт, лауреат нескольких литературных премий, в том числе международной поэтической премии «Этна-Таормина». Первый сборник стихов «Погребенный порт» («Il Porto Sepolto») был издан в 1916 г. и впоследствии вошел в книгу «Радость». Дж. Унгаретти принадлежат также поэтические сборники «Чувство времени» («Sentimento del tempo», 1933) «Боль» («Il dolore», 1947), «Земля обетованная» («La terra promessa», 1950) и др. Начиная с 1942 г. все сочи-

нения Унгаретти объединяет общее заглавие «Жизнь человека» («Vita d'un uomo»). Известны его переводы сонетов Шекспира, стихотворений Блейка, Гонгоры, Малларме.
На русском языке стихи Унгаретти публиковались в сборниках «Из итальянской поэзии» (М., 1958), «Итальянская лирика. XX век» (М., 1968), «Западноевропейская поэзия XX века» (М., 1977), а также в «ИЛ» (1958, № 5; 1963, № 2). Предлагаемые стихи взяты из ранних поэтических циклов — «Погребенный порт» и «Потерпевшие кораблекрушение», вошедших в книгу «Радость» («L'Allegria», Milano, Preda, 1931).

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.) — советский переводчик итальянской поэзии и прозы. В «Иностранной литературе» печатались его переводы из Данте, Петрарки, Белли, Монтале, Луци, а также роман Дж. Д'Агаты «Америка о'кей». Переводы Е. Солоновича из классической и современной итальянской поэзии отмечены в Италии рядом литературных премий.

РАЙТ-КОВАЛЕВА РИТА ЯКОВЛЕВНА — советская писательница, переводчик. Переводила произведения М. Твена, У. Фолкнера, Дж. Голсуорси, Г. Бёлля, Дж. Сэлинджера, Гр. Грина, Дж. Пристли, К. Воннегута и др. Р. Райт-Ковалевой принадлежат также воспоминания о Маяковском, Пастернаке, Ахматовой и книга «Роберт Бернс» в серии «Жизнь замечательных людей».

АЙТМАТОВ ЧИНГИЗ ТОРЕКУЛОВИЧ (род. в 1928 г.) — советский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии (1963) и Государственных премий СССР (1968, 1977, 1983). Автор повестей «Джамиля» (1958), «Тополек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз» (1961), «Первый учитель», «Материнское поле» (1963), «Прощай, Гульсары!» (1966), «Белых пароход» (1970), «Ранние журавли» (1975), «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977), романов «И дольше века длится день...» (1980), «Плаха» (1987) и др. произведений. Собрание сочинений, т. 1—3 (М., 1982—1984).

САЛЛИВАН ГАЛИНА — директор отдела технической документации на русском языке американской нефтехимической компании «Оксидентл петролеум корпорейшн», личный переводчик Арманда Хаммера. В ее переводе вышла книга Р. Консидайна «Больше чем жизнь» (М., «Прогресс», 1981).

ЗЕМСКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1940 г.) — советский критик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги «Аргентинская поэзия гаучо» (1977), «Габриэль Гарсиа Маркес. Очерк творчества» (1986) и статей по вопросам латиноамериканской литературы и культуры.

ГУЛЫГА АРСЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1921 г.) — советский философ и литературный критик, доктор философских наук, профессор. Автор многих работ по эстетике, истории философии, литературе и искусству, в том числе книг: «История немецкого материализма» (1962), «Гердер» (1963, 1975), «Гегель» (1970), «Эстетика истории» (1974), «Кант» (1977, 1981), «Искусство в век науки» (1978), «Искусство истории» (1980), «Шеллинг» (1982), «Немецкая классическая философия» (1986).

◆

В следующем номере:

Стихи ГЮНТЕРА ГРАССА (ФРГ)

Роман английского писателя ОЛДОСА ХАКСЛИ
«О дивный новый мир»

Очерк ГАННЫ КРАЛЛЬ (Польша) «Опередить господа бога»
(Послесловие Евг. Евтушенко)

Статьи:

Т. МОТЫЛЕВОЙ «Друзья Октября и наши проблемы»
ВЛ. ОГНЕВА «Нам нечего скрывать друг от друга»
(Литературный процесс в социалистических странах и новое мышление)

■

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СОЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУ[illegible]В** (зам. [illegible]ого редактора).

Художественный редактор [illegible], технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-[illegible], Пушкинская ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 25.12.87. Подписано в печать 12.02.88. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., уч.-изд. л. 27,38

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 4481

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

15 ИЛ № 3

Испания и Африка

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394